



И Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е
С О Ч И Н Е Н И Й
В Д В Е Н А Д Ц А Т И Т О М А Х

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО И Н. К. ЛУИПОЛА



Том VI



А С А Д Е М И А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Г Е Н Р И Х Г Е Й Н Е

Ф Р А Н Ц У З С К И Е Д Е Л А Ф Р А Н Ц У З С К И Е Х У Д О Ж Н И К И О Ф Р А Н Ц У З С К О Й С Ц Е Н Е

ПЕРЕВОД А. В. ФЕДОРОВА

РЕДАКЦИЯ Е. СМЕРНОВА И В. ПИКОВА

КОММЕНТАРИИ Е. СМЕРНОВА И Г. ГОРДОНА



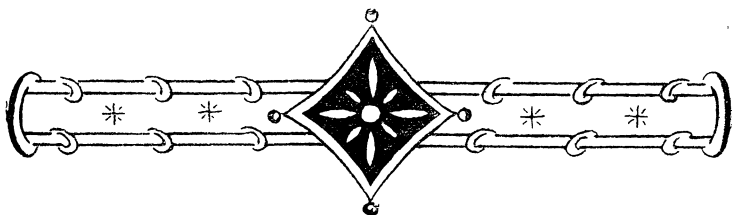
А С А Д Е М И А

1 9 3 6

***Фронтиспис и виньетки на титуль-
ных листах — гравюры на дереве
А. С. Хижинского. Переплет, супер-
обложка и заставки по его же
рисункам***



ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Тот, кто умеет читать, сам заметит, что наиболее значительные недостатки этой книги должны быть поставлены в вину не мне, а тот, кто не умеет читать, ничего не заметит». Эти простые умозаключения, которыми старик Скаррон начинает свой «Юмический роман», могу предпослать и я этим более серьезным страницам.

Я даю здесь ряд статей и корреспонденций, которые, когда это требовалось, я писал для аугсбургской «Всеобщей газеты» при бурных обстоятельствах всякого рода, с целью, которую легко отгадать, и с умалчиваниями, которые отгадать еще легче. Теперь я должен издать эти анонимные беглые листки под своим именем отдельной книгой, чтобы никто другой, как мне грозят, не собрал их по собственному усмотрению и не исказил их по своей прихоти, а то и не подмешал к ним чужих изданий, которые ошибочно приписываются мне.

Пользуюсь этим случаем, чтобы решительнейшим образом объявить, что уже два года, как я не напечатал ни единой строки ни в одной политической газете Германии, кроме «Всеобщей газеты». Эта последняя, столь заслуживающая свой всемирно признанный авторитет и достойная называться «Всеобщей газетой» Европы, именно благодаря своему весу и неслыханно большому распространению казалась мне подходящим изданием для статей, имевших целью лишь уразумение современности. Когда мы достигнем того, что массы будут понимать настоящее, тогда народы не позволят наемным писакам аристократии разжигать войну и раздоры, тогда осуществится великое единение народов, священный

союз наций, нам больше не нужно будет содержать из-за взаимного недоверия постоянные армии во много сотен тысяч убийц, мечи мы перекуем в плуги и впряжем в них военных коней и добьемся мира, благосостояния свободы! Этой деятельности посвящена попрежнему моя жизнь. Это моя профессия. Ненависть моих врагов может послужить ручательством, что я до сих пор добросовестно и честно ее исполнял. Я всегда буду достоин этой ненависти. Мои враги никогда не ошибаются во мне, хотя бы даже друзья в пылу возбужденных страстей и принимали мое разумное спокойствие за равнодушие. Впрочем, теперь они меньше будут ошибаться во мне, чем прежде, когда им казалось, что они стоят у цели своих желаний и когда надежда на победу раздувала паруса их мыслей. Я не принимал участия в их безумии, но я всегда готов разделить их несчастье. Я не вернусь на родину до тех пор, пока на чужбине в нищете должен жить хоть один из тех благородных изгнанников, которые в чрезмерном пылу одушевления не могли внять голосу рассудка. Я бы лучше стал выпрашивать корку хлеба у беднейшего француза, чем согласился бы в немецком отечестве вступить на службу к тем знатым покровителям, которые всякую сдержанность силы принимают за трусость или даже за прелюдию к низкопоклонству и которые на главную нашу добродетель — на веру в честные намерения противника — смотрят как на плебейскую наследственную глупость.

Никогда не буду я стыдиться, что был обманут теми, кто тешил наши сердца столь прекрасными надеждами: «Все должно устроиться самым мирным образом, мы должны соблюдать приличествующую умеренность, чтобы уступки не были вынужденными, а значит недействительными; они сами должны же видеть, что небезопасно лишать нас более свободы. . . » Да, мы снова одурачены и должны сознаться, что ложь снова одержала большую победу и пожала новые лавры. По существу, мы — побежденные, и с тех пор, как о героическом обмане официально объявлено — после обнародования плачевных постановлений сейма от 28 июня, — наше сердце терзают печаль и гнев.

Бедная, несчастная родина! Какой позор предстоит тебе, если ты перенесешь это поношение! Какие страдания, если ты его не перенесешь!

Никогда ни над одним народом так не издевались его властители. Мало того, что постановления сейма имеют предпосылкой, будто мы согласились на все; нас притом стараются еще уверить, что, в сущности, нам не причиняют никакого зла или несправедливости. Но если вы и могли уверенно рассчитывать на рабскую покорность, то все ж вы не имели права считать нас за дураков. Кучка дворянчиков, не учившихся ничему, кроме барышничанья лошадьми, вольтижировки, игры стаканами и прочих грубых плутовских штук, на которые можно поддеть лишь каких-нибудь крестьян на ярмарке, — воображает, что может провести этим целый народ, да еще народ, который изобрел порох и книгопечатанье и дал «Критику чистого разума». Это незаслуженное оскорбление! То, что вы нас считали глупее даже самих себя и воображаете, будто могли нас обмануть, — вот злейшая обида, которую вы нанесли нам в глазах окружающих народов!

Я не хочу обвинять конституционных немецких государей, я знаю их беды, я знаю — они томятся в цепях своих ничтожных камариллий и безответственны. К тому же путем принуждений всякого рода Австрия и Пруссия заставили их стать на свою сторону. Мы не будем поносить их, мы их пожалеем. Рано или поздно они пожнут горькие плоды злого посева. Неразумные, они еще завидуют друг другу, и, между тем как всякому дальновидному взору ясно, что в конце концов они будут медиатизированы Австрией и Пруссией, все их помыслы и стремления направлены лишь на то, как бы урвать у соседа кусочек его земли. Право, они напоминают тех воров, которые по пути к виселице еще обворовывают друг у друга карманы.

В подвигах сейма мы можем безусловно обвинять только обе абсолютные державы — Австрию и Пруссию. В какой мере каждая из них заслужила нашу благодарность — я не могу определить. Но только мне кажется, что всю гнусность этих подвигов Австрия снова сумела взвалить на плечи своего мудрого товарища по сейму.

В самом деле, мы можем бороться с Австрией и бороться насмерть, с мечом в руках; но в глубине души мы чувствуем, что у нас нет права поносить эту державу бранными словами. Австрия всегда была открытым честным врагом и никогда не отрицала своей борьбы с либерализмом, и никогда, даже на короткое время, не прерывала ее. Меттерних никогда не заигрывал с богиней свободы, он никогда в моменты робости не разыгрывал демагога, он никогда не пел песен Арндта и не пил при этом белого пива, он никогда не проделывал гимнастических упражнений на Заячьей поляне, он никогда не лицемерил с набожным видом, он никогда не плакал с крепостными арестантами, которых томил в цепях. Всегда было известно, чего от него ждать, было известно, что его надо остерегаться, и его остерегались. Он всегда был одним и тем же, не обманывал нас милостивыми взглядами, не возмущал закулисными уловками. Было известно, что им не руководят ни любовь, ни ненависть, что он действует высокомерно, в духе системы, которой Австрия оставалась верна в течение трех столетий. Это та же система, за которую Австрия боролась с реформацией; это та же система, из-за которой она вступила в борьбу с революцией. За эту систему бились не только мужи, но также и дочери Габсбургского дома. Ради сохранения этой системы Мария-Антуанетта в Тюильри ринулась в самую дерзостную борьбу; ради сохранения этой системы Мария-Луиза (которая, будучи объявлена регентшей, должна была бы сражаться за мужа и за дитя) в том же Тюильри оставила борьбу и сложила оружие. Император Франц ради сохранения этой системы заглушил в себе самые нежные чувства, вытерпел несказанную душевную муку. Как раз теперь носит он траур по любимому цветущему внуку, принесенному им в жертву той же системе, и эта скорбь низко склонила седую голову, некогда носившую корону германского императора. И по сию пору бедный император является истинным представителем несчастной Германии!

О Пруссии мы смеем говорить в ином тоне. Тут, по крайней мере, нас не сковывает почтение к святости германской императорской главы. Пусть ученые холопы на берегах

Шпрее грезят о великом императоре Бורусского государства и провозглашают гегемонию и протекторат Пруссии. Но до сих пор длинным пальцам Гогенцоллернов не удалось еще схватить корону Карла Великого и засунуть ее в мешок вместе со множеством награбленных драгоценностей из Польши и Саксонии. Корона Карла Великого висит еще слишком высоко, и я очень сомневаюсь, чтобы она спустилась когда-либо на игривую голову государя, украшенного золотыми шпорами, которого его бароны уже чтут, как будущего восстановителя рыцарства. Я скорее думаю, что его королевское высочество вместо того, чтобы стать преемником Карла Великого, станет всего лишь преемником Карла X и Карла Брауншвейгского.

Правда, еще недавно многие друзья отечества желали расширения Пруссии и надеялись увидеть ее королей государями объединенной Германии, даже любовь к отечеству им удалось поймать на удочку, и появился прусский либерализм, и уже друзья свободы доверчиво обращали взоры к берлинским липам. Что до меня, я никогда не разделял этого доверия. Напротив, я с тревогой созерцал этого прусского орла, и пока другие восторгались, как смело он глядит на солнце, я все более пристально следил за его когтями. Я не верил этой Пруссии, этому долговязому лицемерно набожному герою в гамашах и с просторным желудком, большою пастью и капральской палкой, которую, прежде чем ударить ею, он опускает в святую воду. Мне не нравилась эта философски-христианская солдатчина, эта смесь белого пива, обмана и песка. Противна, глубоко противна была мне эта Пруссия, напыщенная, лицемерная, ханжеская Пруссия, этот Тартюф среди государств.

Наконец, когда Варшава пала, пал и мягкий благочестивый плащ, в который Пруссия умела так красиво драпироваться, и даже самые близорукие увидали железный панцырь деспотизма, который был скрыт под ним. Этим целительным разочарованием Германия обязана несчастью поляков.

Поляки! Кровь трепещет у меня в жилах, когда я пишу это слово, когда я думаю о том, как вела себя Пруссия

с этими благороднейшими детьми несчастья, как трусливо, как низко, как коварно! От внутреннего отвращения историк не сможет найти слов, когда, например, ему нужно будет рассказать, что произошло в Фишау; скорее палачу пристало описывать те бесчестные подвиги... Я слышу, как шипит уже раскаленное железо на тощей спине Пруссии!

Недавно я читал во «Всеобщей газете», что тайному советнику Фридриху фон-Раумеру, который недавно стяжал себе репутацию королевско-прусского революционера, заявив в качестве члена цензурной комиссии протест против чрезмерных запретительных строгостей, поручено теперь оправдать поведение прусского правительства в отношении поляков. Сочинение окончено, и автор уже получил за него свои 200 талеров прусской ходячей монетой. Между тем, как мне передают, оно, по мнению укермарской камарильи, написано все-таки еще недостаточно раболепно. Хотя это обстоятельство и кажется весьма ничтожным, все же оно достаточно значительно, чтобы охарактеризовать дух правителей и их подчиненных. Я случайно знаю бедного Фридриха фон-Раумера: я иногда видел, как он гулял Под Липами в своем серо-синем сюртучишке и сине-серой военной шапочке; я как-то видел его на кафедре, когда он рассказывал о смерти Людовика XVI, пролив при этом несколько королевско-прусских чиновничьих слез. Потом я читал в дамском альманахе его «Историю Гогенштауфенов»; я также знаю его «Письма из Парижа», в которых он сообщает госпоже Крелингер и ее супругу свои мнения о здешней политике и о здешнем театре. Это — вполне миролюбивый человек, спокойно ждущий в хвосте. Из всех посредственных писателей он еще наилучший, и притом он не совсем лишен соли, и у него есть некоторая внешняя эрудиция, и потому-то он напоминает старую сухую селедку, завернутую в ученую макулатуру. Повторяю, это — миролюбивейшее существо, которое всегда спокойно давало своим начальникам навьючивать на себя мешки и послушно трусило с ними на должностную мельницу и порою лишь останавливалось там, где слышались звуки музыки. Каким же низким в своей жажде притеснений должно было явить себя правительство, если

даже какой-нибудь Фридрих фон-Раумер потерял терпение и встал на дыбы и более не пожелал трусить дальше и даже заговорил человеческим языком! Может быть, он увидел по дороге ангела с мечом, которого берлинские балаамы еще не видят в своем ослеплении? Ах! Они с самыми благими намерениями надавали бедной твари пинков, они кололи ее своими золотыми шпорами, они били ее уже в третий раз. А народ борусский — и по этому можно судить о его состоянии — прославил своего Фридриха фон-Раумера как Аякса свободы.

Этим королевско-прусским революционером воспользовались сейчас для составления апологии поведения Пруссии по отношению к Польше, чтобы восстановить в глазах общественного мнения честь берлинского кабинета.

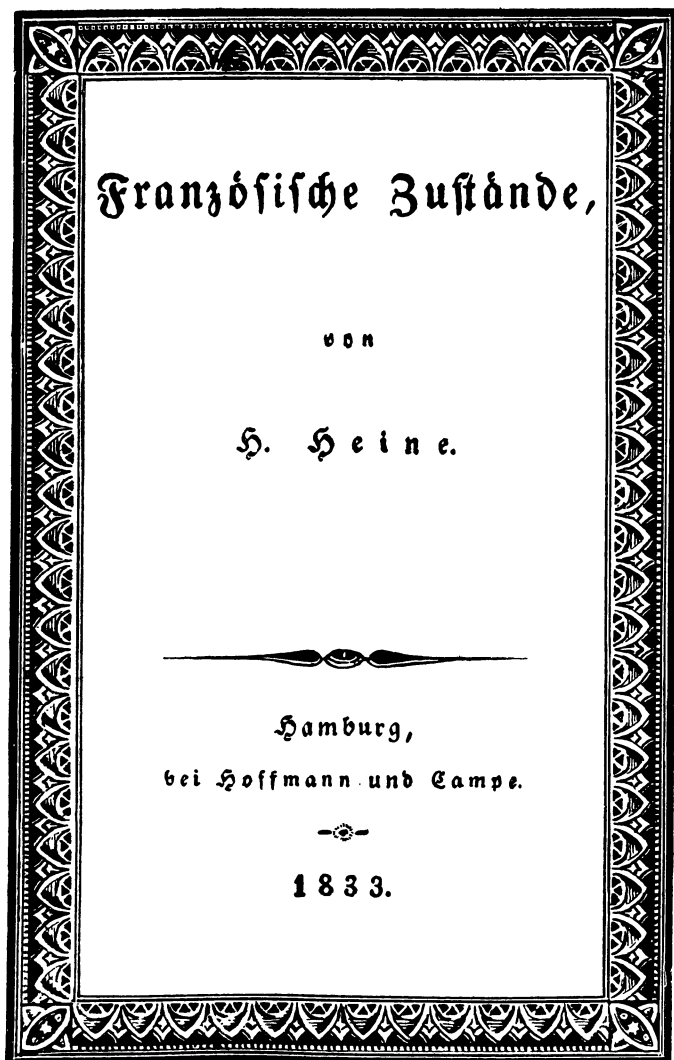
О, эта Пруссия! Как она умеет пользоваться людьми! Она умеет извлекать выгоду даже из своих революционеров. Для своих государственных комедий она нуждается в фигурантах всех цветов. Даже зебр с трехцветными полосами пускает она в ход. Так, в последние годы она пользовалась своими яростнейшими демагогами, чтобы они проповедывали повсюду, что вся Германия должна стать прусской. Гегель должен был оправдывать рабство и существующее объявлять разумным. Шлейермахер должен был протестовать против свободы и поучать христианскому смирению перед волей высших. Возмутительно и бесчестно пользоваться так философами и теологами, влиянием которых хотят воздействовать на простой народ и которых принуждают публично позорить себя изменой разуму и богу! Сколько прекрасных имен, сколько чудных талантов погибает там ради недостойнейших целей! Как прекрасно было имя Арндта, прежде чем он, по приказанию свыше, написал мерзкую книжонку, в которой он виляет хвостом, словно пес, и, подобно вандальской собаке, лает на июльское солнце. Штегеман — имя, так прекрасно звучавшее, — сколь низко он пал с тех пор, как сочинил свви русские песни! Да простит ему это муза, для лучших песен освятившая некогда своим священным поцелуем его уста. Что сказать мне о Шлейермахере, кавалере ордена Красного орла третьей степени? Когда-то он был рыцарем более славного ордена,

и сам был орлом, и принадлежал к первой степени. Но губят не одних только великих, а также и малых. Вот бедный Ранке, которого прусское правительство на свой счет послало на некоторое время путешествовать; у него был приятный талант — он умел вырезать маленькие исторические фигурки и живописно приклеивать их одну возле другой, добрейшая душа, нежная, как баранина с тельтовской репой, невиннейший человек, которого я, если когда-нибудь женюсь, выберу другом дома, и притом, разумеется, либерал, — и он-то должен был недавно напечатать в правительственной газете апологию постановлений сейма. Другие стипендиаты, которых я не хочу называть, должны были сделать то же самое, и все же они вполне либеральные люди.

О, я их знаю, этих северных иезуитов! Тот, кто когда-либо по нужде или по легкомыслию принял от них хоть самую малость, навсегда попадает к ним в лапы. Как ад не отпускает Прозерпину, потому что она вкусила там гранатное зернышко, так и иезуиты не отпускают человека, который принял от них хоть самую безделицу, будь то одно-единственное зернышко золотого яблока или, выражаясь прозаически, всего один лишь луидор; едва разрешают они ему, как ад — Прозерпине, проводить полгода в надземном мире. В это время подобные люди являются людьми света и садятся рядом с нами, олимпийцами, и говорят и пишут божественно либерально; все же в положенный час они снова спускаются во тьму ада, в царство обскурантизма, и сочиняют прусские апологии, статьи против *Messenger* *, проекты законов о цензуре или даже оправдание постановлений сейма.

Последние, т. е. решения сейма, я не могу оставить без обсуждения. Я не буду опровергать их казенных защитников и, тем менее, пытаться, как часто бывало, доказывать их незаконность. Так как я хорошо знаю, что за люди изготовили документ, на который опираются эти постановления, то я нимало не сомневаюсь, что этот документ, а именно Венский союзный акт, содержит законнейшие основания для всякой деспотической прихоти. До сих пор мало поль-

* Буквально: посланец, вестник.



Обложка первого издания «Французских дел»
Гейне 1833 г.

зовались этим мастерским произведением благородного юнгерства. Но теперь, когда оно, это мастерское произведение, выставлено на ясный дневной свет, когда настоящие красоты этого произведения, тайные пружины, скрытые кольца, к которым может быть прикреплена любая цепь, капканы, потайные железные ошейники, застеночные обручи — словом вся хитрая искусная работа делается видимой для всех, — теперь всякий видит, что немецкий народ, после того как он ради своих государей пожертвовал добром своим и кровью и в благодарность должен был принять обещанную награду, был безбожнейшим образом обманут; что с нами разыграли дерзкую шутку; что вместо обещанной Великой хартии свободы для нас изготовили письменно закрепленное рабство.

В силу моей компетенции как доктора обоих прав я торжественнейше заявляю, что подобный документ, сфабрикованный предателями-депутатами, недействителен и незаконен; в силу моего долга как гражданина я протестую против всех выводов, которые в постановлениях сейма от 28 июня сделаны из этого недействительного акта; в силу моих полномочий как публично высказывающегося писателя я возбуждаю против изготовителей этого документа обвинение и обвиняю их в злоупотреблении доверием народа, я обвиняю их в оскорблении народного величества, я обвиняю их в измене немецкому народу, — да, я обвиняю их!

Бедные немцы! Пока вы отдыхали от боев за ваших государей, и хоронили братьев, павших в этих боях, и перевязывали друг другу ваши честные раны, и, улыбаясь, смотрели, как еще струится кровь из вашей груди, переполненной радостью и доверием, радостью за любимых спасенных государей, доверием к священнейшему для человека чувству благодарности, — в то самое время там, на юге, под Веной, в старых кузницах аристократии, ковался союзный акт!

Странное дело! Тот самый монарх, который больше всего был обязан своему народу и потому обещал ему представительное правление, национальную конституцию, какую обладают другие свободные народы, обещал во дни бедствий черным по белому, обещал в решительнейших выражениях, — этот монарх сумел теперь склонить к нару-

шению клятвы и к предательству также и других немецких монархов, считавших себя обязанными дать своим подданным свободное правление, и он опирается теперь на Венский союзный акт, чтобы свести на-нет едва расцветшие немецкие конституции, он, которому нельзя было бы, не краснея, произносить слово «конституция».

Я говорю о его величестве Фридрихе-Вильгельме, третьем этого имени, короле прусском!

При том монархическом образе мыслей, какого я всегда придерживался и вероятно буду придерживаться впредь, подвергать слишком суровой хуле особу государей — противоречит моим правилам и чувствам. Я гораздо более склонен восхвалять их за их добрые качества. Поэтому я охотно хвалю личные добродетели монарха, систему управления которого — или, вернее, его кабинет — я только-что подверг такой откровенной критике. Я с удовольствием отмечаю, что Фридрих-Вильгельм III как человек заслуживает то высокое уважение и ту любовь, которыми столь щедро дарит его большая часть прусского народа. Он добр и храбр. Он явил себя стойким в несчастии и, что бывает гораздо реже, кротким в счастье. Он чист сердцем, трогательно скромн, бюргерски непритязателен, он прекрасный семьянин, нежный отец, он особенно нежен к прекрасной царице, и его нежности мы, быть может, обязаны холерой и еще большим злом, с которым бороться будут лишь наши потомки. Кроме того, король прусский очень верующий человек, он твердо стоит за веру, он добрый христианин, он строго придерживается евангельского исповедания, он сам сочинил литургию, он верит в символы... Ах, я хотел бы, чтобы он верил в Юпитера, отца богов, который отмщает клятвопреступление, и чтобы он дал нам, наконец, обещанную конституцию!

Или слово короля не столь же свято, как клятва?

Из всех добродетелей Фридриха-Вильгельма более всего, однако, восхваляют его справедливость. О ней рассказывают трогательные истории. Еще недавно он из своей личной кассы пожертвовал добрых 11 227 талеров 13 грошей, чтобы удовлетворить законные притязания мещанина из Кирица. Рассказывают, что сын мельника в Сан-Суси, нуждаясь

в деньгах, хотел продать знаменитую ветряную мельницу, из-за которой его отец тягался с Фридрихом Великим. Нынешний король велел, однако, ссудить нуждающемуся большую сумму, чтобы знаменитая ветряная мельница осталась в прежнем виде, как памятник прусской справедливости. Все это очень мило и похвально, но только где же обещанная конституция, на которую прусский народ, по закону божескому и человеческому, имеет самые неотъемлемые права? Доколе прусский король не исполнит этой священнейшей «obligatio»*, доколе он будет лишать свой народ заслуженной свободной конституции, я не смогу назвать его справедливым, и когда я вижу ветряную мельницу в Сан-Суси, я думаю не о прусской справедливости, а о прусской ветрености.

Я хорошо знаю, что литературные наемники утверждают, будто король прусский обещал эту конституцию лишь по своей прихоти, — обещание, совершенно не связанное с обстоятельствами времени. Глупцы! Лишенные сердца, они не чувствуют, что когда людей лишают того, что им следует по праву, это их оскорбляет гораздо слабее, чем когда им отказывают в том, что было им обещано просто из любви, ибо в подобных случаях задевается еще и наше самолюбие, так как мы видим, что человек, давший нам обещание по доброй воле, уже менее дорожит нами.

Или в самом деле только личная прихоть, совершенно не связанная с обстоятельствами времени, заставила некогда короля Пруссии обещать своему народу свободную конституцию? Значит, он даже и тогда не собирался быть благодарным? А у него было к тому так много оснований, ибо никогда монарх не находился в положении более жалком, чем то, в котором король прусский очутился после битвы при Иене и из которого он был спасен своим народом. Если бы к его услугам не находились тогда утешения религии, он должен был бы впасть в отчаяние от того презрения, с каким третировал его император Наполеон. Но, как уже сказано, он находил утешение в христианстве, которое и вправду является лучшей религией после проигранной битвы. Его

* обязанности, обязательства

подкреплял пример его спасителя. Он тоже мог сказать: «Царство мое не от мира сего!» И он простил своим врагам, которые заняли всю Пруссию четырехсоттысячной армией. Если бы Наполеон не был тогда занят гораздо более важными делами, которые не давали ему слишком много думать о его величестве Фридрихе-Вильгельме III, он бы наверно дал ему полную отставку. Впоследствии, когда все короли Европы сплотились против Наполеона, и человек народа был побежден в этом бунте князей, и прусский осел нанес умирающему льву последние удары копытом, тогда он раскаялся — но слишком поздно — в этом упущении. Когда он в своей деревянной клетке на св. Елене расхаживал взад и вперед и ему приходило на память, что он ублажал папу и забыл раздавить Пруссию, он скрежетал зубами, и если тогда ему под ноги попадалась крыса, он давил бедную крысу.

Наполеон теперь мертв и лежит в своем плотно закрытом свинцовом гробу под песком Лонгвуда на острове св. Елены. Кругом море. Значит, его вам нечего бояться. И последних трех богов, оставшихся еще на небе, — отца, сына и святого духа, — вам также нечего бояться, потому что вы в хороших отношениях с их святой челядью. Вам нечего бояться, потому что вы могучи и мудры. У вас есть золото и ружья, а все, что продается, вы можете купить, и все, что смертно, вы можете умертвить. Против вашей мудрости также нельзя устоять. Каждый из вас — Соломон, и жаль, что царицы Савской, красавицы, уже нет в живых: вы бы ее разгадали до самой рубашки. Еще есть у вас и железные горшки, куда вы можете запрятать тех, кто загадывает вам загадки, которых вы вовсе не хотите знать, и вы можете запечатать и погрузить их в море забвения. Совсем, как царь Соломон. Подобно ему вы также понимаете язык птиц. Вы знаете все, о чем насвистывают и щебечут в стране, а не нравится вам пенье какой-нибудь птицы, — на то у вас есть большие ножницы, которыми вы ей как следует подрезываете клюв и, как слышно, вы собираетесь завести еще большие ножницы для тех, чья песня превышает двадцать листов. Притом у вас на службе состоят умнейшие птицы: все соколы, все вороны,

да еще черные, все павы, все совы. И жив еще старый Симуург, и он у вас великий визирь, а это самая умная птица на свете. Он снова хочет сделать государство совершенно таким, каким оно было при доадамовских султанах, и потому он день и ночь неутомимо кладет яйца, и во Франкфурте их высиживают. Гудгуд, аккредитованный удод, носится между тем по бранденбургским пескам с хитрейшими депешами в клюве. Вам нечего бояться.

Только одного советовал бы я вам бояться — «Moniteur» * 1793 г. Это — магическая книга, которую вам не заковать в цепи, и есть в ней слова заклятий, которые много могущественнее, чем золото и ружья, слова, которыми мертвых можно вызвать из могил и живых послать на смерть, слова, которые из карликов делают великанов, а великанов раздробляют в прах, — слова, которые рассекают всю вашу мощь, как нож гильотины — королевскую шею.

Я открою вам правду. Есть люди, у которых достаточно храбрости, чтобы выговорить те слова, и которые не побоялись бы явления самых страшных духов, но они как раз не умели найти в книге нужное слово, да и не были бы в силах выговорить его своими толстыми губами; они не чародеи. Другие же, хотя и знакомы с волшебным жезлом, и могли бы найти нужное слово, и были бы в состоянии выговорить его своим чародейским языком, были робки сердцем и испугались духов, которых должны были заклинать; ибо — увы — мы не знаем словца, которым укрощают духов, когда шабаш в разгаре; мы не знаем, как загнать пробужденные к жизни метлы снова в их деревянную неподвижность, когда они наполняют дом красной водой; мы не знаем, как заговаривать огонь, если он слишком уж бешено начинает лизать все кругом; мы побоялись.

Но не полагайтесь на наше бессилие и нашу боязнь. Замакированный муж века, у которого столь же отважное сердце, сколь искусный язык, и который знает великое слово заклятия и в силах выговорить его, стоит, быть может, уже вблизи вас. Может быть, он наряжен в лакейскую ливрею или даже

* «Всеобщего вестника»

в костюм арлекина, и вы не подозреваете, что это ваш губитель покорно разувает вас или смешит вас своими дурачествами. Не становится ли вам жутко порой, когда раболопные фигуры с почти насмешливым подобострастием вилиют вокруг вас хвостом и вам внезапно приходит на ум, уж не хитрость ли это, пожалуй? А этот несчастный, что ведет себя таким идиотом-абсолютистом, суетится с такой скотской покорностью, — уж не тайный ли он Брут? Не снятся ли вам иногда ночью сны, предостерегающие вас от малейших, ничтожнейших червей, которых днем вы случайно видели ползающими? Не пугайтесь! Я только шучу: вы в полной безопасности. Наши глупые малые, эти подхалимы, насколько не притворяются. Даже Ярке не опасен. Будьте спокойны и насчет тех маленьких шутов, что иногда шутят с вами двусмысленные шутки. Большой шут охранит вас от малых. Большой шут — великий шут, он великан, и имя ему — немецкий народ.

О, это великий шут! Его пестрый кафтан состоит из тридцати шести заплат. Его дурацкий колпак вместо бубенчиков сплошь увешан многопудовыми церковными колоколами, и в руке он держит огромную железную палку. Но грудь его полна страданий. Только он не хочет думать об этих страданиях, и тем веселее откалывает он шутки, и порой он смеется, чтобы не плакать. Если же страдания, пробуждаясь в памяти, становятся слишком жгучими, тогда он, как безумный, трясет головой и сам себя оглушает христиански благолепным звоном своего колпака. Если его навещает добрый друг, который желает участливо поговорить с ним о его страданиях или даже советует ему какое-нибудь домашнее средство от них, тогда он приходит прямо в бешенство и бьет его железной палкой. Вообще его приводит в бешенство всякий, кто желает ему добра. Он злейший враг своих друзей и лучший друг своих врагов. О, величайший шут всегда останется верен и покорен вам; своими исполинскими дурачествами он всегда будет потешать ваших барчуков; он каждый день ради их забавы будет проделывать свои старые фокусы и балансировать на носу неисчислимыми тяжестями и позволять топтаться у себя на брюхе сотням тысяч

солдат. Но неужели вам совсем не страшно, что когда-нибудь все эти тяжести станут ему неважно и что он стряхнет с себя ваших солдат и, разыгравшись, вам самим придавит голову своим мизинцем так, что мозг ваш брызнет до самых звезд?

Не пугайтесь: я только шучу. Великий шут пребудет верно-подданически покорен вам, и если малые шуты захотят вас обидеть, великий шут убьет их.

Писано в Париже 18 октября 1832 г.

Генрих Гейне



Vive la France! Quand même*...

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Париж, 28 декабря 1831 г.

Наследственные пары произнесли теперь свои *last speeches* ** и оказались настолько умны, что сами объявили себя мертвыми, чтобы не быть убитыми народом. Этот довод с особой настойчивостью приводил им Казимир Перье. Таким образом с этой стороны больше нет повода к восстаниям. Между тем положение народных низов в Париже, по слухам, так безнадежно, что при малейшем внешнем поводе может произойти восстание более страшное, чем обычно. Я, однако, не думаю, что мы столь близки к подобным вспышкам, как утверждают сейчас. Не то, чтобы я считал правительство слишком уж могущественным, а враждебные ему партии очень уже бессильными. Напротив, правительство обнаруживает свою слабость при каждом случае; в частности это проявилось во время лионских беспорядков. А что касается враждебных партий, то они достаточно озлоблены и могли бы, кроме того, найти отличнейшую поддержку у тысяч, которые умирают в нищете. Но сейчас стоит холодная туманная зимняя погода.

— Сегодня вечером они не придут, потому что идет дождь, — сказал Петитон, растворив окно и снова спокойно закрыв его, тогда как друзья его, жирондисты, ожидали нападения со стороны народа, который натравливала партия Горы.

* Да здравствует Франция! Несмотря ни на что...

** последние речи

Этот анекдот рассказывают в историях революции, чтобы показать флегматичность Петiona. Но с тех пор, как я собственными глазами изучаю природу парижских народных восстаний, я вижу, как неправильно понимались эти слова. Для хороших восстаний требуется действительно хорошая погода, ласковый солнечный свет, приятно-теплый день, и оттого в июне, июле и августе они удавались всего лучше. При этом также не должно быть дождя, потому что парижане больше всего боятся дождя. Он разгоняет сотни тысяч мужчин, женщин и детей, которые, в большинстве принаряженные, весело устремляются на поля битв и своей численностью возбуждают храбрость бойцов. Не должно быть и тумана, иначе нельзя читать большие плакаты, которые правительство приказывает развешивать на перекрестках. А это чтение должно ведь вызвать стечение людей в определенных местах, где они лучше всего могут толкаться, тесниться и воодушевляться своим собственным шумом. Гизо, почти немецкий педант, будучи одним из правителей Франции, желал показать в таких плакатах свои философски-исторические познания, и, как уверяют, именно потому, что толпы народа не могли особенно легко справиться с этим чтением и все стремительнее разрастались на углах улиц, восстание оказалось настолько серьезным, что бедный доктринер, жертва собственной учености, должен был отказаться от своего поста. Но, что, пожалуй, всего важнее, в холодную погоду нельзя читать газет в Пале-Рояль, а ведь это как-раз то место, где под прекрасными деревьями собираются самые яростные политики, читают газеты, дискутируют неистовыми группами и во все стороны расточают свое вдохновение.

Теперь стало очевидно, как несправедливо судили о покойном герцоге Орлеанском, Филиппе Эгалите, приписывая ему верховное руководство большинством народных восстаний только потому, что установлено было, будто Пале-Рояль, где он жил, служит для них центром. В этом году Пале-Рояль все еще являлся

таким центром; он все еще был местом сборищ всех беспокойных голов; он все еще был штаб-квартирой недовольных. А ведь теперешний его владелец, конечно, не созывал народ и не подкупал его. Дух революции не хотел покинуть Пале-Рояль, хотя владелец его стал королем. Он даже был вынужден отказаться от своего прежнего жилища. Говорили о различных опасениях, будто бы подавших повод к этой перемене квартиры, а именно — о страхе перед французской копией порохового заговора. Конечно, поскольку верхнюю часть дворца занимал король, а нижний этаж сдавался под лавки, легко было бы притащить бочки с порохом и с большим удобством взорвать на воздух его величество. Другие думали, что неприлично было Луи-Филиппу править наверху, в то время как внизу господин Шеве продавал свои колбасы. Но ведь последнее — столь же почтенное дело, и королю-буржуа не стоило бы съезжать из-за этого, особенно Луи-Филиппу, который еще в прошлом году издевался над всякими феодальными и цесарскими обыкновениями и костюмами и говорил некоторым юным республиканцам, что золотая корона слишком холодна зимой и слишком горяча летом, скипетр слишком туп, чтобы пользоваться им как оружием, и слишком короток, чтобы служить палкой, и что гораздо полезнее в нынешнее время круглая фетровая шляпа и хороший зонт.

Не знаю, помнит ли еще Луи-Филипп эти слова, ибо много времени прошло уже с тех пор, как он в последний раз гулял по Парижу в круглой шляпе и с зонтиком и с утонченной искренностью разыгрывал роль простого прямодушного отца семейства. Он каждому торговцу москотильными товарами и ремесленнику пожимал тогда руку, и для этого была у него, говорят, особенно грязная перчатка, которую он всякий раз снимал и менял на более чистую лайковую перчатку, когда снова подымался в свой высший мир, к своим старым дворянам, банкирам-министрам, интриганам и амарантово-красным лакеям. Когда я видел его в последний

раз, он прогуливался взад и вперед между золотыми башенками, мраморными вазами и цветами по террасе Орлеанской галлерей. На нем был черный сюртук, а на широком лице сияла беспечность, внушающая нам почти что ужас, если подумать о головокружительном положении этого человека. Говорят, впрочем, что душа его отнюдь не так беспечна, как его лицо.

Конечно, достойно порицания, что лицо короля избирают предметом стольких шуток и что оно выставлено в витринах всех торговцев карикатурами как мишень для насмешек. В тех случаях, когда суды хотят положить конец этой дерзости, зло обычно возрастает. Мы видели недавно, что из подобного процесса вырос еще другой процесс, причем король был еще более скомпрометирован. Так, Филиппон, издатель журнала «Карикатура», заявил в своей защитительной речи, что если в какой-нибудь роже на карикатуре пожелать найти сходство с лицом короля, то его можно отыскать, как только этого пожелают, даже в любом, хотя бы очень отдаленном изображении, и в конце концов никто не будет гарантирован от обвинения в оскорблении величества. Для подтверждения своих слов он на куске бумаги нарисовал несколько карикатурных лиц, из которых первое было поразительно похоже на короля, второе же походило на первое, но так, что сходство с королем не было слишком заметно; третье лицо походило на второе, а четвертое на третье, однако же так, что это четвертое лицо совсем напоминало грушу и все-таки представляло слабое, но тем более забавное сходство с чертами любимого монарха. Так как присяжные заседатели всё же признали Филиппона виновным, он напечатал у себя в журнале свою защитительную речь и в качестве одного из доказательств приложил к ней литографированный листок со своими четырьмя карикатурами. За эту литографию, известную под названием «Груши», остроумный художник опять был привлечен к ответственности, и от нового процесса ожидают забавнейшей путаницы. Я думаю, Луи-Фи-

липп — не бесчестный человек, он наверно не хочет зла, и ошибка его только в том, что он не понимает собственного жизненного принципа. Это может погубить его. «Ибо, — как глубокомысленно говорит Саллюстий, — правительства могут держаться лишь тем, из чего они возникли». Так например, правительство, основанное на насилии, может держаться тоже только насилием, а не хитростью, и наоборот; Луи-Филипп забыл, что его правление родилось из принципа народного суверенитета, и в плачевнейшем заблуждении он пытается укрепить свое положение каким-то quasi-легитимизмом, сближением с неограниченными монархами и продолжением порядков периода Реставрации. Поэтому-то духи революции теперь негодуют и, принимая разные личины, нападают на него. Эта борьба во всяком случае еще более законна, чем борьба против прежнего правительства, которое ничем не было обязано народу и с самого же начала явно враждебно противопоставило ему себя. Луи-Филипп, который обязан короной народу и булыжникам июльских мостовых, — неблагодарный человек, отступничество которого тем более прискорбно, что с каждым днем становится все более ясно, какому грубому обману здесь поддались. Да, каждый день делаются явные шаги вспять, и подобно тому, как камни мостовой, которыми в Июльские дни пользовались как оружием и которые с тех пор еще лежали в некоторых местах нагроможденные в кучи, теперь снова спокойно вбивают в землю, чтобы не оставалось никаких видимых следов революции, — так и народ втоптывают, словно камни, на прежнее место и снова попирают ногами.

Выше я забыл отметить: к числу побуждений, которые приписываются королю, когда он покидал Пале-Рояль и переезжал в Тюильри, относился также и слух, что он принял корону лишь для вида, что в душе он остался верен своему законному повелителю, Карлу X, что он подготавливает его возвращение и оттого не переезжает в Тюильри. Карлисты пустили этот слух,

и он был достаточно нелеп, чтобы заслужить доверие в народе. Теперь этот слух опровергнут на деле, сын Эгалите, наконец, вступил победителем через триумфальные ворота Карусельской площади и разгуливает теперь с беспечным лицом, в шляпе и с зонтиком, по всемирно историческим покоем Тюильри. Говорят, королева сильно восставала против переезда в этот «дом несчастья». О короле рассказывают, что в первую ночь ему спалось не так хорошо, как всегда, и что его посетили разные призраки. Так, он будто бы видел Марию-Антуанетту, носившуюся по комнатам с раздувающимися от гнева ноздрями, как некогда в день 10 августа; потом он слышал лукавый смешок того красного человечка, который явственно смеялся иногда и за спиной Наполеона, в то время как последний раздавал в зале аудиенций свои горделивейшие приказы; под конец же к нему явился св. Дени и от имени Людовика XVI вызвал его на дуэль на гильотине. Св. Дени, как всякий знает, — покровитель королей Франции; как известно, этого святого изображают держащим в руке собственную голову.

Опаснее всех призраков, притаившихся внутри дворца, те глупости, которые творятся при производстве наружных строительных работ. Я имею в виду пресловутые *fossés des Tuileries* *. Они долгое время были главным предметом разговоров как в салонах, так и на перекрестках, и до сих пор они не выходят из сферы горьких и злобных обсуждений. Пока перед садовым фасадом Тюильри еще стояли высокие дощатые заборы, скрывавшие работы от глаз публики, о них строили нелепейшие предположения. Большинство полагало, что король хочет укрепить дворец, и притом со стороны сада, откуда народ мог некогда, в день 10 августа, так легко ворваться. Говорили даже, что из-за этого будет снесен Пон-Рояль **. Другие полагали, будто король хочет лишь воздвигнуть длинную

* тюильрийские рвы

** Королевский Мост

стену, чтобы закрыть для себя вид на площадь Согласия; что это, впрочем, делается не из детского страха, а из чуткой впечатлительности, ибо его отец умер на Гревской площади, площадь же Согласия служила местом казней для старшей линии. Между тем и на сей раз, как это часто случается с бедным Луи-Филиппом, к нему были несправедливы. Когда таинственные дощатые заборы перед дворцом были убраны, не оказалось ни укреплений, ни валов, ни рвов, ни бастионов, ничего, кроме глупости да цветов. Королю, при его страсти к постройкам, пришла только мысль — отделить от большого общественного сада маленький садик перед дворцом для себя и для своей семьи; это отделение достигнуто было посредством обыкновенной канавы и проволоочной решетки в несколько футов вышины, и на разбитых клумбах уже красовались цветы, столь же невинные, как и сама эта садовая затея короля.

Но Казимир Перье, говорят, был сильно разгневан этой невинной затеей, проведенной без его ведома. Ибо она, как бы то ни было, подает повод к справедливому негодованию публики, недовольной тем, что изуродовали весь сад, мастерское создание Ленотра, которое производит такое сильное впечатление именно своим величественным ансамблем. Это ведь совершенно то же, что выкинуть несколько сцен из Расиновой трагедии. Английские сады и романтические драмы всё же можно сокращать без ущерба, а иногда и с пользой; но поэтические сады Расина с их божественно скучными единствами, патетическими мраморными статуями, размеренными выходами и строгой стрижкой, так же как и зеленая трагедия Ленотра, столь величественно начинающаяся широкой экспозицией Тюильри и столь величественно завершаемая возвышенной террасой, откуда открывается вид на катастрофу площади Согласия, — не могут быть подвергнуты ни малейшему изменению без нарушения их симметрии, а следовательно и их красоты. Кроме того, эта несвоевременная садовая затея еще и по другим причинам вредит королю.

Во-первых, от этого он еще чаще становится предметом разговоров, что для него вряд ли особенно полезно; во-вторых, из-за этого в непосредственной близости его постоянно собирается толпа зевак, которые пускаются в разные сомнительные толкования; глаза по сторонам, они, может быть, только стараются заглушить голод, но во всяком случае они обладают длинными праздными руками. Там можно слышать горько-язвительные замечания и красные шуточки, напоминающие о девяностых годах. У одного из входов в новый сад стоит бронзовая копия «Человека, точащего ножи», статуя, оригинал которой можно видеть во Флоренции в «Трибуне» и о значении которой существуют разные мнения. Но здесь, в Тюильрийском саду, я слышал кое-какие новейшие толкования ее смысла, которые вызвали бы у иных антикваров усмешку сожаления, а у иных аристократов — тайную дрожь.

Конечно, эта садовая затея — величайшая глупость и навлекает на короля самые злобные нарекания. Ей можно даже дать символическое истолкование: — Луи-Филипп проводит ров между собой и народом, он внешне отделяет себя от него. Что же, он так мелочно воспринял и так близоручко понял сущность конституционной монархии, что думает, будто он, оставляя для народа большую часть сада, с тем большим правом может владеть меньшею частью, как своим собственным садиком? Нет, абсолютная монархия с ее величаво-эгоистическим Людовиком XIV, который вместо *«l'État, c'est moi»* * мог также сказать: *«des Tuileries, c'est moi»* **, должна казаться более величественной, чем конституционный народный суверенитет с его Луи-Филиппом I, боязливо отгораживающим себе собственный садик и требующим жалкого *chacun chez soi* ***. Говорят, все работы будут закончены весной. Тогда и новая монархия, которая сейчас еще так мало отстроена и стоит еще свежошту-

* Государство — это я

** Тюильри — это я

*** «каждый у себя»

катуренной, примет несколько более законченный вид. Теперешний вид ее в высшей степени необычен. В самом деле, когда смотришь теперь на Тюильри со стороны сада и видишь, как там копают и перерывают землю, переносят статуи, сажают деревья, лишённые листвы, видишь старый каменный мусор, новые строительные материалы и все эти переделки, а кругом слышишь такой стук, крики, смех, шум, то кажется, будто перед тобой — символ новой, еще недоконченной монархии.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Париж, 19 января 1832 г.

«Temps» * замечает сегодня, что «Всеобщая газета» печатает сейчас статьи, враждебные королевской семье, и что немецкая цензура, не позволяющая обычно никаких неодобрительных суждений о неограниченных монархах, нимало не падит короля-гражданина. «Temps» как-никак — умнейшая газета на свете! Несколькими спокойными словами она достигает своих целей гораздо скорее, чем другие самой неистовой полемикой. Ее хитрый намек был достаточно понят, и я по крайней мере знаю одного либерального писателя, который теперь считает противным своей чести говорить с разрешения цензуры что-либо враждебное королю-гражданину, чего ему не разрешили бы, если бы дело шло о короле абсолютном. Но пусть зато Луи-Филипп доставит нам удовольствие, пусть он останется королем-гражданином. Именно потому, что с каждым днем он все более напоминает королей абсолютных, нам приходится негодовать на него. Как человек он наверно безукоризненно честен, он — достойный уважения отец семейства, нежный супруг и хороший хозяин. Но прискорбно, что он велит срубить все деревья свободы и срывает с них прелестный лиственный убор, чтобы смастерить из них подпорки для шатающегося Орлеан-

* «Время»

ского дома. Поэтому, только поэтому сердится на него либеральная пресса, и духи истины ради борьбы с ним не гнушаются даже ложью. Весьма грустно, прямо-таки достойно слез, что из-за этой тактики должна страдать даже семья короля, столь же невинная, сколь достолюбезная. В этом отношении немецкая либеральная пресса, менее остроумная, но более чувствительная, чем ее старшая французская сестра, не даст повода к упрекам в жестокости. «Вы, по крайней мере, должны были иметь сострадание к королю!» — восклицал недавно миролюбивый «Journal des Débats» *. «Сострадание к Луи-Филиппу! — возразила «Tribune». ** — Этот человек требует пятнадцати миллионов и нашего сострадания! Имел он сострадание к Италии, к Польше и т. д.?» Я на-днях видел несовершеннолетнего сироту Менотти, отец которого был повешен в Модене. Видел я также недавно сеньору Луизу де-Торрихос, несчастную, смертельно бледную женщину, поспешно возвратившуюся в Париж после того, как на испанской границе она узнала о казни своего мужа и пятидесяти двух товарищей его по несчастью. Ах, я, право, чувствую сострадание к Луи-Филиппу!

«Tribune», орган открыто-республиканской партии, не знает пощады к своему врагу — монархии и каждый день проповедует республику. «National» ***, самая неумолимая и самая независимая газета Франции, поразительнейшим образом стала с недавних пор вторить в том же тоне. Жутко, словно отклик самых кровавых дней Конвента, прозвучали речи тех главарей «Société des amis du peuple», **** что на прошлой неделе предстали пред судом по обвинению в «заговоре против существующего правительства с целью свержения его и установления республики». Они были оправданы присяжными заседателями, так как доказали, что

* «Дневник прений»

** «Трибуна»

*** «Национальная газета»

**** Общества друзей народа»

отнюдь не состояли в заговоре, а напротив — выражали свое мнение перед лицом всей публики. «Да, мы хотим падения этого слабого правительства, мы хотим республики!» Таков был рефрен всех их речей перед судом.

Между тем как, с одной стороны, серьезные республиканцы обнажают мечи и негодуют в громовых речах, «Figaro» * блещет и хохочет и достигает наибольшего эффекта, пощелкивая своим легким бичом. Он неистощим в насмешках над «лучшей из республик» — выражение, которым точно так же дразнят и бедного Лафайета, ибо, как известно, однажды перед зданием городской ратуши он обнял Луи-Филиппа и воскликнул: «Vous êtes la meilleure république!» **. «Figaro» заметил на-днях, что республики уже не требуют с тех пор, как увидели лучшую. Столь же убийственно выразился он по поводу прений о смете расходов на двор: «La meilleure république coûte quinze millions» ***.

Республиканская партия никогда не простит Лафайету его промаха в отношении короля, предложенного им. Она ставит ему в упрек, что он достаточно давно был знаком с Луи-Филиппом и мог бы заранее знать, чего от него ждать. Лафайет теперь болен, болен от горя. Ах, благороднейшее сердце Старого и Нового света — как мучительно должно оно ощущать этот королевский обман! Тщетно Лафайет напоминал в первое время о «Programme de l'hôtel de ville» ****, о республиканских установлениях, которые должны были окружить королевскую власть, и подобных же обещаниях. Но его перекричали те болтуны-доктринеры, которые примером английской революции 1688 г. хотят доказать, что в июле 1830 г. в Париже сражались только за сохранение хартии и что все жертвы и бои имели целью лишь возвести на престол младшую линию Бурбонов взамен старшей, подобно тому как в свое время в

* «Фигаро»

** Вы — лучшая из республик!

*** Лучшая из республик стоит пятнадцать миллионов

**** Программа городской ратуши

Англии все кончилось возведением на престол Оранского дома взамен Стюартов. Тьер, который, правда, думает не так, как доктринеры, но высказывается сейчас в духе этой партии, оказал ей в последнее время немалое содействие. Этот глубочайший индифферентист, так удивительно умеющий соблюдать меру в ясности, понятности и наглядности своего писательского стиля, этот Гете в политике, является сейчас, бесспорно, самым могучим защитником системы Перье, и, право, своей брошюрой против Шатобриана он почти уничтожил этого Дон-Кихота легитимизма, который с таким пафосом восседал на своем крылатом Россинанте, держа меч, скорее отличавшийся блеском, нежели остротой, и стрелял лишь драгоценными жемчужинами вместо хороших, метких свинцовых пуль.

В своем негодовании на плачевный поворот событий многие энтузиасты свободы доходят даже до клеветы на Лафайета. Как далеко можно зайти в этом смысле, явствует из произведения Бельмонте, которое также направлено против известной брошюры Шатобриана и в котором с похвальной откровенностью ведется проповедь республики. Я привел бы целиком горькие замечания о Лафайете, которые встречаются в этом произведении, если бы, с одной стороны, они не были полны такой ненависти и, с другой стороны, не были связаны с неуместной на этих страницах апологией республики. Вместо этого я лишь сошлюсь на самое сочинение и в особенности на отдел его, озаглавленный: «Республика». Здесь видно, как несчастье делает несправедливыми людей, даже самых благородных.

Я не хочу оспаривать здесь блистательную мечту о возможности республики во Франции. Будучи роялистом по врожденной склонности, я делаюсь им во Франции также и по убеждению. Я убежден, что французы не могут вынести никакой республики, ни афинской, ни спартанской, ни тем менее северо-американской. Афиняне были учащейся молодежью человечества, афинская конституция была чем-то вроде

академической свободы, и неразумно было бы вводить ее вновь в наш взрослый век, в нашей седеющей Европе. А как бы мы вынесли конституцию Спарты, этой скучной большой фабрики патриотизма, этой казармы республиканской добродетели, этой величественно-скверной кухни равенства, где черные супы варились столь плохо, что аттические остряки утверждали, будто лакедемоняне оттого-то и презирают жизнь и так геройски бесстрашны в бою. Какой успех могла бы иметь подобная конституция в стране гурманов, в отчизне Вери, Вефура, Каррема! Последний, конечно, по примеру Вателя, бросился бы на свой меч, как истинный Брут кулинарного искусства, как последний гастроном! Право, если бы только Робеспьер ввел спартанскую кухню, гильотина оказалась бы излишней, ибо тогда последние аристократы умерли бы от ужаса или же стремительно эмигрировали бы. Бедный Робеспьер! Ты хотел ввести республиканскую строгость в Париже, в городе, где сто пятьдесят тысяч модисток и сто пятьдесят тысяч парикмахеров и парфюмеров правят свое смеющееся, вьющееся и благоухающее ремесло!

Монотонность, бесцветность и мещанство американской жизни были бы еще невыносимее в отчизне любопытства, тщеславия, мод и новинок. Поистине, болезненная жажда отличий нигде не свирепствует так, как во Франции. Пожалуй, за исключением Августа-Вильгельма Шлегеля, в Германии нет ни одной женщины, которая так любила бы украшаться цветными ленточками, как французы; даже июльские герои, сражавшиеся все же за свободу и равенство, дали себя потом украсить голубыми ленточками, чтобы отличаться от прочего народа. Однако, если я на этом основании сомневаюсь в успехе республики у французов, то все же нельзя из-за этого отрицать, что все ведет к республике, что роялистское почитание личности у лучших людей сменилось республиканским благоговением к закону, и что оппозиция, в течение пятнадцати лет разыгрывавшая комедию с королем, теперь продолжает ту же

комедию с самой монархией, и что, таким образом, песня, хоть на короткое время, может кончиться республикой. Карлисты способствуют тому же, ибо смотрят на это как на неизбежную стадию, через которую нужно пройти, чтобы вернуться к неограниченной монархии старшей линии. Вот почему они ведут себя сейчас, как ревностнейшие республиканцы, и даже Шатобриан восхваляет республику, называет себя республиканцем по влечению, братается с Маррастом и принимает от Беранже посвящение в рыцари. «Gazette», лицемерная «Gazette de France» * вздыхает теперь по республиканским формам правления, всеобщей подаче голосов, избирательным собраниям и т. д. Забавно, как перерядившиеся попики щеголяют сейчас санкюлотскими речами, как яростно они кокетничают якобинским красным колпаком, как тем не менее порой на них нападает страх, не надели ли они вместо него по рассеянности красную прелатскую скуфейку, как они тогда на миг снимают с головы взятый напрокат убор, и весь свет замечает их тонзуру. Такие люди тоже считают себя вправе поносить Лафайета, и для них это является сладким отдохновением после кислого республиканства и налагаемого на себя бремени свободы.

Но что бы ни говорили ослепленные друзья и лицемерные враги, Лафайет, наряду с Робеспьером, — самый чистый характер во всей французской революции и, после Наполеона, самый популярный ее герой. Наполеон и Лафайет — те два имени, что цветут теперь во Франции самым пышным цветом; конечно, слава их — различного рода: один сражался скорее ради мира, чем ради победы, а другой скорее ради лавра, чем ради дубового венка. Конечно, смешно было бы мерить одним масштабом величие обоих героев и ставить одного на пьедестал, воздвигнутый другому. Смешно было бы водружать статую Лафайета на Вандомскую колонну, ту колонну, что вылита из пушек, отбитых в стольких сражениях, и вида которой, как поет Барбье, не может

* Французская газета»

вынести ни одна французская мать. На эту железную колонну ставьте Наполеона, железного мужа, опирающегося и здесь, как и в жизни, на свою пушечную славу и в жутком одиночестве возносящегося до облаков, чтобы у всякого честолюбивого солдата при виде его, недостижимого, там, в вышине, смирившееся сердце исцелялось от суетной жажды славы и чтобы таким образом эта металлическая колонна, служа громоотводом для героического духа, приносила величайшую пользу делу мира в Европе.

Лафайет воздвиг себе колонну выше Вандомской и памятник тверже металла или мрамора. Где найти мрамор столь же чистый, как сердце старого Лафайета, где найти металл столь же твердый, как его верность? Правда, он всегда был односторонен, но односторонен, как магнитная стрела, указывающая всегда на север и никогда, хотя бы для разнообразия, на юг или на восток. Так Лафайет в течение сорока лет говорит каждый день одно и то же и постоянно указывает на Северную Америку. Это он открыл революцию декларацией прав человека. На этой декларации, без которой нет спасения, настаивает он и посейчас — односторонний человек, верный своим односторонним небесным сферам свободы! Конечно, он не гений, каким был Наполеон, в чьей голове гнездились орлы вдохновения, меж тем как в сердце его вились змеи расчета. Но зато он никогда не давал орлам запугивать себя, а змеям — соблазнять себя. Юношей — мудрый, как старец, старцем — пламенный, как юноша, защитник народа от козней великих мира, защитник великих мира против ярости народа, товарищ в борьбе и в страданиях, никогда не заносившийся и никогда не робевший, в меру строгий и милостивый — таким оставался Лафайет, всегда один и тот же. В своей односторонности и явной неизменности стоит он все на том же месте со дней Марии-Антуанетты и до сего часа; верный Эккарт свободы, он все еще, опираясь на свой меч и предостерегая от опасностей, стоит у входа в Тюильри, в этот предатель-

ский Венерин грот, откуда доносятся такие соблазнительные звуки и из чьих сладостных сетей никогда не смогут вырваться несчастные, запутавшиеся в них.

Правда, мертвого Наполеона французы все-таки любят еще больше, чем живого Лафайета. Быть может, именно потому, что он мертв, а это, по крайней мере для меня, — самое приятное в Наполеоне, так как будь он еще жив, мне пришлось бы бороться против него. За пределами Франции не имеют никакого представления о том, как еще сильно привязан к Наполеону французский народ. Поэтому и недовольные, если они отважатся когда-либо на решительные действия, начнут с того, что провозгласят молодого Наполеона, дабы обеспечить себе сочувствие масс. Наполеон — это для французов магическое слово, которое электризует их и оглушает. Тысячи пушек дремлют в этом имени, как в колонне на Вандомской площади, и Тюильри задрожит, если когда-нибудь эти пушки проснутся. Как евреи не произносили всуе имени бога своего, так и Наполеона редко называют здесь по имени, и зовут его чаще: Человек, l'Homme. Но повсюду можно видеть его изображения — из металла, из дерева, из гипса, на гравюрах и во всевозможных видах. На всех бульварах и перекрестках стоят ораторы, прославляющие его — Человека, и уличные певцы, воспевающие его деяния. Вчера вечером, возвращаясь домой, я попал в темный пустынный переулочек, где перед салыным огарком, воткнутым в землю, стояло дитя лет трех, не более, и лепетало песню во славу великого императора. Когда я бросил ему один су на разостланный платок, ко мне подползло еще что-то, также попросившее у меня су. То был старый солдат, который также мог бы спеть песенку во славу великого императора, ибо слава эта стояла ему обеих ног. Бедный калека просил меня не именем бога, он умолял с ревностной верой: «*Au nom de Napoléon donnez-moi un sou*».* Так имя это служит в на-

* Во имя Наполеона дайте мне су

роде и высшим заклинанием. Наполеон — его бог, его культ, его религия; и религия эта в конце-концов надоедает, как и всякая другая. Напротив, Лафайета почитают больше как человека или как ангела-хранителя. Он тоже живет, но менее героический, на картинах и в песнях; и даже, откровенно говоря, на меня произвело смешное впечатление, когда в прошлом году, в день 28 июля, пели «Парижанку», и я слышал слова «*Lafayette aux cheveux blancs*» *, меж тем как я видел его самого, стоящего рядом со мной, — в коричневом парике. Это было на площади Бастилии, герой был на подходящем месте, и все же я втайне не мог не смеяться. Быть может, именно эта комическая примесь делает его для нас человечески близким. Его добродушие действует даже на детей, и они понимают его величие, пожалуй, еще лучше, чем взрослые. По этому поводу я могу рассказать еще историйку о нищем, которая впрочем показывает характер Лафайетовой славы в ее отличии от славы Наполеона. Когда совсем недавно я стоял на углу перед Пантеоном и, как обычно, созерцая это прекрасное здание, погрузился в думы, маленький овернец попросил у меня су, и я, чтобы скорей отвязаться от него, дал ему монету в десять су. Однако после этого он еще доверчивее приблизился ко мне и сказал: «*Est-ce que vous connaissez le général Lafayette?*» **, а когда я ответил утвердительно на этот странный вопрос, самое горделивое удовлетворение изобразилось на простодушном, грязном лице красивого мальчишки, и он сказал с забавной важностью: «*Il est de mon pays*» ***. Он, верно, думал, что человек, давший ему десять су, должен быть и почитателем Лафайета, и тут заодно он счел меня заслуживающим того, чтоб откомендоваться мне его земляком.

Таким образом и сельское население проникнуто самым нежным уважением к Лафайету, — тем более,

* Лафайет с белыми волосами

** Вы знаете генерала Лафайета?

*** Он — мой земляк

что он и сам смотрит на сельское хозяйство как на свое главное занятие. Оно поддерживает в нем простоту и свежесть, которая могла бы исчезнуть при постоянном пребывании в городе. Он и в этом подобен тем великим республиканцам прошлого, которые также сами растили для себя капусту, во времена бедствий спешили от плуга на поле битвы или на трибуну, а после одержанных побед опять возвращались к своим сельским трудам. В поместье, где Лафайет проводит лучшее время года, он обычно окружен энергичными юношами и прекрасными девушками. Там гостеприимный стол и приветливые сердца, там много смеются и танцуют, там двор суверенного народа, там может быть представлен всякий, кто является сыном своих деяний и кто не вступал в мезальянс с ложью. И Лафайет там — церемониймейстер.

Но еще более, чем во всяком другом классе народа, почитание Лафайета господствует собственно в среднем сословии, среди ремесленников и мелких торговцев. Эти боготворят его. Лафайет — созидатель порядка, идол этих людей. Они чтят его как своего рода провидение на коне, как вооруженного ангела-хранителя общественной безопасности, как гения свободы, который заботится о том, чтобы во время битвы за свободу ничего не украли и чтобы всякий сохранил свою милую собственность. Великая армия общественного порядка, как назвал Казимир Перье национальную гвардию, упитанные герои в медвежьих шапках, изпод которых выглядывают головы лавочников, бывают вне себя от восторга, когда говорят о Лафайете, о своем старом генерале, о своем мирном Наполеоне. Да, он Наполеон для *petite bourgeoisie* *, для этих честных платежеспособных людей, для кума-портного и кума-перчаточника, которые днем, правда, слишком заняты, чтобы думать о Лафайете, но зато вечером прославляют его с удвоенным энтузиазмом, так что можно с уверенностью утверждать, что в одиннадцать часов, когда

* мелкой буржуазии

большинство лавок закрыто, слава Лафайета достигает своего апогея.

Выше я употребил слово «церемониймейстер». Мне вспоминается, что Вольфганг Менцель, говоря как-то в «Литературном листке» о триумфальном шествии Лафайета по Соединенным штатам и о депутациях, адресах и торжественных речах, имевших при этом место, с остроумной фривольностью назвал Лафайета церемониймейстером свободы. И другие менее остроумные люди ошибочно считают, будто Лафайет — старик, которого всего только выставляют напоказ или двигают, как машину. Между тем, если бы эти люди хоть один раз видели его на ораторской трибуне, они легко убедились бы, что он не только стяг, за которым следуют или которому приносят присягу, но что он сам все еще тот гонфалоньер, в чьих руках знамя правого дела, орифламма народов. Лафайет, пожалуй, — самый выдающийся оратор нынешней палаты депутатов. Когда он говорит, он всегда попадает не в бровь, а в глаз, и враги от этого слепнут. Когда надо, когда решается один из великих вопросов человечества, всякий раз подымается Лафайет, словно юноша, рвущийся в бой. Только тело — слабое и дрожащее, надломленное временем и битвами века, подобно изрубленной и разбитой железной броне, и трогательно бывает видеть, как он плетется к трибуне и, очутившись на ней, на своем старом посту, тяжело переводит дух и улыбается. Эта улыбка, речь и весь облик его, пока он говорит с трибуны, не поддаются описанию. Во всем этом столько прелести и вместе с тем столько тонкой иронии, что чувствуешь себя словно зачарованным каким-то странным любопытством, как бы сладостной загадкой. Не знаешь, что это: утонченные ли манеры французского маркиза или честная прямота американского гражданина. Все лучшее в старом режиме — рыцарство, вежливость, такт — дивным образом сливается здесь со всем, что есть лучшего в новой гражданственности, — с любовью к равенству, скромностью и чест-

ностью. Ничто не может быть интереснее, чем когда в палате речь заходит о первых временах революции и кто-либо на доктринерский лад вырывает отдельный исторический факт из подлинной общей связи событий и пользуется им для своих доводов. Тогда Лафайет немногими словами разрушает ложные выводы, поясняя или восстанавливая истинный смысл подобного факта указанием на обстоятельства, сопровождавшие его. Сам Тьер в таких случаях опускает паруса, и великий историограф революции склоняется перед свидетельством ее великого живого памятника, ее генерала Лафайета.

В палате, против трибуны, сидит старый, как камни, человек с блистающими серебряными волосами, низко спускающимися на его черную одежду; он обмотан трехцветным очень широким шарфом; это и есть тот старый messenger, который уже в начале революции исполнял эту должность и с тех пор в этом звании присутствовал при всех событиях мировой истории, начиная с первого Национального собрания и кончая *juste milieu* *. Я слышал, что он часто еще говорит о Робеспьере, которого называет *le bon monsieur de Robespierre* **. Во время Реставрации старик страдал коликами; но с тех пор, как живот его опять опоясан трехцветным шарфом, он снова хорошо себя чувствует. Лишь сонливость одолевает его в эти скучные дни *juste milieu*. Раз, во время речи Могена, я даже видел, как он заснул. Уж, конечно, старик слышал и не таких, как Моген, — а все же это один из лучших ораторов оппозиции, — и, может быть, он вовсе не находит его резким, он, *qui a beaucoup connu ce bon monsieur de Robespierre* ***. Но когда говорит Лафайет, тогда старый messenger пробуждается от своей дремоты, словно старая гусарская лошадь, заслышавшая трубу, и кажется, сладост-

* золотой серединой

** славным господином де-Робеспьером

*** который хорошо знал этого славного господина де-Робеспьера

ные воспоминания юности встают перед ним, и тогда он, довольный, кивает серебристо-белой головой.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Париж, 10 февраля 1832 г.

Автор предыдущей статьи руководствовался правильным чутьем, когда, порицая болезненную страсть к отличиям, свирепствующую среди французов гораздо сильнее, чем среди немецких женщин, он в числе последних, в качестве исключения, отметил одного немецкого писателя, знаменитого художественного критика и переводчика. Этот человек, подвергшийся исключению, эмигрировавший сюда в прошлом году вследствие германских волнений, которые он сам вызвал кое-какими альманашными «ксениями», и с тех пор получивший от его величества короля Луи-Филиппа I орден Почетного легиона, своей неустанной погоней за знаками отличия, к сожалению, слишком обратил на себя внимание многих французов, и они ссылкой на него могут подорвать любой зарейнский упрек в тщеславии. Они, коварные, даже не отметили в своих газетах этого пожалования ордена; а так как немцы должны были чувствовать, что в лице их соотечественника наградили их самих, и из скромности неохотно говорили об этом, то событие, важное для обеих стран, оставалось до сих пор малоизвестным. Подобное упущение и молчание были тем огорчительнее для нового кавалера, что в его присутствии громким шопотом говорилось, будто новый орден, хотя бы он и получил его из рук самой королевы, совершенно не имеет силы, пока это пожалование не опубликовано в «Moniteur». Новый кавалер стремился выйти из этого горестного положения, но, к несчастью, всплыло еще более серьезное препятствие, а именно то обстоятельство, что патент на орден, пожалованный королем, совершенно недействителен, пока он не скреплен подписью министра. Наш рыцарь, через посредство доктри-

нерствующего родственника одной знаменитой дамы, у которой он некогда был на положении сыра в масле, получил свой орден от короля, и, говорят, король нашел во всем его облике разительное сходство со своей покойной воспитательницей, госпожой Жанлис, и пожелал почтить ее и по смерти в лице ее двойника. Но министры, не ощущающие в себе при виде кавалера столь задушевных чувств и ошибочно считающие его немецким либералом, боятся скреплением патента оскорбить абсолютные правительства. Все же вскоре ожидается мирное соглашение, и, чтобы вполне обеспечить согласие континентальных держав, с Сентджемским кабинетом завязаны переговоры, которые и его тоже должны склонить к пожалованию ордена, а для этого проситель самолично отправится в Англию с древнеиндийским эпосом, посвященным его величеству королю Вильгельму IV. Но для здешних немцев прискорбное зрелище являет вид их высокочтимого тщедушного соотечественника, который вследствие подобных задержек носится от Понтия к Пилату в дождь и в стужу с судорожным нетерпением, тем более непонятным, что к его услугам находятся все утешительнейшие примеры индийской невозмутимости, вся «Рамайяна» и вся «Махабхарата».

Манера французов подходить к важнейшим предметам с насмешливым легкомыслием проявляется и в разговорах по поводу последних заговоров. Заговор, который был разыгран на башнях Собора богоматери, повидимому, целиком является плодом полицейской интриги. В шутку говорилось, что это классики из ненависти к романтическому роману Виктора Гюго «Собор парижской богоматери» хотели поджечь самую церковь. Остроты Рабле о колоколах снова пошли в ход. Также известная поговорка: «si on m'accusait d'avoir volé les cloches de Notre-Dame, je commencerais par prendre la fuite» * стала на разные лады повто-

* если бы меня обвинили в краже колоколов с Собора богоматери, я бы первым делом обратился в бегство

ряться в шутках, когда некоторые карлисты после этого происшествия обратились в бегство. Последний заговор, в ночь на второе февраля, большею частью также приписывают махинациям полиции. Говорят, она заказала себе в ресторане на улице Прувер роскошный заговор на двести приборов и пригласила в гости нескольких слабоумных карлистов, которые, разумеется, должны были заплатить по всему счету. Они при этом не жалели денег, и в сапогах одного из арестованных заговорщиков оказалось 27 000 франков. С такой суммой можно ведь было бы что-нибудь да устроить. В «Мемуарах» Мармонтеля я как-то прочел замечание Шамфора, что уже с тысячей луидоров в Париже можно произвестить изрядный шум, и во время последних восстаний эти слова постоянно вспоминались мне. Из важных соображений я не могу умолчать о том, что для революции необходимы деньги. Даже великолепная Июльская революция была поставлена вовсе не так бесплатно, как думают. Этот спектакль для богов обошелся как-никак в несколько миллионов, хотя действительные актеры — парижские граждане — старались превзойти друг друга в храбрости и бескорыстии. Дело делается не из-за денег, но деньги нужны для того, чтобы дать ему ход. Дураки-карлисты, однако, считают, что оно пойдет само собой, если только у них будут деньги в сапогах. Республиканцы, конечно, совершенно неповинны в событиях ночи на второе февраля, ибо, как сказал мне недавно один из них: «Если ты услышишь, что заговорщики раздавали деньги, то можешь быть уверен, там не было ни одного республиканца». И действительно, у этой партии мало денег, так как она по большей части состоит из честных и бескорыстных людей. Если они придут к власти, то запятнают руки кровью, но не деньгами. Это известно, и поэтому интриганы, более жадные до денег, чем до крови, внушают меньший страх.

Гильотинomanия, которую мы встречаем в среде республиканцев, вызвана, может быть, писателями

и ораторами, впервые употребившими слова «система террора», чтобы охарактеризовать правительство, которое в 1793 г. для спасения Франции прибегло к крайним мерам. Однако терроризм, развившийся в то время, был скорее явлением, чем системой, и уже царил в умах правителей в такой же мере, как и в умах народа. Безумно сейчас носиться с гипсовой маской Робеспьера, призывая к подражанию ему. Безумно воскрешать язык 1793 г., как это делают *les amis du peuple**, которые, сами того не сознавая, поступают столь же ретроградно, как усерднейшие поборники старого режима. Тот, кто приклеивает воском к дереву опавшие с него весной красные цветы, поступает столь же глупо, как и тот, кто увядшие срезанные лилии сажает в песок. Республиканцы и карлисты — плагиаторы прошлого, и когда они соединяются вместе, это напоминает забавнейшие союзы сумашедших, возникающие в домах для умалишенных, где общий гнет вызывает дружественные отношения между разнороднейшими безумцами, хотя один, считая себя Иеговой, от глубины души презирает другого, который почитает себя Юпитером. Так, на этой неделе мы видели Женуда и Туре, редактора «Газеты» и редактора «Революции», представших перед судом присяжных в качестве сообщников, а в качестве хора за ними стояли Фитц-Джемс со своими карлистами и Кавеньяк со своими республиканцами. Бывают ли более отвратительные контрасты! Несмотря на то, что я очень не расположен к республике, все же в душе мне больно, когда я вижу республиканцев в таком недостойном сообществе. Лишь на одном и том же эшафоте могли бы они встретиться с этими друзьями абсолютизма и иезуитства, но никак не перед одним и тем же судом присяжных. И какими смешными делают их подобные союзы! Ничто не может быть забавнее того факта, что среди заговорщиков второго февраля газеты называли вместе четырех бывших поваров

* друзья народа

Карла X и четырех республиканцев из общества «Amis du peuple».

В сущности, я не верю, чтобы последние были действительно замешаны в эту глупую историю. В тот вечер я был на собрании amis du peuple и в виду ряда обстоятельств считаю возможным заключить, что они думали скорее об обороне, чем о нападении. Там было свыше полуторы тысячи человек, сжатых в кучу, в узком зале, похожем на театр. Гражданин Бланки, сын одного из членов Конвента, держал большую речь, полную насмешек над буржуазией, над boutiques *, избравшими в короли какого-то Луи-Филиппа, la boutique incarnée **, и притом сделавших это в своих собственных интересах, а не в интересах народа, du peuple, qui n'était pas complice d'une si indigne usurpation ***. То была речь, полная ума, искренности и гнева, но свободе, которая в ней излагалась, не хватало свободы в изложении. Несмотря на всю республиканскую строгость былая галантность давала себя знать, и дамам, citoyennes ****, с истинно французской внимательностью отведены были лучшие места возле трибуны. От собрания шел совсем такой запах, как от зачитанного замусоленного экземпляра «Moniteur» 1793 года. Оно состояло главным образом из очень молодых и из очень старых людей. В первую революцию энтузиазм свободы охватил преимущественно мужчин среднего возраста, в которых юношеское негодование против поповской лжи и дворянской заносчивости сочеталось с ясной зрелостью рассудка; люди, более молодые и совсем старые, были сторонниками одряхлевшего строя; последние (т. е. среброволосые старцы) — по привычке, первые же, la jeunesse dorée ***** , — от недо-

* лавочниками

** воплощенную лавку

*** народа, который не был сообщником этого недостойного

захвата

**** гражданами

***** золотая молодежь

вольства мещанской скромностью республиканских нравов. Теперь наоборот: истинные энтузиасты свободы — совсем молодые и совсем старые люди. Последние еще по собственному опыту знают мерзости старого режима и с восхищением вспоминают времена первой революции, когда они сами еще были такие сильные и такие большие. Первые же — молодежь — любят те времена, потому что вообще они полны самопожертвования и героически настроены, жаждут великих дел и презирают скаредное малодушие и лавочническое себялюбие нынешних властителей. Люди средних лет большей частью утомлены беспокойным занятием — оппозицией периода Реставрации или же испорчены временами Империи, когда грохочущее славолубие и блестящая солдатчина убили мещанскую простоту и любовь к свободе. К тому же героические времена Империи стоили жизни многим, которые теперь были бы мужами, так что среди последних от некоторых годов сохранилось очень мало полных экземпляров.

Но и стар и млад в зале *amis du peuple* сохранял полную достоинства серьезность, которую можно встретить у людей, чувствующих свою силу. Лишь глаза их сверкали, и лишь по временам восклицали они: «*C'est vrai! C'est vrai!*» *, когда оратор приводил какой-нибудь факт. А когда гражданин Кавеньяк в речи, которую я не совсем точно понял, ибо он говорит короткими, небрежно выбрасываемыми фразами, коснулся судебных преследований, которым все еще подвергаются писатели, я вдруг заметил, что мой сосед от внутреннего волнения схватился за меня и что он кусает губы в кровь, чтобы тоже не заговорить. Это был яркий молодой энтузиаст, с глазами словно гневные звезды, и на нем была отличающая республиканцев низкая черная клеенчатая шляпа с широкими полями. «Но не правда ли, — наконец обратился он ко мне, — ведь это преследование писателей — косвенная цен-

* Правда! Правда!

зура? Можно печатать то, что можно говорить, а говорить можно все. Марат утверждал, что несправедливо привлекать гражданина к суду за его мнения и что в мнениях можно давать отчет только публике. (*Toute citation devant un tribunal pour une opinion est une injustice, on ne peut citer, en ce cas, un citoyen que devant le public.*) * Все, что говорится, есть не что иное, как мнение. Камилл Демулен тоже справедливо замечает: «Как только децемвиры запятнали собрание законов, вывезенное ими из Греции, законом против клеветы, сразу обнаружилось, что они намерены уничтожить свободу и сделать свой децемвират постоянным. Равным образом, когда Октавий четыреста лет спустя воскресил этот закон децемвиров против писаний и речей и прибавил еще параграф к *Lex Julia laesae Majestatis* **, можно было сказать, что римская свобода находится при последнем издыхании».

Я привел здесь эти цитаты, чтобы показать, каких авторов цитируют *amis du peuple*. Последняя речь Робеспьера от восьмого термидора — их евангелие. И все же было смешно, что люди эти жалуются на гнет в то самое время, как им разрешают столь открыто соединяться в союз против правительства и говорить вещи, десятой доли которых в Северной Германии было бы совершенно достаточно, чтобы обречь себя на пожизненное судебное следствие. Впрочем, в тот вечер передавали, что этим непорядкам будет положен конец и что зал *amis du peuple* решено закрыть. «Я думаю, национальная гвардия и линейные солдаты оцепят нас сегодня, — заметил мой сосед, — захватили ли вы на этот случай свои пистолеты?» — «Я пойду за ними», — ответил я, вышел из зала и отправился на вечер в Сен-Жерменское предместье. Там — сплошь огни, зеркала, обнаженные плечи, сахарная вода, желтые лайковые перчатки и пошлости. Кроме того,

* В скобках приведены слова Марата на французском языке.

** закону об оскорблении величества

на всех лицах отражалась такая торжествующая радость, словно победа старого режима была совершенно обеспечена. И пока в моих ушах все еще гремел клич улицы Гренель: «Vive la République!» *, я должен был выслушивать категорические уверения в том, что возврат чудо-младенца со всей его чудо-кликой — вполне решенное дело. Не могу не проговориться, что видел там, как два доктринера танцевали англес; они танцуют только англесы. Дама в белом платье с зелеными пчелами, походившими на лилии, спросила меня, можно ли определенно рассчитывать на поддержку немцев и козаков. «Мы, — стал я уверять, — почтем за величайшую честь снова принести в жертву нашу кровь и наше добро ради восстановления старших Бурбонов». — «А знаете ли вы, — прибавила дама, — что нынче годовщина того дня, когда Генрих V причастился в первый раз после того, как стал герцогом Бордосским?» — «Какой великий день для друзей престола и алтаря, — отвечал я, — священный день, достойный того, чтоб его воспел Ламартин!»

Ночь этого прекрасного дня заслуживает быть отмеченной красным цветом в календаре Франции, и на следующее утро слухи о ней служили пищей для толков во всем Париже. Носились самые дикие противоречия, да и сейчас, как уже отмечено выше, на истории этого заговора лежит покров тайны. Был слух, будто намеревались умертвить всю королевскую семью вместе с многочисленным обществом, собравшимся в Тюильри, будто подкупили привратника Лувра, чтобы можно было через большую дворцовую галерею проникнуть прямо в танцевальную залу Тюильри, будто произведен был выстрел, направленный в короля, но не попавший в него, будто арестовано несколько сот человек и т. д. Днем я еще застал перед садом Тюильри большую толпу, глазевшую вверх, на окна, как-будто ей хотелось увидеть выстрел, который грянул там.

* Да здравствует республика!

Кто-то рассказывал, что прошлой ночью Перье сел на лошадь и тотчас поскакал на улицу Прувер, — как-раз, когда там арестовывали заговорщиков и был убит полицейский агент. Будто бы собирались поджечь павильон Флоры, а на павильон Марсан напасть снаружи. Король, как говорили, очень опечален. Женщины жалели его, а мужчины сердито качали головами. Французы питают отвращение ко всякому ночному убийству. В бурные времена революции самые ужасные деяния совершались открыто, при дневном свете. Что до ужасов Варфоломеевской ночи, то они подстроены были главным образом римско-католическими священниками.

Насколько замешан привратник Лувра в заговоре второго февраля, я еще не мог точно узнать. Одни говорят, будто он тотчас дал знать полицию, как только ему предложили деньги, чтобы получить от него ключи Лувра. Другие полагают, что он действительно отдал ключи и теперь схвачен. Как бы то ни было, подобные случаи показывают, что в Париже важнейшие посты вверяют без особых мер предосторожности самым ненадежным лицам. Так, даже государственная казна долгое время находилась в руках биржевого спекулянта, господина Кеснера, которого государство должно бы наградить дубовым венком за то, что он проиграл на бирже только шесть, а не сто миллионов. Так и картинная галерея Лувра, которая скорее является достоянием всего человечества, чем французов, могла бы сделаться ареной ночных злодеяний и совсем погибнуть при этом. Так и кабинет медалей стал уже добычей воров, расхитивших его сокровища, конечно, не из любви к нумизматике, а для того, чтобы отправить их прямо в тигель. Какая потеря для науки! Ведь среди похищенных древностей были не только редчайшие монеты, но, быть может, даже единственные экземпляры их, уцелевшие до наших дней. Гибель этих старых монет непоправима, ибо не могут же древние приняться опять за работу и отчеканить для нас новые

монеты. Но это не только потеря для науки: гибель этих маленьких памятников из золота и серебра отнимает у самой жизни выражение ее подлинности. Древняя история звучала бы сказкой, если бы не уцелели тогдашние монеты — высшая реальность тех времен, если бы они не служили нам доказательством, что древние народы и цари, о которых мы читаем такие чудеса, в самом деле существовали, что это — не плоды досужей фантазии, не создания поэтов, как утверждают некоторые писатели, желающие убедить нас, будто вся история древности, все письменные памятники ее сочинены монахами в средние века. Здешний кабинет медалей содержал самые звонкие опровержения подобных взглядов. Но они теперь невосвратно утрачены. Часть древней истории мира прикарманена и расплавлена, и самые могучие народы и цари древности — теперь только сказка, которой не стоит верить.

Уморительно, что окна кабинета медалей снабжают теперь железными решетками, хотя вовсе не приходится рассчитывать, что воры ночью принесут похищенное назад. Эти железные решетки окрашивают в красный цвет, что производит очень хорошее впечатление. Всякий прохожий смотрит вверх и смеется. Monsieur Пауль Рошетт, смотритель украденных медалей, le conservateur des ex-médailles *, должен удивляться, что воры не украли его самого, так как себе он приписывал всегда большее значение, чем медалям, и во всяком случае считал последние бесполезными, если дело обходилось без его устных объяснений. Он рассказывает теперь без дела и посмеивается, как наша кухарка, у которой кошка стащила из кухни кусок сырого мяса: «Она же ведь не умеет варить мясо», — говорила кухарка и посмеивалась.

Между тем, какой бы утратой для древней истории ни являлась эта покража монет, Кеснеровский недочет в кассе, кажется, раздражает умы еще больше. Он важ-

* хранитель бывших медалей

нее для современной истории. В то время как я пишу эти строки, ходят слухи, что дефицит составляет не шесть, а десять миллионов. Думают, что под конец он вырастет даже до двенадцати миллионов. Это, разумеется, умаляет заслугу Кеснера, и я теперь не могу признать за ним право на дубовый венок. Вследствие этого недочета в кассе, который вызвал немало трогательных сцен в духе Иффланда, прежде всего попадает в затруднительное положение барон Луи. Пожалуй, ему в конце-концов самому придется заплатить залог, которого не потребовали от Кеснера. Он легко может перенести этот ущерб, так как он чудовищно богат, получает ежегодно больше двухсот тысяч франков чистого дохода, а сам — старый аббат, не имеющий семьи. Перье эта история сердит гораздо больше, чем думают, ибо она касается денег, в которых его сила и его слабость. Как мало снисхождения оказала ему в этом случае оппозиция — известно из газет. В них с достаточной полнотой рассказано о безобразиях, происходящих в Палате, и на этом не стоит останавливаться. Право, оппозиция ведет себя столь же плачевно, как и министерство, и являет собою зрелище, столь же отвратительное.

Но в то время как всевозможные беды и заботы вызывают смуту внутри государства, а внешние дела после событий в Италии и экспедиции дона Педро все более запутываются; в то время как все установления и даже высшее из них — королевская власть — находятся в опасности, когда политическая сумятица угрожает существованию всех, — Париж этой зимой — все еще прежний Париж, прекрасный, волшебный город, так волшебны улыбающийся юноше, так мощно воодушевляющий мужа и так нежно утешающий старца. «Здесь можно обойтись без счастья», — сказала некогда госпожа де-Сталь, — меткое слово, в ее устах терявшее, однако, свой смысл, ибо она долгое время лишь потому и была несчастна, что не могла жить в Париже, и, следовательно, Париж был ее счастьем. Так патриотизм фран-

цузов чаще всего основан на пристрастии к Парижу, и когда Дантон отказался от бегства, «потому что отечество нельзя унести на подошвах своих сапог», это значило также, что за границей пришлось бы отказываться от прелестей прекрасного Парижа. Но Париж собственно и есть Франция; последняя — всего лишь окрестность Парижа. Если не считать прекрасных пейзажей и приветливого нрава народа вообще, Франция — совершенная пустыня, во всяком случае пустыня духовная; все, что есть выдающегося в провинции, скоро находит путь в Париж, в центр всяческого света и всяческого блеска. Франция напоминает сад, где прекраснейшие цветы сорваны для того, чтобы из них можно было сделать букет, и имя этому букету — Париж. Правда, сейчас он уже не благоухает так сильно, как после тех цветущих дней июля, когда все народы были одурманены этим благоуханием. Все же он по-прежнему еще достаточно прекрасен, чтобы красоваться по-свадебному на груди Европы. Париж — столица не только Франции, но всего цивилизованного мира и сборный пункт для его умственных авторитетов. Все собрано здесь, что есть великого в любви или в ненависти, в мире чувства или мысли, знания или силы, в счастии или в несчастье, в будущем или в прошлом. Когда смотришь на это сборище знаменитых или выдающихся людей, собравшихся здесь, можно принять Париж за Пантеон живых. Новое искусство, новая вера, новая жизнь созидаются здесь, и весело кружатся здесь творцы нового мира. Правители мелочны, но народ велик и чувствует свое пугающе высокое назначение. Сыновья хотят превзойти отцов, столь славно и свято сошедших в могилу. Уж брезжит свет могучих деяний, и неведомые боги должны явиться миру. И притом — везде танцы и смех, всюду цветет легкая шутка, самая веселая насмешка, а так как сейчас карнавал, то многие маскируются теперь доктринерами, строят уморительно педантичные физиономии и утверждают, что боятся пруссаков,

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Париж, 1 марта [1832 г.]

С некоторых пор события в Англии более, чем когда бы то ни было, привлекают наше внимание. Мы должны, наконец, сознаться, что открытая вражда самодержавных монархов для нас менее опасна, чем двусмысленная дружба конституционного Джона Булля. Народоубийственные происки английской аристократии достаточно угрожающе проступают в свете официальной гласности, и лондонский туман едва прикрывает тонкие петли и узлы, связывающие протокольную паутину конференций с парламентскими силками. Дипломатия деятельнее, чем когда-либо, охраняет там свои родовые интересы и усерднее, чем когда-либо, прядет пагубную ткань, а господин Талейран оказывается заодно и пауком и мухой. Или старый дипломат уже не так хитер, как прежде, когда он, второй Гефест, самого бога войны, столь могучего, поймал в свои искусно выкованные сети? Или с ним на этот раз случилось то же, что и с мудрейшим кудесником Мерлином, который опутал себя собственными чарами и лежит в могиле со скованным языком, сам себя сковав? Но почему же именно господина Талейрана назначили на пост, который всего важнее для интересов Июльской революции и где всего нужнее была бы непоколебимая прямота безупречного гражданина? Этим я не хочу сказать категорически, что старый лощеный ех-епископ Отенский не честен. Напротив, присягу, которую он принес теперь, он наверно не нарушит, ибо она — тринадцатая. Правда, у нас нет других гарантий его честности, но и этой достаточно, так как никогда еще честный человек не изменял присяге тринадцать раз. Кроме того, уверяют, что Луи-Филипп из предосторожности сказал ему на прощальной аудиенции: «Господин Талейран, что бы вам ни предлагали, я даю вам вдвое». Однако с вероломными людьми и это не может служить ручательством, ибо в природе вероломства — изменять.

самому себе, так что, даже удовлетворив его корыстолюбие, нельзя рассчитывать на него.

Хуже всего то, что французы представляют себе Лондон вторым Парижем, Вест-Энд — вторым Сен-Жерменским кварталом, британских реформеров — своими братьями-либералами, а на парламент смотрят как на палату пэров и палату депутатов, — словом, все английское они меряют и определяют французским масштабом. От этого происходят заблуждения, за которые впоследствии им, быть может, дорого придется заплатить. У обоих народов слишком резко противоположный характер, чтоб они могли понять друг друга, и положение в обеих странах слишком различно в самом корне, чтоб можно было сравнивать их. И прежде всего — с точки зрения политической. Добавления к «Путевым картинам» содержат по этому поводу ряд поучительных данных, почерпнутых из непосредственных наблюдений, и к ним я должен отослать читателей, чтоб не повторяться здесь. Также сошлюсь здесь опять на «Письма умершего», хотя поэтическая душа автора вложила в тупое британство, увиденное им, больше умственного движения, чем на самом деле можно в нем найти. Англию, собственно, надо было бы описывать в стиле учебника высшей механики, примерно так, как описывают невероятно сложную фабрику, где сплошь гремящие, жужжащие, гудящие, свистящие и сердито ворчащие машины, где вычищенные до блеска колеса утилитаризма вертятся вокруг давно заржавевших исторических дат. Справедливо замечают сенсимонисты, что Англия — рука, а Франция — сердце мира. Ах, это великое сердце мира должно было бы изойти кровью, если бы когда-либо, в расчете на британское великодушие, ему пришлось попросить помощи у холодной деревянной руки соседа. Я представляю себе эгоистическую Англию не так, как ее рисуют на карикатурах, не в виде жирного зажиточного брюха, полного пивом, а так, как ее описал один сатирик, — в виде высокого, тощего, костлявого холостяка, пришиваю-

щего к своим штанам оторвавшуюся пуговицу; он пришивает ее ниткой, к концу которой вместо клубка привешен земной шар, а когда она ему больше не нужна, он спокойно обрезает нитку и спокойно дает всему миру свалиться в бездну.

Французы полагают, что английский народ желает свободы на их лад, что он борется так же, как и они, против узурпаторских стремлений аристократии и что поэтому не только есть много внешних, но также и много внутренних интересов, которые служат ручательством тесного союза. Но они не знают, что английский народ сам насквозь аристократичен, что он требует свободы лишь в узкокорпоративном смысле, вернее даже — своих письменно закрепленных вольностей и привилегий, и что французская всечеловеческая свобода, которой весь мир, как того требует разум, должен стать сопричастен, в самом своем существе глубоко ненавистна англичанам. Они знают лишь английскую свободу, историческую английскую свободу, либо дарованную в виде патента великобританским королевским поданным, либо основанную на каком-нибудь старинном законе, примерно времен королевы Анны. Берк, который пытался беркировать умы и самую жизнь продать в анатомический театр истории, упрекал французскую революцию главным образом в том, что она не возникла, подобно английской, из старых установлений, и он не в силах понять, что государство может существовать без nobility *. Английская nobility, однако, нечто совсем другое, чем французская noblesse **, и заслуживает того, чтобы я воздал ей особую похвалу. Английская аристократия всегда противостояла абсолютизму королей заодно с народом, отстаивая вместе со своими и его права; французская знать, напротив, всецело отдалась на милость королям. Со времен Мазарини она больше не противилась их власти, она только старалась получить в ней свою долю путем льстивой службы при дворе и, вернопод-

* дворянство, аристократия

** То же (дворянство, аристократия).

данно прислуживаясь к королям, угнетала и обманывала народ. Французское дворянство бессознательно отомстило королям за прежнее угнетение, направив их на путь расслабляющего разврата и доведя их своей лестью почти до оупения. Правда, и само оно, обессиленное и духовно опустошенное, должно было погибнуть вместе со старинной монархией; 10 августа застало в Тюильри отживших дряхлых людей с хрупкими салонными шпагами, и даже не мужчине, а женщине пришлось властно и мужественно призвать к сопротивлению. Но и этой последней даме французского рыцарства, последней представительнице гибнущего старого режима, даже ей не суждено было сойти в могилу в блеске молодости, и одной только ночи было довольно, чтобы покрыть снежной белизной белокурые локоны прекрасной Антуанетты.

Иной была судьба английской знати. Она сохранила свою силу, корни ее — в народе, в здоровой почве, которая принимает благородных отпрысков, младших сыновей nobility, и через этих последних, составляющих собственно gentry *, хранит связь с самой знатью, с nobility. Притом английская знать полна патриотизма: она с истинным рвением выступала до сих пор настоящей представительницей старой Англии, и лорды, которые так дорого обходятся стране, когда надо было, тоже приносили жертвы родине. Правда, эти лорды высокомерны, более даже, чем дворянство на континенте, которое кичится своим высокомерием и старается отличаться от народа даже внешне — с помощью костюмов, лент, плохого французского языка, гербов, звезд и прочих погребушек. Английская знать слишком презирает буржуазию, чтобы считать нужным еще импонировать ей при помощи внешних знаков и всенародно, напоказ, носить пестрые эмблемы власти. Напротив, словно боги, являющиеся инкогнито, английские аристократы показываются на улицах, на

* среднее дворянство

раутах и в театрах Лондона одетые с буржуазной простотой и потому не замечаемые; свои феодальные украшения и прочую великолепную мишуру надевают они только для придворных празднеств и для старинных придворных церемоний. Оттого им с гораздо большим успехом удается поддерживать в народе уважение к себе, чем нашим континентальным богам, которые повсюду таскают свои атрибуты и оттого всем известны. Однажды на Ватерлооском мосту в Лондоне я слышал, как мальчик спрашивал другого: «Have you ever seen a nobleman?» (Видел ли ты когда-нибудь дворянина?), на что другой ответил: «No, but I have seen the coach of the Lord Mayor» (Нет, но я видел карету лорд-мэра). А экипаж этот представляет собой причудливо большой ящик, роскошно раззолоченный, раскрашенный сказочно пестро, с бархатно-алым, золотоглунным, пышно причесанным кучером на козлах и тремя столь же пышно причесанными лакеями на запятках. Если английский народ и ссорится сейчас со своей аристократией, то вовсе не из-за гражданского равенства, о котором он не думает, и менее всего из-за гражданской свободы, которою он пользуется в полной мере, а из-за чисто денежных интересов. Ибо аристократия, владеющая всеми синекурами, церковными бенефициями и прибылейшими должностями, нагло утопает в роскоши, тогда как большая часть народа, сверх меры обремененная налогами, томится в глубочайшей нищете и умирает с голоду. Поэтому народ и требует парламентской реформы, и дворяне, поощряющие ее, разумеется, и не собираются воспользоваться ею для чего-либо другого, кроме материальных улучшений.

Да, дворянство Англии попрежнему больше связано с народом, чем с королями, по отношению к которым оно, в отличие от французского дворянства, всегда умело держать себя независимо. Оно служило королям только мечом и словом, но в частной их жизни, в их развлечениях и забавах, принимало лишь равнодушно-

интимное участие. Это относится даже ко времени высшей испорченности. Гамильтон в своих «Мемуарах герцога Граммона» дает наглядную картину этого положения. Таким образом английское дворянство, хоть и целующее королевскую руку и склоняющее колени, как того требует этикет, все же до самого последнего времени оставалось фактически на равной ноге с королями, которым оно сопротивлялось с достаточной силой всякий раз, когда они покушались на его привилегии или хотели избавиться от его влияния. Это произошло на глазах у всех несколько лет тому назад, когда Каннинг стал министром. В средние века английские бароны при подобных обстоятельствах поднимались бы в замок короля, одетые в броню и шлемы, с мечами в руках, в сопровождении своих вассалов и с иронической покорностью и вооруженной куртуазией добивались бы исполнения своей воли. В наш век они должны были прибегнуть к менее рыцарским средствам, и, как всем известно, входившие в состав министерства дворяне постарались воздействовать на короля тем, что, условившись втайне, с коварной неожиданностью все вместе подали в отставку. Последствия тоже достаточно хорошо известны. Георг IV вынужден был после этого опереться на Георга Каннинга, этого Георгия Победоносца Англии, который чуть было не сразил самого могучего дракона на земле. После Каннинга явился лорд Годерих с уютно румяным лицом и аффектированно-страстным адвокатским тоном и в скором времени выронил из слабых рук вверенное ему копье, так что бедный король снова должен был отдаться во власть своих старых баронов, и полководец Священного союза снова получил жезл главнокомандующего. В другом месте я указал, почему в Англии либеральный министр не в силах сделать ничего особенно хорошего и бывает принужден уйти, дабы уступить место гордым ториям, которые тем легче могут провести крупный билль об улучшениях, что им не нужно бороться с парламентским сопротивлением своего собственного упрямства. Чорт

издавна строит лучшие церкви. Веллингтон добился эмансипации, за которую тщетно боролся Каннинг, и, быть может, ему же суждено провести билль о реформе, тогда как лорд Грей в этом деле, вероятно, потерпит неудачу. Я уверен в скором падении последнего, и тогда вернутся к власти те непримиримейшие аристократы, которые уже сорок лет не на жизнь, а на смерть борются с французским народом как с представителем демократических идей. Конечно, на этот раз старая злоба должна будет уступить материальным интересам, и французскому оружию охотно предоставят побороть более опасного врага на востоке со всеми его приверженцами. Тем более, что враги при этом взаимно ослабят друг друга. Да, англичане будут особенно подстрекать галльского петуха к борьбе против самодержавных орлов, и с любопытством, вытягивая длинные шеи, будут смотреть с того берега канала и рукоплескать, как на *soskrit* *, и за исход борьбы будут держать пари на многие сотни тысяч гиней.

Ужели и боги с высоты своего лазурного шатра будут столь же равнодушно созерцать это зрелище? Будут ли они, британцы неба, безучастные к нашему зову о помощи и к нашей льющейся крови, наблюдать бездушным свинцовым взором эту отчаянную борьбу народов? Или прав поэт, который утверждает, что подобно тому, как мы ненавидим обезьян за то, что из всех млекопитающих они более всего похожи на нас и этим оскорбляют нашу гордость, так и боги ненавидят людей, созданных по их образу и имеющих с ними такое оскорбительное сходство; и поэтому, чем люди выше, прекраснее, богоподобнее, тем ожесточеннее боги преследуют их бедствиями и губят их, тогда как маленьких, уродливых людишек, похожих на млекопитающих животных, они милостиво щадят и дают им наслаждаться счастьем. Если это грустное предположение справедливо, то французы ближе к своей гибели, чем все дру-

* месте петушиного боя

гие! Ах, если бы конец императора французов мог еще научить их, чего остается ждать от великодушия Англии? Или «Беллерофон» не уничтожил уже давно этой химеры? Пусть Франция никогда не полагается на Англию, так же как Польша — на Францию!

Но если этот ужас все же наступил бы, и Франция, родина цивилизации и свободы, погибла бы жертвой легкомыслия и предательства, и картавая речь потсдамских офицеров снова раздалась бы на улицах Парижа, и грязные тевтонские сапоги снова осквернили бы священные мостовые бульваров, и Пале-Рояль снова завонял бы юфтью... Тогда на свете оказался бы человек более несчастный, чем бывали когда-либо люди, человек, чья жалкая лавочническая ограниченность стала бы причиной гибели родины, в чьем сердце собрались бы все змеи раскаяния и на чью голову обрушились бы все проклятия человечества. Грешники в аду, чтоб утешить себя, стали бы рассказывать друг другу о муках этого человека — о муках Казимира Перье.

Какая ужасающая ответственность тяготеет на одном этом человеке! Мне становится жутко всякий раз, как я приближаюсь к нему. Словно зачарованный страшным волшебством, простоял я на-днях целый час рядом с ним, созерцая эту мрачную фигуру, столь дерзновенно ставшую между народами и солнцем Июля. Если этот человек падет, думал я, великому солнечному затмению будет конец, и снова трехцветный флаг вдохновенно засверкает на Пантеоне, и снова расцветут деревья свободы! Человек этот — Атлас, несущий на своих плечах биржу, и Орлеанский дом, и все государственное здание Европы, и если он рухнет, то рухнет и вся лавочка, в которой торговали благороднейшими упованиями человечества, рухнут меняльные столы, и курсы, и эгоизм, и пошлость!

Название «Атлас» далеко не так случайно. Перье необыкновенно высокий, широкоплечий, крепко сложенный человек, на вид очень сильный. Обычно составляют себе ложное представление об его наружности — отчасти

потому, что газеты постоянно толкуют об его болезненности, стараясь рассердить его, совершенно здорового и желающего остаться председателем Совета министров, отчасти же и потому, что об его раздражительности рассказывают самые невероятные анекдоты и что страстность, с которой он выступает на трибуне, принимают за его обычное состояние. Но этот человек — совсем другой, когда наблюдаешь его в домашнем кругу, в обществе, вообще в мирном состоянии. Тогда его лицо, вместо возвышенно-вдохновенного или же подавленного выражения, которое придает ему трибуна, принимает истинно внушительное, полное достоинства выражение, и весь он дышит еще более мужественной красотой и благородством, и смотришь на него с удовольствием, особенно, пока он не говорит. В этом отношении он полная противоположность кассирше в кафе Кольбер, которая кажется почти некрасивой, пока молчит, но лицо которой сразу же приобретает сияющую прелесть, едва она откроет рот, чтоб заговорить. Только Перье, когда долго молчит и со вниманием слушает других, вытягивает внутрь свои тонкие губы, и от этого рот имеет вид ямы среди лица. У него еще есть привычка — слушать, склонив голову, и тихонько кивать ею, словно ему хочется сказать: «Это все устроится». Лоб его высок и кажется еще больше оттого, что на передней части головы осталось уже мало волос. Волосы — седые, почти белые, лежат гладко и лишь скудно прикрывают остальную часть головы, выпуклость которой красива и пропорциональна; уши его можно назвать почти прекрасными. Но подбородок — короткий и заурядный. Дико и спутанно свисает черный кустарник его бровей на глубокие глазные впадины, где маленькие черные глаза, глубоко спрятавшись, всегда настороже; лишь порой что-то сверкнет там, словно стилет. Цвет лица — желтовато-серый, обычный цвет заботы и недовольства, и по лицу блуждают всякого рода странные складки, правда, не вульгарные, но и не благородные, пожалуй — складки *juste milieu*, пристойно

печальные складки золотой середины. В этом человеке хотя бы увидеть нечто банкирское, даже в его манере держаться выискивают купеческие черты, и один из моих друзей уверяет, что ему всегда хочется расспросить Перье о сегодняшней цене на кофе или о состоянии дисконта. «Но когда о ком-нибудь знаешь, что он слеп, — говорит Лихтенберг, — кажется, что это в нем заметно и сзади». Во всей наружности Казимира Перье я, правда, не нахожу ничего, что свидетельствовало бы о благородстве происхождения, но во всем его облике ярко сказывается та прекрасная буржуазная культура, которую мы находим у людей, обремененных важнейшими государственными заботами и не имеющих времени заниматься рыцарскими манерами и вопросами туалета.

О Перье лучше всего можно судить по его речам; ведь это — его лучшая сторона, по крайней мере, в течение периода Реставрации, когда он, один из лучших ораторов оппозиции, вел благороднейшую борьбу с лживыми попами и придворными лизоблюдами. Не знаю, был ли он и тогда столь же несдержан в движениях, как теперь; тогда я только читал его речи, которые, являясь образцом выдержки и достоинства, были вместе с тем так спокойны и обдуманны, что я считал его совсем старым человеком. В этих речах царила строжайшая логика, в них было что-то непреклонное, непреклонные доводы рассудка, поставленные прямо один возле другого, подобно несокрушимым железным прутьям, и порой из-за них проглядывала тихая грусть, словно бледная монахиня из-за монастырской решетки. Непреклонные доводы рассудка, эти железные прутья, остались в его речах, но теперь за ними виден лишь бессильный гнев, мечущийся взад и вперед подобно дикому зверю.

Многие из последних речей Перье, в которых обсуждаются проекты законов, как например законопроект о парах, написаны не им самим; для таких больших работ у министра нехватает времени. В собственных речах ему теперь с каждым днем приходится стано-

виться все более раздражительным, мелочным и страстным, по мере того как система, которую он должен защищать, становится все более сомнительной, недостаточной и бесчестной. В общественном мнении ему всего более благоприятствует то, что он стоит рядом с господином Себастиани, старым кокетничающим человеком с пепельно-серым сердцем и желтым лицом, на котором порой виднеется еще клочок румянца, как на осенних деревьях, из желтой листвы которых осыпается несколько яркокрасных листков. Право, нет ничего отвратительнее этого надутого ничтожества, которое, хоть оно и объявлено больным, еще часто приходит в Палату и садится на скамью министров с пошлой усмешкой на губах и с глупостями на языке. Для меня почти непонятно, что этот изящно обутый и гантированный хилый человек с расплывающимися водянистыми глазками когда-либо мог быть творцом великих дел в совете и в бою, как поветствуют нам люди, описывающие отступление из России и посольство в Турцию. Все его познания состоят теперь из старых, потрепанных дипломатических фокусов, которые непрестанно трещат в его жестяном мозгу. Его политические идеи в собственном смысле слова напоминают тот большой ремень, который царица Карфагена вырезала из воловьей шкуры и которым она охватила целую страну; круг идей этого почтенного мужа обширен, охватывает немало пространства, но все-таки он — кожаный. Перье однажды сказал про него: «Он очень высокого мнения о себе, и это его единственное мнение».

Я поставил этого купидона Империи, как называют Себастиани, рядом с Геркулесом эпохи *juste milieu*, как называют Перье, лишь для того, чтоб показать последнему во весь рост. Право, я скорее готов преувеличить, чем умалить его достоинства, и все же не могу не признаться, что при виде его в памяти моей встает образ, рядом с которым он кажется столь же малым, как Себастиани рядом с ним. Дух ли сатиры вызывает в памяти контрасты? Или действительно Казимир Перье

похож на величайшего министра, когда-либо правившего Англией, на Джорджа Каннинга? Но и другие признают, что он удивительно напоминает его и что между обоими существует некое тайное сродство.

Быть может, это сходство между Перье и Каннингом сказывается в мещанском происхождении и облике, в трудности их положения, в непоколебимой силе поступков и сопротивления феодально-аристократическому натиску. Но оно отнюдь не распространяется на их карьеру и на их воззрения. Первый, родившийся и выросший среди мягких подушек изобилия, мог спокойно развивать свои лучшие наклонности и спокойно принимать участие в той зажиточной оппозиции аристократам и иезуитам, которую в период Реставрации вела буржуазия. Напротив, Джордж Каннинг, родившийся от несчастных родителей, был бедное дитя бедной матери, которая с печалью и со слезами пестовала его днем, а вечером, чтоб заработать на хлеб, должна была подыматься на подмости, играть в комедиях и смеяться; впоследствии, сменив меньшее зло нищеты на худшее зло блестящей зависимости, он терпел помощь богатого дяди и покровительство высокой знати.

Но если эти два человека различались положением, в которое поставила их удача и в котором долгое время она держала их, то они еще сильнее различались образом мыслей, который они проявили, достигнув вершины власти, когда они, наконец, освободились от всяких стеснений и великое слово их жизни могло быть произнесено. Казимир Перье, который никогда ни от кого не зависел, который всегда владел золотым умением сохранять, развивать, совершенствовать в себе чувство свободы, стал вдруг малодушен и мелочен; не поняв своей собственной мощи, он склонился перед силой тех, кого он мог уничтожить, раздавить, и начал умолять о мире, который сам лишь из милости должен был бы даровать. Теперь он изменяет долгу гостеприимства и оскорбляет священнейшее несчастье,

и, точно Прометей навыворот, похищает свет у людей, чтобы вернуть его богам. Напротив, Джордж Каннинг, бывший гладиатор на службе у ториев, как только смог сбросить цепи духовного рабства, поднялся во всем величии своего прирожденного гражданского правосознания и, к ужасу своих прежних покровителей, став Спартаксом Даунинг-стрит, провозгласил гражданскую и духовную свободу и завоевал для Англии все вольнолюбивые сердца и тем самым — главенство в Европе.

То было мрачное время в Германии: одни только совы, цензурные указы, запах казематов, романы о самоотречении, вахт-парады, ханжество, тупоумие. И когда отблеск Каннинговых слов проник и к нам, возликовали немногие сердца, еще сохранявшие надежду; а что до автора этих страниц, он простился со всеми милыми и дорогими и сел на корабль и направился в Лондон, чтобы видеть и слышать Каннинга. Я просиживал там целые дни в галерее капеллы святого Стефана, и проводил время в созерцании Каннинга, и пил слова с его уст, и сердце мое было в упоении. Он был среднего роста, красивый мужчина; ясное, благородное лицо, очень высокий лоб, небольшая лысина, благожелательный изгиб губ, кроткие убеждающие глаза, довольно большая резкость в движениях. Порой он ударял по железному ящику, стоявшему перед ним на столе с документами, но и в пылу страсти всегда сохранял приличие, всегда полный достоинства, *gentleman like* *. Так в чем же было его внешнее сходство с Казимиром Перье? Не знаю, но мне кажется, форма головы Перье, хотя и более крупной и грубой, действительно напоминает Каннинга. Некоторая болезненность, раздражительность и усталость, которую мы замечали в Каннинге, также поражают и в Перье и напоминают английского министра. Что касается таланта, то они могли бы друг с другом поспорить. Разница та,

* имеющий вид джентльмена

что Каннинг самое трудное совершал с особой легкостью, подобно Одиссею, который так легко натягивал тугой лук, точно это были струны лиры. Наоборот, Перье в самых малых делах обнаруживает некоторую тяжеловесность, ради незначительнейшего мероприятия он пускает в ход все свои силы, всю свою духовную и светскую кавалерию и инфантерию, и, касаясь самых нежных струн, он затрачивает столько усилий, как если бы он натягивал лук Одиссея. Его ораторскую манеру я охарактеризовал уже выше. Каннинг тоже был один из величайших ораторов своей эпохи. Его упрекали только в том, что он говорит слишком цветисто, слишком нарядно. Но этот упрек он, конечно, заслуживал лишь в первый период, когда, еще будучи в зависимом положении, он не смел высказывать собственных взгляды и потому вместо них наполнял речь ораторскими цветами, умственными арабесками и блестящими остротами. Речь его была тогда не мечом, а только ножнами, правда, драгоценными ножнами, пышно блиставшими чеканным узором из золотых цветов и вправленных в них самоцветных камней. Из этих ножен он впоследствии выхватил прямой, лишенный всяких украшений стальной клинок, который засверкал еще ярче и все же оказался достаточно отточен и остер. Я и теперь еще вижу плаксивые лица, сидевшие против Каннинга, в особенности же смехотворного сэра Томаса Летбриджа, который спросил его с огромным пафосом, выбрал ли он уже членов своего министерства, после чего Джордж Каннинг спокойно встал, как будто собираясь сказать длинную речь, и, с пародийным пафосом произнес: «Yes»*, — снова сел, так что вся палата загрохотала от смеха. То было удивительное зрелище, почти вся прежняя оппозиция сидела позади министра, в том числе храбрый Рессель, неутомимый Брум, ученый Мекинтош, Кем Хобхоуз с изборожденным бурями лицом, благо-

* Да

родный Роберт Вильсон с острым носом и, наконец, вдохновенно длинная донкихотовская фигура Френсиса Бердетта, чье прекрасное сердце — неувядаемый сад либеральных идей и чьи худые колени, по словам Коббета, касались тогда спины Каннинга. Это время вечно будет цвести в моей памяти, и вовеки не забуду я того часа, когда я внимал Джорджу Каннингу, говорившему о правах народов, и услышал те слова освобождения, что, подобно священным громам, пронесли над всей землей, оставив эхо утешения и в хижине мексиканца и в хижине индуса. «That is my thunder!» * — мог сказать тогда Каннинг. Его прекрасный, полный, проникновенный голос скорбно и мощно вырывался из больной груди, и то были ясные, обнаженные, освященные смертью прощальные слова умирающего. За несколько дней до того умерла его мать, и траур, который он поэтому носил, усугублял торжественность его облика. Я все еще вижу его в черном фраке и в черных перчатках. Он поглядывал на них порой во время своей речи, и когда при этом он становился особенно задумчив, я говорил себе: может быть, он думает теперь о своей умершей матери, и о долгой ее нужде и о нужде всего бедного народа, умирающего с голоду в богатой Англии, и перчатки эти служат ручательством того, что Каннинг знает, каково ему на душе, и что он хочет ему помочь. В пылу своей речи он даже сорвал перчатку с одной руки, и мне уже казалось, что он хочет бросить ее к ногам всей высшей английской аристократии, как черный вызов от лица всего оскорбленного человечества.

Если эта аристократия и не убила его прямо, как не убила она и узника Святой Елены, умершего от рака желудка, то она вонзила ему в сердце достаточно много отравленных иголок. Мне рассказывали, например, что однажды Каннинг, отправляясь в парламент, получил письмо, которое было запечатано хорошо известным

* Это мой гром

гербом и которое он распечатал уже в зале заседания, и нашел в нем старую афишу спектакля, где среди имен актеров стояло также имя его покойной матери. Вскоре после того Каннинг умер, и теперь, вот уже пять лет, он спит в Вестминстере рядом с Фоксом и Шериданом, и, быть может, на устах, которые произнесли такие великие, могучие слова, паук плетет свою бессмысленно безмолвную паутину. И Георг IV также спит теперь там в ряду своих отцов и предков, каменные изваяния которых лежат вытянутые на гробницах, положив каменные головы на каменные подушки, со скипетром и державой в руке; а кругом в высоких гробницах лежит аристократия Англии, благородные герцоги и епископы, лорды и бароны, теснящиеся и в смерти, как и в жизни, вокруг королей. И кто желает посмотреть на них там, в Вестминстере, платит шиллинг и шесть пенсов. Эти деньги взимает бедный маленький сторож, промысел которого — показывать знатных мертвых господ и который при этом бормочет их имена и деяния, словно показывая кабинет восковых фигур. Я люблю подобные зрелища, так как убеждаюсь тогда, что великие мира сего не бессмертны. Я не пожалел о шиллинге и шести пенсах и, покидая Вестминстер, сказал сторожу: «Я доволен твоей выставкой, но я охотно заплатил бы тебе вдвое, если бы коллекция была полней».

Все дело в этом. Пока аристократы Англии не все собрались к своим отцам, пока вестминстерская коллекция не полна, до тех пор борьба народов с привилегиями рождения все еще остается нерешенной, а гражданский союз между Францией и Англией сомнительным.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Париж, 25 марта 1832 г.

Бельгийский поход, осада Лиссабона и взятие Анконы — вот три главнейших подвига, которыми *juste milieu* ознаменовало за рубежом свою силу, свою

мудрость и свое величие; внутри государства оно стяжало столь же доблестные лавры под колоннадой Пале-Рояля, в Лионе и в Гренобле. Никогда еще Франция не падала так низко в глазах других стран, даже во времена Помпадур и Дюбарри. Теперь оказывается, что может быть еще нечто более плачевное, нежели владычество метресс. В будуаре куртизанки все-таки можно найти больше чести, нежели в банкирской конторе. Даже в молельне Карла X и то не вполне забывали о национальном достоинстве, и оттуда исходила мысль о завоевании Алжира. От этого завоевания теперь для полноты унижения должны отказаться. Этот последний лоскут чести Франции приносят в жертву призрачному союзу с Англией. Точно обманчивая надежда на этот союз не обошлась уже достаточно дорого! Ради этого союза французы должны будут осрамиться и на цитадели Анконы, как на равнинах Бельгии и на стенах Лиссабона.

В самой стране затруднения и раздоры стали уже до того невыносимы, что даже немец потерял бы терпение. Сейчас французы — словно те грешники Дантова ада, которым их настоящее положение сделалось столь нестерпимо, что они только желают вырваться из него, хотя бы пришлось попасть в положение еще худшее. Так объясняется, что легитимная монархия для республиканцев и республика для легитимистов стали гораздо более желательными, чем то болото, которое находится посередине и в котором они увязли. Общее страдание связывает их. Рай у них не один и тот же, но один и тот же ад, и в нем стоит плач и скрежет зубовый. «Vive la République! Vive Henry VI!»*.

Приверженцы министерства, т. е. чиновники, банкиры, землевладельцы, лавочники, усугубляют общую досаду радужными заверениями, что все мы живем самым мирным образом, что курс государственных бумаг, этот термометр общественного благополучения,

* Да здравствует Республика! Да здравствует Генрих VI!

поднялся, что этой зимой в Париже мы видели балов больше, чем когда-либо, и что опера достигла высшего расцвета. Так оно и было в самом деле, ибо эти люди имеют ведь средства давать балы. И вот они танцевали, чтобы доказать, будто Франция счастлива, танцевали за свою систему, за мир, за спокойствие Европы; они хотели вытанцевать повышение курсов, они танцевали *à la hausse* *. Правда, порой во время самых радостных антраша дипломатический корпус доставлял злоешие депеши из Бельгии, Испании, Англии и Италии, но никто не проявлял замешательства, и с веселостью, полной отчаяния, все продолжали танцевать, подобно тому, как Алина, королева Голконды, продолжает свои притворно веселые пляски в то время, как хор евнухов с писком сообщает одну ужасную весть за другой. Люди эти, как я отметил уже, танцевали за свою ренту, и чем умереннее были они настроены, тем с большей страстью танцевали они, и самые толстые, самые нравственные банкиры отплясывали безбожный вальс монахинь из «Роберта-Дьявола», знаменитой оперы.

Мейербер достиг неслыханного, сумев на целую зиму завладеть вниманием порхающих парижан. Попрежнему все еще стремятся в Музыкальную академию посмотреть «Роберта-Дьявола»; но да простят мне восторженные мейерберианцы, если мне кажется, что иных притягивает не одна только музыка, но также и политический смысл оперы! Роберта-Дьявола, сына чорта, столь же нечестивого, как был Филипп Эгалите, и принцессы, столь же благочестивой, как дочь Пантьевра, дух отца влечет ко злу, к революции, а дух матери — к добру, к старому режиму; в душе его борются два врожденных начала, он витает посередине между ними, он — *juste milieu*. Тщетно пытаются адские голоса из вольчего дола вовлечь его в «Mouvement» **, тщетно манят его духи Конвента, восстающие из могил в виде

* на повышение

** «Движение» (см. Комментарий).

революционных монахинь, тщетно Робеспьер в образе девицы Тальони заключает его в объятия, — он противостоит всем нападениям, всем искушениям, им руководит любовь к принцессе Обеих Сицилий, а она очень благочестива, и он тоже становится благочестивым, и под конец мы видим его в лоне церкви, в облаках ладана и окруженного жужжанием попов. Не могу не отметить, что на первом представлении этой оперы, по недосмотру машиниста, люк, через который старый Дьявол-отец провалился в ад, остался незакрытым, и что Дьявол-сын, нечаянно ступив на него, провалился тоже.

Поскольку в палате депутатов так много говорилось об этой опере, упоминание о ней на этих страницах не может быть неуместно. Явления общественной жизни здесь отнюдь не лишены политического значения, и я отлично понимаю, как мог Наполеон заниматься в Москве составлением регламента для парижских театров. На последние во время истекшей масленицы было обращено особое внимание правительства, так как вообще это время требовало от него тем большей бдительности, что опасения в нем вызывала даже свобода масок, и в последний день масленицы ожидали восстания. Как легко маскарад может подать к этому повод, подтвердилось в Гренобле. В прошлом году последний день масленицы был отпразднован разрушением дворца архиепископа.

Так как для меня эта зима — первая в Париже, то я и не могу решить, действительно ли карнавал в этом году был столь блистателен, как хвалится правительство, или он имел столь печальный вид, как жалуется оппозиция. Даже в таких чисто внешних вещах здесь нельзя добиться правды. Все партии стараются обмануть, и нельзя верить даже собственным глазам. Один из моих друзей, сторонник *juste milieu*, был так любезен, что водил меня по Парижу в последний день масленицы и воочию показывал мне, как счастлив и весел народ. Он в тот день отпустил также всех своих слуг

и категорически велел им всласть повеселиться. Весело держал он меня под руку, и весело носился со мною по улицам, и хохотал порой весьма громко. У Сен-Мартенских ворот на мокрой мостовой лежал смертельно бледный, хрипящий человек, о котором стоявшие зеваки говорили, что он умирает от голода. Но мой спутник уверил меня, что этот человек умирает с голоду каждый день на другой улице и что он этим живет, так как ему платят карлисты, чтобы он подобным зрелищем возбуждал народ против правительства. Однако ремесло это, повидимому, плохо оплачивается, так как многие в самом деле умирают от голода. Голодная смерть — нечто совсем особое; много тысяч людей пришлось бы здесь видеть в таком состоянии, если бы они дольше могли его выдерживать. Но обычно через три дня, проведенных без пищи, бедные мученики голода умирают один вслед за другим, и их закапывают в тишине и почти не замечают.

«Смотрите, как счастлив народ», — заметил мой спутник, указывая на многочисленные экипажи, полные масок, которые весело шумели и вытворяли забавнейшие штуки. Бульвары в самом деле представляли зрелище, исключительно занимательное по своей пестроте, и мне вспоминалась старая поговорка: «Когда господь-бог соскучится в небесах, он открывает окошко и глядит на бульвары Парижа». И казалось мне только, будто жандармерии наставлено было больше, чем собственно требуется для безобидного веселья. Республиканец, которого я повстречал, испортил мне удовольствие, начав уверять меня, что большинство масок, суесящихся всего веселее, оплачено самой полицией для того, чтобы не было жалоб, будто народ больше не веселится. Я не стану определять, в какой мере это справедливо; мужчины и женщины в масках веселились, казалось, от всей души, и если полиция к тому же еще платила им, то это очень мило с ее стороны. Если что и могло выдать ее участие, так это разговоры замаскированных парней из народа и публичных жен-

щин, которые, наклеив мушки на раскрашенные лица и щеголяя придворными нарядами, взятыми напрокат, пародировали и передразнивали благородные манеры времен Карла X, титулуя друг друга карлистскими именами, и при этом обмахивались веерами так надменно и так важничали, что невольно вспоминались мне те высокотожественные празднества, на которые еще ребенком я имел честь смотреть вниз с галлерей; но только парижские торговки лучше говорили по-французски, чем кавалеры и знатные девицы в моем отечестве.

Отдавая справедливость последнему, признаюсь, что масляничный бык нынешнего года не возбудил бы в Германии никакого удивления. У немца вызвал бы насмешливую улыбку этот непредставительный бык, толщине которого здесь все так изумлялись. Намеками на этого бедного быка целую неделю была полна мелкая пресса; ходячей шуткой было, что он *gros, gras et bête* *, и шествие этого *quasi*-жирного быка пародировали в карикатурах на самый отвратительный лад. Уже ходили слухи, будто в этом году запретят шествие; но потом спохватились. От стольких народных забав, ныне забытых, одно только шествие масленичного быка сохранилось еще во Франции. Неограниченную монархию, *parc des cerfs* **, христианство, Бастилию и много подобных установлений доброго старого времени опрокинула революция; только бык остался. Поэтому и ведут его с торжеством по улицам, увенчанного цветами, в сопровождении свиты мясников, на которых и шлемы и латы — ветошь, унаследованная ими, как ближайшими родственниками, от покойных рыцарей. Легко понять смысл публичных маскарадов. Труднее разгадать тот тайный маскарад, который замечаешь здесь повсюду. Этот более обширный карнавал начинается первого января и кончается тридцать

* толст, жирен и глуп

** олений лес

первого декабря. Блистательнейшие зрелища являет он в Пале-Бурбон, в Люксембурге и в Тюильри. Не только в палате депутатов, но и в палате пэров, и в королевском кабинете разыгрывают сейчас безобразную комедию, которая, быть может, окончится трагично. Сторонники оппозиции, которые лишь продолжают комедию времен Реставрации, — это переодетые республиканцы, с явной иронией или слишком заметным отвращением играющие роль статистов монархии. Пэры играют сейчас роль не наследственных, а призванных в силу заслуг сановников. Но если заглянуть под маски, за ними большей частью оказываются хорошо известные лица знати, и в какие бы современные костюмы ни облачались они, это те же потомки старой аристократии, и самые имена их напоминают их древнее ничтожество, и можно встретить среди них даже одного Дре-Брезе, о котором «National» говорит, будто он замечателен только тем, что однажды одному из его предков был дан хороший ответ. Что касается Луи-Филиппа, то он все еще играет свою роль *roi-citoyen* * и все еще носит соответствующий костюм буржуа. Однако под своей скромной фетровой шляпой он, как известно всем, носит совершенно несообразную с ней корону обыкновенного формата и в своем зонтике прячет неограниченнейший скипетр. И только тогда, когда речь заходит о самых дорогих интересах или когда кто-нибудь подходящей репликой разжигает страсти, эти люди забывают выученную роль и обнажают свою личность. Интересы эти прежде всего денежные, а они-то и должны отступать пред всеми остальными интересами, как можно было видеть во время бюджетных прений... Реплики, которые при этом вскрывали в палате депутатов республиканский образ мыслей, известны. И вовсе не так случайны и неважны — как думают, кажется, в Германии, — были прения по поводу слова *sujet* **. Это слово еще в начале фран-

* короля-гражданина

** подданный.

цузской революции давало повод к рассуждениям, в которых сказывались республиканские тенденции тех времен. Какой яростный поднялся шум, когда однажды с уст бедного Людовика XVI в одной из его речей сорвалось это слово. Ради сравнения с современностью перечитал я по этому поводу тогдашние газеты: тон 1790 г. не заглож, он только облагородился. Филипписты вовсе уж не столь безобидны, когда словечками такого рода приводят в ярость оппозицию. В прошлом году тщательно остерегались называть Тюильри *château* *, и «Moniteur» получил решительное указание пользоваться словом *palais* **. Потом стали относиться не так строго. А теперь решаются уже и на большее, и «Débats» *** говорят о Дворе, *la Cour*! «Мы крупными шагами идем назад к Реставрации», — жаловался мне мой не в меру опасливый приятель, прочитав, что сестре короля дарован титул *Madame*. Эта подозрительность граничит почти с комизмом. «Мы пойдем назад еще дальше Реставрации!» — воскликнул на-днях тот же приятель, бледнея от ужаса: на одном вечере он увидал нечто ужасное, а именно — красивую молодую даму с напудренными волосами. Откровенно говоря, это было очень красиво. Белокурые локоны были словно прикрыты легким инеем, и теплые свежие цветы тем трогательнее и милее выглядели из-под него.

«21 января» подобным же образом стало одним из тех слов, которые в парижской палате срывали личину с замаскированных наследственных страстей и с самого заядлого аристократизма. Случилось то, что я давно предвидел: аристократия и в парламенте повела себя так, будто ей принадлежит особая привилегия оплакивать смерть Людовика XVI, и оскорбила французский народ сохранением закона об искупительной годовщине, которым наместник Священного союза Людовик XVIII наложил эпитимию, как на преступ-

* замок

** дворец

*** «Journal des Débats»

ника, на весь французский народ. 21 января — это день, когда народ-цареубийца для устрашения всех окружающих его соседних народов должен был, посыпав голову пеплом, в мешке и со свечой в руках стоять перед Собором богоматери. Депутаты с полным правом голосовали за отмену этого закона, служившего скорее к унижению французов, чем к их утешению в том национальном бедствии, которое постигло их 21 января 1793 г. Не допустив отмены этого закона, палата пэров раскрыла свою непримиримую злобу против новой Франции и сняла личину со своей благородной вендетты, направленной против детей революции и против самой революции. Не столько ради непосредственных насущных интересов, сколько против самых основ революции борются сейчас пожизненные господа из Люксембурга. Поэтому они не отвергли законопроект Бриквиля; они отреклись от своей чести и подавили в себе свое жесточайшее отвращение. Ведь этот законопроект ни в малой мере не затрагивал основ революции. Но закон о разводе — он не может быть допущен, потому что сущность его насквозь революционна, как поймет всякий христианско-католический дворянин.

Раскол, который по этому поводу возник между палатой депутатов и пэрами, вызовет самые неблагоприятные последствия. Говорят, что король уже начинает понимать смысл этого раскола во всей его безнадёжности. Вот следствие этой половинчатости, этих колебаний между раем и адом, этой роберто-дьявольской золотой середины. Луи-Филипп должен был остерегаться, как бы невзначай не ступить на плохо закрытый люк. У него под ногами весьма ненадежная почва. По своей собственной вине он утратил свою вернейшую опору. Он совершил обыкновенный промах нерешительного человека, желающего добрых отношений с противниками и потому портящего отношения с друзьями. Он ублажал аристократию, которая его ненавидит, и оскорблял народ, свою лучшую опору. Его благоволение к наследственности пэров оттолкнуло

от него жаждущие равенства сердца многих французов, и его затруднения с пожизненными будут служить для них злорадным развлечением. И только тогда, когда встает вопрос: «Что же означала Июльская революция?», недовольство перестает шутить шутки и мрачный гнев прорывается в грозных речах. Это — самая сильная из всех реплик, вскрывающая тайные страсти и заставляющая партии совершенно сбрасывать маски. Я думаю, мертвецов великой недели, похороненных под стенами Лувра, можно было бы пробудить от сна, если бы спросить их: в самом ли деле мужи Июльской революции ничего не хотели кроме того, что говорила оппозиция в палате при Реставрации? Такое именно определение Июльской революции дали во время последних прений сторонники министерства. Какое это жалкое, само собою рушащееся объяснение, явствует уже из признания, сделанного впоследствии самой оппозицией, что за все годы Реставрации она играла комедию. Какая же после этого может быть речь о точности деклараций? Точно так же и то, что три дня, под пушечный гром, кричал народ, не было точным выражением его желаний, как утверждали потом филипписты. Крик «Vive la Charte!»*, который потом истолковывали как всеобщее желание сохранить хартию, был тогда не чем иным, как лозунгом, паролем, служившим лишь в качестве *signe de ralliement* **. Выражениям, которыми в таких случаях пользуется народ, нельзя придавать слишком определенный смысл. Это относится одинаково ко всем революциям, которые совершил народ. «Люди завтрашнего утра» всегда приходят напоследок и стараются найти слова. И находят они лишь мертвящее слово, а не животворящий дух. А важно знать дух, а не слова. Ибо народ так же мало понимает слова, как и сам не умеет словами заставить себя понять. Он понимает лишь дела, лишь факты

* Да здравствует хартия!

** сигнала для сбора

и говорит только делами и фактами. Таким фактом была Июльская революция, и она заключалась не только в том, что Карл X был изгнан в Голируд из Тюильри, а Луи-Филипп поселился там; такая чисто личная перемена имела бы значение только для швейцара этого дворца. Народ, изгнав Карла X, видел в нем лишь представителя аристократии, каким он являлся всю свою жизнь, начиная с 1788 г., когда, представляясь в качестве принца крови Людовику XVI, решительно заявил, что государь — прежде всего дворянин и как таковой естественно принадлежит к корпорации дворянства и поэтому должен защищать ее права преимущественно перед всякими иными интересами. А в Луи-Филиппе народ прежде всего видел человека, чей отец даже самым своим именем уже признал гражданское равенство людей, человека, который сам сражался за свободу при Вальми и при Жемаппе, у которого с самой ранней юности и до сего дня слова «свобода» и «равенство» всегда были на устах и который, находясь в оппозиции к собственной родне, всегда выступал представителем демократии.

Как прекрасно светился этот человек в сиянии июльского солнца, которое словно нимбом озаряло его голову и даже на самые ошибки его бросало столько света, что они казались еще ослепительнее, чем его добродетели. Вальми и Жемапп! Таков был патриотический рефрен всех его речей. Он гладил трехцветный флаг, словно вновь обретенную возлюбленную; он стоял на балконе Пале-Рояля и рукой отбивал такт марсельезы, которую внизу, ликуя, пел народ; и он весь был сын Равенства, *fils d'Égalité* *, *soldat tricolore* ** свободы, как он дал воспеть себя Делавиню в его «*Parisienne*» *** и как дал изобразить себя Орасу Верне на тех картинах, которые всегда стояли напоказ, полные особого смысла, в залах Пале-Рояля. Во времена Реставрации

* Французский перевод предшествующих двух слов.

** трехцветный солдат

*** «Парижанка»

народ всегда имел свободный доступ в эти залы, и разгуливал в них по воскресеньям, и дивился, какой мешанский простой вид имело там все, в противоположность Тюильри, куда не мог так легко попасть бедный простолюдин; с особенной любовью смотрел он на картину, где Луи-Филипп изображен в виде учителя швейцарской школы, стоящий перед глобусом и обучающий ребят географии. Бедные люди нивесть что думали о той премудрости, которою он сам должен был для этого обладать. Теперь говорят, что Луи-Филипп научился тогда всего лишь *faire bonne mine à mauvais jeu* * и чрезмерно ценить деньги. Ореол вокруг головы его исчез, и недовольство видит в ней лишь грушу.

Груша все еще составляет предмет уличных острот, постоянно повторяющихся в юмористических листках и карикатурах. Эти листки, — в особенности «*Le Revnant*» **, «*Les Cancans*» ***, «*Le Brid-Oison*» ****, «*La Mode*» ***** и как там еще называются эти карлистские насекомые, — издеваются над королем с бесстыдством, которое тем более отвратительно, что их, как хорошо известно, оплачивает аристократическое предместие. Говорят, королева часто их читает и плачет от этого чтения; эти листки доставляет бедной женщине неутомимая услужливость тех злейших врагов, которых под именем «добрых друзей» можно найти во всяком большом доме. Груша, как я сказал, сделалась постоянной остротой, и сотни карикатур, на которых видишь ее, выставлены повсюду. На них можно видеть Казимира Перье, стоящего на трибуне и держащего в руке грушу, которую он выхваляет окружающим и сбывает самому щедрому покупателю за восемнадцать миллионов. Там опять необычайно большая груша

* уметь скрывать свою досаду

** «Привидение»

** «Сплетни»

**** Бридуазон — имя комического персонажа из «Женитьбы Фигаро» Бомарше.

***** «Мода»

лежит, подобно горе, на груди спящего Лафайета, который, как написано на стене комнаты, грезит о лучшей из республик. Потом еще можно видеть Перье и Себастиани, одеты они: один — в костюм Пьеро, а другой — в костюм трехцветного Арлекина, пробираются по глубочайшей грязи и несут на плечах перекладину, к которой привешена огромная груша. Юного Генриха изображают благочестивым странником в одеянии пилигрима, в шляпе наподобие раковины и с посохом, на котором сверху висит груша, напоминающая отрубленную голову.

Я, право, не собираюсь защищать бесстыдство этих карикатур, менее всего, когда они затрагивают самую личность монарха. Но их бесчисленное множество есть глас народа и кое-что означает. Подобные карикатуры становятся до некоторой степени извинительными, когда, не имея целью просто оскорбление лица, они бичуют обман, жертвой которого становится народ. Тогда и влияние их беспредельно. С тех пор как появилась карикатура, на которой изображен трехцветный попугай, отвечающий на каждый обращенный к нему вопрос попеременно то «Вальми», то «Жемапп», — Луи-Филипп остерегается повторять эти слова столь же часто, как прежде. Он ведь чувствует, что в этих словах всегда содержалось обещание, и тот, у кого они были на устах, не имел права добиваться quasi-легитимизма, не имел права сохранять аристократические установления, не имел права этим путем вымаливать мир, не имел права позволять безнаказанно оскорблять Францию, не имел права предавать палачам свободу остального мира. На доверие народа должен был Луи-Филипп опереть свой трон, которым он обязан доверию народа. Он обязан был окружить его республиканскими учреждениями, верный своему обещанию, засвидетельствованному безупречнейшим гражданином Старого и Нового света. Ложь хартии должна была быть уничтожена, а Вальми и Жемапп должны были стать явью. Луи-Филипп обязан был исполнить то, что символически

обещала вся его жизнь. Как некогда в Швейцарии, он обязан был снова стать перед глобусом и всенародно объявить: «Видите эти прекрасные страны, люди в них все свободны, все равны, и если вы, малыши, этого не запомните, то получите розги». Да, Луи-Филипп обязан был стать во главе европейской свободы, слить ее интересы со своими собственными интересами, отождествить себя со свободой и, подобно тому, как один из его предшественников произнес дерзновенное «*L'État c'est moi*», так и он с еще большей уверенностью в себе должен был воскликнуть: «*La liberté c'est moi !*»*.

Он этого не сделал. Теперь будем выжидать последствий. Они неминуемы, и только насчет срока нельзя сказать ничего определенного. Советуют остерегаться прекрасных дней весны. Карлисты полагают, что новый трон рухнет лишь осенью. Если это не произойдет, то он продержится еще года четыре-пять. Республиканцы больше не хотят пускаться в слишком определенные предсказания. «Довольно того, — говорят они, — что будущее принадлежит нам». И в этом они, пожалуй, правы. Хотя до сих пор их всегда обманывали карлисты и бонапартисты, все же должно наступить время, когда окажется, что деятельность обеих этих партий послужила на пользу лишь республиканцам. Они и рассчитывают на эту деятельность карлистов и бонапартистов, тем более, что сами они не могут ни деньгами, ни сочувствием к себе вызвать движение в массах. Деньги же льются сейчас золотыми потоками из Сен-Жерменского предместья, и все продажное покупается на них. На рынке в Париже, к сожалению, всегда есть слишком много продажного, и считается, что карлисты за этот месяц сделали большие успехи. Подкуплены будто бы многие люди, всегда пользовавшиеся в народе большим влиянием. Известны благочестивые происки черных сутан в провинции; они проползают и всюду кругом шипят и лгут во имя господне. Всюду выста-

* Свобода — это я

вляется изображение чудо-отрока, и можно видеть его в самых трогательных позах. То он стоит на коленях и молится о спасении Франции и своих несчастных подданных, то он карабкается на горы Шотландии, в одеянии горца, без штанов. «*Mâtin!* — сказал рабочий, вместе со мной рассматривавший это изображение в лавке торговца гравюрами. — *On le représente sans culotte, mais nous savons bien qu'il est jésuite*» *. На другой картине в том же роде он, плачущий, изображен вместе со своей сестрицей, и внизу начертаны чувствительные стихи: «*O! Que j'ai douce souvenance — Du beau pays de mon enfance*» ** и т. д. Песни и стихи, прославляющие юного Генриха, распространяются в большом количестве и хорошо оплачиваются. Как некогда в Англии была якобитская поэзия, так теперь существует здесь поэзия карлистская.

Между тем бонапартистская поэзия много значительнее, и важнее, и опаснее для правительства. В Париже нет гризетки, которая не пела бы и не чувствовала бы песен Беранже. Народ лучше всего понимает эту бонапартистскую поэзию, и на этом спекулируют поэты, а на поэтах, в свою очередь, спекулируют другие. Виктор Гюго пишет сейчас большую героическую поэму о старом Наполеоне, и родственники по отцу молодого Наполеона состоят в переписке именно с теми народными поэтами, которые известны в качестве Тиртеев бонапартизма и воодушевляющую лиру которых надеются в надлежащее время пустить в ход. Здесь даже думают, будто «сыну человека» стоит лишь появиться, чтобы положить конец теперешнему правительству. Известно, что имя Наполеона увлекает народ и обезоруживает армию. Однако благоразумные истинные демократы отнюдь не склонны вторить этим всеобщим восторгам. Конечно, имя Наполеона им дорого и ценно,

* Чорт возьми! Его изображают без штанов, но мы-то знаем, что он иезуит

** О как сладки воспоминания — О прекрасном крае, где я провел свое детство!

потому что оно стало почти синонимом славы Франции и победы трехцветного знамени. В Наполеоне они видят сына революции; в молодом Рейхштадте они видят только сына императора. Признав его, они тем самым признали бы принцип легитимизма. Это, во всяком случае, было бы забавной непоследовательностью. Столь же забавно мнение, что сын, хотя бы он и не достиг величия своего отца, — наверно все же и не совсем выродок и все-таки будет маленьким Наполеоном. Маленьким Наполеоном! Как будто Вандомская колонна возбуждает наше удивление чем-нибудь иным, кроме своей величины! Ведь именно потому, что она такая большая и мощная, народ хочет опереться на нее в это смутное, шаткое время, когда единственное, что крепко стоит во Франции, — это Вандомская колонна.

Вокруг этой колонны вращаются все мысли народа. Она для него несокрушимая железная летопись, и по ней он читает о своих собственных подвигах. Но особенно живо помнит он то поругание, которому немцы подвергли статую на этой колонне, помнит, как они бедному императору отпилили ноги, как ему, словно вору, накинули веревку на шею и низвергли его с высоты. Добрые немцы исполнили свой долг. На этой земле каждый имеет свое назначение, бессознательно осуществляет его и оставляет по себе символ этого осуществления. Так, Наполеон должен был во всех странах добиться победы революции. Но, забыв об этом назначении, он лишь самого себя захотел возвеличить победой и дерзновенно-эгоистически вознес он свое изображение на трофеи революции, на сплавленные воедино пушки Вандомской колонны. И вот немцам назначено было отомстить за революцию и низвергнуть императора с узурпированной высоты, с высоты Вандомской колонны. Лишь трехцветному флагу подобает это место, и с Июльских дней он развешивается там, победный и многообещающий. Если впоследствии Наполеона снова водрузят на Вандомскую колонну, то он будет стоять уже не как император, не как Цезарь, а как предста-

витель революции, несчастием искупивший грехи и очищенный смертью, как символ победной власти народа.

Так как я только что говорил о молодом Наполеоне и о молодом Генрихе, я должен также упомянуть и о молодом герцоге Орлеанском. У здешних торговцев эстампами они обычно бывают выставлены рядом друг с другом, и наши памфлетисты постоянно рассуждают об этих трех странных представителях легитимизма. Что это, помимо всего, служит одной из главных тем для болтовни публики — понятно само собой. Это слишком обширный и слишком бесплодный вопрос, чтобы касаться его здесь. Более важным кажется мне все, что касается личных качеств герцога Орлеанского, так как с личностью молодого принца связано столько интересов ближайшего будущего. Более практическое значение имеет вопрос не о том, имеет ли он право вступить на престол, а о том, есть ли у него необходимые для этого данные, может ли его партия им доверять и чего следует ожидать от его характера, так как, во всяком случае, ему предстоит играть важную роль. Однако мнения насчет его характера разнообразны, даже разноречивы. Одни говорят, будто герцог Орлеанский — совсем ограниченный человек, робкий, тупоумный, будто бы даже в семье его называют *grand poulot* *, но при этом он одержим наклонностями к абсолютизму, временами с ним даже делаются припадки бешеного властолюбия. Так например, он с упрямством настоял на том, чтобы отец пустил его в Лион во время восстания рабочих, опасаясь, как бы его не опередил герцог Рейхштадтский, и т. д. Другие, напротив, говорят, что его королевское высочество — сама доброта, само благомыслие, сама скромность; что он очень разумный молодой человек, получивший вполне соответствующее воспитание и наилучшее образование; что он преисполнен отваги, чувства чести и любви к свободе и доказал это, часто и настойчиво советуя отцу проводить более ли-

* варослым ребенком

беральную политику; что он чужд всякой лжи и злобы, что он сама любезность и что любимый его способ мстить своим врагам — это отбить на балу хорошенькую девушку. Нет надобности говорить, что это благожелательное мнение исходит от сторонников династии, а мнение неприязненное — от ее противников. И тем и другим одинаково нельзя верить.

Итак, о молодом принце я не могу сообщить ничего определенного, кроме того, что видел сам, т. е. какова его внешность. Тут, в согласии с истиной, я должен признать, что внешность его хороша. Несколько долго-вязая, собственно не худая, а скорее тонкая фигура, продолговатая узкая голова на длинной шее, также удлинённые, но совершенно правильные, благородные линии лица, честный открытый лоб, прямой правильный нос, красивый свежий рот с мягко округленными, словно просящими, губами, маленькие голубоватые странно невыразительные, лишенные мысли глаза, русые волосы и совсем белокурые бакенбарды, продолжающиеся и под подбородком и словно заключающие в золотую рамку румяно-цветущее, здоровое юношеское лицо. Мне кажется, в чертах этого лица я читаю большую будущность, однако не слишком радостную будущность. В лучшем случае этот юноша идет навстречу великому мученичеству: он станет королем. Если будущих событий он не провидит умом, то все же, кажется, он инстинктивно их понимает. Животная природа, так сказать — плоть, как бы охвачена печальными предчувствиями, и поэтому некоторая меланхолия сказывается в его наружности. Уныло и задумчиво свешивается порой узкая длинная голова на длинной шее. Походка — сонная и нерешительная, как походка человека, который все боится, не пришел ли он слишком рано. Его речь тянется или же обрывается короткими словами, точно в полусне. В этом и проявляется отмеченная нами меланхолия, или, вернее, меланхолическая печать будущего. Впрочем, в его внешности есть что-то мешански простое. Эта особенность тем отчетливее

выступает наружу, что в его брате, герцоге Немурском, замечается противоположное. Он — красивый, очень разумный юноша, стройный, но невысокий, очень нежного сложения; белое приятное личико, умный и легкий взгляд, устремленный вперед, несколько побурбонски изогнутый нос; в общем — изящный блондин стародворянского облика. Это не наглые черты дворянчика из ганноверской глуши, но особое благородство внешности и манер, какое встречается лишь среди образованнейшей высокой знати. Так как эта порода с каждым днем уменьшается в числе или вырождается вследствие мезальянсов, то аристократическая наружность герцога Немурского бросается в глаза. Однажды я слышал, как кто-то, увидев его, сказал: «Это лицо через несколько лет будет производить в Америке большое впечатление».

С Т А Т Ь Я Ш Е С Т А Я

Париж, 19 апреля 1832 г.

Я не намерен заимствовать из мастерских различных партий банальный масштаб, чтобы мерить им людей и их дела; еще менее намерен я определять достоинство и величие их по грезам и личным своим чувствам. Но я хотел бы со всем возможным беспристрастием способствовать уразумению настоящего и ключа к шумным загадкам нынешнего дня искать прежде всего в прошедшем. Салоны лгут — могилы правдивы. Но, увы! Мертвые, эти холодные повествователи истории, тщетно вызывают в грохочущей толпе, которой понятен лишь язык страстей.

Разумеется, салоны лгут непреднамеренно. Общество власть имущих действительно верит в вечность своей власти, хотя анналы мировой истории и огненное «мене, текел» газет и даже громкий голос уличной толпы проносят слова предостережений. Оппозиционные группы лгут, собственно говоря, тоже неумышленно. Они

совершенно твердо верят в свою победу, так как люди вообще верят в то, чего желают, они опьяняют себя шампанским своих надежд. Каждую неудачу они считают неизбежным шагом, еще более приближающим их к цели. Накануне падения их упования сверкают всего блистательнее, и посланец суда, официально возвещающий им их поражение, обыкновенно застает их за дележом медвежьей шкуры. Отсюда — те ошибки односторонности, которых нельзя избежать, если близко стоять к той или иной партии; каждая из них невольно обманывает нас, а мы охотнее всего доверяем нашим друзьям-единомышленникам. Если же мы сами столь бесстрастны по природе, что постоянно находимся в общении со всеми партиями, ни одной не отдавая предпочтения, то нас сбивает с толку полная самоуверенность, которую мы находим в любой из них, и наше суждение расслабляюще нейтрализуется. И индифферентисты такого сорта, не имеющие собственного мнения, безучастные к интересам современности и желающие лишь разузнать, что собственно происходит, и поэтому подслушивающие болтовню всех салонов и подбирающие во всякой партии *chronique scandaleuse* * других партий, — такие индифферентисты видят только личности и не видят дел или, вернее, в делах видят только личности. И, распознав слабость личностей, они предсказывают крушение их дел и вследствие этого вовлекают тех, кто им доверяется, в опаснейшие ошибки и промахи.

Не могу не обратить здесь особого внимания на то несоответствие между делами (т. е. духовными и материальными интересами) и личностями (т. е. представителями этих интересов), которое сейчас наблюдается во Франции. Совсем не то было в конце прошлого столетия, когда люди-колоссы вырастали до высоты стоявших перед ними дел, так что в историях революции они образуют как бы героический период, и этот период,

* скандальную хронику

как героический, прославляется и почитается нашей республиканской молодежью. Или мы, быть может, выпадаем в этом смысле в такое же заблуждение, какое мы находим у госпожи Ролан, весьма горько жалующейся в своих «Мемуарах», что среди людей ее времени нет ни одного выдающегося человека? Бедная женщина не знала своего собственного величия и не замечала поэтому, что современники ее уже были достаточно велики, если они даже ей духовно ни в чем не уступали. Теперь весь французский народ так сильно вырос, что мы, пожалуй, несправедливы к его общественным представителям, которые, хотя и не особенно возвышаются над толпой, все же не могут быть названы маленькими. Теперь из-за леса не видно деревьев. В Германии мы наблюдаем обратное — чрезмерное обилие деревьев-уродов, карликовых елок, а между ними то здесь, то там — исполинский дуб, верхушка которого подымается до облаков, меж тем как внизу черви подтачивают ствол.

Нынешний день — порождение вчерашнего дня. Чтобы узнать, чего желает нынешний день, нужно исследовать, чего хотел вчерашний день. Революция — все та же. Не за хартию сражались в дни великой недели, как хотят убедить нас доктринеры, но за те же самые интересы революции, ради которых уже сорок лет проливалась лучшая кровь Франции. Однако, чтобы автора этих страниц не сочли за одного из тех проповедников, которые под революцией понимают лишь перевороты, и только перевороты, а случайные явления принимают за сущность революции, я поста-раюсь как можно точнее определить основное понятие.

Когда духовное развитие народа и обусловленные им нравы и потребности перестают быть созвучными старым государственным установлениям, тогда народ вступает в неизбежную борьбу с этими установлениями, которая приводит к их преобразованию и называется революцией. Пока революция не завершена, пока это преобразование установлений не достигает полного

соответствия с духовным развитием и вытекающими из него нравами и потребностями народа, до тех пор и государство не исцеляется от своего недуга, и болезненно возбужденный народ будет, правда, временами, впадать в вялый покой усталости, но вскоре снова, ощутив лихорадочный жар, станет срывать со старых ран самые тугие повязки и самую благотворительную корпию, начнет выбрасывать в окно благороднейших сиделок и беспокойно и мучительно метаться в разные стороны, пока сам собой не окажется среди соответствующих установлений.

Вопрос, достигнет ли сейчас Франция покоя или же мы идем навстречу новым государственным изменениям, и наконец, чем все это кончится? — вопрос этот, собственно, должен был бы ставиться иначе: что побудило французов начать революцию, и достигли ли они того, в чем нуждались? Чтоб облегчить ответ на этот вопрос, я в ближайших моих статьях буду говорить о начале революции. Это — вдвойне полезное занятие, ибо, когда мы пытаемся прошлым объяснить настоящее, тотчас же становится очевидно, что свое истинное объяснение прошлое находит лишь в настоящем, и каждый новый день бросает на него новый свет, о котором и не подозревали наши прежние составители учебников. Они думали, что летопись революции уже замкнулась, и уже высказали окончательное суждение о людях и делах, как вдруг загромыхали пушки великой недели, и геттингенский факультет заметил, что на решение его академического совета подана апелляция в высшую инстанцию и что не только не кончилась чисто французская революция, но что теперь лишь началась гораздо более широкая — всемирная революция. Как должны были испугаться эти мирные люди, когда ранним утром, высунувшись из окна, они узрели крушение государства и своих компендиев, и, несмотря на ночные колпаки, до их слуха донеслись звуки марсельского гимна. Поистине, то, что в 1830 г. трехцветный флаг развевался несколько дней на башнях Геттингена,

было студенческой потехой, которую мировая история позволила себе по отношению к высокоученому филологу *Georgiae Augustae*. В наше слишком серьезное время полезны такие развлечения.

Но сказанного достаточно для вступления к статье, имеющей целью осветить прошлое. Настоящее в этот момент более важно, и тема, которую оно мне предлагает на обсуждение, — такого рода, что ею определяется весь характер дальнейших писаний.

Отрывок из статьи, обещанной здесь, я дам в приложении. Ее позднее написанная часть появится в следующей книге. Мне очень мешали, когда я писал эту статью, больше всего тревожили меня ужасающие крики моего соседа, умиравшего от холеры. Вообще я должен заметить, что тогдашняя обстановка неблагоприятно отразилась также и на следующих страницах. Правда, я не помню, чтобы ощущал малейший страх, но все-таки очень беспокоило, когда в ушах непрестанно звенит ляг косы, натачиваемой смертью. Скорее физическое, чем душевное недомогание, от которого все же нельзя было отделаться, выгнало бы отсюда и меня вместе с другими чужестранцами; но лучший друг мой лежал здесь больной. Я отмечаю это, чтобы мое пребывание в Париже не сочли за браваду. Только безумцу могло бы доставить удовольствие сопротивляться холере. Это был период террора, гораздо более ужасного, чем тот, прежний террор, ибо казни совершались теперь с такой поспешностью и столь таинственно! Замаскированный палач ходил по Парижу с незримой *guillotine ambulante**. «Одного за другим — всех нас засунут в мешок!» — каждое утро говорил со вздохом мой слуга, называя мне число мертвецов или сообщая о смерти знакомого. Выражение «засунуть в мешок» было отнюдь не метафорой; вскоре нехватило гробов, и покойников стали большей частью хоронить в мешках. Когда я на прошлой неделе проходил мимо одного общественного здания и когда увидел веселую толпу, наполнявшую просторный зал, игриво прыгающих французинов, миленьких болтушек-француженоч, со смехом и с шутками делавших там покупки, мне вспомнилось, что во время холеры здесь сотнями лежали высоко нагроможденные друг на друга белые мешки, в которых сплошь были трупы, и что здесь раздавались немногие, но тем более вловящие голоса, слышно было, как сторожа, с жутким равнодушием, по счету сдают эти мешки могильщикам и как последние, нагружая ими свои телеги, глухо повторяют число или же крикливо-

* передвижной гильотиной

громко начинают жаловаться, будто им отпустили на один мешок меньше, причем нередко разгоралась странная ссора. Помню, что возле меня стояли два маленьких мальчика с грустными лицами и один из них меня спросил, не могу ли я ему сказать, в каком мешке его отец.

Нижеследующее сообщение имеет, быть может, то достоинство, что оно — словно бюллетень, писанный на поле битвы и притом во время самого боя, а потому правдиво передающий колорит минуты. Фукидид, историк, и Бокаччо, новеллист, оставили нам, конечно, лучшие описания в этом роде, но я сомневаюсь, чтобы у них хватило спокойствия духа, если бы в то самое время, как холера их века всего лютее бушевала вокруг них, им надо было так красиво, так мастерски описывать ее в поспешной статье для «Всеобщей газеты» Коринфа или Пизы.

Я и на следующих страницах останусь верен правилу, которого держусь во всей книге, а именно: я ничего не изменю в этой статье, я отдам ее в печать совершенно в том виде, как она первоначально была написана, лишь кое-где я вставлю или выброшу слово, если по моим воспоминаниям это соответствует первоначальной рукописи. Я не могу отказаться от таких небольших реминисценций, но они очень редки, очень незначительны и нигде не касаются существенных ошибок, ложных предсказаний и превратных мнений, в которых здесь не может быть недостатка, так как они принадлежат истории того времени. Сами события являются всегда лучшими поправками.

Я говорю о холере, которая с тех пор царит здесь, и царит неограниченно, тысячами поражая свои жертвы, невзирая ни на положение, занимаемое ими, ни на их образ мыслей.

К этому бедствию отнеслись сперва тем беззаботнее, что, как сообщали из Лондона, холера уносит сравнительно мало жертв. Сперва как будто даже собирались поднять холеру насмех и думали, что она, как и всякое крупное имя, не сможет поддержать здесь свой престиж. И не приходится пенять на бедную холеру, если она, из боязни показаться смешной, прибегла к тому средству, которое еще и Робеспьер, и Наполеон считали надежным, и, чтобы заставить уважать себя, стала косить народ. При большой нищете, которая здесь царит, при страшной нечистоплотности, которую можно наблюдать не только среди беднейших классов насе-

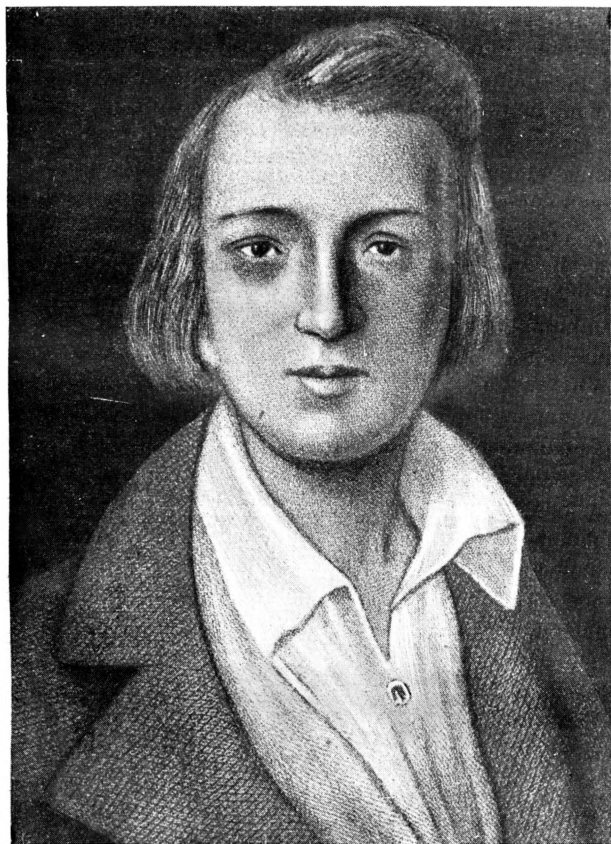
ления, при восприимчивости народа вообще ко всему, при его безграничном легкомыслии, при полном отсутствии предосторожностей и предохранительных мер, холера должна была распространиться здесь быстрее и ужаснее, чем где бы то ни было. Ее прибытие было официально возвещено 29 марта, а так как это был день *mi-carême* * и стояла солнечная и мягкая погода, то парижане, еще более веселые, чем обычно, толпились на бульварах, где даже встречались маски, которые, пародируя болезненный цвет лица и расстроенный вид, высмеивали боязнь холеры и самую болезнь. В тот вечер танцевальные залы были полны, как никогда, самонадеянный смех почти заглушал самую громкую музыку, публика горячилась, танцуя *chahût* — не особенно двусмысленный танец, поглощала затем мороженое и всякие прохладительные напитки. И вдруг самый веселый арлекин ощутил в ногах слишком большую прохладу, снял маску, и из-под нее, ко всеобщему изумлению, глянуло сине-лиловое лицо. Скоро заметили, что это — не шутка, и смех умолк, и несколько повозок, наполненных людьми, прямо от танцевального зала направились к Отель-Дье, центральному госпиталю, где люди эти вскоре и умерли в затейливых своих маскарадных одеждах. Так как в первый миг испуга у всех явилась мысль о заразе, а более давние гости Отель-Дье стали надрывно голосить, то всех этих мертвецов похоронили, говорят, столь поспешно, что не сняли с них даже пестрых шутовских нарядов, и такие же веселые, как весела была их жизнь, лежат они в своих могилах.

Ни с чем не сравнится та растерянность, с которой после этого принялись за предохранительные меры. Назначена была *comission sanitaire* **, всюду учреждены были *bureaux de secours* ***, и немедленно

* День общественных увеселений на 3-й неделе поста, в четверг.

** санитарная комиссия

*** бюро помощи



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

С портрета маслом Тони Жоанно 1830-х гг.

приведено было в действие постановление о *salubrité publique* *. Здесь пришлось прежде всего столкнуться с интересами нескольких тысяч человек, считающих общественную грязь своим достоянием. Это так называемые *chiffonniers* **, которые из мусора, скопляющегося в течение дня в грязных закоулках домов, извлекают средства к жизни. С большой остро-конечной корзиной за спиной и с крючковатой палкой в руке бродят по улицам эти люди, грязные, бледно-лицые, и умудряются вытащить из мусора и продать всякую всячину, еще годную к употреблению. А когда полиция сдала в аренду очистку улиц, чтобы грязь не залеживалась на них, и когда мусор, нагруженный на телеги, стали вывозить прямо за город, в открытое поле, где тряпичникам предоставлялось сколько угодно рыться в нем, тогда эти люди стали жаловаться, что если их и не лишают хлеба, то мешают их промыслу, что промысел этот — их давнишнее право, почти собственность, которую у них произвольно хотят отнять. Удивительно, что доказательства, которыми они при этом пользовались, совершенно те же, которые обычно выставляют наши дворянчики, цеховые старшины, мастера гильдий, проповедники десятинного сбора, факультетские товарищи и прочие утопающие в привилегиях люди всякий раз, когда речь заходит о том, что древние злоупотребления, из которых они извлекают выгоду, весь мусор средневековья должен, наконец, быть выметен, чтобы застарелая гниль и вонь не зачумляли нынешнюю нашу жизнь. Когда жалобы не помогли, тряпичники насильственным путем постарались помешать ассенизационной реформе; они попытались устроить маленькую контрреволюцию и притом в союзе со старыми бабами, старьевщицами, которым было запрещено раскладывать вдоль набережных и перепродавать зловонные лоскутья, купленные большою

* общественной гигиене

** тряпичники

частью у тряпичников. И вот мы увидели омерзительнейшее восстание: новые асенизационные повозки были разбиты и брошены в Сену; тряпичники забаррикадировались у ворот Сен-Дени; старухи-ветошницы сражались большими зонтами на площади Шатле. Забили общий сбор. Казимир Перье барабанным боем вызвал своих мирмидонян из их лавок. Буржуазный трон затрясся. Рента пала. Карлисты возликовали. Они нашли, наконец, своих естественных союзников, собирателей тряпья, старух-ветошниц, выступивших теперь на защиту тех же принципов, как поборники древних прав, наследственно-мусорных интересов, всякого рода гнили.

Когда восстание тряпичников было подавлено вооруженной силой, а холера продолжала бушевать, но не с такой яростью, как хотелось иным людям, надеющимся при всяком народном бедствии и народном возмущении если не на победу своего дела, то, по крайней мере, на падение теперешнего правительства, — внезапно пронесся слух, будто многие из тех людей, которых с такой поспешностью предают земле, умирают не от болезни, а от отравления. Яд будто бы умудрился подмешать во все припасы — на овощных рынках, в булочных, в мясных, в винных лавках. Чем диковиннее были рассказы, с тем большей жадностью подхватывал их народ, и даже скептики, качавшие головами, должны были поверить после того, как появилось уведомление префекта полиции. Полиция, которой и здесь, как и всюду, менее важно предупредить преступление, чем знать о нем, либо желала похвалиться своим всеведением, либо же хотела, по крайней мере, отвести от правительства всякое подозрение, возможное при слухах об отравлениях, основательны ли они или неосновательны. Как бы то ни было, ее злополучное уведомление, где прямо было сказано, что она уже напала на след отравителей, официально подтвердило зловещий слух, и весь Париж впал в смертельное, полное ужаса отчаяние.

«Это неслыханно!» — кричали старики, которые даже в самые суровые времена революции не слыхали о подобном преступлении. «Французы, мы опозорены!» — восклицали мужчины, ударяя себя по лбу. Женщины с маленькими детьми, которых они боязливо прижимали к сердцу, горько плакали и сокрушались, что эти невинные червячки должны будут умереть у них на руках. Бедные люди не решались ни пить, ни есть и ломали руки от горя и ярости. Казалось, что гибнет мир. Народ собирался кучками и совещался главным образом на перекрестках, где находятся выкрашенные в красный цвет винные лавки, и там-то всего чаще обыскивали людей, возбуждавших подозрение, и горе им, если в их карманах оказывалось что-нибудь подозрительное! Слово дикий зверь, словно толпа безумных, набрасывался на них народ. Очень многие спаслись только благодаря присутствию духа; многие избежали опасности благодаря мужеству муниципальной гвардии, ходившей в тот день патрулями по всему городу; многие были тяжело ранены и искалечены; шесть человек были безжалостно убиты. Нет зрелища более ужасного, чем эта ярость народа, жаждущего крови и расправляющегося со своими беззащитными жертвами. По улицам несется мрачный людской поток, в котором там и здесь белеют, словно пенящиеся валы, рубашки рабочих, и все это ревет и грохочет, беспощадное, стихийное, демоническое. На улице Сен-Дени я услышал знаменитый старый клич: «A la lanterne!» * — и несколько иступленных голосов стали мне рассказывать, что вешают отравителя. Одни говорили, что это карлист; что в его кармане нашли *brevet du lys* **; другие говорили, что это священник и что такой способен на все. На улице Вожирар, где убили двух человек, имевших при себе белый порошок, я видел одного из этих несчастных; он еще слабо хрипел; а старухи сняли свои деревянные

* На фонарь!

** диплом лилии

*

башмаки и били его ими по голове, пока он не умер. Он был совершенно голый, в крови, избитый и растерзанный; с него не только сорвали одежду — ему вырвали волосы, детородные части, губы, нос, а какой-то мерзкий человек обвязал веревкой ноги трупа и потащил его по улице, все время выкрикивая: «Voilà le choléra morbus!» * Женщина поразительной красоты, бледная от ярости, стояла тут же с обнаженной грудью и окровавленными руками, и, когда труп поровнялся с ней, она еще ударила его ногой. Она засмеялась и попросила меня подарить ей несколько франков — дань ее нежному ремеслу, чтобы она могла купить себе на них черное траурное платье, ибо мать ее умерла несколько часов тому назад от яда.

На другой день выяснилось из газет, что несчастные, которых убили с такой жесткостью, были совершенно невинны, что подозрительные порошки, найденные у них, состояли из камфары, или хлора, или еще каких-то противохолерных снадобий и что мнимо-отравленные умерли от свирепствующей эпидемии самой естественной смертью. Здешний народ, как и всякий народ, быстро поддаваясь порывам страсти, способен на ужасные поступки, но он столь же быстро возвращается к состраданию и с трогательной скорбью раскаивается в своем злодействе, когда услышит голос благоразумия. Голосом благоразумия газеты на другое же утро успели успокоить и укротить народ, и то обстоятельство, что они оказались в силах так быстро положить конец злу, которое натворила полиция, следует отметить как триумф прессы. Здесь я должен подвергнуть порицанию поведение некоторых лиц, отнюдь не принадлежащих к низшему классу и все же позволивших вражде так далеко увлечь себя, что в отравлениях они публично обвиняли карлистов. Так далеко страсть никогда не должна завлекать нас; право, я бы призадумался, прежде чем возвести столь ужасное обвинение

* Вот холера морбус!

на самых моих ядовитых врагов. Карлисты имели полное право жаловаться по этому поводу. И подозрительным могло бы показаться мне только то, что они при этом слишком громко бранились, — не таков обычно язык невинности. Но, по убеждению наиболее осведомленных лиц, никаких отравлений не было. Может быть, отравления были инсценированы, может быть, в самом деле, наняли нескольких горемык, которые посыпали жизненные припасы разными безвредными порошками, чтобы посеять волнение в народе и рассердить его. Если это было так, то народу нельзя вменять в слишком большую вину его буйства, тем более, что они вызваны были не личной ненавистью, а заботой об общих интересах, в полном согласии с принципами «теории устранения». Да, карлисты, пожалуй, свалились в яму, которую они рыли правительству; не ему и, еще менее, — республиканцам, приписывались отравления, а именно этой партии, которая, «будучи всегда побеждаема в бою, всегда поднималась на ноги помощью подлых средств, добивалась удачи и власти всегда ценою несчастия Франции и теперь, лишенная помощи казаков, легко могла прибегнуть к обыкновенному яду». Примерно так выразился «Constitutionnel».

Что до меня, то в день, когда совершались эти убийства, я вынес твердое убеждение, что власть старших Бурбонов никогда уже не будет восстановлена во Франции. С разных сторон я слышал самые поразительные слова. Я глубоко заглянул в сердца народа. Он знает, с кем имеет дело.

С тех пор здесь все спокойно. «L'ordre règne à Paris» *, — сказал бы Орас Себастиани. Мертвая тишина царит во всем Париже. Каменная серьезность — на всех лицах. В течение ряда вечеров на бульварах даже редко показывались люди, да и те быстро проходили друг мимо друга, закрывая рот рукой или платком. Театры словно вымерли. Когда я вхожу в какой-

* Порядок царит в Париже

нибудь салон, все удивляются, что видят меня еще в Париже, так как у меня ведь здесь нет никаких неоплаченных дел. Большинство иностранцев, особенно мои соотечественники, сразу же убралось. Послушные родители получали от своих детей приказание немедленно вернуться домой. Богобоязненные сыновья беспрекословно исполняли нежные просьбы дорогих родителей, пожелавших их возвращения на родину: чти отца твоего и мать твою, да долголетен будешь на земле! У других внезапно пробудилась бесконечная тоска по дорожному отечеству, по романтическим берегам почтенного Рейна, по любимым горам, по милой Швабии, стране рыцарской любви, женской верности, чувствительных песен и более здорового климата. Говорят, за это время в *Hôtel de ville* * выдано свыше ста двадцати тысяч паспортов. Хотя холера явно в первую очередь поражает беднейший класс, богатые все же сразу обратились в бегство. Нельзя упрекать некоторых *parvenus* ** за то, что они бежали, ибо они, вероятно, думали так: «Холера, пришедшая из далекой Азии, не знает, что за последнее время мы на бирже заработали много денег, и, пожалуй, все еще считает нас за нищую голь и заставит лечь в могилу». Господин Агуадо, один из богатейших банкиров и кавалер Почетного легиона, явился фельдмаршалом в этом великом отступлении. Кавалер, говорят, все время с безумным страхом выглядывал из окон кареты и даже принял своего слугу, стоявшего в синей ливрее на запятках, за воплощенную смерть, за холеру *morbus*.

Народ горько роптал, видя, что богатые бегут и, обзаведясь врачами и аптеками, ищут спасения в более здоровых местностях. Бедняк с негодованием замечал, что деньги стали средством защиты даже против смерти. Большая часть *juste milieu* и *haute finance* *** покинула город и живет с тех пор в своих замках. Однако истин-

* Ратуше

** выскочек

*** золотой середины и высшего финансового мира

ные предствители богатства, господа Ротшильды, спокойно остались в Париже, показав таким образом, что они величественны и смелы не только в денежных делах. Также и Казимир Перье явил свое величие и смелость, посетив Отель-Дье, когда вспыхнула холера. Даже своих противников он должен был смутить тем, что в результате этого посещения сам он, при своей восприимчивости, заболел холерой. Все же она не сразила его, ибо сам он — еще более злой недуг. Величайшей похвалы заслуживает и наследный принц, молодой герцог Орлеанский, посетивший больных в сопровождении Перье. Все королевское семейство также показало себя в это безотрадное время с самой похвальной стороны. Когда вспыхнула холера, добрая королева созвала своих друзей и слуг и оделила их набрюшниками из фланели, сшитыми большей частью ею самой. Нравы старого рыцарства не угасли. Они только приняли мещанскую форму; теперь благородные дамы снабжают своих рыцарей менее поэтическими, зато более полезными для здоровья перевязями. Ведь живем мы уже не в старые времена шлемов и лат воинственного рыцарства, но в мирное мещанское время теплых набрюшников и фуфаяк. Мы живем не в железном веке, а во фланелевом. Фланель, действительно, — лучший панцырь, защищающий от нападений лютейшего врага — холеры. «Венера в нынешнее время, — говорит «Фигаро», — стала бы носить пояс из фланели». Сам я по шею закутан во фланель и поэтому считаю себя защищенным от холеры. Король тоже носит набрюшник из самой лучшей мещанской фланели.

Я не могу оставить неотмеченным, что он, этот король-гражданин, в дни всеобщего бедствия роздал бедным гражданам много денег и проявил много гражданского благородства и участия. Заодно должен я похвалить и архиепископа Парижского, который после того, как Отель-Дье посетили наследный принц и Перье, тоже ездил туда — утешать больных. Он давно предсказывал, что бог пошлет холеру, дабы покарать

народ, «прогнавший христианнейшего короля и вычеркнувший из хартии привилегии католической веры». Теперь, когда гнев божий обрушился на грешников, господин де-Келен шлет к небесам свою молитву и молит о прощении, по крайней мере, для невинных, ибо много умирает и карлистов. Сверх того, господин де-Келен, архиепископ, предложил для устройства больницы свой замок Конфлан. Однако правительство отклонило это предложение, так как замок находится в заброшенном состоянии и разорен, и ремонт обошелся бы слишком дорого. Архиепископ к тому же требовал, чтоб ему предоставили свободу распоряжаться в этой больнице. Но души бедных больных, чьи тела уже мучились в страшном недуге, нельзя же было подвергнуть еще и муче спасительных экспериментов, которые собирались предпринять архиепископ и его духовные помощники. Решено было дать закоренелым в революции грешникам умереть от простой холеры, без напоминания об аде и вечной муче, без покаяния и миропомазания. Хотя утверждают, что католицизм — подходящая религия для такого бедственного времени, как нынешнее, все же французы не хотят приравниваться к ней из боязни, что им потом и в счастливые времена придется сохранить эту больничную религию.

Много переодетых священников снует сейчас в народе и утверждает, что чотки — лучшее средство против холеры. Сенсимонисты относят к числу преимуществ своей религии то, что ни один сенсимонист не может умереть от свирепствующей эпидемии, ибо так как прогресс является законом природы, а социальный прогресс состоит в сенсимонизме, то до тех пор, пока у него не будет достаточного числа апостолов, никто из них не может умереть. Бонапартисты утверждают: как только ощутишь приступ холеры, тотчас же подними глаза к Вандомской колонне — и останешься в живых. Так в эти дни бедствия каждый верит на свой лад. Что до меня, я верю во фланель. Хорошая диета тоже не может повредить, только опять-таки не нужно

есть слишком мало, как иные люди, которые ночью боли от голода принимают за начало холеры. Забавно видеть, с какой трусостью люди садятся сейчас за стол и как недоверчиво смотрят на самые человеколюбивые яства, и с глубокими вздохами глотают самые лакомые куски. Врачи сказали им, что не надо бояться и не надо сердиться. Но вот теперь они боятся, как бы не рассердиться невзначай, и сердятся, так как испытывают страх. Они теперь — сама любовь и часто употребляют слово «mon Dieu» *, и голос их нежен и еле слышен, точно голос роженицы. Притом от них пахнет, как от передвижной аптеки, они часто щупают себе живот и с трепетом во взоре спрашивают каждый час о числе умерших. То обстоятельство, что это число в точности никогда не было известно, вернее, что все убеждены были в неправильности объявляемой цифры, наполняло сердца смутным ужасом и делало тревогу беспредельной. И действительно, газеты признались впоследствии, что в один день, именно десятого апреля, умерло около двух тысяч человек. Народ не желал поддаваться официальному обману и все время жаловался, что людей умирает больше, чем пишут. Мой цирюльник рассказывал мне, что какая-то пожилая женщина в Монмартрском предместье целую ночь просидела у окна, чтобы сосчитать число трупов, проносимых мимо ее дома; она насчитала триста трупов, после чего, когда уже настало утро, сама ощутила озноб и холерные судороги и вскоре скончалась. Куда, бывало, ни взглянешь, всюду на улицах видны были похоронные процессии или — что являет вид еще более печальный — дроги с покойниками, никем не сопровождаемые. Так как имевшихся погребальных дрог было слишком мало, то пришлось воспользоваться всякими другими экипажами, которые, будучи обтянуты черным полотном, представляли довольно причудливое зрелище. Потом и в них оказался недостаток, и мне пришлось видеть,

* боже мой

как гробы везли в извозщичьих пролетках; их ставили посередине, так что в рстворенные боковые дверцы высывались оба конца. Противно было видеть, как большие фургоны для мебели, употребляемые обычно при переезде с квартиры, разъезжали теперь, словно омнибусы для мертвых, словно *omnibus mortuis*, и останавливались на разных улицах для погрузки гробов, и отвозили их дюжинами к месту упокоения.

Но самое безотрадное зрелище открывалось вблизи кладбища, где сходились похоронные процессии. Однажды, собравшись навестить знакомого, я поспел к нему в то самое время, когда гроб его ставили на дроги, и мне пришла мрачная фантазия отплатить ему за любовь, которую он оказал мне однажды, и я нанял экипаж, чтоб проводить его до Пер-Лашез. Лишь там, близ кладбища, остановился возница, и когда, пробудившись от своих грез, я осмотрелся кругом, я увидел только небо да гробы. Я очутился среди нескольких сотен погребальных дрог, стоявших хвостом перед узкими кладбищенскими воротами, и в этом мрачном соседстве, не имея возможности вырваться из него, должен был провести несколько часов. От скуки я спросил у кучера имя соседнего покойника, и (грустное совпадение!) он назвал мне имя молодой женщины, чья карета несколько месяцев тому назад, когда я ехал на бал к Луантье, должна была таким же образом простоять некоторое время рядом с моей каретой. Но только тогда молодая женщина не раз высывала в окно кареты свою нетерпеливую цветочную головку, свое оживленное лунносветлое личико и премило выражала свое неудовольствие по поводу этой задержки. Теперь она лежала совсем спокойная и, быть может, посиневшая. Все же по временам, когда впряженные в дроги траурные кони, вздрагивая, начинали тревожно двигаться, мне почти казалось, что это пробуждается нетерпение покойников, что они устали ждать, что они словно спешат попасть в могилу. А когда у самых ворот кладбища один возница попытался перерезать

другому путь и процессии пришли в расстройство, появились жандармы с саблями наголо, кое-где послышались крики и брань, несколько дрог опрокинулось, гробы раскрылись, покойники показались наружу, — тогда мне почудилось, будто я вижу ужаснейшее из восстаний — восстание мертвецов.

Щадя нервы читателя, я не буду здесь описывать, что я видел на Пер-Лашез. Достаточно сказать, что я, человек закаленный, не мог не поддаться глубочайшему ужасу. Можно у смертного ложа больного научиться умирать и потом с ясным спокойствием ожидать смерти. Но с мыслью о погребении среди холерных трупов, в ямах, засыпанных известью, с этой мыслью нельзя свыкнуться. Я постарался как можно скорее выбраться на самый высокий холм кладбища, откуда открывается такой прекрасный вид на город. Солнце только-что зашло; последние лучи его, казалось, посылали прощальный привет, полный тоски; сумеречный туман словно белыми простынями окутывал больной Париж, и я горько плакал над несчастным городом, городом свободы, вдохновения и мученичества, городом-спасителем, который уже так много выстрадал за дело всемирного освобождения человечества!

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

Париж, 12 мая 1832 г.

Исторические отступления, обещанные в предыдущей статье, приходится отложить. Настоящее за это время так сурово дало о себе знать, что прошлому нельзя было уделить много внимания. Великое всеобщее бедствие, холера, правда, стихает постепенно, но оно оставляет по себе много тоски и горя. Правда, солнце светит достаточно весело, люди опять весело гуляют, и беседуют, и улыбаются, но множество черных траурных платьев, которые видишь повсюду, не дают истинному спокойствию воцариться в нашей душе. Во власти

болезненной печали сейчас, повидимому, находится весь народ, словно человек, перенесший тяжкий недуг. Не только правительство, но и оппозиция объята сейчас почти сентиментальной усталостью. Воодушевление ненависти угасает, сердца покрываются тиной, мысли блекнут в мозгу, люди смотрят друг на друга, добродушно зевая, больше не сердятся друг на друга, стали миролюбивыми, любвеобильными, примиренными, прямо-таки христианами. Немецкие пиетисты могли бы теперь обделывать здесь прекрасные дела.

Раньше думали, что положение изменится с чудесной быстротой, как только Казимир Перье не будет более руководить им. Но зло тем временем стало, кажется, непоправимым; даже смерть Перье не может исцелить государство.

Даже непримиримейших врагов Перье должно было опечалить, что его сразила холера, всеобщее бедствие, с которым не может бороться ни сила, ни мудрость. Всеобщий враг насильно вступил с ними в союз, и помощь с этой стороны, даже самая действительная, не может быть особенно по-сердцу. Зато Перье благодаря этому приобретает симпатию толпы, внезапно увидевшей, что он был великий человек. Теперь, когда его должны заменить другие, величие его стало заметно. Хотя ему и не удавалось с особой легкостью натягивать лук Одиссея, все же, когда это было нужно, он, пожалуй, и справлялся с ним, напрягая все свои силы. По крайней мере, друзья его могут теперь хвастать, что, если бы не вмешательство холеры, он осуществил бы все свои намерения. Но что теперь будет с Францией? Что же, Франция — это терпеливая Пенелопа, которая ткёт каждый день и каждый день распускает свою ткань, чтобы только выиграть время до пришествия истинного мужа. Кто этот истинный муж? Я не знаю. Но я знаю: он сумеет натянуть огромный лук, он у дерзких женихов отобьет охоту пировать, он угостит их смертельными стрелами, он повесит доктринерствующих слуганок, которые с ними всеми разделяли ложе,

он очистит дом от этой великой неурядицы и с помощью мудрой богини установит лучший порядок. Подобно тому как наше нынешнее состояние, когда царит слабость, вполне напоминает времена Директории, нам так же придется пережить и наше восемнадцатое брюмера, и истинный муж внезапно явится среди поблудневших от испуга властителей и заявит им, что наступил конец их власти. И тогда снова будут вопить о нарушении конституции, как в свое время в Совете старейших, когда тоже явился истинный муж, очистивший дом. Но подобно тому, как он гневно воскликнул: «Конституция! И вы еще смеее ссылаться на конституцию, вы, нарушившие ее восемнадцатого фрюктидора, нарушившие ее двадцать второго флореаля, нарушившие ее тридцатого прериаля», так же и теперь истинный муж сумеет указать день и число, когда министерство *juste milieu* нарушило конституцию.

Как слабо проникла конституция в сознание не только правительства, но и народа, — обнаруживается здесь всякий раз, когда ставятся важнейшие конституционные вопросы. И народ и правительство пытаются истолковать конституцию, воспользоваться ею сообразно со своими воззрениями. Публицисты и ораторы, которые либо по невежеству, либо из партийного пристрастия стараются извратить понятия, направляют народ на ложный путь. Правительство же направлено на ложный путь частью аристократии, преданной ему из личных выгод, составляющей нынешний двор и все еще, как во времена Реставрации, считающей представительный строй новейшим предрассудком, к которому народ успел привязаться, который нельзя отнять у него силой, который, однако, можно обезвредить, если в новых формах и под новыми именами незаметно для толпы подsunуть прежних людей и прежние стремления. По понятиям таких господ, величайший министр — тот, кто с помощью новых конституционных формул умеет добиться того же, чего в прежние времена умели достигать с помощью старых формул

старого режима. Таким министром был Виллель, о котором, однако, теперь, когда заболел Перье, не решились подумать. Все же хватило смелости подумать о Деказе. Он бы и сделался министром, если бы новый двор не побоялся, что вскоре его вытеснят члены прежнего двора. Боялись, как бы он не потянул за собой в министерство всю Реставрацию. После Деказа особенно имели в виду господина Гизо. За ним тоже признают большое умение прикрывать, когда надо, конституционными терминами и формами самые абсолютистские вожделения. Ибо этот quasi-отец новейших доктринеров, этот автор английской истории и французской синонимики мастерски умеет примерами из парламентской истории Англии придать самым незаконным вещам видимость *ordre légal* * и неуклюжим ученым словом принизить высоко парящий дух французов. Но говорят, что во время довольно страстной беседы с королем, предлагавшим ему портфель, он внезапно ощутил неприличнейшие симптомы холеры и, быстро прервав речь, откланялся и заявил, что не может бороться с натиском времени. Об уроне, который потерпел Гизо при выборах в министры, другие рассказывают еще более забавные вещи. Затем начались переговоры с Дюпеном, на которого всегда смотрели как на преемника Перье и которому приписывают большую силу и мужество. Но эти переговоры тоже потерпели неудачу, потому что Дюпен не соглашался на некоторые ограничения, касавшиеся прежде всего председательствования в совете министров. С этим председательствованием связано особое обстоятельство. Дело в том, что часто сам король занимал председательское место, главным образом в начале своего правления; это всегда было роковым обстоятельством для министров, и этим была вызвана большая часть тогдашних недоразумений. Один Перье умел противиться подобным посягательствам. Этим он устранил слишком большое влияние

* законного порядка

на ход дел со стороны двора, который при любом правительстве руководит королями; и говорят, весть о болезни Перье не всем друзьям Тюильрийского дворца была неприятна. Казалось, король имеет теперь все основания перенять председательствование в совете министров. Когда об этом заговорили официально, в салонах и в газетах поднялась самая страстная полемика по поводу вопроса: имеет ли право король председательствовать в совете?

При этом проявлена была большая придирчивость и еще большее невежество. Люди болтали при этом все, что когда-либо слышали краем уха и чего совершенно не понимали, и все это с шумом и брызгами лилось из их ртов, как политический водопад. Мнения большей части газет не являли особого блеска. Выделялся среди них только «National». Снова стала слышаться старая боевая формула, созданная им в последний период Реставрации: «Le roi règne, mais ne gouverne pas» *. Те три с половиной человека, которые в Германии занимались тогда политикой, перевели эту фразу, если не ошибаюсь, следующими словами: «Король царствует, но не управляет». Но я против слова «царствовать»; я чувствую в нем оттенок абсолютизма. И все же именно эта фраза должна была определить различие обеих форм власти — неограниченной и конституционной.

В чем заключается это различие? У кого в политике чистое сердце, тот и по другую сторону Рейна имеет право на подробнейшее рассмотрение этого вопроса. По одну сторону Рейна умышленное замалчивание его оказало поддержку самому отчаянному якобинству, а по другую — трусливейшему рабству.

Так как со времени презренного, однако, ученого Сальмазиуса и вплоть до господина Ярке, вовсе не ученого, теорию абсолютизма защищали большей частью писатели сомнительные, то дурная слава адвокатов сверх всякой меры повредила самому делу. Тот, кому

* Король царствует, но не управляет

дорого его честное имя, едва ли решится открыто защищать эту теорию, как бы он ни был убежден в ее превосходстве. И все же учение о неограниченной власти столь же почтенно и в такой же мере может быть защищено, как всякое другое политическое воззрение. Что может быть нелепее, чем смешение абсолютизма с деспотизмом, которое теперь часто случается? Деспот поступает по произволу своей прихоти, неограниченный государь действует согласно с разумом и с чувством долга. Притом для неограниченного короля характерно, что все в государстве творится по его собственной воле. Но так как лишь у немногих есть собственная воля, так как скорее большинство, само того не зная, желает лишь того, чего хочет их среда, то последняя обычно и господствует вместо неограниченных королей. Среду, окружающую короля, мы называем двором, и, следовательно, придворные господствуют в тех неограниченных монархиях, где государи не слишком строптивы по природе и поэтому поддаются постороннему влиянию. Искусство дворов — это умение так ожесточить кроткого государя, чтобы он стал палицей в руках царедворца, а сурового государя так смягчить, чтобы он, подобно львам господина Мартена, охотно играл в любую указываемую ему игру, принимал любую позу, выполнял любое дело. Ах, почти так же, как Мартен умеет приручать царя животных, приближаясь ночью к его клетке, темной рукой посвящая его в людские пороки и затем, уже днем, находя его, ослабевшего, покорным и послушным, так и придворные порой умеют путем расслабляющих утех приручить короля человеческого, если он чрезмерно суров и дик, и они властвуют над ним с помощью любовниц, поваров, комедиантов, сладострастной музыки, танцев и прочих чувственных наслаждений. Неограниченные государи слишком часто являются самыми жалкими рабами окружающей среды, и если бы мы могли услышать голос тех, кого общественное мнение наиболее жестоко осуждает, нас, быть может,

тронули бы справедливые жалобы на неслыханное искусство соблазна и прискорбное извращение лучших человеческих чувств. Кроме того, неограниченная власть таит в себе такую жуткую, искушающе-злую силу, что только самые благородные могут ей противостоять. Тот, кто не подчинен никакому закону, лишен благодетельной защиты, ибо законы защищают нас не только от других, но и от нас самих. Вера в то, что власть дарована богом, не только прощительна у неограниченных монархов, но и необходима для них. Без этой веры они были бы несчастнейшими из смертных, и, будучи только людьми, подвергались бы сверхчеловеческому соблазну и несли бы сверхчеловеческую ответственность. Именно эта вера в божественное полномочие придавала неограниченным монархам, которыми мы восхищались в истории, такое величие, до которого никогда не подняться новейшей королевской власти. Они были посредниками между землей и небом, порой они должны были искупать грехи своих народов, они были вместе и жертвами и жрецами, они были священны, *засег*, в античном смысле, в смысле посвящения смерти. Так, в древности мы видим царей, которые во времена мора собственной кровью искупали грех народа или смотрели на всеобщее бедствие как на кару за свои собственные прегрешения. Еще и теперь, когда в Китае случается солнечное затмение, император пугается и думает, не его ли грехи вызвали наступление этой всеобщей тьмы, и творит покаяние, чтобы небо снова стало светить его подданным. Проповедь представительного образа правления была бы достойна порицания, если бы вести ее среди народов, где абсолютизм господствует еще с такой священной строгостью, а ведь это касается также и соседей Китая на северо-запад вплоть до самой Эльбы; но столь же достойно порицания, когда в большей части всей остальной Европы, где вера в божественное право угасла в сердцах монархов и в народе, проповедуется абсолютизм. Определив сущность абсолютизма указанием на то,

что в неограниченной монархии господствует личная воля правителя, я смогу еще легче определить сущность монархии представительной, конституционной, если скажу, что она отличается от неограниченной монархии тем, что в ней королевскую волю заменяют государственные установления. Вместо личной воли, которую легко направить на ложный путь, мы видим там установления, систему государственных начал, остающихся неизменными. Король там — нечто вроде нравственной личности в юридическом смысле и страстям физически окружающей его среды он подчиняется в гораздо меньшей степени, чем потребностям своего народа; он действует не под диктовку неосновательных вожделений двора, а в силу твердых законов. Вот почему царедворцы во всех странах тайно или даже явно враждебны конституционной системе. Эта система сломила их тысячелетнее могущество при помощи остроумного и искусного учреждения, сводящегося к тому, что король как бы представляет только идею власти, что он может, правда, выбирать своих министров, но правит не он, а министры, и притом лишь до тех пор, покуда они правят в согласии с большинством народных представителей, ибо последние могут отказать им в средствах на управление, например в налогах. Благодаря тому, что король правит не сам, гнев народа даже в случае плохого управления не может непосредственно обрушиться на него. В конституционном государстве этот гнев повлечет за собою лишь то, что король выберет других — и притом популярных — министров, от которых ожидают лучшего управления, тогда как в самодержавном государстве, где король правит сам, гнев народа обрушивается непосредственно на него, и народ, чтоб помочь себе, вынужден бывает совершить государственный переворот. Благодаря тому, что король правит не сам, благополучие государства не зависит от его личных качеств, государство не подвергается опасности по случайным причинам, из-за слишком возвышенных или слишком низменных вле-

чений, и приобретает такую устойчивость, о которой государственные мудрецы прошлого не могли и думать, ибо от Ксенофонта до Фенелона самым главным казалось им воспитание государя. Даже великий Аристотель указывает на это в своей «Политике», а Платон, еще более великий, не находит ничего лучшего, как предложить, чтобы на трон сажали философов или философами делали государей. Благодаря тому, что король не правит сам, он также не несет ответственности, он неприкосновенен, *inviolable*, и только министры его могут быть обвинены в плохом управлении, могут подвергнуться осуждению и наказанию. Комментатор английской конституции Блекстон впадает в заблуждение, относя безответственность короля к числу его привилегий. Это мнение более льстит королю, чем приносит ему пользы. В странах политического протестантизма, в странах конституционных, больше всего желают, чтобы права государей основывались на разуме, разум же представляет достаточные доводы в пользу неприкосновенности государей, если принять, что они не могут действовать сами и поэтому невменяемы, безответственны, ненаказуемы, как и всякий, кто не сам действует. Таким образом основная посылка *the king cannot do wrong* *, поскольку на ней зиждется безответственность, может иметь смысл только в том случае, если прибавить: «because he does nothing» **. Зато вместо конституционного короля действуют его министры, и поэтому они ответственны. Они действуют самостоятельно, всякое требование короля, с которым они не согласны, они могут прямо отклонить, а в случае, если королю не нравится их система управления, могут совсем уйти в отставку. Если бы не эта свобода воли, ответственность министров, которую они взваливают на себя всякий раз, как скрепляют подписью какое-нибудь распоряжение правительства, была бы непростижной несправедливостью, жестокостью, неле-

* король не может сделать зла

** потому что он ничего не делает

*

постью; это было бы то же, что ввести в государственное право теорию козла отпущения. На том же основании министры абсолютного монарха не ответственны ни перед кем, кроме него самого; и подобно тому, как он отвечает только перед богом, так и они обязаны отчетом только своему неограниченному господину. Они только покорные помощники его, верные слуги, и должны безусловно ему повиноваться. Их контрсигнатура служит лишь свидетельством подлинности документа и монаршей подписи. Правда, по смерти монарха такие министры часто подвергались обвинениям и несли кару, но всегда несправедливо. Ангерран де-Мариньи защищался при подобных обстоятельствах следующими трогательными словами: «Мы, министры, лишь словно руки и ноги, мы должны слушаться головы, короля. Он теперь мертв, и мысли его лежат вместе с ним в могиле. Мы не можем и не смеем говорить».

После этих немногих замечаний о разнице между обеими формами власти — неограниченной и конституционной, каждому должно быть ясно, что спор о председательствовании, в том виде, как он возник в здешних условиях, затрагивает не столько вопрос о том, имеет ли король право председательствовать в совете министров, сколько вопрос — в какой мере он будет председательствовать? Дело не в том, что председательство не запрещено ему хартией или что одним из ее параграфов оно ему даже разрешено; дело в том, будет ли король председательствовать лишь *honoris causa* *, ради собственного поучения, совершенно пассивно, не проявляя деятельного участия, или же он, в качестве председателя, будет стараться влиять на ход и на ведение государственных дел. В первом случае ему, конечно, можно позволить по несколько часов в день скучать в обществе господ Барта, Луи, Себастиани и пр.; во втором случае это удовольствие ему должно быть строго запрещено.

* почетным образом, (т. е. будет ли он лишь почетным председателем)

В этом последнем случае, правя своей собственной волей, он приблизился бы к абсолютной монархии; по крайней мере, на него можно было бы смотреть как на ответственного министра. Совершенно основательно утверждали некоторые газеты, что было бы несправедливо, если бы за единовластные правительственные акты короля должен был нести ответственность человек, лежащий на смертном ложе, как Перье, или неспособный управлять даже мускулами собственного лица, как Себастиани. Во всяком случае, это неприятный спорный вопрос, имеющий достаточно определенное значение; ибо многие вспоминают теперь террористическое изречение: *la responsabilité c'est la mort* *. По этому поводу «National» с недоброжелательством, которое я не смею одобрить, отстаивает ответственность короля и, таким образом, отрицает его неприкосновенность. Для Луи-Филиппа это все же недоброе предзнаменование и должно было бы вызвать в его голове кое-какие размышления. По мнению его друзей, было бы желательно, чтобы он не делал ничего такого, что могло бы подать хоть самый малый повод к обсуждению принципа неприкосновенности и могло тем самым поколебать его в общественном мнении. Но Луи-Филипп, если правильно оценить его положение, пожалуй, и не заслуживает безусловного порицания за то, что старается немного помочь в деле управления государством. Он знает, его министры — не гении, плоть у них бодрa, дух же немощен. Фактическое сохранение его власти представляется ему главным делом. Принцип неприкосновенности должен иметь для него лишь второстепенный интерес. Он знает, что Людовик XVI, безглавой памяти, тоже был неприкосновенен. Неприкосновенность во Франции имеет вообще совсем особое свойство. Принцип неприкосновенности совершенно неприкосновенен. Он подобен драгоценному камню в перстне донa Луиса-Фернандо Переса-Акайба, камню, обладавшему чудесным свойством:

* ответственность — это смерть

если человек, носивший его, сваливался с высочайшей церковной башни, камень оставался невредим.

Все же, чтобы хоть в некоторой мере ослабить это роковое зло, Луи-Филипп учредил временное председательство и поручил его господину Монталиве. Он стал теперь также и министром внутренних дел, а министром вероисповеданий вместо него сделался господин Жиро де-л'Эн. Стоит лишь взглянуть на обоих, чтобы с уверенностью утверждать, что они не пользуются никакой независимостью и что они всего лишь марионетки, скрепляющие бумаги своей подписью. Один из них, *monsieur le comte de Montalivet**, — красиво сложенный молодой человек и несколько напоминает хорошенького школьника, рассматриваемого в увеличительное стекло. Другой — господин Жиро де-л'Эн, достаточно известный в качестве председателя палаты депутатов, где он, затягивая или укорачивая заседания, всегда умел послужить интересам короля; это — сама преданность. Это приземистый мягкотелый человек, с изрядным брюшком, с негнувшимися ножками, с сердцем из папьемаше, и напоминает он брауншвейгца, который торгует трубками на базарах, или друга дома, который детям приносит кренделей и гладит собак.

Относительно маршала Сульта, военного министра, утверждают, — собственно говоря, даже точно знают, — что он неустанно интригует, добиваясь председательства в совете. Это председательство вообще является целью многих стремлений внутри министерства, и происки, которые при этом перекрещиваются, парализуют нередко лучшие мероприятия; возникают соперничество, раздоры и несогласия, которые как будто вызываются различием мнений, но на самом деле — единодушно-всеобщим тщеславием. Каждое честолюбие тянется к председательскому месту. Председатель совета — это определенный титул, слишком резко отграничивающий его носителя от прочих министров. Так например, вопрос

* господин граф де-Монталиве

об ответственности министров ставится здесь следующим образом: председатель отвечает за ошибки в направлении всего министерства, каждый же отдельный министр лишь за ошибки своего ведомства. Это различие и вообще официальное назначение председателя совета — неудобство, служащее тормозом и вызывающее путаницу. Мы этого не видим у англичан, конституционный строй которых признается ведь образцовым. Если я не ошибаюсь, титула председателя совета у них официально не существует. «Первый лорд казначейства», правда, является обычно и председателем, но не как таковой. Естественный, хотя и не назначаемый никаким законом председатель — это всегда тот министр, которому король поручает образовать министерство, т. е. выбрать министров из числа тех его друзей и знакомых, которые разделяют его политические убеждения и вместе с тем могут рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Такое поручение дано сейчас герцогу Веллингтону; лорд Грей со своими вигами побежден — на время.

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

Париж, 27 мая 1832 г.

Казимир Перье унизил Францию, чтобы поднять биржевой курс. Ценой свободы Европы хотел он купить недолгий позорный для Франции мир. Он оказал помощь сбирам рабства и худшему, что есть в нас самих — корыстолюбию, и тысячи благороднейших людей погибли от горя, нищеты, стыда, самоунижения. Он смешными сделал мертвецов, что спят в июльских могилах, а живым он так страшно испортил жизнь, что им оставалось завидовать даже этим мертвецам. Он погасил священный огонь, закрыл храмы, оскорбил богов, разбил сердца. И все же я подал бы голос за то, чтобы Казимир Перье был похоронен в Пантеоне, в великом храме чести, на котором красуется золотая надпись: «Великим мужам — благодарное отечество», Ибо

Казимир Перье был великий человек. Он обладал редкими талантами и редкой силой воли, и все, что он делал, делал он с полной уверенностью, что это принесет пользу родине, и делал он это, жертвуя своим спокойствием, своим счастьем и своей жизнью. В этом всё дело: не за пользу и не за успех деяний отечество должно быть благодарно своим великим мужам, а за волю и за самопожертвование, которые они проявили. И даже если бы они ничего не хотели сделать и ничего не сделали для отечества, оно все же должно было бы чтить своих великих людей и после их смерти, потому что они прославили его своим величием. Как звезды являются украшением неба, так и великие люди украшают свою родину, да и всю землю. А сердца великих людей — это земные звезды, и я думаю, если бы сверху взглянуть на нашу планету, эти сердца засияли бы нам навстречу как яркие огни, подобно звездам небесным. Быть может, с такой высоты стало бы видно, как много чудесных звезд рассеяно по этой земле, как много их, безвестных и одиноких, светит в мрачных пустынях, как много их в нашей немецкой отчизне, как блистательна, как лучезарна Франция, этот млечный путь великих человеческих сердец!

Франция за последнее время потеряла много звезд первой величины. Многих героев эпохи Империи и революции сразила холера. Много крупных государственных деятелей, среди которых самый выдающийся — Мартиньяк, умерло от других болезней. Друзья науки особенно скорбели о смерти Шамполиона, который откопал столько египетских царей, и о смерти Кювье, который открыл так много других великих зверей, не существующих уже более, и очень негалантно доказал нашей старой матери-земле, что она на много тысяч лет старше, чем выдавала себя до сих пор. «Ле-э тэ-эт сан вон!» (Les têtes s'en vont) * — проквашал господин Себастиани, узнав о смерти Перье, и проквашал еще, что и сам он тоже скоро умрет.

* Головы умирают

Смерть Перье вызвала здесь меньшую сенсацию, чем можно было ожидать. И даже на бирже. В день, когда умер Перье, я не мог удержаться и пошел на Биржевую площадь. Там стоял тот огромный мраморный храм, где Перье почитали как бога, а слово его — как пророчество, и я потрогал колонны, эти сто огромных колонн, что возвышаются снаружи, и все они были неподвижны и холодны, как сердца тех людей, для которых Перье так много сделал. О жалкие карлики! Никогда более великан не будет приносить себя в жертву ради вас и не покинет он своих великих собратьев, чтобы защищать ваши карликовые интересы! Пускай себе эти малыши издеваются над великанами, бедными и неуклюжими, сидящими на горах, тогда как они, малыши, благодаря своему росту, пробираются в самые узкие пещеры гор и добывают там благородный металл или же отнимают его у гномов, еще более мелких, у металлариив. Спускайтесь же в ваши пещеры, но только крепче держитесь за лестницу и не смущайтесь тем, что ступени становятся все грязнее, чем глубже вы спускаетесь к драгоценнейшим залежам богатства!

Я возмущаюсь всякий раз, как вступаю на порог биржи, прекрасного мраморного здания, выстроенного в благороднейшем греческом стиле и посвященного презреннейшему делу — спекуляции государственными бумагами. Это самое красивое здание в Париже; построил его Наполеон. В том же стиле и по тому же масштабу начал он строить храм славы. Увы, храм славы остался недостроенным. Бурбоны превратили его в церковь и посвятили ее кающейся Магдалине. Но биржа стоит совершенно законченная, в полном блеске, и конечно, ее влиянию следует приписать то, что ее более благородный соперник, храм славы, все еще стоит недостроенный и все еще, к своему глубокому стыду, посвящен кающейся Магдалине. Здесь же, в огромной биржевой зале с высокими сводами, торг государственными бумагами, со всеми его типичными фигурами и всей его какофонией, движется, волнуясь и грохоча

словно море корыстолюбия. Из его бурных человеческих волн показываются, подобно акулам, крупные банкиры, одно чудовище пожирает там другое, а вверху, на галлерее, подобно хищным птицам, притаившимся на морском утесе, видны дамы, также занимающиеся спекуляцией. И вот в этом-то месте живут интересы, решающие в наше время войну и мир.

Поэтому биржа так важна и для нас, публицистов. Однако нелегко составить себе точное представление о характере этих интересов по тому влиянию, какое оказывает на них каждое событие, и определить возможные его последствия. Курс государственных бумаг и дисконта несомненно является политическим термометром, но было бы ошибкой думать, что этот термометр указывает меру победы того или иного великого вопроса, волнующего сейчас человечество. Повышение или падение курсов свидетельствует не о подъеме или падении либеральной или же раболопствующей партии, а о больших или меньших надеждах на умиротворение Европы, на сохранение существующих отношений или, вернее, на гарантии отношений, от которых зависит уплата процентов по государственному долгу.

В этом ограниченном смысле биржевые спекулянты достойны удивления при всевозможных обстоятельствах. Чуждые всяких духовных волнений, они сосредоточили свое внимание на одних только фактах и почти звериным чутьем, как древесные лягушки, распознают, не явится ли какое-нибудь событие, на вид вполне успокоительное, источником грядущих бурь, и наоборот, не послужит ли какое-нибудь большое бедствие в конце-концов к упрочению мира? Когда пала Варшава, спрашивали не о том, сколько зла произойдет от этого для человечества, а о том, смутит ли победа нагаяк дух мятежников, т. е. друзей свободы? Утвердительный ответ вызвал повышение курса. Если бы сегодня на бирже было получено по телеграфу известие о том, что господин Талейран верит в возмездие после смерти, французские государственные бумаги тотчас же упали бы на десять процен-

тов, так как возникли бы опасения, что он станет искать примирения с богом, отречется от Луи-Филиппа и от всего *juste milieu*, принесет их в жертву и поставит на карту уютное спокойствие, которым мы сейчас наслаждаемся. Великий вопрос для биржи — это не «быть или не быть», а «спокойствие или беспокойство». Ибо от этого зависит также дисконт. В беспокойные времена деньги боязливы, скрываются в сундуках богачей, как в крепостях, держатся замкнуто — дисконт подымается. В спокойное время деньги снова становятся беспечны, предлагают свои услуги, показываются в публичке, держатся очень благосклонно — дисконт стоит низко. Так старый луидор оказывается умнее человека и лучше всех знает, мир ли будет или война. Быть может, благодаря близкому общению с деньгами биржевики также приобрели нечто в роде политического инстинкта, и между тем как в последнее время глубочайшие мыслители ожидали только войны, они оставались совершенно спокойны и были уверены в сохранении мира. Если кого-нибудь из них спрашивали, какие основания он имеет к этому, — от него, как от сэра Джона, нельзя было добиться никаких доводов, он только беспрестанно повторял: «Это моя идея».

Биржа укрепилась с тех пор в этой идее, и даже смерть Перье не навела ее на другие мысли. Правда, она давно была подготовлена к этому, и, кроме того, здесь воображают, что его система мира переживет его и будет держаться волей короля. Но это полное равнодушие при вести о смерти Перье неприятно меня поразило. Приличия ради биржа должна была бы хоть небольшим понижением выразить свою скорбь. Но нет, даже и на одну восьмую процента, даже и на одну восьмую траурного процента скорби не понизились государственные бумаги после смерти Казимира Перье, великого министра банкиров!

На похоронах Перье, так же как и при известии о его смерти, наблюдалось самое холодное равнодушие. Это было зрелище, как всякое другое. Погода стояла хоро-

шая, и сотни тысяч людей были на ногах, чтоб посмотреть на погребальное шествие, длинное и равнодушное, тянувшееся по бульварам к кладбищу Пер-Лашез. На многих лицах — улыбки, на других — самое будничное выражение, на большинстве лиц — только скука. Бесчисленное множество военных, что вряд ли было уместно в отношении мирного героя системы разоружения. Много национальной гвардии и жандармов. Была тут и артиллерия со своими пушками, у которых было основание скорбеть, потому что при Перье жилось им хорошо, — у них была как бы синекюра. Народ смотрел на все с удивительной апатией; он не проявлял ни ненависти, ни любви; хоронили врага энтузиазма, и за гробом следовало равнодушие. В толпе, провожавшей гроб, по-настоящему скорбели только двое сыновей покойного, в длинных траурных плащах и с бледными лицами шедшие за погребальными дрогами. Это молодые люди лет около двадцати, коренастые, склонные к полноте; внешность их скорее свидетельствует о благосостоянии, чем об уме. Этой зимой я их видел, веселых и румяных, на всех балах. На гробу лежали трехцветные знамена, покрытые черным крепом. Трехцветному знамени как раз не стоило бы грустить о смерти Перье. Печально, как безмолвный упрек, лежало оно на его гробу, это знамя свободы, претерпевшее по его вине столько оскорблений. Так же, как вид этого знамени, тронул меня и вид старого Лафайета, шедшего за гробом Перье, за гробом отступника, который некогда все же столь доблестно сражался вместе с ним под этим знаменем.

Соседи мои, смотревшие на шествие, говорили о похоронах Бенжамена Констана. Так как я только год живу в Париже, то печаль, которую проявил тогда народ, известна мне лишь по рассказам. Однако я могу составить себе представление об этом народном горе, так как вскоре после того я видел похороны бывшего епископа округа Блуа, члена Конвента, Грегуара. Там не было высоких сановников, не было пехоты и кон-

ницы, не было пустых траурных карет с придворными лакеями, не было пушек, не было посланников и пестрых ливрей, не было никакой официальной помпы. Но народ плакал, печаль выражалась на всех лицах, и хотя сильный дождь лил с неба, как из ведра, все же головы были непокрыты, и народ сам впредь в погребальную колесницу и собственноручно влек ее на Монпарнас. Грегуар, истинный пастырь, всю жизнь боролся за свободу и равенство людей всех цветов и всех исповеданий; он всегда был ненавидим и преследуем врагами народа, и народ любил его и плакал о нем, когда он умер.

Между двумя и тремя часами похороны Перье проходили по бульварам. В половине восьмого, идя с обеда, я встретил солдат и кареты, которые возвращались с кладбища. Кареты катились теперь весело и быстро. Траурный креп был снят с трехцветного знамени; это знамя и латы кирасир сверкали в лучах солнца самым радостным блеском. Красные трубачи, труся на белых конях, весело играли марсельезу. Народ, пестро наряженный и веселый, бежал в театры. Небо, которое долгое время покрыто было облаками, стало нежноглубым, лучезарно-благоуханным; деревья так весело сверкали зеленью; холера и Казимир Перье были забыты, и наступила весна.

И вот прах похоронен, но система еще жива. Или в самом деле правда, что эта система — создание не Казимира Перье, а короля? Впервые высказали это мнение некоторые филипписты, чтобы возбудить доверие к самостоятельной силе короля, чтобы нельзя было подумать, будто он стоит беспомощный над могилой своего защитника, чтобы нельзя было сомневаться в сохранении существовавшей донныне системы. Многие враги короля ухватились теперь за это мнение. Они весьма довольны, что начало этой непопулярной системы относится ко времени до 13 марта и что она приписывается высочайшему основателю, высочайшая ответственность которого поэтому возрастает. Друзья и враги объединяются здесь порой, чтобы калечить

истину. Они либо отсекают ей ноги, либо так растягивают ее в длину, что она становится тонкой, как ложь. Партийный дух — это Прокруст, стелящий истине плохое ложе. Не думаю, чтобы при создании так называемой системы 13 марта Перье лишь принес в жертву свое честное имя и чтобы истинным отцом ее был Луи-Филипп. Может быть, он отрицает, что он — отец этого сомнительного младенца, совсем как тот крестьянский парень, который наивно заявил: «*Mais pour dire la verité, je n'y ai pas pu!*».* Все оскорбления, которые Франция должна была вытерпеть до сих пор, теперь засчитываются королю. Пинок, полученный напоследок большим львом от ослицы господней в Риме, болезненно ожесточил французов. Но к Луи-Филиппу несправедливы. Он не любит оставлять оскорбление безнаказанным и рад был бы драться, только не со всяким. Например, он не охотно дрался бы с Россией, но был бы очень рад драться с пруссаками, с которыми он уже дрался при Вальми и которых он поэтому, кажется, не очень боится. Во всяком случае, как уверяют, в нем ни разу не замечали боязни, когда речь заходила о Пруссии и ее грозной рыцарственности. Луи-Филипп Орлеанский, потомок Людовика Святого, отпрыск старейшего королевского рода, величайший дворянин христианского мира, обычно в таких случаях шутит с бюргерским добродушием, как, мол, прискорбно, что укермаркская камарилья столь высокомерно и дворянски горделиво смотрит на него, бедного буржуазного короля.

Не могу не упомянуть здесь, что в Луи-Филиппе никогда не заметен *grand seigneur* ** и что, в самом деле, человека более буржуазного французский народ и не мог избрать королем. Так же мало заинтересован он в том, чтобы быть легитимным монархом, и, говорят, изобретенная Гизо *quasi*-легитимность ему вовсе не по вкусу. Он нимало не завидует преимуществам легитимности,

* Но, по правде говоря, я и не мешал!

** внатый господин

которыми обладает Генрих V, и отнюдь не склонен вступать с ним в сделки или даже предлагать ему деньги. Но зато Луи-Филипп убежден, что он изобрел буржуазную монархию, что на это изобретение он имеет патент. Этим он зарабатывает в год восемнадцать миллионов, сумму, почти превышающую доход парижских игорных домов, и он хотел бы сохранить для себя и для своих потомков монополию на этот прибыльный промысел. Я уже указывал в предшествующей статье, что сохранение этой королевской монополии для Луи-Филиппа гораздо важнее всего другого и что, принимая во внимание этот вполне человеческий взгляд на вещи, следует извинить совершенный им захват председательского места в совете. Фактически он все еще не замкнулся в надлежащие границы своих конституционных функций, хотя формально он больше не решается председательствовать. Действительно, спорный вопрос все еще остается нерешенным и вероятно будет обсуждаться вплоть до образования нового министерства. Слабость правительства, однако, более всего сказывается в том, что не внутренние потребности страны, а зарубежные события обуславливают сохранение, обновление или преобразование французского министерства. Такая зависимость от иностранных интересов обнаружилась и стала достаточно явной во время последних событий в Англии. Каждый слух, доносившийся к нам оттуда за это время, вызывал здесь предложения и обсуждения новых министерских комбинаций. Много думали здесь об Одилоне Барро и даже были недалеки от мысли о Могене. Когда же увидали, что кормило Британской империи в руках Веллингтона, тогда совсем потеряли голову и собрались уже, военного равновесия ради, назначить первым министром маршала Сульта.

Свобода Англии и Франции очутилась бы тогда под командой двух старых солдат, чуждых или даже враждебных всякой независимой гражданственности и учившихся только рабски слушаться или деспотически повелевать. Сульт и Веллингтон по своему характеру —

только кондотьеры, и разница лишь та, что первый обучался военному ремеслу в более благородной школе и столь же жаден к славе, как и к деньгам. Корона, не что-нибудь другое, должна была однажды выпасть ему на долю, и, как уверяют меня, Сульт в течение нескольких дней был португальским королем под именем Николо I, короля Альгарвы. Каприз его строгого властелина не позволил ему продлить эту королевскую шутку. Но, конечно, он не может ее забыть: обоими ушами впивал он некогда сладость титула «величество», опьяненным взором видел он людей, всеподданнейше склонявших перед ним колени; на своих всемилостивейших руках он еще чувствует жгучесть португальских губ. И ему-то должна была быть вверена свобода Франции! О другом, о милорде Веллингтоне, можно вовсе ничего не говорить. Последние события показали, что в прежних моих сочинениях я еще слишком мягко судил о нем. Слепленные его неуклюжими победами, люди не верили, что он, в сущности, глуп; но и это показали события последнего времени. Он глуп, как всякий человек, лишенный сердца. Ибо мысли выходят не из головы, а из сердца. Славьте же его, продажные придворные поэты и рифмующие льстецы торийского высокомерия! Воспевай его, каледонский бард, обанкротившийся призрак со свинцовой арфой, на которой струны из паутины! Воспевайте его, набожные лауреаты, оплаченные певцы героев, а в особенности воспойте его последние подвиги! Никогда смертный не являлся взорам света в более жалкой наготе. Почти единогласно вся Англия — суд присяжных из двадцати миллионов свободных граждан — признает виновным этого бедного грешника, который, точно заурядный вор, ночью и с помощью укрывательниц хотел выкрасть коронные сокровища суверенного народа — его свободу и его права. Почитайте «Morning Chronicle» *, «Times» **

* «Утреннюю хронику»

** «Время»

и даже тех ораторов, которые обычно столь умеренны, и дивитесь тем беспощадным словам, которыми они, как палачи, бичевали и клеймили победителя при Ватерлоо. Его имя стало поношением. Путем самых коварных придворных интриг ему удалось на несколько дней достигнуть власти, которою, однако, он не решался воспользоваться. Лей Гент сравнивает его поэтому с дряхлым развратником, собиравшимся соблазнить девушку, которая в тревоге попросила совета у подруги и получила в ответ: «Не мешай ему, и, помимо греха своего злого умысла, он покроет себя и позором своего бессилия».

Я всегда ненавидел этого человека, но никогда не думал, чтобы он был таким презренным. Вообще о тех, кого я ненавижу, я всегда был мнения более высокого, чем они заслуживали. И я сознаюсь, что в английских ториях я предполагал всегда больше мужества, и силы, и великодушного самопожертвования, чем они обнаружили теперь, когда в этом оказалась нужда. Да, я ошибся в высоком дворянстве Англии: я думал, что оно, подобно гордым римлянам, не отдаст за более дешевую цену, чем прежде, тех полей, на которых расположился вражеский стан, и будет ждать врагов, сидя на курульных креслах... Нет, панический страх овладел им, когда оно увидало, что поведение Джона Булля что-то уж очень серьезно, и вот поля вместе с rotten-boroughs* поступают в продажу по более низким ценам, и число курульных кресел увеличивается, чтобы и враги соблаговолили усесться. Тории больше не доверяют своей собственной силе, они больше не верят в себя — их власть сломлена. Правда, виги — тоже аристократы, лорд Грей так же гордится своей знатностью, как и лорд Веллингтон; но английскую аристократию постигнет та же участь, что и французскую: одна рука отрубит другую.

Непонятно, каким образом тории, рассчитывавшие на ночную авантюру своей королевы, так могли испу-

* гнилыми местечками

гаться, когда она удалась, а народ поднялся, громко протестуя против нее. Это ведь следовало предвидеть, если принять во внимание характер англичан и их средства законного сопротивления. Мнение по поводу билля о реформе твердо установилось во всем народе. Все размышления превратились в факты. Вообще англичане, когда нужно действовать, имеют то преимущество, что у них, как у свободных людей, имеющих право свободно высказываться, всегда наготове есть суждение по всякому вопросу. Они как будто больше судят, нежели думают. Мы, немцы, наоборот, думаем все время; от сплошных дум мы не можем высказать суждения. Да и не всегда полезно высказываться. Одного удерживает опасение, что это не понравится господину директору полиции, другого — скромность или даже тупоумие. Много немецких мыслителей сошло в могилу, не высказав собственного суждения о том или ином великом вопросе. Англичане, наоборот, во всем определены, практичны, все духовное материализуется у них, так что все их мысли, вся их жизнь и сами они составляют единый факт, права которого неоспоримы. Да, они «грубы, как факт», и сопротивляются материально. Немец со своим мышлением, своими идеями, мягкими, как мозг, в котором они возникли, — словно и сам всего лишь идея, и, если она не нравится правительству, ее отправляют в крепость. Так, в голове Кёпеника сидело взаперти шестьдесят идей, и никто не замечал их отсутствия; пивовары варили свое пиво, как и раньше; альманахи печатали свои художественные повести, как и раньше. К деятельной способности сопротивления, к тугому упрямству англичан в области уже решенных вопросов присоединяется еще законная уверенность, с которой они могут действовать. Мы просто не в силах представить себе, как далеко может идти вперед легальным путем английская оппозиция, выступая против правительства и в парламенте и вне его. Дни Вилькса можно понять, только если собственными глазами видеть Англию. Путешественники, желающие нари-

совать картинѹ английской свободы, обычно дают для этой цели перечень законов. Но законы — это еще не сама свобода, а только ее границы. На континенте совершенно не представляют себе, как много напряженной свободы может быть порой сосредоточено в этих границах, и еще меньше представляют себе, как велика леность и сонливость пограничных стражей. Только там, где эти границы должны служить защитой от произвола власти, их охраняют твердо и бдительно. Когда власть переступает их, тогда вся Англия подымается, как один человек, и произвол оттесняется. Да, люди эти даже не дожидаются, пока нарушат свободу, и, если ей грозит хоть малейшая опасность, они мощно обороняют ее и словами и ружьями. Французы июльских дней восстали не прежде, чем обрушились на их головы первые удары деспотической палицы — ордоннансы. Англичане нынешнего мая не дожидались первого удара; им было достаточно и того, что меч дан в руки знаменитому палачу, который уже и в других странах подверг казни свободу.

Они удивительные чудаки, эти англичане. Я их терпеть не могу. Во-первых, они скучны, а затем — они необщительны, своекорыстны, они квакают, как лягушки, они от природы враги всякой хорошей музыки, они ходят в церковь с золочеными молитвенниками и презирают нас, немцев, за то, что мы едим кислую капусту. Но когда английской аристократии удалось при помощи незаконнорожденных придворных чад привлечь на свою сторону «немку» (*the nasty German frau* *); когда король Вильгельм, еще накануне вечером обещавший лорду Грею назначить столько новых паров, сколько будет необходимо для проведения билля о реформе, — утром, уже иначе настроенный королевой ночи, изменил своему слову; когда Веллингтон и его тории захватили государственную власть своими свободобудийственными руками, — тогда англичане вдруг стали

* грязную немку

*

совсем не скучны, а, напротив, очень интересны; они перестали быть необщительны, а, напротив, начали собираться сотнями тысяч; они сделались очень едиными. Слова их перестали быть похожими на кваканье и стали полны самого смелого благозвучия. Они говорили вещи, которые звучали увлекательнее, чем мелодии Россини и Мейербера, и они говорили о духовенстве без всякой набожности и не в молитвенном духе, а с полным свободомыслием совещались: «не отправить ли епископов к чорту и не послать ли обратно в Ганновер короля Вильгельма со всей его кислокапустной родней?»

Когда я был в Англии, я смеялся над многими вещами, но всего веселее — над лорд-мэром, истинным бургомистром лондонского Сити, сохранившимся во всем величии своего парика и широкого цехового достоинства, точно руина из времен средневековой общины. Я видел его в обществе его олдерменов. Это величавые представители городского сословия, кум-портной и кум-сапожник, большею частью толстые лавочники, красные лица-бифштексы, воплощение портерной кружки, однако, трезвые и очень богатые благодаря трудолюбию и бережливости, так что у многих из них, как уверяют меня, в Английском банке лежит больше миллиона фунтов стерлингов. Английский банк — большое здание на Тред-Нидл-стрит; и если бы в Англии вспыхнула революция, банк оказался бы в величайшей опасности, а богатые граждане Лондона могли бы потерять свое состояние и в течение одного часа превратиться в нищих. Тем не менее, когда король Вильгельм изменил своему слову и свободе Англии грозила опасность, тогда лорд-мэр Лондона надел большой парик и пустился в путь со своими толстыми олдерменами; при этом у них был такой уверенно-бодрый, чиновно-спокойный вид, как будто они шли на торжественный обед в Гилдхолл. Пошли они, однако, в палату общин и выразили там самый решительный протест против нового кабинета, и сказали, что пойдут против короля, если он его не отзовет, и скорее были согласны решиться на революцию

и поставить на карту свою жизнь и свое добро, чем дать погибнуть свободе Англии. Удивительные чудачки, эти англичане!

Никогда не забуду человека, которого я видел в палате общин по левую сторону от оратора, потому что никогда ни один человек не производил на меня такого неприятного впечатления, как он. Он и теперь еще сидит там. Это коренастая плотная фигура с большой четырехугольной головой, покрытой неприятно всклокоченными рыжими волосами. Чрезмерно румяное и широко-скулое лицо пошло и правильно-вульгарно; трезвые дешевые глаза; скудно отмеренный нос; большое расстояние от носа до рта, который не может выговорить трех слов, чтобы между ними не втерлась какая-нибудь цифра или чтобы речь не зашла о деньгах. Во всем его облике — что-то скряжническое, скаредническое, мерзкое. Словом, он истинный сын Шотландии, этот господин Джозеф Юм. Лик его следовало бы выгравировать во всяком учебнике арифметики. Он всегда принадлежал к оппозиции; английские министры всякий раз испытывают перед ним особый страх, когда обсуждаются финансовые вопросы. Даже когда Каннинг сделался министром, он остался сидеть на скамье оппозиции, и Каннинг, если ему приходилось в речи называть какую-нибудь цифру, всякий раз тихо спрашивал сидящего рядом с ним Гескиссона: «How much?» *, и когда тот суфлировал ему эту цифру, он громко произносил ее и почти с улыбкой смотрел при этом на Джозефа Юма. Ни один человек не производил на меня более неприятного впечатления, чем он. Но когда король Вильгельм изменил своему слову, Джозеф Юм поднялся, высокий и бесстрашный, как бог свободы, и произнес слова, звучавшие столь же мощно и величественно, как колокол церкви святого Павла, и речь шла, конечно, опять-таки о деньгах, и он заявил, что «не нужно платить налоги», и парламент согласился с предложением своего великого гражданина.

* Сколько?

Это и решило вопрос. Законный отказ от уплаты налогов испугал врагов свободы. Они не осмелились вступить в бой с единодушным народом, ставившим на карту свою жизнь и свое добро. Правда, у них все еще оставались солдаты и гиней. Но уже не было веры красным лакеям, хотя они до тех пор так по-холопски повиновались палке и розгам Веллингтона. Не верилось больше в преданность подкупленных ораторов, ибо даже английская аристократия заметила теперь, что «на свете не все продажно, и что, в конце-концов, не хватит денег за все платить». Тории уступили. Это, конечно, было самое малодушное, хотя и самое умное решение. Но как могло случиться, что они уступили? Или среди камней, которыми бросали в их окна, они нашли случайно философский камень?

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ

Париж, 16 июня 1832 г.

Джон Бульль требует сейчас дешевого правительства и дешевой религии (cheap government, cheap religion) и больше не желает отдавать полностью плоды своего труда, чтобы вся родня тех господ, которые ведают его государственными интересами или проповедают ему христианское смирение, утопала в самой горделивой роскоши; он уже не питает к их власти такого уважения, как прежде, и Джон Бульль тоже заметил: *la force des grands n'est que dans la tête des petits* *. Чары сломлены с тех пор, как английская nobility сама показала свою слабость. Ее не боятся больше: все видят, что она состоит из людей таких же слабых, как и все прочие. Когда первый испанец пал и мексиканцы заметили, что белые боги, которых они видели вооруженными молнией и громом, тоже смертны, испанцам, пожалуй, плохо пришлось бы в бою, если бы огнестрельное ору-

* сила великих мира сего существует только в головах малых

жие не решило дела. У наших врагов, однако, нет этого преимущества; Бартольд Шварц для всех нас изобрел порох. Напрасно шутит духовенство: Воздавайте кесарево кесареви. Мы отвечаем: в течение восемнадцати веков мы уж слишком много отдавали кесарю; что осталось, то теперь наше.

С тех пор как билль о реформе возведен в закон, аристократы стали вдруг так великодушны, что утверждают, будто не только тот, кто платит налог в десять фунтов стерлингов, но и всякий англичанин, даже самый бедный, имеет право подавать голос на выборах депутатов в парламент. Они скорее предпочтут зависимость от низкого сброда нищих и оборванцев, чем зависимость от самого состоятельного среднего сословия, которое не так легко подкупить и которое не чувствует к ним такой глубокой симпатии, как чернь. Последнюю с этими высокородными связывает, по крайней мере, родство душ. И чернь, и знать питают величайшее отвращение к промышленной деятельности. Они гораздо больше стремятся к присвоению чужой собственности или к подаркам и чаевым подачкам за случайные лакейские услуги. Делать долги — это отнюдь не ниже их достоинства. И нищий, и лорд презирают буржуазную честь; они проявляют одинаковое бесстыдство, когда голодны, и совершенно единодушны в своей ненависти к состоятельному среднему сословию. Басня повествует: Верхние ступени лестницы надменно сказали однажды нижним ступеням: «Не думайте, что вы нам ровня: вы вязнете внизу, в грязи, а мы свободно возносимся ввысь; иерархия ступеней введена самой природой, она освящена временем, она — законна». Но философ, проходивший мимо и услышавший эти аристократические речи, улыбнулся и перевернул лестницу. Это очень часто случается в жизни, и вот обнаруживается, что верхние и нижние ступени общественной лестницы проявляют в одинаковом положении также и одинаковые воззрения. Знатные эмигранты, впавшие на чужбине в нищету, по чувствам и по образу мыслей преврати-

лись в обыкновенных нищих, тогда как корсиканский сброд, занявший во Франции их место, стал так зади- рать носы, стал чваниться так нагло и надменно, точно принадлежал к самой старинной аристократии.

Насколько опасен для друзей свободы этот союз знати и черни, обнаруживается самым отвратительным образом на Пиренейском полуострове. Там так же, как и в некоторых провинциях западной Франции и южной Германии, католическое духовенство благословляет этот священный союз. Также и священники протестант- ской церкви всюду стараются упрочить хорошие отно- шения между народом и правителями (т. е. между чернью и аристократией), чтобы безбожники (либералы) не могли добиться власти. Ибо они рассуждают весьма правильно: кто дерзко пользуется своим разумом и отрицает пре- имущества благородного рождения, тот в конце-кон- цов усомнится и в священнейших предписаниях рели- гии и не будет верить в первородный грех, в сатану, в избавление, в вознесение, он больше не придет к тра- пезе господней и ничего не даст слугам господним на святое вино, не бросит им подачки, от которой зависит их существование, а следовательно и спасение мира. Аристократы, со своей стороны, поняли, что христиан- ство — весьма полезная религия, что тот, кто верит в при- родный грех, не станет отрицать и природных привиле- гий, что ад — весьма подходящее учреждение, чтобы держать людей в страхе, и что тот, кто съедает своего бога, в состоянии очень многое переварить. Правда, эти знатные люди сами когда-то были весьма безбожны и порчей нравов способствовали падению старого ре- жима. Но они исправились и, по крайней мере, пони- мают, что народу нужно показать хороший пример. С тех пор как старая оргия кончилась столь плохо и вслед за самым сладостным греховным упоением пришла гор- чайшая беда, эти благородные господа сменили соблаз- нительные романы на душеспасительные книги и сде- лались очень набожны и целомудренны, и хотят пока- зать народу хороший пример. Также и благородные

дамы, стерев румяна со щек, приподнялись из бездны греха, и приводят в порядок свои растрепанные прически и помятые юбки, и проповедуют добродетель, благопристойность, христианство и хотят показать народу хороший пример.

(Здесь я должен был выпустить несколько страниц, где проявил слишком благосклонное отношение к тому духу умеренности, который в наше реакционное время неуместен и не заслуживает похвал. Взамен я даю написанную после замечку, которую прилагаю в конце этой статьи.)

Мне дороги воспоминания о первых боях революции и героях, участвовавших в них; я чту их так высоко, как может чтить их только юношество Франции; да, я еще до Июльских дней восторгался Робеспьером и святым Юстином, и великой Горой, но все же я не хотел бы жить под властью столь высоких личностей, я не мог бы вынести, если бы меня стали каждый день гильотинировать, и никто не мог этого вынести, и Французской республике оставалось только победить и, побеждая, изойти кровью. Нет никакой непоследовательности в том, что я восторженно люблю эту республику, однако отнюдь не желая возврата к этой форме правления во Франции, а еще менее — ее перевода на немецкий язык. Можно было бы даже, не будучи непоследовательным, желать, чтобы республика была восстановлена во Франции, а в Германии, напротив, оставалась монархия. Тот, кому важнее всех других интересов упечение побед, одержанных принципом демократии, действительно легко мог бы в данном случае притти к подобному убеждению.

Здесь я затрагиваю большой и спорный вопрос, вокруг которого сейчас во Франции ведется столь кровавая и жестокая борьба, и я должен указать те основания, почему так много друзей свободы являются приверженцами теперешнего правительства и почему другие требуют его низвержения и восстановления республики. Первые, т. е. филипписты, говорят: Франция, которая может быть управляема только монархически, в лице

Луи-Филиппа имеет самого подходящего короля. Он — надежный защитник достигнутых свободы и равенства, потому что по своим взглядам и по своим нравам он благоразумен и буржуазен. Он не может, подобно прежней династии, таить в сердце злобу против революции, так как отец его и сам он принимали в ней участие. Он не может предать народ в руки прежней династии, так как он в качестве родственника должен ненавидеть ее сильнее, чем кто-либо другой. Он может оставаться в мирных отношениях с прочими монархами, потому что благодаря его высокому рождению они мирятся с его нелегитимностью, тогда как они тотчас же объявили бы войну, если б на французский трон посажен был какой-нибудь престолюдин или если бы провозглашена была республика. А ведь мир необходим для счастья Франции. Республиканцы, наоборот, утверждают: разумеется, тихое счастье мира — прекрасная вещь, однако оно не имеет смысла без свободы. Так думали их отцы, когда штурмовали Бастилию, когда рубили голову Людовику Капету и вели войну со всей аристократией Европы. Война эта еще не кончена, сейчас только перемирие. Европейская аристократия попрежнему питает глубочайшую ненависть к Франции, это — кровная вражда, которая может кончиться лишь уничтожением одной из этих сил. А Луи-Филипп — король, для него главное — сохранить корону. Он вступает в соглашение и в родственные связи с королями, и, обреченный на самую жалкую половинчатость вследствие всяких семейных обстоятельств, дергающих его во все стороны, он не может быть авторитетным представителем тех священнейших интересов, которые некогда лишь республика умела мощно защищать и ради которых восстановление республики является необходимым.

Тот, кто не владеет во Франции ценным имуществом, которое могло бы погибнуть во время войны, вполне может чувствовать симпатию к этим воякам, которые в жертву демократическому принципу приносят тихое счастье жизни, ставят на карту решительно все и хотят

сражаться до тех пор, пока аристократия не будет уничтожена во всей Европе. Благодаря тому, что Германия тоже принадлежит к Европе, многие немцы разделяют эту симпатию к французским республиканцам; но так как при этом часто заходят слишком далеко, то у некоторых эта симпатия перерождается в пристрастие к самой республиканской форме правления, и вот мы видим явление, едва ли постижимое, а именно — немецких республиканцев. Что итальянцы и поляки, которые, подобно немецким друзьям свободы, чают от французских республиканцев больше пользы, чем от *juste milieu*, а поэтому больше любят их, тоже питают теперь пристрастие к республиканской форме правления, не совсем чуждой для них, — это вполне естественно! Но немецкие республиканцы! Почти не веришь собственным ушам и глазам, а все же мы видим их и здесь, и в Германии.

Я и теперь еще, когда гляжу на своих немецких республиканцев, протираю глаза и говорю себе: «Не снится ли тебе это?». Читаю ли я «Немецкую трибуну» и подобные издания, я спрашиваю себя: кто же тот великий поэт, который все это придумывает? Существует ли доктор Вирт со своим сверкающим мечом чести? Или это лишь плод фантазии Тика или Иммермана? Но затем я сознаю, что поэзия не парит столь высоко, что наши великие поэты все же не в силах изображать такие мощные характеры, и что доктор Вирт — совсем как живой, смелый, хоть и блуждающий рыцарь свободы, каких немного видел Германия со времен Ульриха фон Гуттена.

Неужели правда, что тихая страна вновь ожила, снова задвигалась? Кто бы мог это подумать до июля 1830 г.! Гете — своим баюшки-баю, пиетисты — своим скучным молитвенным тоном, мистики — своим магнетизмом совершенно усыпили Германию, и все кругом неподвижно лежало и спало. Но только тела были скованы сном; души, томившиеся в них, как в темнице, сохраняли странное сознание. Автор этих страниц, тогда еще моло-

дой человек, странствовал по немецким землям и созерцал спящих людей. Я видел страдание на их лицах, я изучал их физиономии, я прикладывал руку к их сердцу, и они, подобно лунатикам, начинали говорить во сне странные отрывистые речи, в которых раскрывались их затаеннейшие мысли. Стражи народа, натянув на самые уши свои золотые ночные колпаки и плотно закутавшись в горностаевые плафроки, восседали в красных бархатных креслах и тоже спали и даже храпели. И вот, странствуя с котомкой и палкой, я говорил или громко пел о том, что удавалось мне прочесть по лицам спящих людей или во вздохах их сердец. Вокруг меня стояла глубокая тишина, и я слышал только эхо моих собственных слов. С тех пор разбуженная пушками великой недели Германия проснулась, и каждый, молчавший до сих пор, хочет наверстать потерянное, и стоит шумная болтовня и стукотня, и при этом курят табак, и в темных клубах дыма рождается страшная гроза. Это — словно разбушевавшееся море, и на утесах, высящихся среди него, стоят ораторы. Одни, набрав полный рот воздуха, дуют на волны и думают, что это они подняли бурю и чем больше они будут дуть, тем яростнее будет реветь ураган. Другие робеют: они слышат, как трещат корабли государства, они со страхом смотрят на бушующие волны; а так как из своих учебников они знают, что маслом можно укротить море, то они и выливают в разъяренную людскую пучину масло из своих кабинетных лампочек или, выражаясь прозаически, пишут примирительные брошюры, и удивляются, когда это средство не помогает, и вздыхают: «*Oleum perdidit*». *

Легко предвидеть, что идея республики, как ее понимают теперь многие немецкие умы, отнюдь не является мимолетной фантазией. Доктора Вирта, и Зибенпфейфера, и господина Шарфа, и Георга Фейна из Брауншвейга, и Гроссе, и Шюлера, и Савуа — их всех можно засадить, и их засадят; но мысли их останутся свобод-

* Я потерял свое масло (т. е. я напрасно трудился).

ными и свободно будут парить, как птицы в воздухе. Как птицы, сошьют они себе гнезда в вершинах немецких дубов, и, быть может, полвека их не будет видно и о них ничего не будет слышно, пока прекрасным летним утром они не появятся вновь на площади рынка, выросшие, большие, подобные орлу верховного бога, с молниями в когтях. Да и что такое полвека или даже целый век? У народов есть время, они вечны; смертны лишь короли.

Я не верю в близость германской революции, а еще менее — в германскую республику; до нее я ни в каком случае не доживу. Но я убежден, что когда мы уже успеем спокойно истлеть в наших могилах, в Германии будут словом и мечом бороться за республику. Ибо республика — идея, а немцы никогда не отказывались от идеи, не отстояв ее до конца, со всеми ее последствиями. Мы, немцы, в дни нашего художественного периода исчерпывавшие до дна мельчайший спорный вопрос эстетики, например вопрос о сонете, — неужели мы теперь, когда начинается наш политический период, оставим нерешенным этот более важный вопрос?

Для подобной полемики французы снабдили нас совсем особым оружием, ибо за последнее время оба народа — и французы, и немцы — многому друг у друга научились. Французы многое позаимствовали от немецкой философии и поэзии, а мы позаимствовали политический опыт и практический смысл французов. Эти два народа подобны гомеровым героям, которые на поле сражения в знак дружбы обмениваются оружием и латами. Отсюда вообще — та огромная перемена, которая происходит сейчас с немецкими писателями. В прежние времена были они либо академически-учеными людьми, либо поэтами. Они мало заботились о народе, никто из них не писал для него, и в философской и поэтической Германии народ пребывал во власти самого грубого образа мыслей, и когда ему порой случалось вступать в борьбу со своими властями, эта борьба возникала на почве грубых фактов действительности, материальных нужд, тяжких налогов, таможенных стеснений, опустошений,

причиняемых дичью, въездных пошлин и т. д., между тем как в практической Франции народ, воспитанный и руководимый писателями, боролся большей частью за идеальные интересы, за философские принципы. Во время войны за освобождение (*lucus a non lucendo*) правительства воспользовались сворой факультетских ученых и поэтов, толкая их на то, чтобы они повлияли на народ в интересах их корон, и народ оказывался весьма восприимчивым; он читал «Меркурия» Иосифа Герреса, пел песни Э.-М. Арндта, украшал себя листвою отечественных дубов, вооружался, восторженно выстраивался в шеренги, причем его величали на «вы», маршировал в ландштурме, сражался и побеждал Наполеона, — ибо против глупости даже боги борются тщетно. Теперь немецкие правительства снова хотят воспользоваться этой сворой. Но она все это время просидела на цепи в грязной дыре и очень опаршивела, провоняла и не выучилась ничему новому и лает все на старый лад. Народ же за это время слышал совсем иные голоса, громкие, величавые голоса, говорившие о гражданском равенстве, о правах человека, неотъемлемых правах человека, и с насмешливым сожалением, если не с презрением, смотрит он сверху вниз на знакомых шавок, средневековых кобелей, верных пуделей и набожных мопсов 1814 года.

Разумеется, я бы не стал защищать голоса 1832 г., ни все вместе, ни каждый из них в отдельности. Выше я уже высказал свое мнение о наиболее странном из этих голосов, а именно — о немецких республиканцах. Я указал на случайное обстоятельство, вызвавшее их возникновение. Я здесь вовсе не собираюсь выступать против их взглядов; это не входит в мои обязанности, да ведь и правительства держат для этой цели особых людей, которым они особо за это платят. Все же я не могу воздержаться здесь от следующего замечания: главное заблуждение немецких республиканцев происходит оттого, что они, желая и для Германии той республиканской формы правления, которая для Фран-

ции, пожалуй, и могла бы явиться самой подходящей, не принимают как следует в расчет различия между обеими странами. Не вследствие своего географического положения и не вследствие вооруженных угроз соседних монархов Германия не может стать республикой, как недавно утверждал великий герцог Баденский. Эти географические условия скорее могли бы подкрепить аргументацию немецких республиканцев, а что касается чужеземной опасности, то объединенная Германия была бы самой страшной силой в мире, и народ, который в самых рабских условиях всегда так превосходно сражался, легко мог бы, если бы он состоял из одних только республиканцев, превзойти в храбрости башкиров и калмыков, которыми нам угрожают. Но Германия не может быть республикой потому, что она по существу своему монархична. Франция же, напротив, по существу своему — страна республиканская. Я этим не хочу сказать, что у французов больше республиканских добродетелей, чем у нас; нет, и у французов добродетели эти имеются не в изобилии. Я говорю только о существе, о характере, которым республиканизм и монархизм не только отличаются друг от друга, но и проявляются вовне и приобретают общественное значение как явления, глубоко различные.

Монархизм народа по существу своему состоит в том, что народ уважает авторитеты, что он верит в личности, являющиеся носителями авторитетов, что в силу этого доверия он предан и самой личности правителя. Республиканизм народа по существу своему состоит в том, что республиканец не верит в авторитеты, что он чтит только законы, что он от их блюстителей постоянно требует отчета, с недоверием наблюдает за ними, проверяет их, что, следовательно, он никогда не привязан к личности, а напротив, чем выше она поднимается над народом, тем настойчивее стремится он противоречиями, насмешками и преследованиями низвести ее с высоты.

Остракизм был в этом смысле самым республиканским установлением, и тот афинянин, который голосовал за

изгнание Аристиды, «потому, что его всегда называют справедливым», был самым настоящим республиканцем. Он не желал, чтобы добродетель была представлена одним лишь лицом, чтобы лицо в конце-концов имело большее значение, чем закон, он опасался авторитета имени. Этот человек был величайшим гражданином Афин, и то, что история умалчивает его имя, — больше всего его характеризует. Да, с тех пор как я изучаю французских республиканцев — по книгам и в жизни, я всюду встречаю характерную черту — недоверие к личности, ненависть к авторитету имени. Не из мелочной жажды равенства ненавидят эти люди великие имена, — нет, они опасаются, как бы носители этих имен не употребили их во вред свободе или, быть может, по слабости и уступчивости, не позволили другим употребить их во вред свободе. Потому-то во время революции и было казнено столько великих популярных деятелей свободы, что боялись вредного влияния их авторитета в опасную минуту. Поэтому еще и теперь я слышу из разных уст республиканское учение, что надо уничтожить все либеральные репутации, ибо в решительный момент они могут приобрести самое пагубное влияние, как недавно показал пример Лафайета, которому обязаны «лучшей из республик».

Я, быть может, указал здесь мимоходом на причину, почему сейчас во Франции так мало выдающихся репутаций: большая часть их уже уничтожена. Начиная с самых высоких особ и кончая самыми низкими, здесь больше нет авторитетов. От Луи-Филиппа I до Александра, *chef des claqueurs* * от великого Талейрана до Видока, от Гаспара Дебюро, знаменитого Пьеро театра Фюнамбюль, до Гиацинта де-Келен, архиепископа парижского, от господина Штауба, *maître-tailleur* **, до Ламартина, благочестивого барашка, от Гизо до Поль де-Кока, от Керубини до Биффи, от Россини до малейшего Молаффи — никто, каким бы ремеслом он ни

* главы кланки

** портного мастера

занимался, не пользуется здесь неоспоримым уважением. Однако уничтожена здесь не только вера в личности, но также и вера во все, что существует.

Да, в большинстве случаев здесь уже даже и не сомневаются, ибо сомнение уже имеет предпосылкой веру. Здесь нет атеистов, к господу-богу не осталось уважения даже настолько, чтобы кто-нибудь утруждал себя отрицанием его. Старая религия совершенно умерла, она уже начала разлагаться, «большинство французов» ничего и знать уже не хочет об этом трупе и затыкает нос платком, когда речь заходит о католицизме. Старая мораль тоже умерла, или, вернее, она теперь лишь привидение, которое не появляется даже и ночью. Право, глядя порой на этот народ, когда он раздражается бурей, разбивает священные куклы на столе, называемом «алтарь», сдирает красный бархат со стула, называемого «трон», требует нового хлеба и новых зрелищ, забавляясь видом дерзкой крови жизни, бьющей из ран его собственного сердца, — я готов думать, что народ этот не верит даже в смерть.

У таких неверующих монархия коренится лишь в мелких потребностях тщеславия, но более мощная сила невольно влечет их снова к республике. Эти люди, чьей жажде к отличиям и к блеску соответствует лишь монархическая форма правления, все же обречены на республику, так как их существо не может ужиться с монархическими условиями. Немцы, однако, еще не в таком положении: вера в авторитет еще не угасла в них, и ничто существенное не толкает их к республиканской форме правления. Они еще не выросли из монархизма, почтение к монархам не распатано в них насильно, они не переживали несчастья двадцать первого января, они еще верят в личности, они верят в авторитеты, в верховное начальство, в полицию, в пресвятую троицу, в «Галльскую литературную газету», в пропускную бумагу, в оберточную бумагу, всего же более — в пергамент! Бедный Вирт! * Ты ждал не таких гостей!

* Вирт (Wirt) — по-немецки хозяин.

Писатель, желающий содействовать социальной революции, имеет право опережать свое время на столетие; трибун же, ставящий себе целью революцию политическую, не должен слишком удаляться от масс. Вообще, в политике, так же как и в жизни, следует желать только достижимого.

Говоря выше о республиканизме французов, я, как уже отметил, скорее имел в виду бессознательное стремление, чем ясно выраженную волю народа. Как мало благоприятствует сейчас республиканцам выраженная воля народа, обнаружилось 5 и 6 июня. Об этих достопамятных днях я дал уже достаточно горестных сообщений, чтобы иметь право избавить себя от подробного их обсуждения. Да и судебное следствие по этому делу еще не закончено, и может быть, допросы, производимые военным судом, прольют на эти дни больше света, чем удавалось добиться до сих пор. Еще не выяснено, как началась борьба, еще менее известно число бойцов. Филипписты заинтересованы в том, чтобы представить все дело как давно подготовлявшийся заговор и преувеличить число своих противников. Этим они оправдывают насильственные меры, принимаемые теперь правительством, и приписывают себе славу великого военного подвига. Оппозиция же утверждает, напротив, что восстание это отнюдь не было подготовлено заранее, что у республиканцев вовсе не было вождей и что вообще республиканцев было крайне мало. Кажется, это правда. Во всяком случае, для оппозиции — все же большое несчастье, что эта неудачная революционная попытка произошла в то самое время, когда она была собрана *in corpore* * и словно находилась в боевой готовности. Однако, если оппозиция утратила при этом долю своего авторитета, то правительство в этом отношении пострадало еще больше, необдуманно объявив *état de siège*.** Точно оно хотело показать, что, если уж на то пошло, оно сумеет

* в полном составе

** осадное положение

оскандалиться еще грандиознее, чем оппозиция. Я в самом деле думаю, что на события 5 и 6 июня следует смотреть как на простое происшествие, особенно даже и не подготовлявшееся. Похороны Ламарка должны были быть лишь большим военным смотром оппозиции. Но собрание стольких враждебно настроенных и чающих борьбы людей внезапно было объято непреодолимым энтузиазмом, святой дух не во-время сошел на них, они не во-время начали пророчествовать, а вид красного знамени, очевидно, как бы колдовством смутил их разум.

Было что-то мистическое в том красном знамени с черной каймой, на котором начертаны были черные слова: «La liberté ou la mort» * и которое, точно орифламма смерти, вознеслось на Аустерлицком мосту над головами всей толпы. Многие, собственными глазами видевшие таинственного знаменосца, утверждают, что это был высокий тощий человек с длинным мертвенным лицом, неподвижными глазами, сжатым ртом, над которым с обеих сторон торчали, заостренными концами выступая вперед, черные староиспанские усы, — жуткая фигура, неподвижно сидевшая на большой черной кляче, в то время как кругом яростно кипел бой.

Связанные с этим знаменем слухи о Лафайете сейчас заботливо опровергаются его друзьями. Он будто бы не возлагал венка ни на красное знамя, ни на красный колпак. Бедный генерал сидит дома и оплакивает горестный исход похорон, исход, в котором он, как и в большинстве народных мятежей с самого начала революции, снова играл роль, — каждый раз, все более странным образом, увлекаемый общим движением, — имея при этом доброе намерение своим личным присутствием удержать народ от слишком крайних эксцессов. Он напоминает того гувернера, который сопровождал своего воспитанника в публичный дом, чтобы он там не напился, и ходил с ним в трактир, чтобы он, по крайней мере, не играл там, и следовал за ним даже в игорный дом, чтобы

* Свобода или смерть

уберечь его от дуэлей; но если дело доходило до настоящих дуэлей, старик сам бывал секундантом.

Хотя и можно предвидеть, что на похоронах Ламарка, когда соберется целая армия недовольных, произойдут некоторые беспорядки, все же никто не думал, что вспыхнет настоящий мятеж. Быть может, мысль, что все теперь так удачно собраны вместе, и побудила некоторых республиканцев симпровизировать восстание. Во всяком случае, момент не был неблагоприятен для того, чтобы вызвать всеобщее воодушевление и воспламенить даже нерешительных. По крайней мере, то был момент, сильно возбудивший умы, вытеснивший обычное будничное настроение и все мелочные опасения и заботы. Даже на спокойного зрителя похороны эти должны были производить большое впечатление как множеством провожающих (их было больше ста тысяч), так и сумрачно отважным духом, которым дышали их лица и их жесты. Бодрящее и вместе с тем устрашающее впечатление производил в особенности вид молодежи всех высших школ Парижа, членов общества «*Amis du peuple*» и стольких других республиканцев всех сословий, которые, оглашая воздух страшными ликующими кликами, проходили, подобные вакханкам свободы, держа в руках обвитые зеленью палки, которыми они потрясали, точно тирсами, с зелеными венками из ветвей ивы вокруг шапочек, одетые братски просто, с глазами, опьяненными жаждой подвигов, с ярко пылающими шеями и щеками. Увы! — На некоторых лицах я видел также меланхолическую тень близкой смерти, которую весьма легко предсказать юным героям. Кто видел этих юношей в их горделивом упоении свободой, тот должен был чувствовать, что многим из них недолго осталось жить. Печальным предзнаменованием было также и то, что победная колесница, за которой, ликуя, следовала эта вакхическая молодежь, везла не живого, а мертвого триумфатора.

Злополучный Ламарк! Сколько крови стоили твои похороны! И ведь это были не невольные или наемные

гладиаторы, рубившие друг друга; чтобы воинственной игрой усугубить суету траурного великолепия. То была цветущая, восторженная молодежь, отдававшая кровь свою ради священнейших стремлений, ради великодушной грезы своей души. Лучшая кровь Франции пролилась на улице Сен-Мартен, и я не думаю, чтобы при Фермопилах сражались более отважно, чем у входа в улочки Сен-Мери и Обри-де-Буше, где под конец кучка в каких-нибудь шестьдесят республиканцев защищалась против шестидесяти тысяч человек линейного войска и национальных гвардейцев и дважды заставляла их отступать. Старые солдаты Наполеона, знающие толк в военном деле не хуже, чем мы в христианской догматике, примирении крайних мнений или художественных талантах актрисы, утверждают, что бой на улице Сен-Мартен принадлежит к числу величайших подвигов в новейшей истории. Республиканцы творили чудеса храбрости, и немногие, оставшиеся в живых, отнюдь не просили пощады. Это подтверждают все расследования, добросовестно произведенные мной, как того требует мой долг. Большинство республиканцев было заколото штыками национальных гвардейцев. Когда всякое сопротивление стало бесполезно, некоторые республиканцы с обнаженной грудью выступили навстречу своим врагам и дали себя застрелить. Когда же был взят угловой дом на улице Сен-Мери, один из студентов Альфорской школы поднялся со знаменем на крышу, воскликнул: «Vive la République» и упал, пронзенный пулями. В один из домов, первый этаж которого был еще занят республиканцами, ворвались солдаты и сломали в нем лестницу, но республиканцы, не желая сдаться живыми в руки врагов, покончили с собой, и в плен была взята лишь комната, наполненная трупами. Мне рассказывали эти подробности в церкви Сен-Мери, и мне пришлось прислониться там к статуе св. Себастиана, чтобы от внутреннего волнения не свалиться, и я заплакал, как дитя. Все те героические истории, которые еще в детстве вызывали у меня слезы, вспомнились мне теперь,

но больше всего думал я о Клеомене, царе спартанском, и его двенадцати сподвижниках, что бегали по улицам Александрии и звали народ на бой за свободу, и не нашли единомышленных сердец и, не желая сдаться слугам тирана, умертвили себя сами; последним был прекрасный Антей; еще раз склонился он над мертвым Клеоменом, любимым другом, и поцеловал любимые уста, а потом бросился на свой меч.

О числе сражавшихся в улице Сен-Мартен еще не удалось узнать ничего определенного. Кажется, сперва там собралось около двухсот республиканцев, но в течение дня 6 июня число это, как отмечено выше, растаяло до шестидесяти. Среди них не было ни одного, чье имя было бы уже известно, кто имел бы уже репутацию выдающегося поборника республики. Это тоже свидетельствует о том, что если сейчас во Франции немного осталось героических имен, звучащих особенно громко, то это объясняется не недостатком в героях. Вообще, кажется, миновал тот период мировой истории, когда надо всем высились деяния отдельных личностей. Сами народы, партии, массы — герои нового времени. Современная трагедия отличается от античной тем, что теперь хоры принимают участие в действии и исполняют настоящие главные роли, тогда как боги, герои и тираны, бывшие прежде действующими лицами, опустили теперь до ролей скромных представителей воли партий и деяний народа и выступают с болтливыми рассуждениями, в качестве тронных ораторов, председателей банкетов, депутатов ландтага, министров, трибунов и т. д. Круглый стол великого Луи-Филиппа, вся оппозиция с ее *comptes-rendus* *, с ее депутациями, господа Одилон Барро, Лафитт и Араго, — какими бессильными и жалкими кажутся эти истасканные знаменитости, эти мнимые авторитеты, если сравнить их с героями улицы Сен-Мартен, имена которых никому неизвестны, которые умерли как бы анонимно!

* отчетами

Скромная смерть этих великих неизвестных внушает нам не только трогательную скорбь, она вселяет в наши души отвращение, как знамение того, что многие тысячи людей, совершенно неведомых нам, готовы жертвовать жизнью за святое дело человечества. А деспотов должен охватить тайный ужас при мысли, что их постоянно окружает такая толпа неведомых, жаждущих смерти людей, подобных замаскированным слугам священного тайного суда. С полным основанием бояться они Франции, красной земли свободы!

Ошибочно думать, что герои улицы Сен-Мартен принадлежали к низшим слоям народа, или, как выражаются, к черни. Нет, это были большей частью студенты, красивые юноши, питомцы Альфорской школы, художники, журналисты, вообще — люди с духовными интересами, и среди них несколько рабочих, у которых под грубыми куртками бились очень благородные сердца. У монастыря Сен-Мери сражалась, кажется, только молодежь, но в других местах сражались и пожилые люди. В числе пленных, которых вели по городу, я видел также стариков, и особенно бросилось мне в глаза лицо одного старого человека, которого вели в Консьержери вместе со студентами Политехнической школы. Эти шли с опущенными головами, сумрачные и дикие, и души их были истерзаны так же, как и их платья; старик же, напротив, был одет, хотя и бедно и старомодно, зато аккуратно: на нем был поношенный соломенно-желтый фрак, такие же штаны и куртка, выкроенная по последней моде 1793 г., большая треугольная шляпа, надетая на старую пудреную голову, а лицо было так беззаботно, почти радостно, словно он шел на свадьбу; за ним бежала старая женщина, держа в руках зонтик, который она, повидимому, хотела ему передать, и в каждой морщине ее лица был смертельный страх, какой можно испытать, когда знаешь, что любимый человек должен предстать перед военным судом и быть расстрелян в двадцать четыре часа. Я никак не могу забыть лицо этой старухи. 8 июня, в море, я тоже видел старика,

покрытого ранами и, как уверял меня стоявший рядом со мной национальный гвардеец, тоже сильно скомпрометированного в качестве республиканца. Но он лежал на скамье в морге. А морг — это здание, куда привозят и где выставляют трупы, найденные на улице или в Сене, и куда, следовательно, обычно приходят разыскивать исчезнувших.

В вышеупомянутый день, 8 июня, так много народа направлялось в морг, что надо было стоять в хвосте, точно перед зданием Большой Оперы, когда дают «Роберта-Дьявола». Я должен был прождать там целый час, пока меня впустили, и у меня было достаточно времени, чтобы подробно рассмотреть этот мрачный дом, похожий скорее на громадную каменную глыбу. Не знаю, что означает желтый деревянный диск с голубым кружком в середине, висящий над входом, — точно большая бразильская кокарда. Номер дома 21, *vingt un*. Грустно было видеть, с какой боязнью иные внутри здания рассматривали выставленных мертвецов, опасаясь найти того, кого они искали. При мне там разыгрались две ужасные сцены узнавания. Маленький мальчик увидел своего мертвого брата и молча застыл, словно прирос к земле. Молодая девушка нашла там своего мертвого возлюбленного и, вскрикнув, лишилась чувств. Так как я знал ее, мне выпала печальная забота — отвести безутешную домой. Она была из модного магазина по соседству со мною; там работает восемь молодых дам — все республиканки. Их возлюбленные тоже все молодые республиканцы. В этом доме я всегда — единственный роялист.

ВСТАВКА К СТАТЬЕ ДЕВЯТОЙ

[Написано 1 октября 1832 г.]

Место, пропущенное в предыдущей статье, относилось главным образом к немецкому дворянству. Однако, чем больше я размышляю о событиях последнего вре-

мени, тем важнее представляется мне эта тема, и я должен поскорее решиться основательно ее рассмотреть. Право, я это делаю не из личных побуждений; думаю, за последнее время я доказал, что выступаю лишь против принципов, а не против моих противников, как личностей. Поэтому современные *enragés** ославили меня в последнее время как тайного союзника аристократов, и если бы мятеж 5 июня не потерпел крушения, они легко могли бы предать меня смерти, на которую они меня обрекли. Я от души простил им эту глупость, и только в моей корреспонденции от 7 июня вырвалось у меня словцо по этому поводу. Дух партии — столь же слепой, сколь и яростный зверь.

С немецким дворянством дело обстоит, однако, очень скверно. Ни одна конституция, даже самая лучшая, не в силах помочь нам, пока все дворянство целиком не будет уничтожено в самом корне. Бедные государи сами в величайшем затруднении, их лучшие намерения бесплодны, они должны действовать вопреки своим священнейшим клятвам, они принуждены противодействовать интересам народа, — одним словом, они не могут соблюдать верность конституциям, которым присягали, пока не будут освобождены от других, более древних конституций, которые при помощи тонких, как шелк, придворных происков сумело выманить у них дворянство, когда ему пришлось отказаться от своей блистающей оружием независимости; от конституций, которые в качестве неписанного обычного права глубже вкоренились, нежели постановления, наилучшим образом отпечатанные на листах пропускной бумаги; от конституций, кодекс которых всякий мелкий дворянчик знает наизусть и соблюдение которых поставлено под особый надзор всякого старого придворного кота; от конституций, в которых и самый неограниченный монарх не решится изменить ни одного заглавия. Я говорю об этикете,

* бешеные

Благодаря этикету государи всецело находятся во власти дворянства, они не свободны, они невменяемы, и вероломство, проявленное некоторыми из них в последних постановлениях сейма, должно быть приписано, если судить справедливо, не столько их собственной воле, сколько окружающим условиям. Ни одна конституция не обеспечивает права народа до тех пор, пока монархов держит в плену этикета дворянство, которое, как только дело доходит до кастовых интересов, забывает личные распри и соединяется в одно целое. Что может сделать отдельная личность, монарх, против целого сословия, искусленного в интригах, изучившего все слабости монархов, считающего в числе своих членов ближайших его родственников, имеющего исключительное право находиться вблизи его особы, так что государь, даже если он ненавидит своих дворян, никак не может отстранить их от себя, должен выносить их любезный вид, должен позволять им одевать себя, умывать и лизать ему руки, должен есть, пить и разговаривать с ними, ибо они имеют доступ ко двору, имеют наследственные права на придворные должности, и все придворные дамы пришли бы в возмущение и сделали бы бедному государю нестерпимой жизнь в его собственном доме, если бы он стал действовать по внушениям собственного сердца, а не по предписаниям этикета. Так случилось, что короля английского Вильгельма, честного, доброго государя, происки его высокородных приближенных заставили самым жалким образом изменить слову, пожертвовать своим честным именем и навсегда утратить уважение и доверие своего народа. Так случилось, что один из благороднейших и умнейших государей, когда-либо украшавших собою трон, Людвиг Баварский, еще три года тому назад так горячо преданный делу народа и так твердо противостоявший всем порабощительным попыткам своей знати, с таким героическим мужеством переносивший ее фрондирующую дерзость и клевету, — даже и он, усталый и обессиленный, падает теперь

в ее предательские объятия и изменяет сам себе! Бедное сердце, некогда столь жаждавшее славы, гордое, до чего должно быть сломлено твое мужество, если, не желая, чтобы тебя беспокоило прекословие нескольких надоедливых подданных, ты отказалось от верховной независимости и само обратилось в покорного вассала, вассала твоих природных врагов, вассала твоих собственных!

Повторяю, ни одна писаная конституция не в силах помочь нам, пока мы до основания не уничтожим дворянства. Дело еще не сделано, если путем обсуждаемых, вотируемых, санкционируемых и публикуемых законов аннулируются привилегии дворянства; это уже проделано было в разных странах, и тем не менее интересы дворянства там все еще господствуют. Мы должны искоренить традиционные злоупотребления в домашнем быту монархов, ввести новый порядок для придворной челяди, разбить этикет и, чтобы самим стать свободными, начать дело с освобождения монархов, с эмансипации королей. Древних драконов надо прогнать от источника власти. И если вы это сделали, будьте бдительны, дабы они снова не приползли ночью и не отравили источника. Некогда мы принадлежали королям, теперь короли принадлежат нам. Мы поэтому должны сами воспитывать их и не отдавать их высокородным придворным гувернерам, которые воспитывают их в интересах своей касты и калечат их тело и душу. Ничто не может быть опаснее для народов, чем это юнкерство, с ранних пор окружающее наследных принцев. Лучший гражданин пусть будет воспитателем принца, а тот, о ком идет дурная слава или кто хоть в малейшей степени запятнан, пусть будет законом удален от особы юного государя. Если же такой человек с бесстыдной навязчивостью, свойственной в подобных случаях дворянству, все же сумеет протиснуться вперед, то да будет он подвергнут бичеванию на рыночной площади с соблюдением самых звучных ритмов и раскаленным железом да будет на

его плече напечатлен их размер. Если же он станет утверждать, что протискивался к особе юного государя, желая прослыть остряком и умником, и если у него окажется толстое брюхо, как у сэра Джона, то пусть его просто посадят в исправительную тюрьму, но туда, где сидят женщины.

Впрочем, есть и белые вороны.

Как я обещал уже в предисловии к «Письмам Кальдорфа к графу Мольтке», я об этом предмете более подробно поговорю впоследствии; при этом наибольший интерес представит статистика дипломатического корпуса, которому вверены интересы народов. К ней будут приложены таблицы, каталоги различных добродетелей дипломатического корпуса разных столиц. Из них можно будет усмотреть, например, что в столицах каждый третий человек, принадлежащий к этому благороднейшему обществу, либо игрок, либо безродный наемный слуга, либо escroc*, либо ruffiano** своей собственной супруги, либо супруг своего жокея, либо всесветный шпион, либо какой-нибудь другой знатный негодяй. Ради этой статистики я весьма основательно занялся изучением источников, и притом за столами царя-фараона и других царей востока, на вечерах прелестнейших богинь танца и песни, в храмах обжорства и волокитства, словом — в знатнейших домах Европы.

Относительно графа Мольтке я должен здесь еще отметить, что в июле прошлого года он был тут, в Париже, и хотел втянуть меня в полемику о дворянстве, чтобы показать публике, что я не понял его принципов или произвольно их искажил. Но как-раз тогда мне казалось неосторожным публично касаться в моей обычной манере этой темы, за которую так ужасно могла бы ухватиться злоба дня. Я поделился с графом этими опасениями, и он оказался достаточно бла-

* мошенник, плут

** сводник

горазумен, чтобы не выступить печатно против меня. Так как я первый задел его, то не мог бы игнорировать его ответа и должен был бы написать возражение. За это благоразумие граф заслуживает величайшей похвалы, которую я ему и воздаю здесь, и тем более охотно, что в нем я нашел остроумного и — что еще важнее — благомыслящего человека, который вполне заслужил, чтобы в предисловии к «Письмам Кальдорфа» я отнесся к нему не как к заурядному дворянину. С тех пор я прочел его труд о свободе ремесл, в котором, как и во многих других вопросах, он отдает дань либеральнейшим принципам.

Есть что-то странное в этих дворянах! Лучшие среди них не могут отрешиться от своих родовых интересов. Они в большинстве случаев могут мыслить либерально, пожалуй еще более независимо и либерально, чем *goturiers**, они даже более, чем последние, способны любить свободу и приносить ради нее жертвы, — но к гражданскому равенству они очень не восприимчивы. В сущности, ни один человек не либерален совершенно, — вполне либерально лишь человечество в целом, потому что у одного есть частица либерализма, которой недостает другому, и, следовательно, люди в своей совокупности вполне дополняют друг друга. Наверно, граф Мольтке твердо убежден, что торговля рабами — нечто незаконное и постыдное, и, конечно, он стоит за ее отмену. Напротив, мингер ван-дер-Нуль, торговец невольниками, с которым я познакомился в Роттердаме «под Боомхен», всецело убежден, что торговля невольниками — нечто вполне естественное и приличное, однако же преимущества рождения, наследственные привилегии, дворянство — нечто несправедливое и бессмысленное и что все это должно быть уничтожено во всяком порядочном государстве.

То обстоятельство, что в июле 1831 г. я не захотел вступить в полемику с графом Мольтке, поборником

* разночинцы

дворянства, сможет оценить всякий благоразумный человек, если он взвесит сущность тех угрожающих обстоятельств, которые так шумно пронесли тогда по Германии.

Страсти в то время кипели яростнее, чем когда-либо, и дело шло о том, чтобы столь же отважно противостать якобинизму, как некогда абсолютизму. Меня же, непоколебимого в моих принципах, происки якобинизма даже здесь, в Париже, не смогли завлечь в тот темный водоворот, где немецкое недомыслие соперничало с французским легкомыслием. Я не принимал участия в здешней немецкой ассоциации, если не считать, что при подписке в пользу свободной прессы я пожертвовал ей несколько франков; еще задолго до июньских дней я самым решительным образом объявил вождям этой ассоциации, что прекращаю с нею всякие сношения. Поэтому я могу только с сожалением пожимать плечами, когда слышу, что иезуитско-аристократическая партия в Германии старалась тогда изо всех сил представить меня одним из современных *engagés* и тем самым навязать мне компрометирующую солидарность с их бесчинствами.

Это было безумное время, и большие заботы причиняли мне мои лучшие друзья, и больших тревог стоили мне мои злейшие враги. Да, милые враги, вы и не знаете, сколько страха я вытерпел из-за вас. Речь заходила уже о том, чтобы вздернуть в Германии всех вероломных юнкеров, попов-клеветников и прочих негодяев. Как я мог снести это! Если бы дело шло лишь о том, чтобы вас немножко проучить, чтобы на Замковой площади в Берлине или на Шранненмаркте в Мюнхене постегать вас розгами в умеренном ритме, или пригвоздить к вашей тонзуре трехцветную кокарду, или сыграть с вами еще какую-нибудь шутку, — это я еще допустил бы. Но вас прямо-таки собирались истребить, и этого я не мог стерпеть. Ваша смерть была бы для меня величайшей потерей. Я должен был бы завести себе новых врагов, быть может, даже среди

порядочных людей, что в глазах публики всегда очень вредно для писателя. Ничто не может быть выгоднее для нас, как иметь в числе своих врагов одних лишь негодяев. Господь неслуханно щедро наделил меня этой породой, и я рад, что они теперь в безопасности. Что же, милые враги, воспоем *Te Metternich laudamus*. * Вы подвергались величайшей опасности — опасности быть повешенными, и я потерял бы вас навеки! Теперь снова все тихо, все улажено, точно определено, постановления сейма опубликованы, патриотов запирают в тюрьмы, и мы предвкушаем долгий, сладостный, прочный покой. Теперь мы снова можем безмятежно наслаждаться прекрасным старым обычаем: я буду бичевать вас так же, как и прежде, а вы будете клеветать на меня так же, как и прежде. Как рад я, что вижу вас все еще столь далекими от виселицы! Ваша жизнь дороже мне, чем когда бы то ни было. Я не могу подавить в себе чувства умиления при виде вас. Прошу вас, берегите свое здоровье! Не глотайте собственного яда, лгите и клеветайте по возможности еще больше, чем обычно, — это очищает благочестивое сердце. Не ходите такими согбенными и сгорбленными — это вредно для груди. Посетите как-нибудь театр, когда будут давать Раунаховскую трагедию, — это развлекает. Попробуйте также поразнообразить ваши частные увеселения, посетите как-нибудь хорошенькую девочку, но только берегитесь дочки канатного мастера!

Вы теперь снова порхаете на длинной нитке. Но кто знает, в одно прекрасное утро вы, быть может, повиснете на короткой веревке.

ТЕКУЩИЕ СООБЩЕНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

О неудавшемся восстании 5 и 6 июня, об этом столь важном и богатом последствиями событии никогда не

* Тебя, Меттерних, хвалим

удастся узнать ничего истинного и правильного, так как обе партии были одинаково заинтересованы в том, чтобы извратить известные факты и скрыть неизвестные. Нижеследующие сообщения, писанные в момент событий, среди шума партийной борьбы, и притом всегда перед самым отходом почты, со всей возможной поспешностью, — дабы корреспонденты побеждающего *juste milieu* не опередили меня, — эти беглые страницы печатаю я здесь, ничего не меняя в той их части, которая касается восстания 5 июня. Современем историк, пожалуй, сможет воспользоваться ими с тем большим доверием, что, по крайней мере, будет уверен в том, что они не были изготовлены в угоду позднейшим интересам.

Если некоторые ошибочные предположения, встречающиеся на этих страницах, и не требуют особых опровержений, все же одно из них я не могу не исправить. А именно, генерал Лафайет после того официально заявил, что не он 5 июня возлагал венок на красное знамя и на якобинский колпак. Как я узнал лишь впоследствии, наш старый генерал явился в тот день вполне достойным себя. Легко понятная деликатность не позволяет мне в настоящее время сообщить кое-какие относящиеся сюда обстоятельства, которые даже заядлых якобинцев должны бы заставить умилиться и исполниться уважения к Лафайету.

На этих страницах, как и во всей книге, встретится немало противоречащих друг другу суждений, но они относятся не к фактам, а всегда к личностям. Относительно первых суждений наше должно быть твердо установлено, относительно вторых оно может меняться с каждым днем. Так, я всегда высказывал одинаковое мнение о той дурной системе, в которой, словно в болоте, завяз Луи-Филипп, но о личности его я не все время судил в одинаковом тоне. Сперва я был настроен против него, так как принимал его за аристократа; впоследствии, убедившись в его истинной буржуазности, я стал уже гораздо лучше отзываться о нем;

когда он напугал нас своим *état de siège*, я был опять очень восстановлен против него; но это прошло после первых же дней, когда мы увидели, что бедный Луи-Филипп совершил этот промах лишь в замешательстве собственного страха, а с тех пор карлисты своей бранью внушили мне истинную любовь к личности этого короля, и я мог бы еще усилить это чувство в моем сердце, если бы стал сравнивать его с

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ ШЕСТОЙ

«Смотрите, самые подонки лихоимства, воровства и разбоя — вот что наши великие мира и господа; всякую тварь они обращают в свою собственность; рыбы в воде, птицы в воздухе, растения на земле — все должно принадлежать им» (Иез., V). И вот они распространяют заповедь господню среди бедных и говорят: «Господь повелел: не укради»; но это служит на пользу не им. Так они отягощают всех людей, бедного земледельца, ремесленника, и все, что живет, обдирают и обчищают (Мих., III), а если бедняк согрешит перед всесвятейшим, то должен быть повешен. И тогда говорит доктор Лгун: «Аминь. Господа сами виной тому, что бедный человек — враг им. Причину восстания они не хотят уничтожить, как же это может продолжаться? Так говорю я, и вот я поднимаюсь, вперед же».

Так говорил 300 лет тому назад Томас Мюнцер, один из отважнейших и несчастнейших сынов немецкого отечества, проповедник евангелия, которое, по его мнению, не только служит залогом блаженства на небеси, но предписывает также равенство и братство людей на земле. Доктор Мартин Лютер был другого мнения и осудил эту мятежную ересь, грозившую опасностью его собственному делу — отделению от Рима и утверждению нового исповедания. И, быть может, больше по осмотрительности, чем по злому усердию, написал он бесславную книгу против несчастных кре-

стьян. Пиетисты и раболепные пройдохи в последнее время воскресили эту книгу и распространяют среди народа новое издание, с одной стороны, чтобы показать высоким покровителям, какой крепкой опорой абсолютизма служит чистое лютеранское учение, с другой — чтоб авторитетом Лютера подавить в Германии энтузиазм свободы. Но свидетельство более священное, кровью истекающее из евангелия, противоречит холопскому толкованию и уничтожает ложный авторитет. Христос, умерший за равенство и братство людей, явил свое слово не как орудие абсолютизма, и Лютер был не прав, а Томас Мюнцер был прав. Он был обезглавлен в Медлине. Последователи его тоже были правы, и одни из них казнены мечом, а другие повешены, смотря по тому, были ли они благородного происхождения или мещанского. Маркграф Казимир Ансбахский, помимо этих казней, велел выколоть глаза восьмидесяти пяти крестьянам, которые потом просили милостыню по стране и тоже были правы. Всякому известно, что было сделано с бедными крестьянами в Верхней Австрии и в Швабии и как многие сотни тысяч крестьян, не требовавших ничего, кроме человеческих прав и христианского милосердия, были изрублены и задушены своими духовными и светскими владыками. Но и последние тоже были правы, ибо они еще находились в расцвете силы, крестьяне же сами не раз были сбиваемы с толку авторитетом какого-нибудь Лютера и других духовных лиц, державших руку светских властей, и несвоевременными спорами о темных местах Библии, да еще тем, что порой они распевали псалмы вместо того, чтоб сражаться.

В лето господне 1789 во Франции началась та же борьба за равенство и братство, по тем же причинам, против тех же властителей, с тою лишь разницей, что последние за это время утратили свою силу, а народ приобрел ее и уже не из Евангелия, а из философии стал черпать свои законные требования. Феодальные и иерархические учреждения, которые Карл Великий

ввел в своем обширном государстве и которые многообразно развивались в возникших из него странах, пустили могучие корни во Франции, цвели в течение столетий и, наконец, как все на свете, утратили свою силу. Короли Франции, недовольные своей зависимостью от дворянства, которое мнило себя равным им, и от духовенства, имевшего над народом большую власть, чем они сами, — постепенно сумели уничтожить самостоятельность этих двух сил, и при Людовике XIV было завершено это гордое дело. Вместо воинственного феодального дворянства, господствовавшего над королями и защищавшего их, теперь ползала у ступеней трона хилая придворная знать, которой придавало вес число ее предков, а не число замков и вассалов. Вместо строгих ультрамонтанских пастырей, грозивших королям покаянием и отлучением, но державших в узде и народ, явилась теперь галликанская, так сказать, медиатизированная церковь, в которой должности добывались происками в версальском «Oeuil de Bœuf»* или в будуарах фавориток и вожди которой принадлежали к тем же самым аристократам, что парадировали в качестве придворных слуг, и облачение аббата и епископа — паллий и митру — можно было принять за особую разновидность придворной ливреи. И несмотря на это превращение, дворянство сохранило те преимущества перед народом, которыми пользовалось с давних пор, и даже чем больше разрасталось его высокомерие по отношению к народу, тем больше углублялось его собственное унижение перед царственными владыками. Оно, как и прежде, по праву захвата наслаждалось всеми благами, притесняло и наносило обиды, как прежде; то же самое делало и духовенство, давно уже утратившее власть над душами, но сохранившее еще свой десятинный доход, свою триединую монополию, свои привилегии на порабощение духа и на церковные козни. То, что некогда в Крестьянской

* Круглое или овальное окно (См. Комментарий).

войне пытались делать проповедники евангелия, теперь во Франции совершили философы — и с большим успехом. И народ возликовал, а когда 14 июня лета 1789 погода оказалась вполне благоприятной, народ начал дело своего освобождения, и тот, кто 14 июня 1790 г. посетил площадь, где стояла некогда древняя, немая, хмуро-безотрадная Бастилия, вместо нее нашел там воздушно-веселое здание с хохочущей надписью: «Ici on danse» *.

Вот уже семнадцать лет, как в Европе многие писатели неумоимо стараются снять с французских ученых упрек в том, что они явились главной причиной французской революции. Нынешние ученые захотели опять войти в милость к великим мира сего, они снова стали искать мягкого местечка у ног власти и повели себя при этом так раболепно-невинно, что на них уже стали смотреть не как на змей, а как на обыкновенных червяков. Однако в интересах истины я не могу не признать, что именно ученые прошлого века больше всего содействовали взрыву революции и определили ее характер. Я хвалю их за это, как хвалят врача, вызвавшего быстрый кризис и смягчившего своим искусством природу болезни, которая могла стать смертельной. Если бы не слово ученых, болезненное состояние Франции тянулось бы еще дольше и безотраднее, и революция, которая в конце-концов все же должна была вспыхнуть, приняла бы менее благородную форму. Она была бы грубой и жестокой, между тем как она явилась лишь трагичной и кровавой. И — что еще хуже — она выродилась бы в нечто смешное и глупое, если бы материальные нужды не приняли идеального выражения, — чего, к сожалению, не бывает в тех странах, где не писатели побуждают народ требовать признания человеческих прав и где революцию делают для того, чтобы не платить за право въезда в город или чтобы избавиться от фаворитки государя

* Здесь танцуют.

и т. д. Вольтер и Руссо — те два писателя, которые более всех других подготовляли революцию, определили ее дальнейшие пути и ныне еще духовно руководят французским народом и властвуют над ним. Даже вражда этих двух писателей имела поразительные последствия; быть может, борьба партий среди революционеров даже и по сей день была лишь продолжением этой вражды *.

К Вольтеру все же несправедливы, когда утверждают, что он не был так вдохновенен, как Руссо, что он только был немного умнее и искуснее. Беспомощность всегда ищет убежища в стоицизме и лаконически ропщет при виде чужой гибкости. Альфиери упрекает Вольтера в том, что он как философ писал против великих мира, а между тем, в качестве камергера, носил впереди их светильник. Мрачный пьемонтец не заметил, что Вольтер, услужливо носивший светильник впереди великих мира, этим же светильником освещал и их наготу. Я отнюдь не собираюсь оправдывать Вольтера от упрека в лести; он и большая часть французских ученых, как маленькие собачки, ползали у ног дворянства, лизали золотые шпоры и улыбались, если царапали о них язык, и позволяли топтать себя ногами. Но когда маленьких собачек топчут ногами, им бывает так же больно, как и большим собакам. Тайная ненависть французских ученых к великим мира должна была быть тем ужаснее, что, кроме достававшихся порой пинков, они видели от нее много и настоящих благодеяний. Гара рассказывает о Шамфоре, что когда в начале революции собирали деньги для революционных целей, он вынул из старого кожаного кошелька тысячу талеров, сбережения целой трудовой жизни, и с радостью отдал их. А Шамфор был скуп, и ему всегда покровительствовали сильные мира.

Но еще сильнее, чем мужи науки, способствовали падению старого режима люди промысла. Если те —

* Ср. в конце примечание А. [*Примечание Гейне.*]

ученые — полагали, что вместо старого порядка начнется режим духовных дарований, то эти — промышленники — полагали, что им — фактически самой сильной и мощной части народа — подобает и со стороны закона признание их высокого значения, а вместе с тем, разумеется, и гражданское равноправие, и участие в государственных делах. И действительно, так как прежние установления покоились на старом военном строе и церковной вере, уже утратившим жизненную силу, то теперь общество должно было опереться на эти две новые силы, полные жизненных соков, т. е. на науку и на промышленность. Духовенство, умственно отставшее с тех пор, как было изобретено книгопечатание, и дворянство, осужденное изобретением пороха на исчезновение, должны были бы понять теперь, что власть, которою они пользовались тысячу лет, ускользает из их гордых, но слабых рук и переходит в презираемые, но крепкие руки ученых и промышленников; они должны были бы понять, что вернуть утраченную власть им удастся лишь в союзе с этими учеными и промышленниками. Но они этого не поняли. Они безрассудно стали сопротивляться неизбежному. Началась мучительная, бессмысленная борьба; вероломная пресмыкающаяся ложь и дряхлая больная гордость боролись против железной необходимости, против истины и гильотины, против жизни и воодушевления, и мы доселе еще стоим на поле битвы.

Был в то время унылый министр, почтенный банкир, добрый отец семейства, добрый христианин, прекрасный математик, Панталоне революции, который твердо и упрямо верил, что дефицит в бюджете — истинная причина бедствия и раздора. И он считал день и ночь, чтобы покрыть дефицит, и за множеством цифр он не видел ни людей, ни их угрожающих лиц. Однако при всей его глупости ему пришла очень хорошая мысль, а именно — созвать нотаблей. Я говорю: очень хорошая мысль, — потому что она послужила на пользу свободе. Если б не этот дефицит, Франция долго еще

прозябала бы в состоянии тягостного недуга. Этот дефицит, по существу, не мог быть покрыт деньгами именно потому, что он вызвал болезнь наружу. Созыв нотаблей ускорил кризис, а следовательно и будущее выздоровление, и если когда-нибудь в Пантеоне свободы поставлен будет бюст Неккера, мы наденем ему на голову шутовской колпак, украшенный патриотическим венком из дубовых листьев. Право же, если нелепо видеть в событиях только личности, то еще нелепее видеть в событиях одни лишь числа. Есть, однако же, мелочные умы, которые презабавно стараются соединить оба заблуждения и даже в лицах ищут чисел, желая с их помощью объяснить события. Они не довольствуются тем, что Юлия Цезаря считают причиной гибели римской свободы, но еще утверждают, будто у гениального Юлия было столько долгов, что он — лишь бы самому не попасть в темницу — вынужден был лишить свободы весь мир вместе со всеми своими кредиторами. Если не ошибаюсь, то основанием для подобной аргументации служит одно место у Плутарха, где он говорит о долгах Цезаря. Бурьени, маленький кокетничающий Бурьени, продажный крупье в азартной игре Империи, жалкая, трусливая душонка, где-то в своих мемуарах замечает, что наверное денежные затруднения двинули Наполеона Бонапарта в начале его карьеры на великие начинания. Точно так же некоторые глубокие мыслители не довольствуются тем, что считают графа Мирабо причиной падения французской монархии, но еще утверждают, будто он так нуждался в деньгах и так был обременен долгами, что мог выйти из затруднения, лишь опрокинув существующий строй. Я не буду дольше останавливаться на подобных нелепостях, но я должен указать на них, потому что именно в последнее время они могли распуститься пышным цветом, ибо Мирабо считают ныне истинным представителем той первой фазы революции, которая начинается и кончается Национальным собранием. Как таковой он стал национальным героем.

О нем постоянно говорят, его встречаешь всюду на рисунках и в изваяниях, его изображают на всех французских сценах, во всех видах: бедным и диким, любящим и ненавидящим, смеющимся и скрежещущим, беспечным, запутавшимся в долгах божеством, которому принадлежат и небо, и земля и который способен проиграть в фараон свою последнюю звезду и последний луидор; Самсоном, который рушит столбы государства, чтобы обломками здания завалить своих кредиторов-филистимлян; Геркулесом, который на перепутьи сговорился с обеими дамами и сумел в объятиях порока оправиться от напряжений добродетели; «Ариелем-Калибаном, сияющим гениальностью и уродством», которого отрезвляла проза любви, когда он опьянен был поэзией разума; просветленным, поклонения достойным развратником свободы; гермафродитом, которого мог описать лишь Жюль Жанен.

Именно благодаря нравственным противоречиям своего характера и своей жизни Мирабо является истинным представителем своего времени, которое было так же беспутно и величаво, так же опутано долгами и так же богато, которое, так же сидя в темнице, писало не только соблазнительные романы, но и благороднейшие книги свободы и которое потом, хотя еще и под бременем старого пудренного парика и с обрывком старой отвратительной цепи, выступило герольдом новой мировой весны и бросило бледнеющему церемониймейстеру прошлого смелые слова: *«Allez dire à votre maître, que nous sommes ici par la puissance du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par la force de baïonnettes»**. Этими словами начинается французская революция. Ни один буржуа не отважился бы произнести их, язык разночинцев и вилланов все еще был окован немymi чарами древней покорности, и только среди дворянства, среди этой крайне дерзкой касты, которая никогда не питала подлинного

* Пойдите, скажите вашим господам, что мы здесь — волею народа и что нас можно прогнать отсюда лишь силой штыков.

благоговения перед королями, новое время нашло своего первого глашатая.

Я не могу не отметить, что меня уверяли недавно, будто всемирно известные слова Мирабо принадлежат, собственно, графу Вольне, который, сидя рядом с ним, просуфлировал их ему. Я не думаю, чтобы эта легенда была придумана вовсе без основания: она несколько не противоречит характеру Мирабо, который занимал идеи у своих друзей так же охотно, как и деньги, и который во многих мемуарах, в частности в мемуарах Бриссо и в недавно появившихся мемуарах Дюмона, подвергся за это жесточайшему осуждению. Некоторые его современники сомневались из-за этого в величии его ораторского таланта и признавали за ним лишь остроумные выходки и театральные эффекты трибуны. Теперь трудно судить о нем в этом отношении. По свидетельству его современников, которых еще можно расспрашивать о нем, очарование его речи шло скорее от его личности, чем от его слов. Удивительный звук его голоса приводил слушателя в трепет, особенно тогда, когда он говорил тихо. Слышно было шипение змей, незримо ползавших среди цветов красноречия. Когда им овладевала страсть, он делался неотразим. О госпоже де-Сталь рассказывают, что она сидела на галерее Национального собрания, когда Мирабо поднялся на трибуну, чтобы говорить против Неккера. Разумеется, дочь, так благоговевшая перед своим отцом, была исполнена гневом и злобой против Мирабо; но эти враждебные чувства исчезали по мере того, как она его слушала, и, наконец, когда гроза его речи разразилась с самым потрясающим великолепием, когда отравленные молнии полетели из его глаз, когда из его души грянули громы, сокрушающие мир, — госпожа де-Сталь высунулась вперед за балюстраду и стала аплодировать, как безумная.

Но еще значительнее, чем ораторский талант этого человека, было то, что он говорил. Об этом мы можем теперь судить вполне беспристрастно. Мы видим, что

Мирабо всех глубже понимал свое время, что он умел не только разрушать, но также и созидать, и что созидать он умел лучше, нежели великие мастера, которые по сей день трудятся над этим великим делом. В писаниях Мирабо мы находим основные идеи конституционной монархии, какая нужна была Франции, находим ее контуры, набросанные, правда, бегло и бледными штрихами. И право же, всем мудрым и опасливым правителям Европы я рекомендую изучать эти штрихи, эти спасительные для государств штрихи, которые с пророческой прозорливостью и математической точностью набросал величайший политический гений нашего времени. Было бы очень важно, если бы сочинениями Мирабо постарались в этом отношении воспользоваться и для Германии. Его революционные, очищающие идеи легко были восприняты и быстро приведены в действие. Его столь же мощные, положительные, создающие идеи были поняты хуже и не имели такого влияния.

Менее всего понимали предпочтение, которое Мирабо оказывал монархии. То, что он хотел отнять у нее в смысле абсолютной власти, он собирался возместить ей конституционными гарантиями. Более того, он собирался еще усилить и укрепить королевскую власть, насильственно вырвав короля из рук высших сословий, фактически господствовавших над ним при помощи исповедальни и придворных интриг, и толкнув его в объятия третьего сословия. Именно Мирабо был провозвестником конституционной монархии, которая, как мне кажется, была стремлением того времени и которой, в более или менее демократической форме, сейчас требуем и мы в Германии.

Этот конституционный роялизм и повредил больше всего репутации графа, ибо революционеры, не понимавшие его, увидели в этом измену и решили, что он продал революцию. Они стали поносить его наперебой с аристократами, ненавидевшими его именно потому, что они понимали его и знали, что уничтожением системы

привилегий Мирабо за их счет хочет спасти и омолодить монархию. Но подобно тому, как ничтожество привилегированных вызывало в нем отвращение, так же должна была отталкивать его и грубость большей части демагогов, тем более, что они, впадая в тот безумно разнузданный тон, который нам хорошо известен, уже проповедывали республику. Интересно следить по тогдашним газетам, к каким странным средствам прибегали эти не решавшиеся еще открыто нападать на популярность Мирабо демагоги, чтобы парализовать монархическую тенденцию великого трибуна. Так например, однажды, когда Мирабо решительно высказался в роялистском духе, люди эти не могли придумать ничего лучшего, как пустить слух, будто Мирабо часто не сам сочиняет свои речи и будто он забыл заранее прочесть речь, полученную им от одного из своих друзей, и только на трибуне заметил, что друг коварно подсунул ему чисто роялистскую речь.

Все еще идет спор о том, удалось ли бы Мирабо спасти монархию и воссоздать ее. Одни говорят, что он умер слишком рано; другие говорят, что он умер как раз вовремя. Он умер не от яда, ибо именно в то время аристократия нуждалась в нем. Люди из народа не отравляют: отравленный кубок принадлежит старой трагедии дворцов. Мирабо умер оттого, что наслаждался двумя танцовщицами, девицами Гелисберг и Коломб, а за час до того еще и паштетом с трюфелями.

ПРИМЕЧАНИЕ А

Борьба революционеров в Конвенте была не что иное, как тайная злоба ригоризма Руссо против Вольтеровской *légèreté**. Истые монтаньяры вполне разделяли мысли и чувства Руссо, и если они заодно

* легкости

гильотинировали и дантонистов, и гебертистов, то это произошло совсем не потому, что одни слишком усердно проповедывали расслабляющую умеренность, а другие, напротив, впадали в самый необузданный санкюлотизм, но, как недавно мне сказал один старый монтаньяр: «*Parce qu'ils étaient tous des hommes pourris, frivoles, sans croyance et sans vertu*» *. Низвергая старое, самые свирепые революционеры были еще сравнительно единодушны, но когда надо было строить новое, когда речь зашла о самом положительном, тогда пробудились врожденные антипатии. Тогда глубокомысленный мечтатель-руссоист Сен-Жюст возненавидел веселого, остроумного фанфарона Демулена. Нравственный, неподкупный Робеспьер возненавидел сладострастного, деньгами запятнанного Дантона. Блаженной памяти Максимилиан Робеспьер был воплощением Руссо; он был глубоко религиозен, верил в бога и в бессмертие, ненавидел вольтерьянские насмешки над религией, недостойные фарсы какого-нибудь Гобеля, оргии атеистов и разнузданность умников и, быть может, ненавидел всякого, кто был остроумен и любил посмеяться.

9 термидора победила партия Вольтера, незадолго до того побежденная. При Директории она действовала против Горы. Позднее, во время героической драмы Империи и при набожной христианской комедии Реставрации, она могла появляться лишь во второстепенных ролях; но все же вплоть до этого часа мы видели ее, стоящей — более или менее деятельно — у кормила государства, представленной, правда, бывшим епископом Отенским Шарлем-Морисом Талейраном. Партия Руссо, находящаяся в загоне с того злополучного дня термидора, живет в бедности, но здоровая духом и телом, в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо, живет в образе Гарнье-Паже, Кавеньяка и еще стольких достойных республиканцев, которые время от вре-

* Потому что это все были люди разложившиеся, развратные, без веры и без добродетели

меня выступают как мученики за евангелие свободы. Я не достаточно добродетелен, чтобы когда-нибудь примкнуть к этой партии, но я слишком ненавижу порок, чтобы когда-нибудь бороться против нее.

Париж, 5 июня 1832 г.

Похоронная процессия генерала Ламарка, — un convoi d'opposition*, как говорят филипписты, — только-что направилась от собора Магдалины к площади Бастилии; за гробом шло больше народу и больше было зрителей, чем на похоронах Казимира Перье. Сам народ вез траурную колесницу. Особенно бросались в глаза в этом шествии иностранные патриоты, которые, идя в ряд, несли свои национальные знамена. Среди этих знамен я заметил знамя, цвета которого были: черный, темнокрасный и золотой. В час дня пошел сильный дождь, продолжавшийся более получаса; тем не менее на бульварах оставалась несметная толпа народу, большинство с непокрытыми головами. Когда шествие достигло театра «Варьете», а мимо проходила колонна amis du peuple и многие из их числа закричали «Vive la République!», какой-то полицейский сержант вздумал вмешаться; но на него набросились, сломали его шпагу, и поднялась отвратительная свалка; лишь с трудом удалось прекратить ее. Все же зрелище этой сумятицы, приведшей в движение несколько сот тысяч человек, было изумительно и наводило на размышления.

Париж, 6 июня

Не знаю, упомянул ли я в моем вчерашнем письме, что на вечер назначено было восстание. Когда похороны Ламарка проходили по бульварам и произошла сцена у театра «Варьете», уже можно было предвидеть недоброе. Кто виноват в том, что страсти вспыхнули так ужасно, — трудно определить. Все еще ходят

* оппозиционная процессия

самые противоречивые версии о начале военных действий, о событиях этой ночи и вообще о положении вещей. Здесь я отмечу лишь одно происшествие, которое мне достовернейшим образом подтверждали с разных сторон. Когда на площади близ Аустерлицкого моста, где происходило траурное торжество, Лафайет, чье присутствие на похоронах возбудило всеобщий энтузиазм, окончил свою надгробную речь, ему надели на голову венок из иммортелей. В это же время на ярко-красное знамя, уже и раньше сильно возбуждавшее внимание, надели красный фригийский колпак, и один воспитанник Политехнической школы поднялся на плечи своих соседей, взмахнул обнаженной шпагой над этой красной шапкой и воскликнул: «Vive la liberté» *, а по другим сведениям: «Vive la République». Будто бы Лафайет надел тогда свой венок из иммортелей на красную шапку свободы; многие люди, вполне заслуживающие доверия, утверждают, что видели это собственными глазами. Возможно, что это символическое действие он совершил, вынужденный к тому или застигнутый врасплох, но возможно также, что здесь была замешана и какая-то третья рука, которую нельзя было заметить в этой огромной теснящейся толпе. По словам некоторых, после этой демонстрации красный увенчанный колпак хотели с торжеством пронести по городу, а когда муниципальные гвардейцы и городовые оказали вооруженное сопротивление, начался бой. Несомненно одно: когда Лафайет, утомленный четырьмя часами ходьбы, сел в извозничью карету, народ выпряг лошадей и собственными руками, при громких криках одобрения, повез по бульварам своего старого и самого верного друга. Многие рабочие вырывали из земли молодые деревья и, словно дикие, бежали с ними подле экипажа, которому, казалось, каждую минуту грозила опасность быть опрокинутым неукротимой толпой. Говорят даже, будто два выстрела

* Да здравствует свобода!

попали в экипаж. Об этом странном обстоятельстве я, впрочем, не могу сказать ничего определенного.

Многие из тех, кого я расспрашивал о начале военных действий, утверждают, что кровавая ссора началась близ Аустерлицкого моста из-за трупа мертвого героя, так как часть «патриотов» хотела нести гроб в Пантеон, другая же часть собиралась провожать его дальше до ближайшей деревни, а городовые и муниципальные гвардейцы воспротивились этим намерениям. И вот начали драться с великим ожесточением, как некогда перед Скейскими воротами бились за труп Патрокла. На площади Бастилии было пролито много крови. В половине седьмого бились уже у ворот Сен-Дени, где народ построил баррикады. Многие важные посты были взяты; национальные гвардейцы, занимавшие их, сопротивлялись слабо и сдавали оружие. Так народ добыл много оружия. На площади Нотр-Дам-де-Виктуар я застал военные действия в разгаре; «патриоты» заняли три поста возле банка. Повернув на бульвары, я увидел, что все лавки заперты, что народу мало, а среди него мало даже и женщин, хотя во время восстаний они весьма бесстрашно удовлетворяют свою страсть к зрелищам. Все имело очень серьезный вид. Линейные войска и кирасиры двигались в ту и в другую сторону, ординарцы с озабоченными лицами проносились мимо, вдали — выстрелы и пороховой дым. Погода уже не была пасмурной, а к вечеру стала весьма благоприятной. Положение правительства казалось очень опасным, когда пронесся слух, что национальная гвардия перешла на сторону народа. Это ложное известие распространилось потому, что вчера многие «патриоты» были в форме национальной гвардии, а национальная гвардия в самом деле находилась в нерешительности, какую партию поддерживать. Вероятно, за эту ночь жены доказали своим мужьям, что нужно поддерживать только ту партию, которая дает самые надежные гарантии для жизни и для имущества и что такие гарантии Луи-Филипп представляет

в гораздо большей мере, чем республиканцы, которые очень бедны и вообще приносят большой вред торговле и промышленности. Национальная гвардия сегодня, следовательно, всецело против республиканцев; дело решено. «C'est un coup manqué»*, — говорил народ. Со всех сторон в Париж прибывают линейные войска. На площади Согласия стоит очень много заряженных пушек; стоят они также и по ту сторону Тюильрийского замка, на Карусельской площади. Король-буржуа окружен буржуазными пушками; *on peut être mieux qu'au sein de sa famille***. Сейчас четыре часа, и льет сильный дождь. Это очень неблагоприятно для «патриотов», большая часть которых забаррикадировалась в квартале Сен-Мартен и получает слабое подкрепление. Они окружены со всех сторон, и как-раз в эту минуту я слышу сильнейшую пушечную пальбу. Мне говорили, что два часа тому назад народ еще питал большие надежды на победу, но что теперь ему остается лишь умереть героически. Многие так и сделают. Так как я живу у ворот Сен-Дени, то всю ночь провел без сна; стрельба продолжалась почти непрерывно. Теперь пушечная пальба находит в моем сердце самый горестный отклик. Это — злополучное событие, которое будет иметь еще более злополучные последствия.

Париж, 7 июня.

Вчера, когда я пошел на Биржу, чтобы опустить в почтовый ящик мое письмо, под колоннами, перед широкой биржевой лестницей, толпилось все спекулянтское племя. Так как только что пришло известие, что поражение патриотов — достоверный факт, то на всех лицах изображалось сладостнейшее довольство; можно сказать, улыбалась вся биржа. Под пушечный гром фонды поднялись на десять су. Стреляли же еще до

* Дело не удалось!

** где может быть лучше, чем в своей семье?

пяти часов. К шести часам попытка революционного выступления была окончательно подавлена. Следовательно, газеты уже сегодня могли сообщить по этому поводу столько поучительного, сколько считали нужным. «Constitutionnel» и «Débats», кажется, до некоторой степени верно поняли главные черты событий. Только окраска и масштаб неверны. Я лишь сейчас вернулся с места вчерашней битвы, где убедился, как трудно выяснить всю правду. Это место — одна из самых больших и самых многолюдных улиц Парижа, улица Сен-Мартен, начинающаяся от бульвара у ворот того же имени и кончающаяся лишь у Сены, близ моста Собора парижской богоматери. На обоих концах улицы говорили, что число сражавшихся там «патриотов», или, как их сегодня называют, «мятежников», простиралось от пятисот до тысячи; но ближе к середине улицы число это становилось все меньше и, наконец, растаяло до пятидесяти. «Что есть истина?» — вопрошает Понтий Пилат.

Число линейных войск легче определить. Вчера (даже по указанию «Journal des Débats») в Париже в боевой готовности находилось сорок тысяч человек. Если прибавить к этому, по крайней мере, двадцать тысяч национальных гвардейцев, то окажется, что горсть людей сражалась против шестидесяти тысяч человек. Геройскую отвагу этих безумных смельчаков прославляют единогласно. Говорят, они творили чудеса храбрости. Они непрестанно кричали: «Vive la République!» и не находили отклика в груди народа. Если бы вместо этого они кричали: «Vive Napoléon!»*, то, как утверждают сегодня всюду в народе, линейные полки вряд ли стали бы в них стрелять, и вся масса рабочих пришла бы им на помощь. Но они отвергли ложь. Это были самые чистые, но отнюдь не самые умные поборники свободы. И все-таки уже сегодня у некоторых хватает глупости обвинять их в сообщничестве с карлистами! Нет, тот, кто с таким

* Да здравствует Наполеон!

мужеством умирает за святое заблуждение своего сердца, за прекрасную мечту об идеальном будущем, тот не связывается с подлой грязью, которую прошлое оставило нам под именем карлистов. Клянусь, я не республиканец, я знаю, что если победят республиканцы, они перережут мне горло — именно потому, что я поклоняюсь не всему тому, чему поклоняются они. И все же истинные слезы выступили у меня сегодня на глазах, когда я пришел на место, еще обгаренное их кровью. Я предпочел бы, чтобы я и все умеренные мои единомышленники умерли вместо этих республиканцев.

Национальные гвардейцы очень радуются своей победе. Вчера вечером, упоенные своей победой, они мне, принадлежащему все же к их партии, чуть было не всадили в тело весьма бесполезную пулю — они вообще с геройской отвагой стреляли во всякого, слишком близко подходившего к их постам. Был дождливый, беззвездный, отвратительный вечер. На улицах — мало света, потому что магазины были закрыты, так же как и днем. Сегодня снова всюду пестрое движение, и можно бы подумать, что ничего не произошло. Даже на улице Сен-Мартен открыты все магазины. Хотя сейчас там трудно ходить из-за развороченной мостовой и остатков баррикад, огромная толпа народу снует из любопытства по этой улице, очень длинной, сравнительно узкой, с неимоверно высокими домами по обеим сторонам. Канонада почти всюду выбила там оконные стекла, и всюду видны свежие следы ядер. Ибо с обеих сторон эту улицу обстреливали из пушек, пока республиканцы не оказались сжатыми в самой ее середине. Вчера мне говорили, что под конец их окружили со всех сторон в церкви Сен-Мери. Но я там же, на месте, слышал и опровержение. Дом, немного выступающий вперед; называемый «Кафе Леклерк» и находящийся на углу переулка Сен-Мери, был, повидимому, штабом республиканцев. Здесь они продержались дольше всего; здесь они оказали свое последнее сопротивление.

Они не просили пощады и почти все погибли от штыков. Здесь пали воспитанники Алфорской школы. Здесь лилась самая пламенная кровь Франции.

Однако заблуждаются те, кто думает, что республиканцы состояли из одних лишь юных пылких голов. Много стариков сражалось вместе с ними. Молодая женщина, с которой я разговаривал у церкви Сен-Мери, оплакивала смерть своего деда. Он вел такой мирный образ жизни, но когда увидел красное знамя и услышал возгласы: «Vive la République!», схватив свою старую пику, он кинулся к молодым людям и умер вместе с ними. Бедный старец! Он услышал зов родной Горы, и воспоминания первой любви к свободе пробудились в нем, и ему еще раз захотелось пережить грезу юности! Спите спокойно!

Последствия этой неудавшейся революции можно предвидеть. Арестовано больше тысячи человек, в том числе, как говорят, один депутат — Гарнье-Пажес. Либеральные газеты преследуются. Лавочники ликуют, эгоизм процветает, и многие из лучших людей должны надеть траур. Теория устрашения потребует еще больше жертв. Национальные гвардейцы уже пугаются своей собственной силы: героям этим делается страшно, когда они видят в зеркале самих себя. Король — великий, сильный, могучий Луи-Филипп — раздаст много почетных крестов. Наемный остряк будет поносить друзей свободы даже в их могилах, и уже теперь их называют врагами общественного спокойствия, убийцами и т. д.

Какой-то портной, осмелившийся сегодня утром на Вандомской площади упомянуть о добрых намерениях республиканцев, был прибит здоровенной бабой, очевидно, своей собственной женой. Вот — контрреволюция!

Париж, 8 июня.

Кажется, знамя, которое Лафайет на похоронах Ламарка увенчал имморталями, было не совсем красное,

а красно-черно-золотое. Это таинственное знамя, никому неизвестное, многие приняли за республиканское. О, мне оно очень хорошо было известно, я сразу подумал: «Боже мой! Да ведь это наши старые студенческие цвета, сегодня произойдет или несчастье, или глупость». Увы, случилось и то, и другое! Когда в самом начале военных действий драгуны напали также и на немцев, следовавших за знаменем, последние забаррикадировались во дворе столярной мастерской, за большими бревнами. Потом они отступили к зоологическому саду, и знамя, хотя и в поврежденном состоянии, было спасено. Французам, которые спрашивали меня о значении этого красно-черно-золотого знамени, я добросовестно ответил, что император Барбаросса, уже много столетий живущий в Кафхойзере, прислал нам это знамя в знак того, что великое древнее сказочное царство еще существует и что сам он придет со скипетром и мечом. Что до меня, то я не думаю, чтоб это случилось так скоро, — еще слишком много черных воронов летает вокруг горы.

Здесь, в Париже, обстоятельства складываются менее сказочно. Всюду на улицах — штыки и бдительные лица военных. Объявление Парижа на осадном положении я сперва считал холостым выстрелом; говорили, что оно сейчас же будет отменено. Но, увидев вчера днем, что по улице Ришелье везут все больше и больше пушек, я понял, что поражением республиканцев хотят воспользоваться для расправы с другими противниками правительства, в частности с журналистами. Теперь — вопрос в том, кроется ли за этой «доброй волей» достаточная сила. Теперь воспользовались ошеломленными своей победой национальными гвардейцами, которые принимали участие в насильственных действиях против республиканцев и которым Луи-Филипп теперь снова, как прежде, по-товарищески пожимает руки. Так как карлистов ненавидят, а республиканцев осуждают, то народ поддерживает короля как блюстителя порядка, и он популярен как

сама необходимость. Да, в то время как король проезжал верхом по бульварам, я слышал возгласы «Vive le roi!»*, но я видел также недалеко от Монмартрского предместья высокую фигуру, которая смело выступила ему навстречу и крикнула: «A bas Louis-Philippe!»** Несколько всадников из королевской свиты тотчас же спешилось, они схватили этого протестанта и потащили его с собой.

Я никогда не испытывал в Париже такой духоты, как вчера. Несмотря на дурную погоду, общественные места были переполнены публикой. В саду Пале-Рояля теснились группы политиков и разговаривали тихо, даже очень тихо, так как теперь вас могут в один миг предать военному суду и расстрелять в двадцать четыре часа. Я начинаю тосковать по медлительности судов моей Германии. То беззаконие, в котором мы теперь живем, отвратительно. Это — бедствие, худшее, чем холера. Как прежде, когда она свирепствовала и всех пугали преувеличенные сведения о числе умерших, так и теперь пугаешься, слыша про невероятное множество арестов, про тайные расстрелы, внимая всяким черным вестям, которые тысячами носятся во мраке, как, например, было вчера вечером. Сегодня, при дневном свете, мы чувствуем себя спокойнее. Мы сознаемся, что трусили вчера, и чувствуем не столько страх, сколько досаду. Теперь царит террор *juste milieu*.

Газеты умеренны в своем протесте, однако, отнюдь не робеют. «National» и «Temps» говорят с бесстрашием, достойным свободных людей. Сверх того, что напечатано в сегодняшних газетах, я больше ничего не могу сообщить о последних событиях. Все спокойны и спокойно ждут, что будет дальше. Правительство, пожалуй, испугано той огромной властью, которую оно видит в собственных руках. Оно стало выше закона — опасное положение. Ибо верно говорят: «Qui

* Да здравствует король!

** Долой Луи-Филиппа!

est au dessus de la loi est hors de la loi *. Единственное, чем многие истинные друзья свободы оправдывают теперешние насильственные мероприятия, — это необходимость для *royauté démocratique*** окрепнуть изнутри, чтобы с большей силой действовать во внешних делах.

Париж, 10 июня.

Вчера Париж был совсем спокоен. Слухи о многочисленных расстрелах, которые еще третьего дня вечером распространяли люди, наиболее заслуживающие доверия, были самым успокоительным образом опровергнуты теми, кто ближе всего стоит к правительству. Признали только большое число арестов. Впрочем, в этом можно было убедиться и собственными глазами; вчера, а еще более третьего дня, всюду можно было видеть арестованных, сопровождаемых линейными солдатами или муниципальной стражей. Временами это напоминало процессии: старые и молодые люди в самых жалких одеждах, а за ними — плачущие родственники. Ведь говорили же, что все они тотчас будут преданы военному суду и в течение двадцати четырех часов расстреляны в Венсенне. Всюду перед домами, где происходили обыски, толпился народ. Происходили же они главным образом на тех улицах, которые стали ареной сражения и где многие из бойцов, отчаявшись в успехе своего дела, скрывались до тех пор, пока их не выслеживал какой-нибудь предатель. Глазеющего и болтающего люда больше всего толпилось вдоль набережных, особенно близ улицы Сен-Мартен, которая все еще полна зевак, и около Palais de justice ***, куда отводили многих арестованных. Народ теснился также около морга, чтобы посмотреть на выставленные там трупы; были мучительнейшие сцены узнавания. Город, действительно, являл горестное зрелище.

* Кто выше закона, тот вне закона

** демократический монархии

*** Дворца правосудия (здания судебных установлений)

Всюду толпы народа с омраченными горем лицами, патрули, похороны павших национальных гвардейцев.

В обществе, однако, с третьего дня нимадо не печалится. Там знают своих и знают также, что *juste milieu* при всей своей нынешней полноте власти чувствует себя очень неприятно. Оно владеет теперь великим мечом правосудия, но ему нехватает нужной для него сильной руки. При малейшем взмахе оно боится себя поранить. Опьяненное победой, которой главным образом обязано было маршалу Сульту, оно дало склонить себя к военным мероприятиям, которые, повидимому, предложил этот старый солдат, полный еще замашек времен Империи. Теперь этот человек также фактически стоит во главе совета министров, и его коллеги и прочие сторонники *juste milieu* опасаются, как бы ему не досталось и столь возделенное председательствование в совете. Поэтому стараются тихонько поворотить назад и выбраться из героического положения. Эту же цель преследуют и краткие дополнительные разъяснения, которые рассылаются теперь вслед за ордоннансом об объявлении осадного положения. Видно, как *juste milieu* само страшится своей власти, и от страха судорожно сжимает ее в руках и, пожалуй, выпустит ее не раньше, чем ему пообещают прощение. От отчаяния оно, быть может, принесет несколько незначительных жертв. Быть может, оно притворится до смешного сердитым, чтобы напугать своих врагов, оно наделает жутких глупостей, оно... невозможно предвидеть, на что только не способен страх, когда он забаррикадировался в сердцах правителей и видит, что со всех сторон его окружают насмешки и смерть. Поступки труса, так же как и поступки гения, нельзя предвосхитить. Между тем высшие круги чувствуют здесь, что незаконное положение, в которое их ставят, существует только формально. Там, где законы живут в сознании народа, правительство не может упразднить их внезапным ордоннансом. De facto * жизнь и имущество здесь

* Фактически

больше обеспечены, чем где бы то ни было в Европе, за исключением Англии и Голландии. Хотя учреждены военные суды, фактическая свобода прессы здесь больше, журналисты же о мероприятиях правительства пишут попрежнему с гораздо большей свободой, чем в некоторых государствах материка, где свобода печати санкционирована бумажными законами.

Так как нынче, в воскресенье, почта отходит уже в полдень, я ничего не могу сообщить о сегодняшних событиях. Я должен просто сослаться на газеты. Их тон много существеннее, чем то, что они говорят. Впрочем, они, наверно, опять полны лжи.

С раннего утра, не переставая, бьют барабаны. Сегодня большой смотр. Мой слуга говорит, что бульвары, вообще все пространство от *Barrière du Trône** до самой *Barrière de l'Etoile*** покрыто линейными войсками и национальной гвардией. Луи-Филипп, отец отечества, победитель Катилины в день 5 июня, Цицерон на коне, враг гильотины и бумажных денег, спаситель жизней и лавок, король-буржуа, — через несколько часов явится своему народу; громкое «ура!» будет его приветствовать; он будет очень растроган; он многим будет жать руки, а полиция не преминет позаботиться, чтобы не было недостатка в особых мерах предосторожности и в экстра-энтузиазме.

Париж, 11 июня.

Великолепная погода благоприятствовала вчерашнему смотру. На бульварах от *Barrière du Trône* до *Barrière de l'Etoile* стояло, пожалуй, пятьдесят тысяч национальных гвардейцев и линейного войска, и бесчисленное множество зрителей находилось на улицах или же глядело из окон, с любопытством высматривая, какой вид будет у короля и как примет его народ после столь исключительных событий. В час дня его величество

* Заставы Трона

** Заставы Звезды

прибыло со своим генеральным штабом к воротам Сен-Дени, где я стоял на опрокинутой колонне, чтобы иметь возможность все наблюдать. Король ехал не посередине, а с правой стороны, где стояли национальные гвардейцы, и всю дорогу он сидел на лошади, свесившись на один бок, чтобы непрестанно пожимать руки национальным гвардейцам; когда два часа спустя он возвращался той же дорогой, он ехал с левой стороны, продолжая тот же маневр, так что я не удивлюсь, если в результате этой искривленной позы он будет испытывать сегодня сильнейшие боли в груди или если он даже вывихнул себе ребро. Это исключительное терпение короля было прямо непостижимо. При этом он все время должен был улыбаться. Но под тучной приветливостью его лица, кажется мне, таилось много забот и горя. Вид этого человека внушил мне глубокое сострадание. Он очень изменился с тех пор, как я видел его этой зимой на балу в Тюильри. Мясо его щек, красное и пухлое тогда, вчера было обвислое и желтое, его черные бакенбарды совершенно поседели, так что кажется, будто самые щеки его стали с тех пор бояться и настоящих и будущих ударов судьбы. Об его печали свидетельствовало по крайней мере уже то, что он не подумал покрасить свои бакенбарды. К тому же и треугольная шляпа, низко надвинутая на лоб, придавала ему очень несчастный вид. Он словно молил глазами о благосклонности и прощении. Право, по виду этого человека нельзя было предположить, что он объявил нас всех в осадном положении. Поэтому он и не возбуждал против себя ни малейшего недовольствия, и я должен засвидетельствовать, что всюду его встречали громкие приветственные возгласы, особенно неистовое ура кричали вслед ему те, кому он пожимал руку, а из тысячи женских глоток неслось пронзительное «Vive le roi!». Я видел, как старая женщина толкала своего мужа в бок за то, что он недостаточно громко кричит. Горькое чувство овладело мной при мысли, что народ, который ликовал теперь

вокруг бедного пожимающего руки Луи-Филиппа, — те же самые французы, которые так часто видели проезжавшего на коне Наполеона Бонапарта с мраморным лицом Цезаря, неподвижными глазами и «недоступными» руками.

После того как Луи-Филипп окончил смотр войскам или, вернее, ощупал их, чтобы убедиться, что они в самом деле существуют, военный шум продолжался еще несколько часов. Различные корпуса, проходя один перед другим, непрестанно возглашали друг другу приветствия: «Vive la ligne!»* кричала национальная гвардия, а пехота в свою очередь кричала ей: «Vive la garde nationale!»**. Они братались. Отдельных линейных солдат и национальных гвардейцев можно было видеть в символическом объятии; точно так же, в виде символического акта делились они своими колбасами, своим хлебом и вином. Не произошло ни малейшего беспорядка.

Не могу не отметить, что чаще всего раздавался возглас «Vive la liberté»! и когда эти слова ликующе выкрикивались от полноты сердца столькими тысячами вооруженных людей, ощущалось радостное спокойствие несмотря на осадное положение и учреждение военных судов. Но ведь в том-то и дело: Луи-Филипп добровольно никогда не пойдет против общественного мнения, он всегда будет стараться подслушать его настоятельнейшие требования и будет соответственно поступать. В этом — важное значение вчерашнего смотра. Луи-Филипп ощутил потребность посмотреть на собранный вместе народ, дабы убедиться, что он не сердится на него за его пушечные выстрелы и ордоннансы, не считает его суровым королем-деспотом и что вообще не произошло никакого недоразумения. Народ же тоже хотел хорошенько посмотреть на своего Луи-Филиппа, чтобы убедиться, что он попрежнему верноподданный

* Да здравствует линейное войско!

** Да здравствует национальная гвардия!

слуга его державной воли и что он остался попрежнему верен и покорен ему. Поэтому также можно было сказать, что народ устроил смотр королю, принял королевский парад и выразил свое высочайшее удовольствие от королевских маневров.

Париж, 12 июня.

Большой смотр войскам был вчера предметом всех разговоров. Умеренные видели в нем лучшее выражение согласия между королем и гражданами. Однако многие опытные люди не доверяют этому прекрасному союзу и предсказывают разрыв, который легко может случиться, как только интересы трона придут в столкновение с интересами лавки. Сейчас, впрочем, они взаимно поддерживают друг друга, и король, и буржуа друг другом довольны. Как мне рассказывали, на Вандомской площади третьего дня пополудни можно было лучше всего наблюдать это согласие. Король был обрадован ликованием, которым его встречали на бульварах; и когда колонны национальной гвардии дефилировали мимо него, некоторые гвардейцы, не чинясь, выходили из рядов, протягивали ему руку, говорили при этом ласковое слово, или коротко сообщали ему свое мнение о последних событиях, или же прямо объявляли ему, что они будут поддерживать его, пока он не станет злоупотреблять своей властью. В том, что этого никогда не случится, что он будет усмирять лишь зачинщиков волнений, что он тем ревностнее готов защищать свободу и равенство французов, — Луи-Филипп дал священнейшую клятву, и слово его возбуждало большое доверие. В интересах беспристрастия я должен упомянуть об этих обстоятельствах. Да, сознаюсь, мое недоверчивое сердце было несколько успокоено.

Оппозиционные газеты, повидимому, пытаются игнорировать события, имевшие место третьего дня. Вообще тон их весьма примечателен. Это — своего рода затишье, которое обычно предшествует страшным взры-

вам. Газеты как будто хотят только выждать отмены ордоннанса об осадном положении. Тон каждой газеты обнаруживает, в какой мере она скомпрометирована в последних событиях. «Tribune» должна совершенно молчать, так как она замешана больше всех. «National» замешан тоже, но не в такой сильной степени, и поэтому он уже смеет говорить и больше, и свободнее. «Temps», который сильнее и смелее всех восстал против ордоннанса об осадном положении, вовсе не в плохих отношениях с некоторыми вождями *juste milieu* и более защищен, чем Саррю и Каррель. Но это соображение не помешает нам воздать хвалу господину Косту, как одному из лучших граждан Франции, за те мужественные великие слова, с которыми он в самое опасное время выступил против беззаконий и произвола правительства.

Господин Саррю арестован; господина Карреля ищут повсюду. Более всего восстановлены против Карреля. Все ведь думали, что господин Каррель стоял во главе народного движения 5 июня. Большое здание на улице Круассо, где находится типография и контора «National», считали штаб-квартирой, и около двух тысяч человек, среди которых было немало весьма значительных имен, приходили туда предлагать свое содействие и содействие своих приверженцев. Но, как достоверно известно, Каррель отклонял все подобные предложения и предсказывал, что замышляемая революция не удастся, ибо ее недостаточно подготовили, ибо не обеспечили себе сочувствия народа, ибо нет необходимых средств, ибо неизвестны действующие лица и т. д. И действительно, никогда еще не было возмущения, столь скверно подготовленного, и до сего часа еще неизвестно, как оно возникло и как оно протекало. Один из тех, что сражались на улице Сен-Мартен, уверяет, что когда республиканцы, которые там заперлись, смотрели друг на друга, то оказывалось, что ни один из них не знает другого, и лишь случай свел вместе всех этих людей, друг другу

совершенно чуждых. Впрочем, они скоро узнали друг друга, сражаясь вместе, и большею частью умерли, как истинные братья по оружию. Точно так же до сих пор не удалось выяснить, что собственно случилось, когда Лафайет ехал домой. Хорошо осведомленное лицо уверяло меня вчера, что правительство, относившееся с подозрением к похоронам Ламарка и поэтому державшее наготове своих драгун, отдало приказ полиции — в случае возможных беспорядков прежде всего захватить Лафайета, чтобы он не попал в руки бунтовщиков и не мог поддержать их авторитетом своего имени. И вот, когда раздались первые выстрелы, несколько полицейских агентов, переодетых рабочими, насильно посадили бедного Лафайета в экипаж, а другие — тоже переодетые полицейские агенты — впряглись в него и при громких криках «Vive Lafayette!» *, с триумфом потащили его.

Послушать теперь республиканцев, — так они сознаются, что им сильно повредило несчастье их друзей 6 июня, но что на следующий же день глупый промах их врагов, именно — ордоннанс об осадном положении в Париже, принес им тем большую пользу. Они утверждают, что на 5 и 6 июня следует смотреть лишь как на стычку аванпостов, что никто из именитых республиканцев не был при этом и что из пролитой крови для них вырастет много новых соратников. То, о чем я упоминал выше, до некоторой степени, кажется, подкрепляет это мнение. Партия, представителем которой является «National» и членов которой коварная «Gazette de France» называет доктринерами-республиканцами, не принимала участия в этих событиях, и главари партии «Трибуны» — монтаньяры — также ничем себя в них не проявили.

Париж, 17 июня.

Когда теперь вдали отсюда обсуждаются последние события, не отмененный еще *état de siège* и резкий

* Да здравствует Лафайет!

антагонизм партий, вероятно, возникают самые странные представления о здешних делах. И все же мы сейчас видим здесь так мало перемен, что более всего должны удивляться именно этому отсутствию необычных явлений. Это наблюдение — самое главное из того, что я имею сообщить, и это отрицательное содержание моего письма, наверно, послужит поправкой ко многим ошибочным представлениям.

Здесь совершенно тихо. Военные суды с суровым видом ведут следствие. До сих пор не расстреляли еще ни одной кошки. Над осадным положением, над храбростью национальной гвардии, над мудростью правительства смеются, шутят, острят. То, что я сразу же предсказал, оправдалось: *juste milieu* само не знает, как ему выпутаться из героического положения, и осажденные со злорадством наблюдают это отчаянное положение осаждающих. Последние очень хотели бы как можно более походить на варваров, они роются в архивах самых варварских времен, чтобы воскресить самые страшные законы, но им только удастся выставить себя на посмешище.

Разряженные группы людей, которые гуляют в садах Пале-Рояль, Тюильри и Люксембурга, вдыхают тихую летнюю прохладу, или смотрят на идиллические игры маленьких детей, или же как-нибудь иначе развлекаются среди окружающего спокойствия, представляют, сами того не зная, забавнейшую сатиру на существующее, согласно закону, осадное положение. Чтобы публика хоть немного уверовала в него, всюду с величайшей серьезностью производятся обыски, тревожат больных и роются в их постелях, чтобы расследовать, не спрятаны ли там какое-нибудь завалящее ружье или, чего доброго, пакеты с порохом. Более всего беспокойства терпят бедные иностранцы, которые, из-за осадного положения, должны являться в префектуру для получения новых видов на жительство. Им приходится подвергаться там *pro forma**

* для формы, для вида

всякого рода допросам. Многие французы из провинции, особенно студенты, должны давать полиции подписку в том, что во время своего пребывания в Париже они ничего не будут предпринимать против правительства Луи-Филиппа. Многие предпочли оставить город, чем давать такую подписку. Другие же подписали только после того, как им позволили прибавить, что они по своим убеждениям республиканцы. Эту полицейскую меру предосторожности доктринеры ввели наверно по примеру немецких университетов.

Аресты все еще продолжают, порой арестуют самых разнородных людей и по самым разнородным поводам: одних — за участие в республиканском восстании, других — по причине только что раскрытого бонапартистского заговора. Вчера арестовали даже трех карлистских пэров, в том числе дон Шатобриана, рыцаря печального образа, самого лучшего писателя и самого большого дурака во Франции. Тюрьмы переполнены. В одной лишь тюрьме Сент-Пелажи сидит по политическим делам свыше 600 заключенных. От одного из моих друзей, сидящего там за долги и пишущего большой труд, в котором доказывается, что Сент-Пелажи основана пелазгами, я получил вчера письмо, где он очень жалуется на шум, окружающий его теперь и мешающий ему в его ученых исследованиях. Величайший задор царит сейчас среди узников Сент-Пелажи. На стене двора они нарисовали огромную грушу, а над нею топор.

Упомянув о груше, я не могу не отметить, что магазины эстампов совершенно не считаются с нашим осадным положением. Грушу, и опять-таки грушу, — вот что мы видим там на всех карикатурах. Всего более заметна среди них, конечно, та, на которой изображена площадь Согласия с монументом, посвященным хартии; на этом монументе, имеющем вид алтаря; лежит громадная груша с чертами лица короля. Душе немца это под конец становится несносно и противно. Эти вечные насмешки, печатные и гравированные,

вызывают во мне скорее известную симпатию к Луи-Филиппу. Его, право, жаль, — теперь более чем когда либо. Он добр и кроток от природы, а военные суды, вероятно, принудят его быть строгим. При этом он чувствует, что казни и не помогают, и не устрашают, особенно после того как холера несколько недель тому назад казнила свыше 35 000 человек, предварительно подвергнув их ужаснейшим пыткам. Но жестокости скорее простятся властителям, чем то оскорбление исконного правосознания, каким является обратное действие объявленного осадного положения. Вот почему угроза военно-судебных строгостей внушила республиканцам такой надменный тон и почему противники их кажутся теперь такими маленькими.

Париж, 7 июля.

Здесь замечается в настоящий момент упадок, какой обычно наступает после сильного возбуждения. Всюду серое недовольство, тоска, усталость, разинутые рты, то зевающие, то бессильно скалящие зубы. Решение кассационного суда положило почти комический конец нашему своеобразному осадному положению. По поводу этой непредвиденной катастрофы столько смеялись, что почти простили правительству неудавшийся ему *coup d'Etat**. Как мы потешались, читая на углах улиц прокламацию господина Монталиве, в которой он словно благодарил парижан за то, что они обращали так мало внимания на *état de siège* и все это время отнюдь не переставали развлекаться! Я не думаю, чтобы сам Бомарше мог лучше написать этот документ. Поистине, нынешнее правительство очень заботится об увеселении народа!

В то же время французы забавлялись странной игрой — головоломкой. Это, как известно, китайское времяпрепровождение, и задача состоит в том, чтобы из нескольких кривых и угловатых кусочков дерева соста-

* государственный переворот

вить определенную фигуру. И вот в здешних салонах принялись составлять по правилам этой игры новое министерство, и невозможно вообразить себе, что за кривые и угловатые персонажи оказывались рядом друг с другом, и тем не менее все эти деревянные комбинации не могли составить целой порядочной фигуры.

О сомнительных шансах министерской кандидатуры Дюпена газеты болтали много странного, но не всегда без основания. Правда, что он немного резко обошелся с королем, и однажды оба они расстались с обоюдным неудовольствием. Правда и то, что поводом был лорд Гранвиль. Дело же обстояло следующим образом: господин Дюпен раньше дал слово королю Луи-Филиппу, что, как только король этого потребует, он возьмет на себя пост председателя совета министров. Лорд Гранвиль, которому неприятно видеть во главе правительства столь буржуазного человека и который, следуя духу своей касты, хочет более знатного премьер-министра, говорят, высказал Луи-Филиппу кое-какие серьезные сомнения насчет способностей господина Дюпена. Когда король пересказал эти слова господину Дюпену, тот так рассердился, наговорил таких неприличных вещей, что между ним и королем произошел разрыв. Множество мелких интриг перекрещивается с этим происшествием. Однако дальнейший ход вещей разрешит много недоразумений. Как только в палате снова начнутся прения, Дюпен окажется единственным приемлемым министром *juste milieu*. Только он в состоянии оказывать в парламенте сопротивление оппозиции, а правительству, право же, придется во многом отчитываться перед палатой.

До сих пор Луи-Филипп все еще — сам свой первый министр. Это явствует уже из того, что все правительственные распоряжения приписываются именно ему, а не господину Монталиве, о котором почти даже не говорят и которого даже не ненавидят. Примечательна перемена, которая, повидимому, произошла во взгля-

дах короля после восстания 5 и 6 июня. Он теперь считает себя совсем уже сильным; он думает, что может вполне рассчитывать на большинство нации; он думает, что он — необходимый человек, к которому, в случае враждебных действий извне, примкнет безусловно вся нация, и поэтому он, повидимому, уже не так сильно опасается войны, как прежде. Патриотическая партия представляет, правда, меньшинство, и оно ему не доверяет. Оно с полным основанием опасается, что к чужеземцам он настроен менее враждебно, чем к туземцам. Первые угрожают лишь его короне, а последние — жизни. Король знает, что это, действительно, так. И в самом деле, если принять во внимание, что Луи-Филипп в глубине души убежден в кровожадной злобе своих противников, то нужно удивляться его умеренности. Правда, объявив *état de siège*, он дал повод обвинить себя в безответственном беззаконии, но все же нельзя сказать, чтобы он недостойно злоупотреблял своей властью. Напротив, он великодушно пощадил тех, кто оскорблял его лично, а усмирить, вернее обезоружить, старался только тех, кто враждовал и боролся с его правительством. Несмотря на все неудовольствие, какое может возбуждать король Луи-Филипп, у меня все же невольно складывается убеждение, что как человек Луи-Филипп необычайно благороден и великодушен. Его главная страсть — это, повидимому, страсть к постройкам. Я был вчера в Тюильри. Там повсюду идут постройки — и на земле, и под землей. Ломают стены комнат, роют большие погреба, и непрестанно стоит стук и треск. Король, живущий со своей семьей в Сен-Клу, ежедневно приезжает в Париж и прежде всего смотрит, насколько подвинулись постройки в Тюильри. Дворец стоит сейчас почти совсем пустой; там собирается лишь совет министров. О, если бы, как в детских сказках, все капли пролитой там крови могли заговорить, там пришлось бы выслушать не один добрый совет, ибо в каждой комнате этого трагического дома лилась поучительная кровь.

Париж, 15 июля.

Четырнадцатое июля прошло спокойно, и нигде не было никаких проявлений возмущенного полицией восстания. Но это был такой жаркий день, такая гнетущая духота нависла над всем Парижем, что подобное предсказание даже не могло привлечь достаточного числа любопытных на привычные места мятежных сборищ. Лишь на великой площади, где совершилось открытие революции, где в этот день была некогда разрушена Бастилия, было много народу; люди спокойно выжидали в жгучем полуденном зное и как будто из патриотизма жарились на июльском солнце. Раньше говорили, что 14 июля на этой площади будут всенародно венчать лаврами стариков — участников штурма Бастилии, оставшихся еще в живых и получающих теперь пенсию. Лафайету в этом торжестве предназначалась главная роль. Но, очевидно, события 5 и 6 июня не дали осуществиться этому проекту; да и Лафайет в этом году, повидимому, не стремится к новым триумфам. Быть может, среди народа на площади Бастилии было больше полиции, чем людей, ибо самые злые замечания высказывались так громко, как обычно позволяют себе высказываться лишь переодетые сыщики. Говорилось, что Луи-Филипп — предатель, национальные гвардейцы — предатели, депутаты — предатели и честно одно лишь июльское солнце. И действительно, оно делало свое дело и так палило нас своими лучами, что становилось почти немыготу. Что касается меня, то я на этой страшной жаре подумал, что Бастилия, вероятно, была очень прохладным зданием и, наверно, бросала летом весьма приятную тень. Когда ее разрушали, в ней сидело всего пять человек заключенных. А теперь имеется десять государственных тюрем и в одной лишь Сент-Пелажи сидит больше шестисот государственных арестантов. Сент-Пелажи, говорят, очень нездоровое и тесное здание. Но там весело. Республиканцы и карлисты, правда, держатся в стороне друг от друга, но все же не перестают перебрасываться остротами,

и смеются, и ликуют. Республиканцы носят красные якобинские колпаки; карлисты носят зеленые шапки с белой кистью в виде лилии. Одни все время кричат: «Vive la République!». Другие кричат: «Vive le roi!». Всеобщие возгласы одобрения раздаются всякий раз, когда кто-нибудь с дикой яростью выругает Луи-Филиппа. Это делается тем свободнее, что заключенный в Сент-Пелажи не может уже быть ни арестован, ни посажен в тюрьму. Большинство горячих голов, которые вообще по всякому поводу затевают шум, сидят там теперь в сохранности, и поэтому полиции с тех пор не удалось вызвать сколько-нибудь выгодной для нее попытки возмущения. Республиканцы пока что будут очень остерегаться насилия. Да у них нет и оружия: разоружение было произведено очень основательно.

Сегодня день тезоименитства молодого Генриха, и ожидаются какие-нибудь карлистские эксцессы. Трипичники и переодетые священники распространяли вчера прокламацию в пользу Генриха V. В ней сказано, что он сделает Францию счастливой и защитит ее от нашествия иноземцев. В будущем году он достигнет совершеннолетия, ибо французские короли уже в 13 лет достигают совершеннолетия и своего высшего развития. На этой прокламации юный Генрих впервые изображен со скипетром и в короне; до сих пор мы видели его всегда в одеянии паломника или шотландского горца, взбирающегося по скалам или сующего свой кошелек в руку несчастной нищей и т. д. Однако такие пустяки не могут повлечь за собою ничего опасного. Карлисты и сами очень упали духом. Безумная отвaga герцогини Беррийской очень повредила им. Вожди парижских карлистов тщетно посылали к герцогине господина Беррье, чтобы уговорить ее вернуться в Голируд. Тщетно пытался Луи-Филипп достигнуть того же через своих агентов. Тщетно иностранные посланники заклинали ее именем бога оставить в настоящее время свою попытку. Все доводы разума, все угрозы и мольбы не могли побудить эту упрямую женщину

уехать обратно. Она все еще в Вандее. Хотя и лишенная всяких средств и нигде больше не находя поддержки, она не хочет уступить. Ключ загадки таков: глупые или умные священники распалили ее фанатизм и внушили ей, что благодать сойдет на ее ребенка, если она умрет за его дело. И вот она ищет смерти с религиозной жаждой мученичества и восторженной материнской любовью.

Если здесь в публичных местах незаметно никаких брожений, то тем больше беспокойства замечается в обществе. Немецкие дела, решения сейма — вот что главным образом взволновало все умы. И о Германии высказываются самые нелепые суждения. Французы в легкомысленном заблуждении полагают, будто свободу губят монархи, и не понимают, что требовалось только положить конец анархии в среде немецких либералов и что вообще имеется в виду лишь единство и благо немецкого народа. Уже 2 июня «Temps» напечатал содержание шести пунктов постановления сейма. Еще и раньше один известный пиетист таскал здесь в кармане выдержки из этого постановления и, оглашая их, утешил многие сердца.

Луи-Филипп все еще того мнения, что он силен. «Смотрите, какие мы сильные!» — вот припев всякой речи в Тюильри. Как больной все время говорит о здоровье и не может нахвалиться тем, что он хорошо переваривает пищу, что он без судорог может стоять на ногах, что он совсем свободно дышит и т. п., так и эти люди непрестанно говорят о той силе и той твердости, которую они уже проявили при разных грозных обстоятельствах и могут проявить еще и впредь. И каждый день во дворец приходят дипломаты, и щупают у них пульс, и заставляют показывать язык, внимательно рассматривают мочу, и посылают потом своим дворам бюллетень политического здоровья. Иностранные послы тоже ведь не перестают задавать вопрос: «Силен или слаб Луи-Филипп?» В первом случае их повелители могут у себя дома спокойно решаться на любую меру

и проводить ее; в противном случае (т. е. если бы пришлось опасаться падения французского правительства и возникновения войны) им нельзя было бы вводить у себя дома никаких строгостей. Большой вопрос — силен или слаб Луи-Филипп — трудно разрешить. Но легко понять, что сами французы в настоящее время отнюдь не слабы. В сердцах народов они нашли себе новых союзников, тогда как их противники стоят сейчас вовсе не на вершине популярности. Соратники их — незримые полчища духов, да и их собственные зримые армии — в самом цветущем состоянии. Французская молодежь так же воинственна и так же воодушевлена, как в 1792 г. С веселой музыкой проходят по городу молодые рекруты и несут на шляпах развевающиеся ленты, цветы и номер, который они вытянули и который для них — словно первый выигрыш. И при этом поются песни о свободе, и барабаны выбивают марши 90-го года.

ИЗ НОРМАНДИИ

Гавр, 1 августа.

Силен или слаб Луи-Филипп — это, повидимому, в самом деле главный вопрос, в решении которого заинтересованы и народы, и их правители. Вот почему я постоянно имел его в виду во время моей поездки по северным провинциям Франции. Однако относительно настроения общества я узнал столько противоречивого, что не могу сообщить по этому поводу ничего более основательного, чем те, кто черпает свою мудрость в Тюильри или скорее в Сен-Клу. Северные французы, в частности хитрые нормандцы, вообще не так склонны откровенничать, как люди страны Ок. Или одно уже то служит знаком неудовольствия, что часть граждан края «Oui»*, которая заботится лишь об интересах страны,

* Да

чаще всего хранит важное молчание, если начнешь расспрашивать ее об этом. Только молодежь, живущая идейными интересами, открыто выражает свое мнение о неизбежном, как ей кажется, приближении республики, да еще карлисты, преданные личным интересам, всеми возможными способами проявляют свою ненависть к теперешним правителям, которых они рисуют сгущенными красками и падение которых они предсказывают вполне уверенно, чуть ли не назначая его день и час. Карлисты в этой местности довольно многочисленны. Это объясняется тем, что здесь еще оказывает влияние особая заинтересованность, а именно — симпатия к отдельным членам павшей династии, которые обычно проводили лето в этой местности и сумели кое-где заслужить любовь. Это в особенности удалось герцогине Беррийской. Вот почему ее приключения — злободневный предмет разговоров в этой провинции, а священники католической церкви изобретают к тому же благочестивейшие легенды в честь политической Мадонны и благословенного плода ее плоти. В прежние времена священники были вовсе не так уж довольны церковным рвением герцогини, и расположение народа она завоевала именно тем, что возбуждала неудовольствие духовенства. «Милая маленькая женщина совсем не такая ханжа, как другие, — говорились тогда. — Смотрите, с каким светским кокетством она порхает в процессии и как равнодушно несет молитвенник в руке, и держит свечу так шаловливо низко, что воск капает на атласный шлейф ее невестки, ворчливо благочестивой герцогини Ангулемской!» Те времена прошли, румяная веселость поблекла на щеках бедной Каролины, она стала благочестивой, как и другие, и держит свечу с полной верой, как того требуют священники, и разжигает ею междоусобную войну, как того требуют священники.

Не могу не отметить, что влияние католических священников в этой провинции сильнее, чем думают в Париже. На похоронах можно видеть их, шествующих по улицам в церковных облачениях, с крестами и хоруг-

виями, и меланхолически поющих, — зрелище, почти удивительное для приезжего из столицы, где подобные шествия строго запрещены полицией или, вернее, народом. За все время, что я был в Париже, я ни разу не видел на улице священника в облачении; ни в одной из тех многих тысяч похоронных процессий, которые проходили мимо меня во время холеры, я не видел, чтобы церковь была представлена своими служителями или своими символами. Однако многие пытаются утверждать, что и в Париже религия снова потихоньку оживает. Это правда; по крайней мере, францужско-католическая община аббата Шателя растет с каждым днем; зал этой общины на улице Клиши стал уже слишком тесен для множества верующих, и с некоторых пор аббат совершает католическое богослужение в большом здании на бульваре Бонн-Нувель, где прежде господин Мартен показывал своих зверей и где теперь большими буквами написано: «Eglise catholique et apostolique» *.

Северные французы, которым нет дела ни до республики, ни до чудесного отрока, но которые желают лишь благополучия Франции, — отнюдь не слишком ревностные сторонники Луи-Филиппа и не восхваляют его чистосердечия и прямоты, но они проникнуты убеждением, что он — человек необходимый; что следует поддерживать его авторитет, поскольку этим поддерживается общественное спокойствие; что подавление всякого восстания благотворно для торговли, и, дабы не вызвать окончательной гибели торговли, необходимо избегать всякой новой революции, а также и войны. Последней боятся они только ради торговли, которая и сейчас уже в плачевном состоянии. Войны они боятся не из-за самой войны, ибо они — французы, следовательно, честолюбивы и воинственны по природе; к тому же они более крупного и крепкого телосложения, чем южные французы, и, пожалуй, превосходят их в тех областях,

* Католическая апостольская церковь

где требуется твердость и упрямая выносливость. Не объясняется ли это примесью германской крови? Они похожи на своих крупных, сильных лошадей, равно пригодных и для бодрой рыси, и для перевозки грузов и преодолевающих все трудности, связанные с ненастьем и дорогой. Эти люди не боятся ни австрийцев, ни русских, ни пруссаков, ни башкир. Они не являются ни приверженцами ни противниками Луи-Филиппа. Как только начнется война, они последуют за трехцветным знаменем — все равно, кто бы его ни нес.

Я, действительно, думаю, что, как только будет объявлена война, внутренние раздоры французов тем или иным способом, путем уступок или насилия, быстро уладятся, и Франция станет единой могучей державой, которая будет в состоянии бороться против всего света. Сила или слабость Луи-Филиппа тогда перестанет быть предметом споров. Тогда он будет силен или не будет ничем. Вопрос — силен он или слаб — имеет смысл только при мирном состоянии, и лишь с этой точки зрения он важен для иностранных держав. От многих я получал ответ: «*Le parti du roi est très nombreux, mais il n'est pas fort*»*. Я думаю, эти слова дают немалую пищу для размышления. Прежде всего, в них заключается скорбное указание на то, что само правительство подчинено партии и всяким партийным интересам. Король уже не является здесь той величественной верховной властью, что с высоты трона спокойно взирает на борьбу партий и умеет держать их в спасительном равновесии; нет, он сам вышел на арену борьбы. Одилон Барро, Моген, Каррель, Пажес, Кавеньяк думают, пожалуй, что от них его отличает лишь случайность мгновенной власти. Вот печальное следствие того, что король сам принял на себя председательствование в совете. Теперь Луи-Филипп не может изменить существующую систему правления, если не хочет впасть в противоречие со своей партией и с самим собою.

* Партия короля многочисленна, но не сильна

Оттого и печать относится к нему как к главному вождю партии, порицает его самого за все ошибки правительства, приписывает всякое министерское слово его языку и в короле-буржуа видит лишь короля-министра. Когда статуи богов спускаются со своих высоких пьедесталов, тогда исчезает священное благоговение, которое мы питали к ним, и мы их судим по словам их и поступкам как равных нам.

Что касается указания, будто партия короля хотя многочисленна, но не сильна, то в нем нет ничего нового; это давно известная истина, но необходимо отметить, что и народ сделал это открытие, что он считает не головы, как обычно, но руки, и прекрасно отличает те, которые аплодируют, и те, которые хватаются за меч. Народ внимательно разглядел людей и очень хорошо знает, что партия короля состоит из трех классов: из куццов и собственников, которые опасаются за свои лавки и свое добро; из людей, утомленных борьбой, вообще желающих спокойствия, и робких сердец, опасющихся воцарения террора. Эта королевская партия, нагруженная собственностью, досадующая на всякое нарушение уюта, — это большинство противостоит меньшинству, которое тащит с собой лишь немного багажа, а к тому же свыше всякой меры жаждет тревог и в диком, необузданном круговороте своих мыслей смотрит на террор не иначе, как на своего союзника.

Несмотря на большое число голов, несмотря на триумф 6 июня народ сомневается в силе *juste milieu*. А ведь это всегда опасно, когда правительство в глазах народа не кажется сильным. Тогда всякого тянет испытать на нем свою силу. Демонически-темное влечение заставляет людей трясти его. В этом секрет революции.

Дьепш, 20 августа.

Нельзя себе представить, какое впечатление произвела среди низших слоев французского народа смерть молодого Наполеона. Уже сентиментальный бюллетень его постепенного угасания, который недель шесть тому

назад начала выпускать газета «Temps» и который отдельными выпусками продавался в Париже по одному су, вызывал там на всех перекрестках самое глубокое огорчение. Я видел даже, как плакали молодые республиканцы; старые, однако, не казались особенно тронутыми, и от одного из них я с удивлением услышал сердитое замечание: «Ne pleurez pas, c'était le fils de l'homme qui a fait mitrailler le peuple le 13 Vendémiaire»*. Странно, когда с кем-нибудь случается несчастье, мы невольно вспоминаем какую-либо старую обиду, которую он нанес нам и о которой мы, быть может, не думали уже с незапамятных времен. Совершенно безусловное почитание император вызывает в деревнях; там в каждой хижине висит портрет «Человека», и притом, как замечает «Quotidienne» **, на той самой стене, где висел бы портрет хозяйского сына, если бы этот человек не принес его в жертву на одном из сотни полей своих сражений. Злость вызывает у «Quotidienne» иногда самые честные замечания, и на это злится более тонкая иезуитская «Gazette»; в этом их главное политическое различие.

Я объехал большую часть северофранцузского побережья в то время, как весть о смерти молодого Наполеона распространялась там. Поэтому, куда бы я ни приезжал, я всюду встречал удивительную скорбь. Люди испытывали чистую печаль, которая коренилась не в корыстолюбии нынешнего дня, а в самых дорогих воспоминаниях славного прошлого. О ранней смерти сына героя особенно скорбели прекрасные нормандки.

Да, во всех хижинах висит портрет императора. Всюду видел я его, увенчанного траурными цветами, как статуи Спасителя на страстной неделе. Многие солдаты надели креп. Какой-то старик с деревянной

* Не плачьте, это был сын человека, который приказал стрелять в народ 13 вандемьера

** «Ежедневная»

ногой грустно протянул мне руку со словами: «*A présent tout est fini*»*.

Разумеется, для тех бонапартистов, которые верили в воскресение императорской плоти, все кончено. Наполеон для них теперь только имя, нечто вроде Александра Македонского, чей наследник тоже рано угас. Но для тех бонапартистов, которые верили в воскресение духа, теперь расцветают самые радужные надежды. Для них бонапартизм не есть передача власти по праву рождения и старшинства; нет, их бонапартизм теперь словно очищен от всякой животной примеси, он для них — идея единовластия высшей мощи, направленной на благо, и у кого есть такая сила и кто в этом направлении будет применять ее, того назовут они Наполеоном II. Как Цезарь дал свое имя открытому единовластию, так Наполеон даст свое имя новой цезарской власти, на которую только тот имеет право, кто обладает высшим дарованием и ставит себе самые благие цели.

В известном смысле Наполеон был сенсимонистским императором. Как сам он получил право на высшую власть в силу своего духовного превосходства, так он содействовал лишь господству дарований и ставил себе целью физическое и моральное благоденствие многочисленнейших и беднейших классов. Он господствовал не только во имя блага третьего сословия, среднего сословия, золотой середины, сколько во имя блага тех людей, все богатство которых — в их сердце и в их руках. И даже его армия была иерархией, где по ступеням почестей можно было подняться только в силу личных заслуг и способностей. Последний крестьянский сын совершенно так же, как и дворянин из древнейшего рода, мог достигнуть в ней высших чинов и приобрести золото и звезды. Поэтому-то в каждой крестьянской хижине и висит портрет императора на той самой стене, где висел бы портрет хозяйского сына, если бы он не пал в каком-нибудь сражении, не успев возвыситься до

* Теперь все кончено

генерала, а то и герцога или короля, как многие бедняки которые благодаря своей храбрости и талантам могли подняться столь высоко, пока еще правил император. В его портрете многие, быть может, чтут лишь померкшую надежду на собственное величие.

Чаще всего встречал я в крестьянских домах изображение императора, посещающего лазарет в Яффе или простертого на смертном одре на острове св. Елены. Оба изображения представляют разительное сходство с изображением святых христианской религии, ныне угасшей во Франции. На одной из картин Наполеон подобен спасителю, от прикосновения которого словно исцеляются больные чумой; на другой картине он умирает истинной смертью.

Мы, придерживающиеся другой символики, в мученической смерти Наполеона на святой Елене не видим искупления в указанном смысле; император расплатился за самый страшный свой проступок, за вероломство, которым он согрешил перед революцией, своей матерью. История давно показала, что брачный союз между сыном революции и дочерью прошлого никогда не мог иметь благих последствий, — и вот мы видим теперь, что единственный плод этого брака не долго прожил и плачевно угас.

Что касается наследства покойного, мнения сильно расходятся. Друзья Луи-Филиппа думают, что осиротевшие бонапартисты примкнут теперь к ним; но сомневаюсь, чтобы мужи войны и славы могли так быстро перейти в мирное *juste milieu*. Карлисты думают, что бонапартисты принесут теперь присягу единственному претенденту, Генриху V. Я, право, не знаю, чему больше удивляться в надеждах этих людей — их глупости или дерзости. Республиканцы, кажется, более всех способны привлечь к себе бонапартистов. Но если некогда легко было из самых нечесанных санкюлотов сделать самых блестящих приверженцев Империи, то трудно, должно быть, теперь совершить обратное превращение.

Сожалеют, что драгоценные реликвии, шпага императора, плащ Маренго, историческая треугольная шляпа

и т. п., которые, согласно с завещанием, составленным на святой Елене, перешли к молодому герцогу Рейхштадтскому, не достались Франции. Во Франции каждая партия могла бы прекрасно воспользоваться чем-нибудь из этого наследия. И, право, если бы мне пришлось распоряжаться этим, я все это разделил бы так: республиканцам я отдал бы шпагу императора, ибо они единственные, которые еще могли бы владеть ею; господам из *juste milieu* я дал бы плащ Маренго, — они и в самом деле нуждаются в таком плаще, чтобы прикрыть им свою бесславную наготу; карлистам дал бы шляпу императора, которая, правда, не очень идет к таким головам, но все же может пригодиться им, когда они снова будут разбиты наголову; я отдал бы им даже и сапоги императора, которыми они тоже смогут воспользоваться, когда им вскоре снова придется удирать. Что же касается палки, с которой император ходил на прогулку под Иеной, то я сомневаюсь, чтоб она находилась среди вещей герцога Рейхштадтского, и думаю, что она все попрежнему в руках французов.

После разговоров о смерти молодого Наполеона больше всего я слышал толков о похождениях в этой провинции герцогини Беррийской. О приключениях этой женщины здесь ходят такие поэтические рассказы, что, — можно подумать, — внуки сочинителей фэблии выдумали их от нечего делать. Также очень много пищи для разговоров дала свадьба в Компьене; я мог бы сообщить целую энтомологическую коллекцию скверных острот, которые я слышал по этому поводу в одном карлистском замке. Например, один из ораторов на Компьенском торжестве будто бы заметил: в Компьене была взята в плен Орлеанская дева, а теперь случилось так, что в Компьене снова налагаются оковы на деву из Орлеанского дома.

Хотя во всех французских газетах весьма пышно сообщается, что стечение иностранцев здесь очень велико и что вообще сезон вод в Дьеппе в этом году очень блестящ, все же на месте я нашел совершенно

противоположное. Здесь, пожалуй, не будет и пятидесяти посетителей, все здесь грустно и уныло, и курорт, который так роскошно цвел когда-то благодаря герцогине Беррийской, каждое лето приезжавшей сюда, навеки погиб. Так как вследствие этого многие в городе впали в самую горькую нищету и считают падение Бурбонов источником своего несчастья, то понятно, что здесь можно встретить много ярых карлистов. Однако Дьепп был бы оклеветан, если бы мы предположили, что его население больше чем на четверть состоит из приверженцев прежней династии. Нигде национальная гвардия не проявляет больше патриотизма, все здесь собираются на учение при первом звуке барабана, все в полной форме, что свидетельствует об особом усердии. Торжество в честь Наполеона с поразительным энтузиазмом справили здесь на этих днях.

Луи-Филиппа здесь в общем не любят и не ненавидят. Сохранение его считают необходимым для счастья Франции; его правление не вызывает особого восторга. Вообще французы, благодаря свободной печати, так хорошо осведомлены об истинном положении вещей, политически они так образованы, что терпеливо переносят небольшое зло, лишь бы не стать жертвою большего зла. Против личного характера короля мало что могут возразить, — его считают человеком, достойным уважения.

Руан, 17 сентября.

Эти строки я пишу в бывшей резиденции герцогов Нормандских, в старинном городе, где еще столько каменных документов напоминает нам историю этого народа, столь знаменитого давними своими подвигами и приключениями и теперешней своей страстью к тяжбам и умением наживаться. Вот в этой крепости жил Роберт-Дьявол, положенный на музыку Мейербером; на этой рыночной площади сожжена была la Pucelle *, велико-

* Девственница

душная девушка, воспетая Шиллером и Вольтером; в том соборе лежит сердце Ричарда, храброго короля, который и сам был прозван Львиным-Сердцем, *Soeur de Lion*; на этой почве выросли победители при Гастингсе, сыновья Танкреда и столько других цветков нормандского рыцарства... Но до них всех нам сейчас нет никакого дела, мы здесь гораздо более заняты вопросом: пустила ли мирная система Луи-Филиппа корни в воинственной почве Нормандии? Хорошо или плохо лежать новой буржуазной монархии в древней героической колыбели английской и итальянской аристократии, в стране норманнов? На этот вопрос я, кажется, смогу сейчас ответить весьма коротко: крупные землевладельцы, большею частью дворяне, держатся карлистских взглядов, зажиточные ремесленники и земледельцы — филипписты, а низшие народные слои презирают и ненавидят Бурбонов, и меньшинству их дороги испанские воспоминания Республики, большинству же — блестящий героизм времен Империи. Карлисты, как всякая побежденная партия, — деятельнее, чем филипписты, чувствующие себя в безопасности, и к чести их надо сказать, что они приносят и крупные жертвы, т. е. жертвы денежные. Карлисты, которые никогда не сомневаются в том, что когда-нибудь они победят, и убеждены, что будущее тысячекратно воздаст им за все жертвы настоящего, отдают свой последний су, когда это кажется полезным для интересов их партии; вообще в природе этого класса не столько беречь свое собственное добро, сколько зариться на чужое имущество (*sui profusus, alieni appetens* *). Жадность и расточительность — родные сестры. Простолудин, который привык приобретать свои земные блага не придворной службой, не милостями фавориток, не сладкими речами и ловкой игрой, но тяжелым, горьким трудом, крепче держится за приобретенное.

Между тем добрые граждане Нормандии поняли, что газеты, при помощи которых карлисты пытаются

* расточая свое, завидовать чужому

влиять на общественное мнение, очень опасны для безопасности государства и их собственности, и они пришли к тому мнению, что с этими происками надо бороться тем же оружием — прессой. С этой целью недавно основана «Estafette du Havre» *, кроткая газета *juste milieu*, которая обходится очень дорого почтенному гаврскому купечеству и в которой принимают участие также и некоторые парижане, в частности monsieur ** де-Сальванди, маленький, изворотливый, водянистый ум в длинном, неповоротливом, сухом теле (Гёте хвалил его). До сих пор эта газета — единственная контрмина, подведенная под карлистов в Нормандии; карлисты же, напротив, неутомимы и всюду основывают свои газеты, свои крепости обмана, против которых дух свободы должен раздроблять свои силы, пока не придет помощь с Востока. Эти газеты издаются более или менее в духе «Gazette de France» и «Quotidienne»; последние, кроме того, самым деятельным образом распространяются среди народа. Обе газеты редактируются изящно, остроумно и привлекательно, притом они насквозь коварны, злы, полны полезных поучений, полны забавного злорадства, и их благородные разносчики, нередко раздающие их даром и даже, пожалуй, иногда наделяющие читателей в придачу и деньгами, находят, разумеется, лучший сбыт, чем кроткие газеты *juste milieu*. Я всемерно рекомендую обе эти газеты, так как с более возвышенной точки зрения отнюдь не считаю их вредными для дела истины; они даже скорее способствуют ему, возбуждая новую энергию в бойцах, которых борьба порой утомляет. Эти две газеты — истинные представительницы тех людей, которые, когда дело их гибнет, вымещают свою злобу на лицах. Таково старое соотношение: мы наступаем им на голову, а они жалят нас в пяту. Но только в похвалу «Quotidienne» надо отметить, что хотя она — и змея, так же как

* «Гаврская эстафета»

** господин

и «Gazette», но менее скрывает свою злость; что ее наследственная злоба выдает себя в каждом слове; что она своего рода гремучая змея, которая, подползая, сама предостерегает от своего приближения стуком своих гремушек. «Gazette», к сожалению, не имеет такой гремушки. «Gazette» выступает иногда против своих собственных принципов, чтобы обходным путем обеспечить их; «Quotidienne» в пылу борьбы скорее пожертвует победой, чем подчинится такому холодному самоотрицанию. «Gazette» обладает спокойствием иезуитизма, которое не сбивают с толку страстные убеждения, и это тем легче, что иезуитизм, собственно, не есть убеждение, а только промысел; в «Quotidienne», напротив, мнутя и беснуются надменные дворяне и сердитые монахи, плохо замаскированные в рыцарскую честность и христианскую любовь. Такой же точно характер имеет карлистская газета, издаваемая здесь, в Руане, под названием «Gazette de la Normandie» *. Она до того полна слащавых сетований о добром старом времени, которое, к сожалению, исчезло вместе с рыцарскими образами, вместе с крестовыми походами, турнирами, герольдами, скромными горожанами, благочестивыми монахинями, дамами сердца, трубадурами и прочими приятностями, что вспоминаются феодальные романы одного прославленного немецкого автора, в чьей голове цвело больше цветов, нежели мыслей, а сердце было полно любви; напротив, у редактора «Gazette de la Normandie» голова полна грязного мракобесия, сердце же полно яда и желчи. Этот редактор — некий виконт Вальш, длинный седеющий блондин лет шестидесяти. Я видал его в Дьеппе, куда он был приглашен на карлистский консилиум, где его очень чествовала вся знатная компания. Однако со свойственной всем им болтливостью один маленький карлистик шепнул мне: «C'est un fameux compère» **. Он,

* «Нормандская Газета»

** Это изрядный пройдоха

собственно, не принадлежит к настоящему дворянству. Отец его, родом ирландец, в начале революции находился на французской военной службе и, когда эмигрировал и захотел избежать конфискации своих имений, то для виду продал их своему сыну. Когда же старик возвратился во Францию и потребовал обратно от сына свои имения, тот стал отрицать фиктивность покупки, утверждая, что продажа имений была совершена совсем всерьез, и таким образом завладел состоянием своего обманутого отца и своей бедной сестры; последняя сделалась фрейлиной Madame (герцогини Беррийской), и восторженное отношение ее брата к Madame основано столько же на тщеславии, сколько и на корыстолюбии; ибо — «я знал достаточно»...

Трудно представить себе, с какой коварной последовательностью подкапываются карлисты под власть нынешних правителей. С успехом ли — покажет время. Как не брезгуют они и самым низким человеком, если он может им быть пригоден для их целей, так не брезгуют они никаким, даже самым грязным средством. Карлисты прибегают не только к каноническим газетам, о которых я упоминал выше, — они действуют также и путем устного распространения всевозможной клеветы, путем традиции. Эта черная пропаганда старается основательнейшим образом повредить доброму имени нынешних правителей, главным образом короля. Ложь, сплетаемая с этой целью, бывает подчас столь же омерзительна, сколь нелепа. «Всегда клеветать, всегда клеветать, что-нибудь да прилипнет!» — было девизом чистоплотных наставников.

В одном карлистском обществе в Дьеппе молодой священник мне сказал: «Сообщая своим соотечественникам о здешних делах, вы должны несколько подкрашивать истину, чтобы в случае, если начнется война, а Луи-Филипп все еще, может быть, будет находиться во главе французского правительства, немцы его сильнее ненавидели и с большим воодушевлением сражались против него». На мой вопрос, вполне ли нам обеспечена

победа, он улыбнулся чуть ли не с состраданием и стал уверять меня, что немцы — самый храбрый народ и что им только для виду будет оказано легкое сопротивление; что север, так же как и юг, совершенно предан законной династии; что Генрих V и Madame почитаются всюду, подобно младенцу Христу и божией матери; что в этом — религия народа; что рано или поздно законная ревность к вере вспыхнет открыто, особенно в Нормандии.

В то время как служитель божий высказывался таким образом, перед домом, в котором мы находились, вдруг поднялся ужаснейший шум. Затрещали барабаны, затрубили трубы, марсельский гимн зазвучал так громко, что задрожали оконные стекла, и во все горло раздался восторженный крик: «Vive Louis-Philippe! A bas les Carlistes! Les Carlistes à la lanterne!» *. Это произошло в час ночи, и все общество сильно испугалось. Я также был напуган, потому что вспомнил поговорку: вместе пойман, вместе и повешен. Но это была только шутка дьепских национальных гвардейцев. Они узнали, что Луи-Филипп прибыл в замок Э и тотчас же решили отправиться туда, чтобы приветствовать короля, но перед своим уходом они захотели напугать бедных карлистов, подняли страшнейший шум перед их домами и, как помешанные, запели там марсельезу, это «*dies irae, dies illa*» ** новой церкви, возвещающее прежде всего карлистам день их страшного суда.

Так как я вскоре после этого тоже отправился в Э, то, в качестве очевидца, могу удостоверить, что восторг, которым национальные гвардейцы, радостно ликуя, окружили короля, не был инсценирован. Он сделал им смотр, остался очень доволен нескрываемой радостью, с которой они встретили его, и я не могу отрицать, что в наше время разлада и недоверия эта картина согласия

* Да здравствует Луи-Филипп! Долой карлистов! Карлистов на фонарь!

** Первые слова средневекового церковного гимна: «Тот день, день гнева».

была очень назидательна. То были свободные, вооруженные граждане, которые без смущения смотрели в глаза своему королю, с оружием в руках свидетельствовали ему свое глубокое почтение и подчас мужественным пожатием руки выражали ему свою верность и покорность. Луи-Филипп, само собой разумеется, каждому подавал руку. Над этими рукопожатиями карлисты насмеяются больше всего, и я охотно признаю, что ненависть подчас делает их остроумными, когда они осмеивают эту «*messéante popularité des poignées de mains*» *. Так, в замке, о котором я уже упоминал прежде, я был на представлении en petit comité ** одного фарса, в котором потешнейшим образом показано, как Фип I, король филистеров (*épi-ciérs*) ***, преподает своему сыну Большому Цыпленку (*Grand Poulot*) государственную науку и отечески поучает, что не надо поддаваться внушениям теоретиков, видящих в буржуазной монархии только верховную власть народа или, еще того хуже, только соблюдение хартии; что не надо слушаться ни правой, ни левой болтовни; что дело вовсе не в том, чтобы Франция была свободна внутри и чтима за рубежом, еще менее в том, защищен ли трон, словно баррикадами, республиканскими учреждениями или поддерживается наследственными пэрами; что ни дарованные обещания, ни геройские подвиги не имеют большого значения; что буржуазная монархия и все искусство управлять сводятся к тому, чтобы пожимать руку всякому обורванцу. Тут он показывает различные приемы, как пожимать руку людям в разных положениях — пешком, верхом, проезжая галопом по их рядам, или когда они дефилируют мимо и т. д. Большой Цыпленок понятлив, он отлично проделывает эти правительственные фокусы; он даже говорит, что хочет еще усовершенствовать изобретение буржуазной монархии и каждый раз,

* непристойную популярность рукопожатий

** в тесном кругу

*** лавочников

пожимая руку буржуа, будет его спрашивать: «Как поживаешь, mon vieux cochon?» * — или, что то же самое: «Как поживаешь, citouen?» **. «Да, это одно и то же», — отвечает король весьма сухо, и карлисты смеются. Затем Большой Цыпленок хочет упражняться в пожимании рук, — сперва на гризетке, потом на бароне Луп, но делает все это очень неуклюже, ломает людям пальцы. При этом нет недостатка в насмешках и в клевете на тех хорошо известных людей, которых мы когда-то, до Июльской революции, прославляли как светочей либерализма и которых мы с тех пор так рады презирать за их раболепие. Хотя я обычно не очень расположен к *juste milieu*, все же в моей душе шевельнулась какая-то почтительная нежность к этим некогда высокочтимым людям, опять шевельнулось прежнее расположение, когда я увидел, как их поносят эти худшие люди. Да, как человек, находящийся на дне глубокого колодца, может среди бела дня видеть звезды небесные, так и я, когда спустился в темное общество карлистов, снова стал ясно и отчетливо понимать заслуги людей из *juste milieu*. Я снова чувствую былое уважение к бывшему герцогу Орлеанскому, к доктринерам, к какому-нибудь Гизо, какому-нибудь Тьеру, какому-нибудь Ройе-Коллару, какому-нибудь Дюпену и к другим звездам, потерявшим свой блеск в пламенном сверкании июльского солнца.

Полезно время от времени смотреть на вещи не с высокой, а с такой низкой точки зрения. Прежде всего мы научаемся более беспристрастно судить о людях, даже если ненавидим дело, представителями которого они являются; мы научаемся отличать сторонников *juste milieu* от самой системы. Последняя, по нашему мнению, плоха, но люди все еще заслуживают наше уважение, в особенности тот человек, положение которого — самое трудное в Европе и который теперь

* дружище-свинья

** гражданин

видит, что может существовать, лишь следуя тенденциям 13 марта; это — вполне человеческий инстинкт самосохранения. Когда мы попадаем в среду карлистов и непрестанно слышим, как поносят этого человека, он возвышается в нашем мнении, ибо мы замечаем, что в Луи-Филиппе они порицают именно то, что нам больше всего в нем нравится, и как раз то, что нам не нравится, им более всего по вкусу. Если в глазах карлистов он имеет то достоинство, что он Бурбон, то, наоборот, нам это достоинство кажется *levis nota* *. Но было бы несправедливо, если бы мы не проводили столь лестного для него и его семьи различия между ними и старшей линией Бурбонов. Орлеанский дом так решительно примкнул к французскому народу, что переродился вместе с ним и из грозного очистительного омовения революции вышел так же, как и французский народ, очищенным и исправившимся. А старшие Бурбоны, не принимавшие участия в этом обновлении, еще целиком принадлежат к тому старшему, больному поколению, которое Кребильон, Лакло и Луве так хорошо нам изобразили в его самом веселом греховном блеске и цветущем тлении. Вновь помолодевшая Франция никогда не могла бы стать на сторону этой династии, этих призраков прошлого. Притворная жизнь с каждым днем становилась все более жуткой. Посмертное покаяние представляло отвратительное зрелище. Раздушенная гниль оскорбляла всякий порядочный нос. И в одно прекрасное июльское утро, когда пропел галльский петух, этим призракам снова пришлось исчезнуть. А Луи-Филипп и его семья здоровы и полны жизни; это — цветущие дети молодой Франции, целомудренные духом, бодрые телом и верные добрым буржуазным нравам. Именно эта буржуазность, которая так не нравится карлистам, возвышает Луи-Филиппа в нашем мнении. Я при всем желании не могу совершенно отрешиться от партийного духа, чтобы правильно

* наименее значущим

судить, насколько серьезно он относится к буржуазной монархии. Великое жюри истории решит, честны ли были его намерения. В таком случае его *poignées de mains* вовсе не смешны, и мужественное рукопожатие, быть может, сделается символом новой буржуазной монархии, как рабское коленопреклонение было символом феодального самовластия. Луи-Филипп, если он сохранит престол и честные убеждения и передаст их своим детям, может оставить по себе великое имя в истории, и не только как основатель новой династии, но даже как основатель новой формы власти, которая придаст новый вид всему миру, — как первый буржуазный король Луи-Филипп, если только он сохранит престол и честные убеждения, — но это-то и составляет великий вопрос!

**ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
„САЛОНА“
ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ**



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА»

«Мой совет вам, кум: позвольте мне нарисовать вам на вывеске не золотого ангела, но красного льва; мне это уж привычно, и вы увидите, если я и нарисую вам золотого ангела, он все-таки будет похож на красного льва».

Эти слова, принадлежащие одному почтенному собрату по искусству, должны явиться эпитафией к предлагаемой книге, ибо они служат заблаговременным и вполне откровенным возражением на всякий упрек, который мог бы быть сделан ей. Чтобы не осталось никаких недомолвок, я тут же отмечу, что эта книга, за малыми исключениями, была написана летом и осенью 1831 г., в такое время, когда я большею частью занимался этюдами к будущим красным львам. В то время вокруг меня было немало рева и всякого рода помех.

Не правда ли, я сегодня очень умерен?

Можете быть спокойны: человеческая умеренность всегда имеет достаточные основания. Обычно господь-бог очень облегчал рабам своим проявление умеренности и подобных ей добродетелей. Легко, например, прощать своим врагам, когда случайно не обладаешь достаточным умом, чтобы иметь возможность повредить им, и также легко не обольщать женщин, если ты наделен слишком уж неприглядным носом.

Ханжи всех оттенков опять будут очень тяжело вздыхать, читая не одно стихотворение в этой книге, но это уже не поможет им. Новое, «восходящее поколение» поняло, что все мои слова и песни вырастали из вели-

кой, божественно-радостной весенней мысли, которая если и не лучше, то по крайней мере так же достойна уважения, как эта скорбная, пахнущая тлением великопостная мысль, угрюмо обесцветившая нашу прекрасную Европу и населившая ее призраками и тартюфами. Тому, против чего я фрондировал с легким оружием в руках, объявлена теперь открытая серьезная война — я уже стою даже не в первых рядах.

Слава богу! Июльская революция развязала языки, которые столько времени казались немыми; а так как внезапно проснувшиеся пожелали разом высказать все то, о чем они до тех пор молчали, то поднялся немалый шум, порою оглушавший меня самым неприятным образом. По временам мне приходила охота — бросить всю эту говорильню; но это не так легко сделать, как, например, отказаться от места тайного советника, хотя последнее приносит больше дохода, нежели почетнейшее звание общественного трибуна. Люди думают, что наши дела и поступки — плод свободного выбора, из запаса новых идей мы выхватываем такую, которую хотим отстаивать словом и делом, ради которой хотим бороться и страдать, подобно тому, как какой-нибудь филолог выбирает себе классика, комментированием которого и занимается всю жизнь; нет, не мы хватаем идею, идея хватает и пеработочает нас и бичами гонит нас на арену, чтобы мы, как невольники-гладиаторы, сражались за нее. Так бывает со всяким истинным трибуном или апостолом. То было грустное признание, когда Амос сказал царю Амазии: «Я не пророк и не сын пророка, я пастух и собирал сикоморы, но господь взял меня от овец и сказал мне: «Иди и пророчествуй». То было грустное признание, когда бедный монах, которого император и империя судили в Вормсе за его учение, все же, несмотря на все смирение своего сердца, счел невозможным отречься и закончил свою речь словами: «Здесь я стою и не могу иначе, бог да поможет мне. Аминь!»

Если б вы знали этот священный гнет, вы уже не поносили бы нас, не клеймили бы нас, не клеветали бы на нас; — право же, мы не властители, но слуги слова. То было грустное признание, когда Максимилиан Робеспьер сказал: «Я слуга свободы».

И я теперь тоже сделаю признание. То не была пустая прихоть моего сердца, когда я покинул на родине все то дорогое, что цвело и улыбалось мне там, — иные любили меня там, например моя мать, — но я пошел, сам не зная, почему; я пошел, потому что должен был идти. Позднее я ощутил большую усталость; я столько времени, задолго до Июльских дней, занимался ремеслом пророка, что внутреннее пламя почти сожгло меня, что от могучих слов, вырывавшихся из моего сердца, оно стало слабым, как тело роженицы...

Я подумал: больше я вам не нужен, буду теперь жить для себя и писать изящные стихи, писать комедии и новеллы, создавать нежные и веселые игры идей, накопившихся в моем мозгу, и спокойно проскользну назад в мир поэзии, где я был так счастлив в детстве.

И для осуществления этого намерения нельзя было найти места более подходящего, чем то, которое я избрал. То была маленькая вилла, у самого моря, поблизости от Гавр-де-Грас, в Нормандии. Дивно прекрасный вид на великое Северное море; вечно меняющаяся и все же простая картина; нынче — суровая буря, завтра — ласковая тишь, а в вышине — белые сонмы облаков, огромных и причудливых, словно блуждающие тени тех норманнов, что свирепствовали некогда у этих берегов. А под моими окнами цвели приветливейшие цветы и растения: розы, любовно глядевшие на меня, красные гвоздики, в чьем благоухании — стыдливая мольба, и лавры, взбиравшиеся ко мне по стене, почти что достигавшие моей комнаты, как та слава, что преследует меня. Да, некогда я гонялся за Дафной, теперь же Дафна гоняется за мной, как непотребная женщина, и врывается ко мне в спальню. То, к чему я стремился когда-то, тяготит меня теперь, мне хочется

спокойствия и хочется, чтобы никто не говорил обо мне, по крайней мере, в Германии. И хотелось бы мне сочинять тихие песни, и только для себя или, в крайнем случае, только для того, чтобы читать их вслух какому-нибудь притаившемуся соловью. Так и пошло сначала, ум мой снова был умиротворен гением поэзии, благородные давно знакомые образы и золотые картины снова замерцали в моей памяти, я вновь изведаль то же блаженство снов, то же сказочное упоение, те же чары, что и прежде, и мне стоило только записать спокойным пером все, что я чувствовал и думал... Я начал.

Но ведь всякому известно, что при таком расположении духа не всегда удастся спокойно высидеть в комнате и что порой выбегаешь в поле, с восторгом в груди и с пылающими щеками, не глядя под ноги. Так случилось и со мной, и, сам не зная как, я вдруг оказался на гаврском шоссе, и вот передо мной, высокие и неторопливые, потянулись крестьянские возы, нагруженные всякого рода жалкими сундуками и ящиками, старофранконской домашней утварью, женщинами и детьми. Рядом с ними шли мужчины, и я немало удивился, услышав, их речь: они говорили по-немецки, на швабском наречии. Нетрудно было догадаться, что люди эти — эмигранты, и, когда я взгляделся в них, мною овладело вдруг такое чувство, какого я еще никогда не испытывал в жизни, вся кровь внезапно прихлынула к сердцу и так заколотила в ребра, словно ей надо было вырваться из груди, как можно скорее вырваться наружу, и дыхание у меня сперло. Да, это мне повстречалась моя родина, на этих возах сидела белокурая Германия — с серьезно-голубыми глазами, задушевыми, слишком уж задумчивыми лицами, а в углах рта была та жалкая ограниченность, которая рождала во мне такую скуку и так раздражала меня когда-то, теперь же вызвала грустное умиление: ведь если когда-то, среди цветущего веселья юности, я часто и сердито поругивал отечественные нелепости и филистерские обычаи, если мне когда-то пришлось пережить не одну маленькую

домашнюю ссору с моим счастливым, бургомистерски благополучным, ленивым, как улитка, отечеством, то теперь, когда я увидел его в горе и в нищете, на чужбине, все эти воспоминания угасли в моей душе; даже его недостатки стали мне вдруг дороги и милы, я помирился даже с его заходустными повадками и пожал ему руку; я пожал руки этим немецким эмигрантам, как если бы, в залог союза и любви, я пожимал руку самому отечеству, и мы заговорили по-немецки. Люди эти тоже были очень рады, что слышат родную речь на чужеземном шоссе; тени заботы исчезли с их лиц, и они почти заулыбались. И женщины, среди которых были очень хорошенькие, приветливо крикнули мне с восторга: «Бог в помощь!», — и мальчуганы стали кланяться мне, вежливо краснея, и совсем маленькие дети испустили радостные крики, улыбаясь своими беззубыми милыми ротиками. «Но почему же вы покинули Германию?» — спросил я этих бедных людей. «Земля хорошая, и мы бы рады остаться, — отвечали они, — но мы больше не могли терпеть»...

Нет! Я не из числа демагогов, стремящихся только к одному — как бы разжечь страсти, и я не буду пересказывать всего того, что на этом шоссе около Гавра под открытым небом мне пришлось услышать о бесчинствах высокознатной и высокородной братии в Германии, — да и самая жалоба слышалась не в словах, а в звуке голоса, производившего эти слова, простые и прямодушные, не слова, но вздохи. Да и бедные эти люди не были демагогами; все их жалобы оканчивались словами: «Что нам было делать? Уж не начать ли революцию?».

Клянусь всеми богами небесными и земными, десятая доля того, что выстрадали в Германии эти люди, вызвала бы во Франции революцию и стояла бы короны и головы тридцати шести королям.

— И мы бы все-таки вытерпели и не ушли бы, — заметил восьмидесятилетний, а следовательно вдвойне благоразумный шваб, — но мы сделали это ради детей.

Они еще не привыкли к Германии так, как привыкли мы, и, может быть, еще будут счастливы на чужбине; конечно, и в Африке придется им немало потерпеть».

Эти люди направлялись в Алжир, где им на выгодных условиях обещали кусок земли для колонизации. «Земля, говорят, хорошая, — рассказывали они, — но, мы слышали, там много ядовитых змей, очень опасных, и много там приходится терпеть от обезьян, которые таскают плоды с поля, а то воруют и детей и уносят их с собою в леса. Это тяжело. Но дома амтман тоже бывает ядовит, если не уплачены подати, а дичь да охотники еще пуще разоряют поля, а детей наших забирают в солдаты... Что нам было делать? Уж не начать ли революцию?»

Я должен, к чести человечества, упомянуть здесь о том сочувствии, которым, по словам этих эмигрантов, их всюду встречали во Франции во время их крестного шествия. Французы не только остроумнейший, но и милосерднейший народ. Даже самые бедные старались оказать какую-нибудь услугу этим несчастным чужеземцам, деятельно помогали им разгружать и разбирать их скарб, давали им для стряпни свои медные котлы, помогали им колоть дрова, носить воду и стирать. Я своими глазами видел, как француженка-нищая дала кусок своего хлеба бедному швабскому мальчику, за что я от души отблагодарил ее. К тому же надо еще заметить, что только материальное горе этих людей было известно французам; они, в сущности, никак не могут понять, почему эти немцы покинули свою родину. Ибо, когда французам гнет верховных властей становится слишком уж невоюмосту или же просто делается несколько обременительным, им все же никогда не приходит в голову — бежать из страны, напротив, они своим притеснителям дают отставку, из страны выгоняют их, а сами преспокойно остаются у себя дома, словом, производят революцию.

Что до меня, то после этой встречи в сердце моем осталась глубокая скорбь, черная грусть, свинцовое



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

С портрета маслом Морица Оппенгейма 1854 г.

уныние, которое мне никогда не выразить словами. Я, еще несколько минут до того шествовавший в горделивом упоении победителя, теперь побрел больной и слабый, как сломленный жизнью человек. Право, это не было влияние внезапно пробудившегося патриотизма. Я чувствовал, это было нечто более благородное, нечто лучшее. К тому же мне с давних пор ненавистно все то, что носит название патриотизма. Более того, самый патриотизм в известной мере опротивел мне с тех пор, как я видел маскарад тех черных шутов, что обратили патриотизм в настоящее ремесло и приобрели себе подходящий профессиональный костюм и действительно стали делиться на мастеров, подмастерьев и учеников и завели себе особые знаки приветствия, с помощью которых и добивались цели в своей земле, добивались самыми грязными средствами — вымогательствами, потому что добиваться чего-либо по-настоящему, то есть с мечом в руке — это не входило в их цеховые обыкновения. Всем известно, что батюшка Ян, трактирщик Ян оказался на войне таким же трусом, как и дураком. Подобно мастеру, и большинство подмастерьев были подлые существа, грязные лицемеры, в самой грубости которых не было ничего подлинного. Они прекрасно знали, что немецкая простота все попрежнему считает неотесанность признаком отваги и честности, хотя стоит лишь заглянуть в наши смиренные дома, чтобы узнать, что бывают и неотесанные плуты, и неотесанные трусы. Во Франции отвага вежлива и благовоспитанна, а честность носит перчатки и снимает шляпу. Во Франции патриотизм заключается в любви к родной стране, которая в то же время является страной цивилизации и гуманного прогресса. Напротив, упомянутый немецкий патриотизм заключался в ненависти к французам, в ненависти к цивилизации и либерализму. Не правда ли, я не патриот — ведь я хвалю Францию?

Странная вещь — патриотизм, настоящая любовь к родине! Можно любить свою родину, любить ее целых

восемьдесят лет и не догадываться об этом; но для этого надо оставаться дома. Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочинишь самые лучшие майские песни. Любовь к свободе — цветок темницы, и только в тюрьме чувствуешь цену свободы. Любовь к немецкой отчизне начинается только на немецкой границе, особенно же дает себя чувствовать, когда на чужбине видишь немецкое горе. В книге, которая как раз находится у меня под рукою и содержит письма моей покойной приятельницы, вчера поразило меня то место, где она описывает впечатление, которое произвели на нее во время войны 1813 г. в чужой стране ее соотечественники. Приведу эти милые слова:

«Все утро я не переставая плакала горючими слезами умиления и обиды! О, я никогда не знала, что так люблю мою страну! Вот так же иной человек не знает из физики о значении крови; если же отнять у него кровь, он упадет без чувств».

В этом все дело. Германия — это мы сами. И поэтому я почувствовал себя вдруг таким слабым и больным при виде этих эмигрантов, этих страшных потоков крови, льющихся из ран отчизны и теряющихся в африканских песках. В этом все дело; то была как бы физическая утрата, и в душе я ощутил почти физическую боль. Напрасно я старался успокоить себя разумными доводами, — что Африка тоже хорошая страна, и что змеи не много болтают там о христианской любви, и что обезьяны там не так отвратительны, как немецкие обезьяны, — и, стараясь рассеяться, я стал напевать песенку. Но случайно это оказалась старая песня Шуберта:

Хотят нас в Африку усласть,
В далекий жаркий край.

.....
Простимся на границе мы
С немецкою страной
И горсть земли с собой возьмем;
За хлеб, за соль, за отчий дом
Спасибо, край родной.

Только эти слова песни, слышанной в детстве, никогда не исчезали из моей памяти, и всякий раз они вспоминались мне, когда я переезжал немецкую границу. Да и об авторе ее я мало знаю; знаю только, что был он бедный немецкий поэт и большую часть своей жизни просидел в крепости и любил свободу. Теперь он уже умер и давно уже истлел, но песня его еще жива, ибо слово нельзя посадить в крепость и сгноить.

Уверяю вас, я не патриот, и если я плакал тогда, то причиной — эта маленькая девочка. Уже вечерело, и маленькая немецкая девочка, которую я раньше уже успел заметить среди эмигрантов, одна стояла на берегу, словно погруженная в мысли, и смотрела на необъятное море. Девочке было верно лет восемь, у нее были две аккуратно заплетенные косички, была на ней коротенькая — на швабский лад — юбка из полосатой фланели, личико покрывала болезненная бледность, глаза — большие и серьезные, и с кроткой опаской в голосе, но все же и с любопытством, она спросила меня — не океан ли это?

До глубокой ночи стоял я у моря и плакал. Я не стыжусь этих слез. Ахилл тоже плакал на берегу моря, и сереброгогая мать должна была подняться из воли, чтобы утешить его. Я тоже слышал голос из воды, но не столь утешительный, а скорее вызывающий, властный — и все же глубоко мудрый. Ибо море знает все, звезды поверяют ему сокровеннейшие загадки неба, в глубинах его покоятся, вместе с потонувшими сказочными царствами, также и древние, давно забытые предания земли, у всех берегов подслушивает оно тысячами ушей — тысячами любопытных волн, а реки, вливающиеся в него, приносят ему новости, которые они услышали в самых отдаленных местах материка или узнали из болтовни маленьких ручейков и горных ключей. Но если море поведаст кому свои тайны и шепнет в самое сердце великое слово спасения мира, тогда прощай, покой! Простите, безмятежные сны! Простите, новеллы и комедии, которые я уже так мило начал

и которые теперь вряд ли вскоре удастся продолжить!

С тех пор золотые ангельские краски почти совершенно засохли на моей палитре, и во влажном состоянии сохранилась на ней лишь яркокрасная краска, которая напоминает кровь и которой можно рисовать только красных львов. Да, следующая моя книга — это уж действительно будет красный лев, и уважаемая публика, выслушав мои признания, да простит мне это.

Генрих Гейне.



ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Париж, 17 октября 1833.

ВЫСТАВКА КАРТИН В 1831 г. В ПАРИЖЕ

Выставка картин, открывшаяся в начале мая, теперь закрылась. В общем ей было уделено только беглое внимание; умы были заняты другим и поглощены тревогами политики. Что до меня, впервые в этот раз посетившего столицу и охваченного бесконечно новыми впечатлениями, то я в еще меньшей степени, чем другие, был в состоянии с должным спокойствием осмотреть луврские залы. Там находились они, числом около трех тысяч, эти изящные картины, бедные чада искусства, которым суетливая толпа бросала, словно милостыню, всего лишь равнодушный взгляд. С немым страданием выпрашивали они хоть каплю участия, молили о доступе в какой-нибудь уголок сердца. Напрасно! Сердца были полностью заняты семьей собственных чувств и не могли предоставить этим чужим ни приюта, ни пищи. Но — в том-то и было все дело — выставка походила на приют для сирот, на сборище детей, понахватавших отовсюду, предоставленных до сих пор самим себе и не находящихся друг с другом ни в каком родстве. Эта выставка смущала нашу душу, как зрелище унизительной беспомощности и детской растерянности.

Какое совершенно непохожее чувство охватывало нас уже при входе в галереи итальянских картин! Они не брошены, словно какие-нибудь найденныши, на произвол холодного света, но вскормлены молоком великой общей

матери и, как члены одной семьи, умиротворенные и единодушные, говорят если не всегда одними и теми же словами, то все-таки одним и тем же языком.

Католическая церковь, которая и для других искусств некогда была такой матерью, оскудела теперь и сама беспомощна. Каждый художник пишет теперь на свой лад и на свой риск; прихоть минуты, каприз богача или собственного праздного сердца дают ему материал, палитра дает ему блистательнейшие краски, а полотно все терпит. К тому же среди французских художников свирепствует сейчас непонятая романтика, и, следуя своему основному принципу, каждый стремится писать совершенно иначе, нежели другие, или, пользуясь модным выражением, выказать свою оригинальность. Легко угадать, какие картины появляются иногда благодаря этому.

Так как у французов, во всяком случае, много здравого смысла, то они всегда правильно определяли ошибки, легко узнавали истинное своеобразие и в пестром море картин без труда отыскивали истинные жемчужины. Художники, чьи произведения вызвали всего больше толков, и были признаны лучшими,— это А. Шеффер, О. Верне, Делакруа, Декан, Лессор, Шнец, Деларош и Робер. Таким образом я могу ограничиться тем, что изложу общее мнение. Оно мало отличается от моего собственного. Буду, насколько возможно, избегать обсуждения технических достоинств и недостатков. Да от этого и не большая была бы польза, поскольку речь идет о картинах, которые ведь не остаются в публичной галлерее, где их можно было бы осматривать, и еще меньше пользы от этого немецкому читателю корреспонденций, вовсе не видевшему картин. Для него могут быть желательны только сведения о сюжетах и о смысле картин. Как добросовестный референт, я прежде всего упомяну о картинах

А. ШЕФФЕРА.

В первый месяц выставки больше всего внимания возбуждали «Фауст» и «Гретхен» этого художника, так

как лучшие произведения Делароша и Робера были выставлены лишь впоследствии. К тому же всякий, кто не видел еще картин Шеффера, сразу поражается его манерой, сказывающейся особенно в колорите. Враги его толкуют, что он пишет только нюхательным табаком и зеленым мылом. Не знаю, насколько они несправедливы к нему. Его коричневые тени нередко очень неестественны и не достигают задуманного в рембрандтовской манере светового эффекта. Цвет лица у его персонажей обычно тот, который и нам подчас внушает отвращение к собственному лицу, когда, невъиспавшиеся и сердитые, мы видим его отражение в тех зеленых зеркалах, что обычно оказываются на старом постоялом дворе, где останавливается почтовая карета. Но если пристальнее взглядеться в картины Шеффера, его манера начинает нравиться, трактовка в целом кажется вам очень поэтичной, и вы видите, что сквозь хмурые краски прорывается светлый образ, словно солнечный луч — сквозь мглистые облака. Это угрюмо-однотонное, напоминающее тушь письмо, эти смертельно усталые краски, до жути смутные очертания даже дают хороший эффект в «Фаусте» и «Гретхен». Обе фигуры изображены по колени, в натуральную величину. Фауст сидит в средневековом красном кресле, у стола, заваленного пергаменами, облокотясь на него левой рукой, на которую он склонил свою непокрытую голову. Правую руку, ладонью кверху, он положил на бедро. Платье — синее, как пена зеленого мыла. Лицо — почти в профиль; оно желто-серое, как нюхательный табак. Несмотря на болезненный цвет лица, на впалые щеки, на блеклость губ, на отпечатлевшееся разрушение, лицо это хранит черты своей былой красоты, и глаза льют на него пленительно грустный свет, благодаря чему оно похоже на прекрасную руину, озаренную луной. Да, человек этот — прекрасная человеческая руина, в морщинах над этими выветрившимися бровями гнездятся сказочно ученые совы, а за этим челом таятся злые призраки; в полночь раскрываются

там могилы умерших желаний, встают бледные тени, и в пустынном мозгу блуждает, точно со скованными ногами, дух Гретхен. Заслуга художника именно в том, что он написал только голову и что, взглянув на нее, мы уже узнаем чувства и мысли, мятущиеся в сердце и в мозгу этого человека. В глубине еле заметная и совершенно зеленая, отвратительно зеленая, виднеется и голова Мефистофеля, злого духа, отца лжи, бога мух, бога зеленого мыла.

«Гретхен» составляет параллель к этой картине, равную по достоинствам. Гретхен тоже сидит на полинялом красном кресле, рядом лежит без дела прялка с мочкой льна; в руке у Гретхен — раскрытый молитвенник, в который она не смотрит и откуда бросает утешающий взгляд блекло-пестрая мать божия. Гретхен наклонила голову, так что большая часть лица, изображенного тоже почти в профиль, как-то странно остается в тени. Как-будто ночная душа Фауста бросает свою тень на черты живой девушки. Обе картины висели рядом друг с другом, и тем легче было заметить, что на лице Фауста сосредоточена вся сила освещения, а лицо Гретхен слабо освещено и тем ярче выделяются контуры. Это придает ее лицу невыразимый магический оттенок. На ней темнозеленый корсет, голову еле прикрывает черная шапочка, из-под которой с обеих сторон выбиваются кажущиеся еще светлей ее гладкие золотистые волосы. Овал лица трогательно благороден, и черты его полны красоты, которая рада была бы спрятаться из скромности. Она со своими милыми голубыми глазами — сама скромность. Тихая слеза крадется по прекрасной щеке, немая жемчужина печали. Правда, что это — Гретхен Вольфганга Гете, но она прочла всего Фридриха Шиллера, и в ней больше сентиментальности, чем наивности, и больше грузного идеализма, чем легкой грации. Может быть, она слишком верна клятве и слишком серьезна, чтобы быть грациозной, ибо грация заключается в движении. К тому же есть в ней что-то такое положительное, та-

кое солидное, такое реальное, как луидор, еще находящийся у вас в кармане. Словом, она немецкая девушка, и если поглубже заглянуть в ее меланхолические фиалки, то начинаешь думать о Германии, о благоухающих липах, о стихотворениях Гельти, о каменном Роланде перед зданием ратуши, о старом конфекторе, о его румяной племяннице, о доме лесничего и оленьих рогах, о скверном табаке и славных товарищах, о бабушкиных страшных сказках, о честных ночных сторожах, о дружбе, о первой любви и всяких других милых пустяках... Право, Гретхен Шеффера невозможно описать. Это не лицо, а душа. Это — портрет чувства. Проходя мимо нее, я всякий раз невольно говорил: «Милое дитя!»

К сожалению, во всех картинах Шеффера мы видим все ту же манеру, и если она подходит к его Фаусту и Гретхен, то отнюдь не нравится нам в тех случаях, когда сюжет требует радостной, ясной, красочно-яркой трактовки, как, например, в маленькой картине, где изображены пляшущие школьники. Шеффер своими приглушенными, безрадостными красками изобразил здесь лишь рой маленьких гномов. Как бы ни был значителен талант Шеффера-портретиста, каких бы похвал ни заслуживала в этой области оригинальность его трактовки, все же и здесь его колорит для меня неприемлем. Однако на выставке был портрет, где именно манера Шеффера оказалась вполне подходящей. Только этими неопределенными, лживыми, мертвыми, бесхарактерными красками можно было написать человека, чья слава состоит в том, что на лице его никогда нельзя было прочесть его мыслей, что скорее даже на нем всегда читали противоположное его мыслям. Это человек, которому сзади можно было дать пинок, а стереотипная улыбка все-таки не исчезала с его губ. Это человек, который сорок раз изменил присяге и талантами которого в деле лжи пользовались все сменявшие друг друга правительства Франции, когда надо было совершить какое-нибудь убийственное вероломство;

он заставляет вспомнить о той древней составительнице ядов, о той Локусте, что жила в доме Августа и, как преступное наследие переходя из рук в руки, молчаливая и верная, служила одному цезарю вслед за другим и одному против другого, предоставляя свою дипломатическую микстурку. Когда я стоял перед портретом этого вероломного человека, которого Шеффер так верно изобразил, на лице которого он своими ядовитыми красками написал даже все сорок ложных присяг, дрожь пробирала меня при мысли: кому предназначено в Лондоне его последнее зелье?

Шефферовы «Генрих IV» и «Луи-Филипп I», два конных портрета в натуральную величину, заслуживают во всяком случае отдельного упоминания. Первый, *le roi par droit de conquête et par droit de naissance**, жил до меня; я знаю только, что он носил бородку *à la Henri IV*, и не могу определить, насколько уловлено сходство. Другой же, *le roi des barricades, le roi par la grâce du peuple souverain***, — мой современник, и я могу судить, похож ли портрет или непохож. Портрет я видел до того, как имел удовольствие видеть лично его королевское величество, и признаюсь, короля я все-таки узнал не сразу. Может быть, я видел его в слишком торжественную минуту, а именно, в первый день празднования недавней революции, когда он проезжал верхом по улицам Парижа, окруженный ликующей муниципальной гвардией и получившими награды героями июля, которые все, как безумные, орали «*Parisienne*» и марсельский гимн, а по временам плясали карманьолу; его королевское величество высоко сидело в седле, не то как подневольный триумфатор, не то как добровольный пленник, который должен украшать собой триумфальное шествие; император, лишившийся престола, ехал подле него, точно символ или пророчество; два юных его сына тоже

* король по праву завоевания и по праву рождения

** король баррикад, король милостью самодержавного народа

ехали рядом с ним, словно цветущие надежды, и его толстые щеки сверкали, прикрытые лесной чащей больших бакенбард, и приторно приветливые глаза сияли от удовольствия и смущения. На портрете Шеффера вид у него не такой забавный, а скорее унылый, как будто он едет по Гревской площади, где был обезглавлен его отец; лошадь его словно спотыкается. Мне кажется, что на картине Шеффера и голова не так заострена кверху, как на августейшем оригинале, где эта особенность всегда напоминала мне народную песню:

Высокая елка стояла в долине,
Потолще внизу и потоньше к вершине.

В остальном портрет довольно удачен, очень похож; однако это сходство я открыл лишь тогда, когда увидел самого короля. Это вызывает во мне сомнения, очень серьезные сомнения в достоинствах всей портретной живописи Шеффера. Дело в том, что портретистов можно разделить на два разряда. Одни обладают чудесным талантом — схватывать и зарисовывать именно те черты, которые даже и чуждому зрителю дают представление об изображаемом лице, так что характер изображаемого оригинала становится ему сразу понятен и при встрече он сразу уже узнает его. Эту манеру мы находим у старых мастеров, особенно у Гольбейна, Тициана и ван-Дейка, и в их портретах нас поражает та непосредственность, которая с такой живостью рouchается нам за сходство их с давно умершими оригиналами. «Можно поклясться, что эти портреты похожи!» — невольно говорим мы, осматривая галерею. Другую манеру портретной живописи мы встречаем, главным образом, у английских и французских художников, которые рассчитывают на легкость узнавания и наносят на полотно только те черты, что воскрешают в нашей памяти лицо и характер хорошо знакомого оригинала. Эти художники, собственно говоря, работают на воспоминание, и их особенно любят благовоспитанные родители и нежные супруги, показываю-

щие нам после обеда свои картины и не находящие слов, чтоб уверить нас, как очаровательно похож был портрет милого сыночка, пока у него не завелись глисты, и как разительно похож на себя господин супруг, которого мы еще не имеем чести знать и знакомство с которым нам еще предстоит по возвращении его с ярмарки в Брауншвейге.

Шеффера «Леонора» по колориту значительно превосходит остальные его произведения. Сюжет перенесен во времена крестовых походов, и художник благодаря этому получил возможность дать более блестящие костюмы и вообще более романтический колорит. Возвращающиеся воины проходят мимо, и Леонора не видит среди них своего возлюбленного. Во всей картине царствует мягкая меланхолия, ничто не предвещает нашествия, которое принесет с собою ночь. Но думаю, именно потому, что художник перенес сцену в благочестивое время крестовых походов, покинутая Леонора не станет богохульствовать, и мертвый всадник не явится за ней. Бюргерова Леонора жила в протестантские, скептические годы, в годы Семилетней войны, на которую ушел ее возлюбленный — завоевывать Силезию для Вольтерова друга. А Леонора Шеффера жила в набожный католический век, когда сотни тысяч, воодушевленные религиозной мыслью, напивали себе красный крест на одеяние и уходили, воины-паломники, на восток, чтобы завоевать там могилу. Диковинное время! Но мы, люди, разве не все мы крестоносцы и разве ценою всей нашей упорнейшей борьбы не завоевываем мы себе в конце-концов только могилу? Эту мысль я читаю на благородном лице рыцаря, который с таким состраданием глядит на скорбную Леонору с высоты своего седла. Голову она склонила на плечо матери. Она скорбящий цветок, она завянет, но не будет богохульствовать. Картина Шеффера — прекрасная музыкальная композиция; краски ее звучат такой же светлой печалью, как меланхолическая весенняя песнь.

Остальные произведения Шеффера не заслуживают

упоминания. Все же они имели большой успех, тогда как некоторые гораздо лучшие вещи менее знаменитых художников остались незамеченными. Такую роль играет имя мастера. Если принц наденет перстень с богемской стеклянкой, ее будут принимать за бриллиант, а если бы нищий стал носить перстень с бриллиантом, все-таки все решили бы, что это — простое стекло.

Это размышление заставляет меня перейти к

ОРАСУ ВЕРНЕ

Выставку этого года украсил он тоже не сплошь настоящими бриллиантами. Лучшая среди картин, выставленных им, — это была Юдифь, готовящаяся убить Олоферна. Она только-что поднялась с его ложа, цветущая, стройная девушка. Лиловое одеяние, наспех подвязанное пониже талии, спускается до самых ног; верхняя часть тела закрыта светложелтым платьем, правый рукав которого свисает, и она приподымает его левой рукой, жестом, хотя и напоминающим мясника, но все же чарующе грациозным; а правой рукой она только-что вынула изогнутый меч, чтобы ударить спящего Олоферна. И вот она стоит, чарующее создание, у порога девственности, который она только-что переступила, еще божественно чистая и все-таки уже запятнанная, словно чаша с оскверненными дарами. Голова ее волшебно приветлива и жутко прелестна; черные волосы — словно маленькие змеи, не летят вниз, а приподымаются, пугающе грациозные. Лицо в полутени, и сладостная дикость, угрюмая прелесть, сентиментальная ярость сквозит в чертах смертоносной красавицы. В особенности глаза сверкают сладостной жестокостью и сладострастием мести, ибо за свою поруганную плоть она должна отомстить безобразному язычнику. Он, действительно, не слишком очарователен, но в сущности кажется *bon enfant* *. Он спит

* добрый малый

такой простодушный; еще весь во власти пережитого блаженства; он, может быть, храпит, или, как говорит Луиза, спит вслух; губы еще шевелятся, как-будто ищут поцелуя; он еще только сейчас покоился в объятиях счастья или, может быть, счастье покоилось в его объятиях; и смерть рукою своего прекраснейшего ангела перенесет его, упоенного блаженством и, разумеется, вином, минуя интермедию страдания и болезни, в белую ночь небытия. Завидный конец! О боги, когда мне придется умирать, дайте мне умереть смертью Олоферна!

Не сказалась ли ирония художника в том, что лучи восходящего солнца падают на этого спящего, как бы озаряя его, и тут же догорает ночная лампада?

Не столько умом, сколько смелостью рисунка и колорита отличается другая картина Верне, изображающая нынешнего папу. Раба рабов божиих, увенчанного золотом тройной тиары, облаченного в белые, золотом вышитые одежды, несут на золотом седалище по собору святого Петра. Сам папа, несмотря на румянец щек, кажется хилым, почти умирающим, на белом фоне клубящегося фимиама и опахал из белых перьев, которые держат над ним. Зато носильщики папского кресла — дюжие, характерные фигуры, в яркокрасных ливреях, смуглолицые, с длинными черными волосами. Среди них выделяются только трое, но они превосходно написаны. То же самое можно сказать и о капудинах, головы которых, или вернее — только наклоненные затылки с широкой тонзурой, виднеются на переднем плане. Но именно расплывающаяся незначительность главной фигуры и заметность фигур второстепенных, более значительных, — недостаток картины. Легкость, с которой художник набросал эти фигуры, и колорит их напомнили мне Паоло Веронезе. Нехватает лишь венецианского очарования, той поэзии красок, которая так же поверхностна, как и сияние лагун, но все же так волшебной волнует душу.

Большой успех выпал на долю третьей картины Верне, благодаря смелости трактовки и колориту. Это — арест принцев Конде, Конти и Лонгвиля. Место действия — лестница Пале-Рояля, по которой спускаются арестованные принцы, только-что отдавшие свои шпаги по приказанию Анны Австрийской. Почти все фигуры, расположенные на разных ступенях, полностью сохраняют благодаря этому свои очертания. Первый, Конде, стоит на нижней ступени, задумавшись, крутит усы, и я знаю, о чем он думает. На верхней ступени стоит офицер, у которого под мышкой шпаги принцев. Это — три группы, они естественно возникли и естественно связаны между собой. Лишь тому, кто достиг высшей ступени искусства, приходят в голову такие ступенчатые идеи.

К менее значительным картинам Ораса Верне относится его Камилл Демулен, взобравшийся на скамейку в саду Пале-Рояля и обращающийся с речью к народу. Левой рукой он срывает с дерева зеленый лист, в правой руке у него пистолет. Бедный Камилл! Твоя храбрость подымалась не выше этой скамейки, и вот ты решил остановиться и оглянуться. Но «вперед! Все вперед!» — вот магическое слово, благодаря которому только и могут держаться революционеры, но стоит им остановиться и оглянуться — и они погибли, как Эвридика, когда, следуя мирному зову супруга, она только раз оглянулась на ужасы подземного мира. Бедный Камилл! Бедный парень! То были веселые детские годы свободы, когда ты вскакивал на скамейки, и высаживал окна деспотизму, и сыпал фонарные остроты; шутка потом вышла очень печальная, юнцы революции поседели, волосы встали у них дыбом, поднялись горой, и страшные звуки раздались вокруг тебя, а сзади, из мира теней, звали тебя призраки Жиронды, и ты оглянулся.

На этой картине довольно интересны костюмы 1789 г. Тут можно еще было увидеть напудренные прически, узкие женские платья с фижмами, полосатые

пестрые фраки, кучерские сюртуки с маленькими воротничками, пару золотых цепочек, параллельно свисающих вдоль живота, и даже те террористические жилеты с широкими отворотами, которые теперь в Париже опять вошли в моду у республиканской молодежи и называются *gilets à la Robespierre* *. На этой картине мы видим и самого Робеспьера, который привлекает внимание тщательностью туалета и своей щеголеватостью. Действительно, внешность его всегда была чиста и блестяща, как топор гильотины; но и внутренний его мир, его сердце, было бескорыстно, неподкупно и последовательно, как топор гильотины. Эта неумолимая строгость была, однако, не бесчувственность, а добродетель, подобная добродетели Юния Брута, которую сердце наше осуждает и которой с содроганием восхищается наш разум. Робеспьер даже особенно любил Демулена, своего школьного товарища, которого он обрек на казнь, когда этот *fanfaron de la liberté* ** начал проповедывать несвоевременную умеренность и потворствовать слабостям, пагубным для государства. Может быть в то время как на Гревской площади лилась кровь Камилла, в уединенной комнате лились слезы Максимилиана. Это — не фигуральное выражение. Недавно один приятель рассказывал мне со слов Бурдона де-Луаз, что тот однажды вошел в рабочий кабинет *Comité du salut public* *** и застал Робеспьера, который сидел там один, погруженный в свои мысли, и, глядя на свои бумаги, горько плакал.

Не касаюсь других, еще менее значительных картин Ораса Верне, многостороннего художника, который пишет решительно все — святых, сражения, натюр-морт, животных, пейзажи, портреты, и все это поверхностно, почти в тонах памфлета.

* жилетами на робеспьеровский лад

** хвастун, фанфарон свободы

*** Комитет общественного спасения

Обращаюсь к

ДЕЛАКРУА,

давшему картину, перед которой я видел всегда большую толпу и которую поэтому отношу к числу картин, возбудивших наибольшее внимание. Святость сюжета не позволяет строгой критики, которая могла бы оказаться неблагоприятной. Но, несмотря на отдельные технические недостатки, картина одухотворена великой мыслью, волшебное веяние которой мы чувствуем. Изображена кучка народа в июльские дни; в середине группы привлекает наше внимание фигура, едва ли не аллегорическая, — молодая женщина в красном фригийском колпаке, с ружьем в одной руке и трехцветным знаменем — в другой. Она шествует через трупы, призывая к борьбе, обнаженная по пояс. Прекрасное неистовое тело; смелый профиль, дерзкая скорбь в чертах лица, странное сочетание Фрины, селедочницы и богини свободы. Нельзя с точностью определить, должна ли она олицетворять именно эту последнюю. Фигура, кажется, скорее должна изображать дикую народную силу, сбрасывающую ненавистное ярмо. Не могу не признаться, фигура эта напоминает мне тех перипатетиков-философов женского пола, тех быстрых вестниц любви или, вернее, быстрых на перемены любовниц, которые по вечерам рыскают по бульварам; признаюсь, маленький купидон-трубочист, что стоит возле этой уличной Венеры, держа по пистолету в каждой руке, запачкан, может быть, не только сажей; кандидат на место в Пантеоне, что бездыханно лежит на земле, вчера вечером, быть может, торговал театральными контрамарками; лицо героя, несущегося вперед с ружьем в руках, хранит печать каторги, а его безобразные одежды — запах залы уголовного суда; но ведь в том-то и дело, что великая мысль обогородила этот простой люд, этот сброд, освятила его поступки и пробудила в его душе уснувшее чувство собственного достоинства.

Священные дни парижского Июля! Вы вечно будете свидетельствовать о врожденном благородстве человека, которое веками не удастся искоренить. Тот, кто пережил вас, не рыдает больше над старыми могилами, но полон радостной веры в воскресение народов. Священные дни Июля! Как прекрасно было солнце, как велик был народ парижский! Боги в небе, созерцавшие великую битву, ликовали, восхищенные, и рады были подняться со своих золотых сидений и спуститься на землю, чтобы стать гражданами Парижа! Но, как всегда завистливые и трусливые, они в конце концов побоялись, как бы люди не вознеслись слишком высоко и не расцвели слишком ярко, и через посредство своих услужливых жрецов они постарались «очернить сияние и повергнуть высокое во прах» и устроили бельгийский мятеж, де-Поттеровский шедевр из жизни животных. Приняты меры к тому, чтобы деревья свободы не доросли до неба.

Ни на одной из выставленных картин краски так не приглушены, как на «Июльской революции» Делакруа. Между тем именно это отсутствие лоска и блеска, к тому же пороховой дым и пыль, как бы сетью паутины покрывающая все фигуры, высушенный солнцем колорит, словно жаждущий капли воды, — все это кладет на картину печать правдивости, подлинности, оригинальности, и в ней чувствуется настоящее лицо Июльских дней.

Среди зрителей были многие из числа тех, что участвовали тогда в сражении или хотя бы смотрели на него, и эти не могли нахвалиться картиной. «Чорт возьми! — воскликнул какой-то бакалейный торговец. — Эти мальчишки бились как великаны!» Молодая дама нашла, что на картине нехватает студента политехнической школы, имеющегося на всех картинах, где изображена Июльская революция, а выставлено их было очень много — больше сорока.

«Папа! — закричала маленькая карлистка. — Кто эта грязная женщина в красной шапке?» — «Что ж,

конечно, — начал иронизировать благородный папа, поджав губы для слащавой улыбки, — что ж, конечно, милое дитя, у ней нет ничего общего с чистотою лилий. Это богиня свободы». — «Папа, на ней даже нет рубашки». — «У настоящей богини свободы, милое дитя, обычно нет рубашки, и оттого она очень зла на всех, кто носит чистое белье».

Тут он обдернул пониже маншеты на своих длинных праздных руках и обратился к своему соседу: «Votre Eminence *, если республиканцам сегодня повезет и национальные гвардейцы застрелят какую-нибудь старуху у ворот Сен-Дени, тогда священный труп потащат по бульварам и народ рассвирепееет, и у нас опять будет революция». — «Tant mieux! ** — прошептал Eminence, худощавый, на все пуговицы застегнутый человек, перерядившийся в штатское платье, как делают сейчас в Париже все священники, опасаясь, что их могут открыто осмеять, или же, может быть, страдая угрызениями совести, — tant mieux, маркиз! Только бы натворили побольше мерзостей, чтобы опять переполнилась мера! Тогда революция снова проглотит зачинщиков, и прежде всего — тех тщеславных банкиров, которые теперь, к счастью, уже разорились». — «Да, Eminence, они à tout prix *** хотели истребить нас, потому что мы не хотели принимать их в наши салоны; вот секрет Июльской революции — пораздавали денег в предместьях, фабриканты распустили рабочих, виноторговцам было заплачено, чтобы они даром отпускали вино да еще подмешивали в него пороку, лишь бы разгорячить чернь, et du reste c'était le soleil!» ****.

Маркиз, может быть, прав: дело было в солнце. Как-раз в июле, когда свободе угрожала опасность, солнце своими лучами всего сильнее воспламеняло сердца

* Ваше преосвященство

** Тем лучше

*** во что бы то ни стало

**** а тут еще это солнце!

парижан, и опьяненный солнцем восставал в Париже народ против дряблых Бастилий и ордонансов рабства. Город и солнце любят и чудно понимают друг друга. Вечером, прежде, чем погрузиться в море, солнце долго еще покоит свой благосклонный взгляд на прекрасном городе Париже, и последние лучи его целуют трехцветные знамена на башнях прекрасного города Парижа. Прав был французский поэт, предлагавший праздновать Июльскую годовщину символической свадьбой: подобно тому, как некогда венецианский дож всходил на палубу золотого «буцентавра», чтобы царственную Венецию обручить с Адриатическим морем, город Париж должен был бы каждый год на площади Бастилии обручаться с солнцем, этой великой пламенной звездой своего счастья и своей свободы. Казимиру Перье это предложение не пришло по вкусу, он опасается девичника такой свадьбы, боится чрезмерного пыла этого брачного союза и соглашается разве что на морганатическую связь города Парижа с солнцем.

Но я забыл, что я всего лишь — корреспондент, пишущий о выставке. В качестве такового перехожу теперь к художнику, возбудившему всеобщее внимание и в то же время так очаровавшему меня, что картины его показались мне красочным эхо звуков моего собственного сердца или, вернее, звучащие краски встретили волшебный отзвук в моей душе.

ДЕКАМП —

имя художника, который так сильно привлек меня к себе. К сожалению, мне совсем не удалось увидеть его лучшее произведение «Собачий госпиталь». Его уже убрали, когда я стал посещать выставку. Еще несколько других хороших его картин остались незамеченными мною, потому что я не успел отыскать их среди множества других вещей, пока их не унесли. Но я сразу же понял, что Декамп — великий художник, когда уви-

дел сначала одну маленькую картину его работы, странно поразившую меня своим колоритом и простотой. Она изображала всего-навсего какое-то турецкое здание, белое и высокое; там и здесь — узкое слуховое окошко, из которого выглядывает голова турка; внизу — неподвижная вода, в которой отражаются меловые стены, окрашенные розоватой тенью, удивительно спокойные. Впоследствии я узнал, что Декамп сам побывал в Турции, а то, что так сильно поразило меня, было не столько оригинальностью колорита, сколько жизненной правдой, нашедшей себе выражение в его картинах Востока в простых и скромных красках. Это особенно можно сказать о его «Патруле». На этой картине мы видим великого Хаджи-бея, начальника полиции в Смирне, совершающего объезд по городу в сопровождении своих мирмидонян. Он со своим толстым животом сидит высоко в седле, во всем великолепии своей наглости; лицо — оскорбительно высокомерное, беспросветно невежественное, а над ним красуется белый тюрбан; в руках у него скипетр неограниченной палочной власти, а рядом бегут девять верных исполнителей его приказаний *quand même* *, торопливые твари на коротких тонких ногах и с почти животными лицами, в которых есть нечто кошачье, козлиное, обезьянье; вплоть до того, что в одном из них собачья морда сочетается с свиными глазками, ослиными ушами, телячьим оскалом и заячьей трусостью. В руках у них случайное оружие, пики, ружья, прикладами вверх, а также инструменты правосудия, а именно — кол и связка бамбуковых палок; так как дома, мимо которых проходит шествие, совершенно белые, а земля глинисто-желтая, то эти темные разряженные фигуры, бегущие по светлой улице на фоне светлой стены, почти напоминают китайские тени. Яркий вечерний свет и странные тени тонких ног, человеческих и лошадиных, усиливают сказочно-причудливое

* во что бы то ни стало

впечатление. Да и молодцы делают такие забавные курбеты, такие невероятные прыжки, лошадь откидывает ноги так потешно быстро, что не знаешь, то ли она ползет на брюхе, то ли летит, и иные из числа здешних критиков больше всего порицали именно это и отвергли, как нечто неправдоподобное и карикатурное.

Во Франции тоже есть свои присяжные художественные рецензенты, критикующие всякое новое произведение по старым предвзятым правилам, есть свои верховные знатоки, которые шарят по мастерским художников и одобрительно улыбаются, когда им льстят, и за ними дело не стало, когда пришлось выносить приговор картине Декампа. Некий господин Жаль, издающий по брошюре о каждой выставке, постарался еще раз обругать эту картину в «Фигаро»; он думает, что издевается над поклонниками этой картины, когда с лицемернейшим смирением признается, что он только человек и судит с точки зрения здравого рассудка, и что в картине Декампа его бедный рассудок не может усмотреть того великого произведения, которое увидели в нем энтузиасты, познающие не только с помощью рассудка. Бедняга, верящий в свой бедный здравый рассудок! Он и не подозревает, как правильно его суждение! Бедному рассудку никогда не подобает первому подавать голос, если дело идет о произведениях искусства, — так же, как ему никогда не принадлежит главная роль в создании их. Идея художественного произведения подымается со дна души, и душа просит у фантазии творческой помощи. И вот фантазия сыплет ей все свои цветы, готова засыпать ими идею, и она бы скорее убила, а не оживила ее, если бы не подоспел ковыляющий рассудок и не отбросил все лишние цветы и не срезал их своими блестящими садовыми ножницами. Рассудок ведает лишь порядком, так сказать, полицией в царстве искусства. В жизни он обычно является холодным математиком, подводящим итог нашим глупостям. Ах! Порою он только бухгалтер

разбитого обанкротившегося сердца, спокойно вычисляющий дефицит.

Большая ошибка всегда заключается в том, что критик подымает вопрос: что должен делать художник? Гораздо правильнее было бы спрашивать: чего хочет художник? Или даже — почему он не мог иначе? Вопрос — что должен делать художник — возник благодаря тем философствующим эстетам, чуждым всякой поэзии, которые абстрагировали особенности разных художественных произведений, на основании наличных данных установили норму на будущее, разграничили жанры, выдумали определения и правила. Они не знали, что все подобные абстракции в лучшем случае годятся для суждения о толпе подражателей, но что о всяком самостоятельном художнике — и уж, конечно, о каждом новом гении — надо судить по законам его собственной эстетики, которые он принес с собой. Правила и всякие старые теории в еще меньшей степени можно применять в подобных случаях. Для юных великанов, как говорит Менцель, не существует искусства фехтования, потому что они и так парируют все удары. Каждого гения должно изучать и судить его по его собственным законам. Тут должно ответить на вопросы: обладает ли он средствами выразить свою идею? Правильные ли средства он избрал? Тут у нас твердая почва под ногами. И мы уже не пытаемся изменить чужой облик, отказываемся от наших субъективных желаний и устанавливаем согласие относительно тех богом дарованных средств, которыми располагает художник, воплощая свою идею. В мусических искусствах эти средства — звуки и слова. В искусствах пластических это — краски и формы. Но звуки и слова, краски и формы, вообще все, чувственно воспринимаемое, — это все же только символ идеи, символ, рождающийся в душе художника в те минуты, когда ею овладевает святой мировой дух, его художественные создания — только символ, с помощью которого он свою идею сообщает другим. Тот,

кто наименьшим числом простейших символов скажет самое великое и самое значительное, тот величайший художник.

Но мне кажется, высшего признания заслуживают те символы, которыми художник выражает свою идею, которые, независимо от своего внутреннего смысла, сами по себе радуют наши чувства, подобно цветам селам, независимо от своего тайного смысла, милы и благоуханны и создают чудесный букет. Но всегда ли возможна такая гармония? Вполне ли свободна воля художника, когда он выбирает и сочетает свои таинственные цветы? Или он выбирает и сочетает только то, что должен выбирать и сочетать? На вопрос, существует ли эта мистическая несвобода воли, я отвечаю утвердительно. Художник подобен той принцессе-сомнамбуле, которая ночью в садах Багдада, исполненная глубокой мудрости любви, нарвала самых причудливых цветов и связала их в селам, смысла которого она уже не могла понять, когда проснулась. И вот она сидела поутру у себя в гареме и рассматривала букет, собранный ночью, и старалась разгадать его как забытый сон, и послала, наконец, возлюбленному халифу. Пытливейший евнух, относивший его, любовался красивыми цветами, не подозревая их смысла. Но Гарун-аль-Рашид, повелитель правоверных, наследник пророка, обладатель Соломонова перстня, сразу понял смысл прекрасного букета, сердце его радостно возликовало, и он расцеловал каждый цветок и так смеялся, что слезы текли по его длинной бороде.

Я не наследник пророка и не обладаю перстнем Соломоновым, нет у меня и длинной бороды, но все же я утверждаю, что чудный селам, привезенный с востока Декампом, я лучше понимаю, чем все евнухи вместе с кизляр-агою, великим знатоком, посредником в гареме искусства. Для меня прямо-таки невыносима болтовня этих кастрированных знатоков, в особенности их трафаретные выражения и благонамеренные советы юным художникам, жалкие ссылки на природу, и все только на любезную природу.

В искусстве я супернатуралист. Я считаю, что художник не может найти в природе нужные ему типы, но что самые значительные из них как бы путем открывения являются его душе, подобные врожденной символике врожденных идей. Один новейший эстетик, автор «Итальянских исследований», попытался восстановить в правах старый принцип подражания природе, утверждая, что художник должен все типы отыскивать в природе. Возводя это положение в высший основной закон пластических искусств, эстетик совершенно забыл о древнейшем из этих искусств, а именно об архитектуре, типы которой теперь задним числом стали усматривать в беседках и гротах, но которые, разумеется, не там были найдены впервые. Они заключены были не во внешней природе, а в человеческой душе.

Критику, который в картине Декампа не видит природы и упрекает его в том, что лошадь Хаджи-бея неестественно закидывает ноги и что у бегущих неестественный вид, — этому критику художник с уверенностью может ответить, что письмо его правдиво как сказка и что он был верен внутреннему прозрению — сну. Ведь, в самом деле, когда темные фигуры изображаются на светлом фоне, они уже тем самым приобретают бредовой облик; кажется, что они отделились от земли и требуют какой-то менее материальной, какой-то сказочно воздушной манеры письма. Смесь человеческого и звериного в физиономиях на картине Декампа представляет помимо всего необычный мотив; в таком смешении уже таится тот древний юмор, который греки и римляне сумели высказать в бесчисленных забавных изображениях чудовищ, являющихся нашему взору на стенах Геркуланума или в виде статуй сатиров, кентавров и т. д. Но от упрека в карикатуре художника защищает гармония его произведения, та восхитительная музыка красок, что звучит, правда, комически, но исполнена гармонии, очарование его колорита. Карикатуристы редко бывают мастерами

колорита, именно вследствие того душевного разлада, которым обуславливается их пристрастие к карикатуре. Мастерство колорита рождается в душе художника и зависит от единства его чувств. В оригиналах Гогарта в Национальной галлерее в Лондоне я видел только пестрые кляксы, перекрикивавшие друг друга, мятеж пронзительных красок.

Я забыл отметить, что на картине Декампа есть также и несколько молодых женщин, гречанок с непокрытыми лицами; они сидят у окна и смотрят на комическое шествие, ползущее мимо них. Их спокойствие и красота составляют несказанно прелестный контраст. Они не улыбаются: эта наглость, восседающая верхом, и бегущая подле собачья покорность — привычное для них зрелище, и мы тем сильнее чувствуем всю реальность нашего переселения на родину абсолютизма.

Только художник, являющийся гражданином республики, мог в радостном расположении духа писать эту картину. Другой, не француз, наложил бы краски погуще и позлее, он примешал бы немного берлинской лазури или, по крайней мере, немножко зеленой жолчи, и основная нота иронии была бы утрачена.

Чтобы долее не задерживаться на этой картине, быстро обращаюсь к другой, под которой можно было прочесть имя

ЛЕССОР

и которая всех привлекала к себе удивительной правдой и роскошью скромности и простоты. Нельзя было не смутиться, проходя мимо нее. «Больной брат» — так обозначена она в каталоге. В бедной мансарде, на бедной постели лежит больной мальчик и смотрит, с мольбой в глазах, на простое деревянное распятие, висящее на голой стене. В ногах у него сидит другой мальчик, с опущенными глазами, озабоченный, грустный. Его коротенькая курточка и штанишки хотя и опрятны, но все в заплатках и сшито из грубой материи.

Пожелтелое шерстяное одеяло и не столько мебель, сколько ее отсутствие, свидетельствуют о тоскливой нужде. Тратовка вполне соответствует сюжету. Она больше всего напоминает изображения нищих у Мурильо. Резко очерченные тени, мощный, твердый, серьезный штрих, краски, не торопливо намазанные, но наложенные смелой и спокойной рукой, необыкновенно приглушенные и все же не тусклые; общий характер манеры может быть обозначен словами Шекспира: *the modesty of nature* *. Окруженная блестящими картинами в сверкающих роскошных рамах, эта вещь тем сильнее должна была бросаться в глаза, что она была в старой раме, с почернелой позолотой — в полной гармонии с сюжетом и его трактовкой. Представляя во всем полную последовательность и контрастируя со всем окружающим, картина эта на каждого зрителя производила глубоко-меланхолическое впечатление и наполняла душу тем несказанным состраданием, которое охватывает нас порой, когда из освещенного зала, после веселой беседы, мы внезапно попадаем на темную улицу и к нам обращается оборванный брат-человек, жалующийся на голод и холод. Картина эта немногими штрихами говорит очень многое и многое пробуждает в нашей душе.

ШНЕЦ —

имя более известное. Но это имя я произношу не с таким удовольствием, как предыдущее, до сих пор редко упоминавшееся в художественных кругах. Быть может, потому, что любители искусства видали лучшие произведения Шнеца, они и ценят его так высоко, и в виду этого я в моем отчете должен отвести ему нумерованное место. Пишет он хорошо, но, по-моему, он — не первоклассный живописец. На нынешней выставке в его большой картине, изображающей итальянских крестьян,

* скромность естественности

которые молятся перед образом Мадонны о ниспослании исцеления, есть превосходные детали, совершенно исключительно удалась фигура мальчика, одержимого судорогами, в техническом отношении всюду сказывается большое мастерство; но в целом картина скорее средактирована, чем написана, персонажи ее находятся на сцене и декламируют, и нехватает внутренней сосредоточенности, непосредственности и цельности. Чтобы что-нибудь сказать, Шнецу нужно слишком много штрихов, а в том, что он говорит, есть лишнее. Великий художник — так же, как и посредственность — может порой создать и что-нибудь плохое, но никогда ничего лишнего. Возвышенность стремлений, величие целей могут, разумеется, заслуживать уважения и в посредственном художнике, но в его творчестве они производят очень неотрадное впечатление. Гений, парящий в высоте, пленяет нас именно той уверенностью, с которой он летит; нас тем сильнее радует высокий его полет, чем более мы уверены в неослабной мощи его крыльев, и наша душа доверчиво подымается в чистейшие солнечные выси искусства. Совсем не то, когда мы имеем дело с теми театральными гениями, глядя на которых, мы замечаем, что их с помощью веревок тащат вверх; созерцая их возвышенное положение, мы чувствуем только страх и каждую минуту трепещем, что вот-вот они сорвутся. Не буду решать, слишком ли тонки веревки, на которых воздымается Шнец, слишком ли тяжеловесен его талант; могу только сказать, что моей души он не возвысил, а напротив внушал ей чувство гнета.

В приемах и выборе сюжетов у Шнеца есть сходство с художником, имя которого в силу этого сходства часто упоминается в связи с ним, но который на нынешней выставке превзошел не только его, но, за малыми исключениями, и всех своих собратьев по искусству и при раздаче наград, как доказательство общественного признания, получил офицерский крест Почетного легиона.

Л. РОБЕР —

имя этого художника. Исторический он живописец или жанрист? Слышу уже, как задают мне этот вопрос немецкие цеховые мастера. К сожалению, я не могу обойти здесь этот вопрос и должен условиться насчет этих невразумительных терминов, чтобы раз навсегда предотвратить крупнейшие недоразумения. Это различие исторической и жанровой живописи вносит такую путаницу, что можно было бы подумать, будто оно — изобретение художников, трудившихся над постройкой вавилонской башни. Однако оно более позднего происхождения. В первые времена искусства была только историческая живопись, а именно — картины из священной истории. Впоследствии исторической живописью стали называть картины, сюжеты которых были заимствованы не только из библии, из предания, но также из светской истории и языческой мифологии, и притом в противоположность изображениям будничной жизни, появившимся преимущественно в Нидерландах, где протестантский дух не допускал католических и мифологических сюжетов, где, быть может, для этих сюжетов не нашлось бы и натуры и где их никогда не понимали, но где жило так много выдающихся художников, которым надо было чем-нибудь заняться, и так много ценителей живописи, любивших покупать картины. Различные явления будничной жизни и стали тогда предметом различных жанров.

Много было художников, замечательно выражавших юмор мещанского быта, но к сожалению все поглощалось техническим мастерством. Однако для нас все эти картины представляют исторический интерес, ибо когда мы созерцаем прелестные картины Мириса, Нетшера, Яна Стена, ван-Доу, ван-дер-Верфта и т. д., нам открывается дух их времени, мы заглядываем, так сказать, в окна шестнадцатого столетия и видим дела и одеяния того времени. Что касается последних, то нидерландские художники находились в довольно благоприятных условиях: крестьянские одежды были жи-

вописны, мужские костюмы в городском сословии представляли премилое сочетание испанской *grandeza* и нидерландского уюта, женские же костюмы — пеструю смесь всесветной фантазии и туземной флегмы. Так, *суп heer* *, щеголявший в бургундском бархатном плаще и пестрой рыцарской шапке, курил глиняную трубку; *мифроу* ** носила тяжелые платья со шлейфами из переливчатого венецианского атласа, брюссельские кружева, привезенные из Африки страусовые перья, русские меха, западно-восточные туфли, а в руках у нее была или андалузская мандолина, или косматая коричневая *hondchen* *** саардамской породы: слуга-мавр, турецкий ковер, пестрые попугаи, чужестранные цветы, тяжелая золотая и серебряная утварь с разросшимися арабесками — все это бросало отблеск прямо-таки восточной сказки на эту маслянистую, как голландский сыр, жизнь.

Когда, после долгого сна, искусство снова пробудилось в наше время, художники оказались в немалом затруднении — что изображать. Симпатии к сюжетам из священной истории и мифологии совершенно угасли в большей части европейских стран, даже в странах католических, а костюмы современников были как-никак слишком неживописны, чтобы могли создаться благоприятные условия для картин из истории нашего времени и будничной жизни. Действительно, в нашем современном фраке есть что-то бесконечно прозаическое, позволяющее воспользоваться им в картине только с целью пародии. Художники, будучи того же мнения, стали поэтому искать живописных костюмов. Благодаря этому особенно могла развиваться любовь к сюжетам из исторического прошлого, а в Германии мы видим целую школу, у которой, правда, нет недостатка в талантах, но которая вечно старается облачить человека современного и с современными чувствами

* господин

** госпожа

*** собачка

в гардероб католического и феодального средневековья, в плащи и панцири. Другие художники прибегли к другому средству: для своих картин они стали выбирать такие племена, с которых завоевания цивилизации не стерли оригинальности и не сняли национальных костюмов. Отсюда — сцены из жизни Тироля, которые мы так часто видим на картинах мюнхенских художников. Эти горы так близко от них, а костюмы их обитателей живописнее, чем костюм наших денди. Отсюда же — эти радостные картины из итальянской народной жизни, которая также очень близка большинству живописцев, живущих в Риме, где они находят ту идеальную природу и те исконные прекрасные человеческие формы и живописные костюмы, по которым томится сердце художника.

Робер — родом француз, в молодости гравер, впоследствии прожил в Риме ряд лет, и картины, которые он показал в этом году на выставке, относятся к только что упомянутому жанру, к картинам из итальянской народной жизни. «Так, значит, он жанрист», — слышу я, говорят цеховые мастера, и я знаю некую госпожу, историческую живописицу, которая теперь вздергивает нос, когда речь заходит о нем. Я, однако, не могу согласиться с этим обозначением, ибо исторической живописи в старом смысле слова больше и не существует. Было бы слишком неопределенно, если бы ко всем картинам, выражающим глубокую мысль, стали применять это название, а затем, по поводу всякой картины, стали спорить, выражает ли она какую-нибудь мысль, — спор, в результате которого удастся выиграть какое-нибудь слово. Быть может, если бы это название — историческая живопись — употреблялось в своем самом естественном смысле, для обозначения картин из мировой истории, оно было бы вполне применимо к жанру, который сейчас так пышно разрастается и расцвет которого уже сказывается в шедеврах Делароша.

Однако, прежде чем обсуждать их более подробно, я еще позволю себе сказать несколько беглых слов

о картинах Робера. Все они, как я уже указал, изображают итальянскую жизнь, чудесно показывая всю приветливую прелесть этой страны. Искусство, долгие годы украшение Италии, превращается теперь в чичероне ее великолепия, красноречивые краски художника открывают нам ее сокровеннейшие чары, вновь воскресает старое волшебство, и страна, покорявшая нас некогда оружием, а позднее — словом, покоряет нас теперь своей красотой. Да, Италия вечно покоряет нас, и художники, подобные Роберу, вновь приковывают нас к Риму.

Если не ошибаюсь, то публика уже знакома по литографиям с «Пиферари» Робера, которые появились теперь на выставке и представляют тех дудочников-албанцев, что на Рождество приходят в Рим, музицируют перед статуями Мадонны и, так сказать, поют матери божией священные серенады. На этой картине рисунок удачнее, чем краска, в ней есть что-то жесткое, хмурое, болонское, словно в раскрашенной гравюре. И все же она трогает, как будто слышится наивно-набожная музыка, которую насвистывают эти пастухи албанских гор.

Не так проста, но, пожалуй, глубже по смыслу другая картина Робера, где мы видим покойника, которого «милосердые братья» несут хоронить в открытом гробе по итальянскому обыкновению. Братство, в совершенно черных облачениях, в черных капюшонах, с двумя отверстиями, откуда зловец выглядывают глаза, шествует словно процессия призраков. Спереди, на скамейке, лицом к зрителю, сидят отец, мать и маленький брат покойного. Старик, бедно одетый, в глубоком горе, опустив голову и сложив руки, сидит посередине между женой и мальчиком. Он молчит, ибо нет в мире горя большего, чем горе отца, если он, вопреки законам природы, переживает свое дитя. Мать с бледножелтым лицом, должно быть, вопит в отчаянии. Мальчик, бедный дурачок, держит хлеб в руках, ему хочется поест этого хлеба, но ему и куска не проглотить — мешает

неосознанное горе, и тем грустнее у него вид. Повидимому, покойник — старший сын, краса и опора семьи, коринфский столп дома, и вот он, цветущий юношью, приветливый, чуть ли не улыбающийся, лежит в гробу, так что жизнь на этой картине кажется нам мрачной, безобразной и скорбной, смерть же — бесконечно прекрасной, даже приветливой и едва ли не улыбается.

Художнику, так прекрасно преобразившему смерть, все же с еще большим блеском удалось изобразить жизнь: его великий шедевр — «Жнецы» — как бы является апофеозом жизни; глядя на эту картину, забываешь, что есть царство теней, и начинаешь сомневаться, может ли где быть светлее и прекраснее, чем на этой земле. «Земля — это небо, и люди святые как боги», — вот великое откровение, которое блаженными красками сверкает на этой картине. Будь это евангелие в красках написано святым Лукою, парижская публика оказала бы ему худший прием. Относительно последнего у парижан сложилось слишком уж неблагоприятное предвзятое мнение.

На картине Робера мы видим пустынную местность в Романье, озаренную итальянски ярким вечерним солнцем. Центр картины — крестьянская повозка, которую тащат в упряжке из тяжелых цепей два огромных вола, а в ней крестьянская семья, только-что остановившаяся на отдых. Направо, подле своих снопов, сидят жницы и отдыхают от работы, и тут же какой-то малый играет на волынке, а другой весельчак с таким блаженным видом отплясывает под эти звуки, и кажется, будто слышишь и мелодию, и слова:

Damigella, tutta bella,
Versa, versa il bel vino! *

Налево, неся плоды жатвы, тоже идут женщины, молодые и прекрасные, цветы, нагруженные колосьями, и два молодых жнеца, из которых один потупил глаза

* Прекраснейшая из девушек, лей, лей прекрасное вино!

и как-то сладострастно млеет, другой же ликующе взмахивает серпом. Посередине между волами стоит коренастый юноша с загорелой грудью, он, повидимому, всего-навсего работник и отдыхает стоя. Наверху, в повозке, лежит на чем-то мягком дед, кроткий усталый старец, который духовно, однако, быть может, управляет семейной повозкой; по другую сторону мы видим его сына, спокойного, смелого, мужественного человека, который с поджатыми ногами сидит на спине одного из буйволов, держа в руке зримый символ власти — бич; несколько выше, почти что в вышине, стоит молодая красавица-жена, с ребенком на руках — роза и почка, а рядом с ней — юноша, такой же цветущий, как она, — верно, брат, — он как-раз собирается разбить палатку. Эту картину, как я слышал, гравюры сейчас, и, может быть, уже через месяц она в виде гравюры отправится в Германию, почему я и воздерживаюсь от дальнейшего описания. Но гравюра, так же как и любое описание, не может передать своеобразной прелести картины. Эта прелесть — в колорите. Фигуры, все более темные, чем фон картины, так божественно, так волшебным освещены отблесками неба, что сами по себе сверкают радостно-ясными красками, и все-таки все контуры четко вырисовываются. Некоторые лица кажутся портретами. Но художник не копировал природу, не следовал глупо честной манере иных своих коллег и не воспроизводил лиц с дипломатической точностью; нет, Робер — как остроумно заметил один из моих приятелей — сперва принял в свою душу те образы, которые дала ему природа, и вот, подобно тому, как души в чистилище не теряют своей индивидуальности, но избавляются от земной грязи, чтобы затем в блаженстве вознестись на небеса, — так и эти образы очистились и просветлели в пылающих огненных глубинах души художника, чтобы, сверкая светом, вознестись на небо искусства, где тоже царит вечная жизнь и вечная красота, где Венере и Марии никогда не изменяют их поклонники, где Ромео

и Юлия никогда не умирают, где Елена сохраняет вечную молодость и где Гекуба, по крайней мере, хоть не стареет.

На колорите картины Робера сказывается изучение Рафаэля. Вспомнить о нем заставляет также архитектурная красота группировок. Также и отдельные фигуры, в частности мать с младенцем, напоминают фигуры с картин Рафаэля, и притом самого раннего периода, когда он, правда, с поразительной точностью, передавал строгие типы Перуджино, но вместе с тем все же прелестно смягчал их.

Мне и в голову не придет проводить параллель между Робером и величайшим художником католической эры. Но не могу не указать на их родство. Это, однако, только родство материальных форм, не духовное родство, не родство душ. Рафаэль весь проникнут католическим христианством, религией, выражающей борьбу духа с материей или неба с землей, ставящей себе целью подавление материи, называющей грехом всякий ее протест и стремящейся одухотворить землю или, вернее, принести землю в жертву небу. Но Робер принадлежит к народу, в котором католицизм угас. Ибо, заметим вскользь, слова хартии, что католицизм является религией большинства народа, не что иное, как французская любезность по отношению к Собору богородицы, которая, со своей стороны, не менее учтиво носит на голове три цвета свободы, — двойное лицемерие, против которого грубая чернь протестовала в несколько уродливой форме, разрушая храмы и стараясь приучить изображения святых плавать в водах Сены. Робер — француз и, как большая часть его соотечественников, он бессознательно подчиняется еще не сбросившей покрова доктрине, которая ничего не хочет знать о борьбе духа с материей, которая не запрещает человеку наслаждения верными земными благами и взамен не обещает ему в будущем тем больших радостей небесных, которая, напротив, стремится уже и здесь на земле, даровать человеку блаженство и для которой чувствен-

ный мир так же свят, как мир духовный, «потому что бог — это все сущее». Поэтому жнецы Робера не только безгрешны, но и не знают греха, их земное дело — молитва, они молятся непрестанно, не шевеля губами, они блаженны и без рая, прощены без искупительных жертв, чисты без постоянных омовений, истинно святы. И если на католических картинах только голова как седалище духа, бывает окружена ореолом, который и символизирует одухотворение, то, напротив, на картине Робера освящается и материя, и человека всего целиком — и тело его, и голову — озаряет, словно нимб, небесный свет.

Но католицизм не только угас в новой Франции, он не имеет здесь даже и отраженного влияния на искусство, как в нашей протестантской Германии, где благодаря поэзии, оживляющей все минувшее, он получил новую силу. Быть может, католические традиции отвращает французам затаенная, еще не умершая злоба; между тем ко всему историческому они проявляют живой интерес. Это наблюдение я могу подтвердить фактом, который, в свою очередь, можно объяснить этим наблюдением. Число картин, посвященных христианским сюжетам, как из старого завета, так и из нового, как из области предания, так и из области апокрифа, столь незначительно на нынешней выставке, что даже мелкие подразделения некоторых светских жанров представлены гораздо большим числом произведений, и произведений, действительно, более совершенных. По точному подсчету, на три тысячи номеров каталога оказывается только двадцать девять картин на религиозные темы, тогда как картин, изображающих только сцены из романов Вальтера Скотта, насчитывается более тридцати.

Таким образом, говоря о французской живописи, я не подам повода к недоразумению, если названиями «историческая картина» или «историческая школа» буду пользоваться в их самом естественном значении.

ДЕЛАРОШ —

корифей этой школы. Этому художнику прошлое дорого не само по себе, но как материал для картин, воплощающих его дух, для историографии в красках. Эта склонность проявляется сейчас у большей части французских художников: выставка была полна исторических картин, и самого почетного упоминания заслуживают имена Девериа, Стейбена и Жоанно.

Деларош, великий исторический живописец, выставил в этом году четыре вещи. Две относятся к французской истории, две — к английской. Первые две — одинаково небольшие по размерам, едва ли больше так называемых кабинетных портретов; на них — множество фигур и они очень живописны. Одна из них изображает кардинала Ришелье, который, «уже смертельно больно́й плывет из Тараскона вверх по Роне, а в лодке, привязанной сзади к его собственной лодке, везет в Лион Сен-Марса и де-Ту, чтобы обезглавить их там». Две лодки, плывущие одна вслед за другой, — концепция правда, не художественная, но в трактовке ее здесь виден большой вкус. Колорит блистателен, даже ослепителен, и фигуры прямо плавают в лучистом золоте заката. И тем печальнее контраст, который это сияние составляет с судьбой, ожидающей трех главных персонажей. Двух цветущих юношей везут на казнь, и везет их умирающий старец. Как ни пестро разукрашены эти лодки, все-таки они плывут в царство теней — царство смерти. Пышные золотые лучи солнца — это приветы разлуки, уже наступил вечер, и солнце должно зайти; оно еще уронит на землю кроваво красную полосу, и вот — наступит ночь.

Так же блистает красками и полна такого же трагического смысла другая историческая картина, которая, в параллель к первой, тоже изображает умирающего кардинала и министра — Мазарини. Он лежит на пестром парадном ложе, в пестром окружении веселых придворных и слуг, которые болтают, играют в карты и расхаживают взад и вперед, — переливающиеся

красками, ненужные существа, особенно ненужные у смертного ложа. Красивые костюмы времен Фронды, еще не обремененные золотыми кистями, нашивками, лентами и кружевами, как впоследствии, в великолепную эпоху Людовика XIV, когда последние рыцари превратились в придворных кавалеров, совершенно так же, как их старые боевые мечи мало-помалу становились все тоньше, пока, наконец, не выродились в глупые модные шпажонки. Одежды на картине, о которой я говорю, еще просты, камзолы и колеты еще напоминают о военном ремесле дворянства, да и перья на шляпах полны задора и не двигаются еще по воле придворного ветра. Волосы мужчин падают на плечи волнами еще живых кудрей, а на головах дам — игривая прическа à la Севинье. Все же в платьях дам чувствуется уже переход к длинношлейфной, раздувающейся фижмами безвкусице позднейшего периода. Но корсеты еще наивно изящны, и белые прелести выступают из них словно цветы, сыплющиеся из рога изобилия. На картине все сплошь красавицы, прелестные придворные маски: на лицах улыбки любви, в сердце же, быть может, серое уныние; уста невинные, как цветы, а за ними — злой язычок, хитрая змея. Посмеиваясь и шушукаясь, налево от больного, сидят три дамы и рядом с ними — тонкоухий, востроглазый священник с насторожившимся носом. По правую сторону сидят три кавалера и дама, они играют в карты — должно быть, в ландскнехт — прекрасную игру, в которую я и сам играл в Геттингене и выиграл однажды шесть талеров. Знатный вельможа в бархатном темнолиловом плаще с красным крестом стоит посередине комнаты и, расшаркиваясь, отвешивает поклон. Направо, с краю картины, прогуливаются две придворные дамы и аббат, который одной из них дает прочесть какую-то бумажку, быть может, сонет собственного изготовления, а другой строит глазки. Та быстро обмахивается веером, — жест, служащий воздушным телеграфом любви. Обе дамы — прелестнейшие существа, одна — цветущей

щая утренним румянцем, как роза, другая же — как бы жаждающая сумерек, словно меланхолическая звезда. В глубине тоже расселись, болтая, придворные и, быть может, рассказывают друг другу всякие закулисные государственные секреты или, пожалуй, бьются об заклад, что через час Мазарини будет мертв. А дело как-будто и вправду идет к концу: лицо бледное, как у покойника, глаза помутились, нос подозрительно заострился, в душе постепенно угасает то мучительное пламя, которое мы называем жизнью, мрак и холод воцаряются там, ангел ночи крылом своим уже коснулся его чела; в эту минуту к нему обращается дама, занятая игрой, и показывает ему свои карты и как-будто спрашивает его — козырять ли ей червями.

Другие две картины Делароша рисуют образы из английской истории. Обе в натуральную величину и написаны более просто. На одной из них показаны в Тоуэре оба принца, которых приказал убить Ричард III. Юный король и его младший брат сидят на старинного вида постели, а их маленькая собачка бросается на дверь, как-будто возвещая своим лаем приближение убийц. Юный король, наполовину еще отрок и наполовину уже юноша, — чрезвычайно трогательный образ. Король-узник, как справедливо заметил Стерн, уже сам по себе представляет печальную мысль, здесь же король-узник — еще почти ребенок, невинный, беспомощный, отданный в руки коварному убийце. Несмотря на свой нежный возраст, он, повидимому, уже много страдал; его бледное, болезненное лицо отмечено уже трагической величавостью, а ноги в синих бархатных башмаках с длинными носками, свисающие с постели и не касающиеся пола, даже придают ему какой-то надломленный вид, напоминающий сорванный цветок. Все это, как я сказал, очень просто и оставляет тем более сильное впечатление. Ах! Я еще сильнее был потрясен этой картиной, ибо на лице несчастного принца я узнал милые глаза моего друга, так часто улыбавшиеся мне и связанные прелестным родством с еще

более милыми глазами. Всякий раз, что я стоял перед картиной Делароша, мне вспоминался прекрасный замок в милой Польше, где я стоял перед портретом друга и говорил о нем с его прелестной сестрой и украдкой сравнивал ее глаза с глазами друга. Мы говорили также о художнике, написавшем портрет и недавно умершем, и о том, как люди умирают один за другим... Ах! Мой дорогой друг и сам теперь уже мертв, он убит под Прагой, прелестные глаза прекрасной сестры угасли тоже, замок ее сгорел, и на душе у меня тревожно одиноко, когда подумаю, что не только люди, дорогие нам, так быстро уходят из жизни, но что даже место, где мы жили с ними, исчезает без следа, как-будто его никогда и не было, как-будто все это — лишь сон. Однако еще более мучительные чувства пробуждает другая картина Делароша, изображающая другую сцену из английской истории. Это — сцена из той жуткой трагедии, которая переведена была и на французский язык и стоила стольких слез по обе стороны пролива и которой так глубоко потрясен немецкий зритель. На картине представлены оба героя пьесы; один лежит в гробу, а другой, полный жизненной силы, приподымает крышку гроба, чтобы взглянуть на мертвого врага. Или, быть может, это не сами герои, а только актеры, которым директор вселенной назначил роли и которые, сами того не зная, воплощали два борющихся принципа? Я не стану называть здесь эти два враждебных принципа, две великие идеи, боровшиеся, быть может, в груди бога-творца, которые мы видим на этой картине, — одну, в лице Карла Стюарта, позорно раненую, исходящую кровью, а другую, в лице Оливера Кромвеля, дерзкую и победоносную.

В одной из сумрачных зал Уайтхолла стоит на темно-красных бархатных стульях гроб с обезглавленным королем, а перед гробом стоит человек, спокойной рукой приподымающий крышку и созерцающий труп. Этот человек стоит там совсем один; он широкоплеч и коренаст, осанка его небрежна, лицо грубое и честное.

Он одет, как обыкновенный солдат, пуритански просто: на нем длинный темного бархата плащ, из-под которого видна желтая замшевая куртка; кавалерийские сапоги, такие высокие, что черные панталоны почти не заметны; через плечо — засаленная, желтая португеза, на которой висит шпага с круглой рукоятью; темные коротко остриженные волосы прикрыты черной шляпой с приподнятыми полями и красным пером; белый отложной воротник, под которым видны еще латы; грязные желтые замшевые перчатки; одной рукой, касаясь рукояти шпаги, он придерживает короткую трость, а другой рукой держит крышку гроба, в котором лежит король.

Обычно у покойников такое выражение лица, что рядом с ними живой человек кажется чем-то незначительным, ибо ему далеко до их гордого бесстрастия и гордой холодности. И люди это чувствуют, и часовые из уважения к высокому званию мертвеца отдают честь и делают на караул, когда мимо проходят похороны, хотя бы то были похороны самого ничтожного портняжки. Поэтому вполне понятно, как невыгодно положение Кромвеля рядом с мертвым королем. Король, преображенный мученичеством, освященный величием несчастья, с драгоценным пурпуром вокруг шеи, с поцелуем Мельпомены на побелевших устах, составляет оскорбительнейший контраст с этой грубой и плотной фигурой живого пуританина. Да и с одеждой последнего разительно глубоко контрастируют последние остатки павшего величия — пышная зеленая шелковая подушка в гробу, изящество ослепительно белого савана, украшенного брабантскими кружевами.

Какую великую мировую скорбь немногими чертам выразил здесь художник! Вот она, некогда радость человечества, краса его, лежит жалкая, истекающая кровью. Жизнь Англии с тех пор стала серой и бесцветной, и поэзия в ужасе бежала из страны, где в былые дни она расточала свои самые радостные краски. Как глубоко почувствовал я это, однажды в полночь

проходя мимо рокового окна Уайтхолла, дрожа от ледяного холода, которым обдавала меня сырая проза нынешней Англии! Но почему не охватило мою душу то же глубокое чувство, когда я недавно в первый раз проходил по той страшной площади, где умер Людовик XVI? Думаю, потому что он, умирая, уже не был королем, потому что он уже лишился короны прежде, чем пала его голова. А король Карл лишился короны вместе с головой. Он верил в эту корону, в свое абсолютное право; за нее он боролся, как рыцарь, — смелый и стройный. Он умер аристократически гордо, отвергая права своих судей, истинный мученик королевской власти милостью божией. Бедный Бурбон не заслуживает этой славы, голова его была уже развенчана якобинским коллаком; он больше не верил в себя, он твердо верил в полномочия своих судей, он только доказывал свою невинность; он был действительно мещански добродетелен, этот хороший, не слишком тощий отец семейства; смерть его носит скорее сентиментальный, чем трагический характер, она слишком уж напоминает семейные романы Августа Лафонтена: почтим же слезой Людовика Капета, лавром — Карла Стюарта! «Un plagiat infame d'un crime étranger»*, — вот слова, которыми виконт Шатобриан характеризует грустное событие, совершившееся однажды, 21 января, на площади Согласия. Он предлагает соорудить на этом месте фонтан, струя которого вырывалась бы из большого бассейна черного мрамора, омывая «вы сами знаете что», прибавляет он патетически таинственно. Вообще смерть Людовика XVI — это траурный парадный конь, на котором постоянно красуется благородный виконт: уже давно эксплуатирует он вознесение на небо сына святого Людовика, причем та утонченная ядовитость, с которой он декламирует, его грандиозные траурные остроты как раз и не свидетельствуют об истинном горе. Всего ужаснее, когда слова его находят отголосок в сердцах Сен-

* Позорный плагиат чужого преступления

Жерменского предместья, когда старые кружки эмигрантов с лицемерными вздохами начинают оплакивать Людовика XVI, как будто они действительно принадлежит им, как будто он действительно принадлежит им, как будто им дана особая привилегия скорбеть о его смерти. И все же эта смерть была всеобщим, всемирным несчастьем, которое и ничтожнейшего поденщика задело так же, как и высочайшего церемониймейстера Тюильри, и беспредельной скорбью должно было наполнить всякое чувствующее человеческое сердце. О, хитрая эта родня! С тех пор как она больше не может узурпировать наши радости, она узурпирует наши печали.

Быть может, пора, с одной стороны, признать за всем народом право на эту печаль, чтобы он не слушал людей, уверяющих его, будто короли принадлежат не ему, а немногим избранным, имеющим привилегию оплакивать всякое королевское несчастье, как свое собственное; с другой стороны, быть может, пора высказать вслух эту печаль, ибо опять появились теперь ледянистые мудрые государственные философы, которые в своем логическом безумии хотят, диспутируя, вырвать из нашего сердца все благоговение, внушаемое древним таинством монархии. Однако мрачную причину этой печали мы отнюдь не назовем плагиатом, еще менее — преступлением и уж менее всего — позором; мы назовем ее предопределением божьим. Ведь мы были бы слишком высокого мнения о людях и вместе с тем слишком глубоко презирали бы их, если бы могли приписать им такую чудовищную силу и вместе с тем столько преступности, если бы решили, что они по собственной воле пролили ту кровь, следы которой Шатобриан собирает смыть водой из какой-то черной лохани.

Действительно, если взвесить обстоятельства того времени и собрать свидетельства очевидцев, которые еще живы, станет ясно, какую малую роль сыграла здесь свободная человеческая воля. Многие, собиравшиеся подать голос против казни, делали совсем не то, когда подымались на трибуну, и ими овладевало темное

безумие политического отчаяния. Жирондисты чувствовали, что они тут же произносят и свой собственный смертный приговор. Многие речи, произнесенные по этому случаю, сказаны были только ради самооглушения. Аббат Сиес, которому стало тошно от мерзкой болтовни, совершенно просто подал голос за смерть и, сойдя с трибуны, сказал своему другу: «J'ai voté la mort sans phrases» *.

Но злая молва во вред ему воспользовалась этим частным пояснением; жуткие слова «la mort sans phrases» пали бременем, как парламентское изречение, на самого кроткого человека и напечатаны во всех учебниках, и школьники учат их наизусть. 21 января, как уверяют меня все, во всем Париже царили смущение и скорбь; даже самые яростные якобинцы, казалось, подавлены были мучительной тревогой. Мой всегдашний возница, старый санюлот, рассказывал мне, что, когда он смотрел на казнь короля, он почувствовал «как-будто у него самого отрезали какой-то член». Он прибавил: «Сделалась боль в животе, и весь день у меня было отвращение к пище». Да и «Старый вето», по его словам, казался очень беспокоен, словно хотел защищаться. Во всяком случае, он умер не так величаво, как Карл I, который сперва произнес длинную речь протеста, причем так владел собою, что несколько раз просил окружавших его дворян не трогать топора, чтобы он не иступился. Тайносно замаскированный уайтхоллский палач тоже производил более страшное и поэтическое впечатление, чем Сансон с открытым лицом. И придворные, и палач сбросили последнюю маску, и это было прозаическое зрелище. Быть может, Людовик произнес бы длинную христиански примирительную речь, если бы при первых же словах не начали с такой силой бить в барабан, что едва ли можно было услышать его уверения в своей невинности. Величавые слова, сопровождавшие вознесение его и вечно парафразируе-

* Я подал голос за смерть без всяких фраз

мые Шатобрианом и его товарищами: «Fils de Saint-Louis, monte au ciel!» * — слова эти вовсе не были сказаны на эшафоте, они вовсе не соответствуют трезвому будничному характеру доброго Эджворса, которому они вложены в уста, и являются изобретением современника-журналиста, Карла Гисса, который и напечатал их в тот самый день. Конечно, эта поправка совершенно бесполезна; слова эти имеются во всех компендиях, они давно уже заучиваются наизусть, а тут бедным школьникам пришлось бы еще запоминать, и также наизусть, что слова эти никогда не были сказаны.

Нельзя не согласиться, что Деларош своей картиной сознательно дал повод к историческим сравнениям, и как между Людовиком XVI и Карлом I, так и между Кромвеллем и Наполеоном постоянно проводились параллели. Но я должен сказать, что, сравнивая их друг с другом, мы к ним несправедливы, ибо если Наполеон не запятнал себя страшным кровавым преступлением (казнь герцога Ангиенского была обыкновенным убийством), то Кромвель никогда не опускался до того, чтобы от священника принять помазание на царство и домогаться коронованного родства с цезарями, изменив матери-революции. В жизни одного из них — кровавое пятно, в жизни другого — пятно масляное. Но оба они чувствовали тайную вину. Бонапарту, который мог стать Вашингтоном Европы, а стал всего лишь ее Наполеоном, всегда было не по себе в пурпурной императорской мантии. Свобода, как призрак убитой матери, преследовала его, он всюду слышал ее голос. Даже ночью, лежа в объятиях легитимности, вступившей с ним в законный брак, пугался он этого голоса и начинал тогда носиться по гулким залам Тюильри, гневался и кричал; утром же, появляясь бледный и усталый в государственном совете, жаловался на идеологию, и все-то на идеологию, на весьма опасную идеологию, и Корвизар качал головой.

* Сын св. Людовика, подымайся на небо!

Если Кромвель тоже не мог спокойно спать и ночью в страхе бегал по Уайтхоллу, то преследовал его не окровавленный призрак короля, как полагали благочестивые кавалеры, но страх перед живыми мстителями; он боялся реальных кинжалов своих врагов, и потому-то всегда носил латы под камзолом и становился все подозрительнее, а когда появилась книжечка: «Умерщвлять не значит убивать», Оливер Кромвель уж совсем перестал улыбаться.

Но если, проводя параллель между императором и протектором, мы не видим большого сходства, то тем большую пищу для сравнений дают ошибки Стюартов и Бурбонов вообще и период реставрации в обеих странах. Это как-будто история одного и того же падения. И в новой династии — тот же quasi-легитимизм, как некогда в Англии. Снова, как прежде, куется в очаге иезуитства священное оружие, душеспасительница-церковь вздыхает и так же интригует в пользу «чудесного отрока», и нехватает только, чтобы французский претендент, так же как некогда английский, вернулся в отечество. Что ж, пусть возвращается! Пророчу ему участь, противоположную участи Саула, который разыскивал ослон своего отца, а нашел корону: юный Генрих прибудет во Францию и будет искать корону, а найдет здесь только ослон своего отца.

Посетителей выставки больше всего занимал вопрос: что думает Кромвель у гроба мертвого короля? Предание об этой сцене существует в двух версиях. По одной из них, Кромвель велел ночью, при свете факелов, открыть гроб и долго стоял перед ним с искаженным лицом, неподвижный, словно немое изваяние. По другому преданию, он открыл гроб днем, спокойно посмотрел на труп и сказал: «Он был крепкого сложения и еще долго мог бы жить». По-моему, Деларош имел в виду эту более демократическую легенду. Лицо его Кромвеля не выражает никакого смущения или удивления, никакой душевной бури; напротив, зрителя потрясает это зловещее, страшное спокойствие его

лица. Вот стоит она, эта крепкая, непоколебимая, как земля, «грубая, как сама действительность» фигура, могущественная без пафоса, демонически естественная, поразительно заурядная, заклятая и замороженная, и вот она смотрит на дело рук своих, как дровосек, только-что поваливший дуб. Он спокойно повалил этот дуб, который некогда так горделиво осенял своими ветвями Англию и Шотландию, королевский дуб, в тени которого расцвело столько прекрасных человеческих поколений и вокруг которого эльфы поэзии носились блаженнейшим хороводом; он спокойно срубил его злополучным топором, и вот лежит поверженный дуб со всей своей прелестной листвой и верхушкой, оставшейся невредимой... Злополучный топор!

— Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement? * — эти слова проквалика стоявший позади меня британец и прервал те чувства, которые я только-что описал и которые наполняли мою душу, пока я смотрел на шею Карла, как ее изобразил Деларош. Рана слишком уж яркая и кровавая. Крышка гроба совсем не удалась и придает ему вид футляра от скрипки. В остальном же картина эта написана с неподражаемым мастерством, сочетая в себе тонкость ван-Дейка и смелость теней Рембрандта; в особенности напоминает она мне воинственные фигуры республиканцев на большой исторической картине Рембрандта «Ночная стража», которую я видел в амстердамском Trippenhuis.

Манера Делароша, равно как и большей части его соратников, вообще ближе всего к фламандской школе, с той лишь разницей, что французская грация трактует сюжеты с большим изяществом и легкостью и что французская изысканность скользит по ним мило поверхностно. Поэтому мне хочется назвать Делароша грациозным, изысканным фламандцем.

В другом месте я, быть может, опишу те разговоры, которые мне так часто приходилось слышать вокруг

* Не находите ли вы, сёр, что гильотина — великое усовершенствование?

его Кромвеля. Вряд ли где с большим успехом можно подслушивать чувства толпы и общественное мнение. Картина висела в большой зале при входе в длинную галлерею, а рядом висел столь же глубокий по смыслу шедевр Робера, казалось, утешая и примиряя. И действительно, если воинственный, суровый пуританин, жуткий жнец со срезанной его серпом королевской головой, выступая из темной глубины, потрясал зрителя и расшевеливал в нем все политические страсти, то все-таки душу его сразу же успокаивал вид тех других жнецов, что расцветали в ясном солнечном свете, возвращаясь на праздник любви и мира с жатвой более прекрасной. Если, глядя на первую картину, мы чувствуем, что великая борьба нашего времени еще не кончена, что почва еще колеблется под нашими ногами; если здесь мы еще слышим грохот бури, угрожающей разрушить мир; если здесь мы видим зияющую бездну, жадно глотающую потоки крови, и нас охватывает невыразимый страх гибели, то на другой картине мы видим, как незыблемо спокойна земля и с какой неизменной любовью отдает она свои золотые плоды, хотя бы по ней проносилась с топотом вся мировая римская трагедия, со всеми ее гладиаторами и цезарями, пороками и слонами. Если на одной картине мы видим ту историю, что так бессмысленно несетя по грязи и крови, часто на целые века по-дурарки останавливается на одном месте, а потом вдруг опять беспомощно быстро срывается с места и мечется во все стороны и которую мы называем всемирной историей, то на другой картине мы видим иную историю, еще более величественную, хоть для нее и достаточно места на повозке, запряженной буйволами, историю без начала и без конца, которая вечно повторяется и так же проста, как море, как небо, как времена года, священную историю, которую изображает поэт и которой архив сохраняется в каждом человеческом сердце, — историю человечества!

Право же, благотворно и отрадно было соседство картин Робера и Делароша. Не раз, наглядевшись

на Кромвеля и совершенно погрузившись в него так, что, казалось, мне становились вняты его мысли, односложно жесткие слова, уныло ворчливые и шипящие, в духе той английской речи, что напоминает далекий грохот моря и крик птиц, вестниц бури, — я снова слышал тайный зов тихих чар соседней картины, и мне чудилось, что я внимаю радостной гармонии, что сладостная тосканская речь звучит в римских устах, и на душе у меня становилось ясно и спокойно.

Ах! Так необходимо, чтобы милая, неизменная, мелодическая история человечества утешала нас среди крикливого шума всемирной истории. В эту самую минуту грознее и оглушительнее, чем когда бы то ни было, доносится с улицы этот крикливый шум, эта ошеломляющая разноголосица; свирепствуют барабаны, звенит оружие, парижский народ — возмущенное человеческое море — с дикими криками и проклятиями несетя по улицам и воет: «Пала Варшава! Пал наш авангард! Долой министров! Война России! Смерть пруссакам!» Мне трудно усидеть за письменным столом и, храня спокойствие, продолжать дописывать мою бедную эстетическую статью, мой мирный отчет о выставке. А ведь если я спущусь на улицу и меня признают за пруссака, то какой-нибудь июльский герой разможжит мне голову, и все мои мысли об искусстве будут раздавлены; а то еще ткнут меня штыком в левый бок, где сердце мое и без того уже истекает кровью, или в довершение всего возьмут меня под стражу, как мятежного чужеземца.

Под этот шум смешиваются и срываются с мест все мысли и картины. Богиня свободы Делакура идет мне навстречу, совершенно изменившаяся в лице, почти что с боязнью в безумном взоре. Чудом изменяется и Вернетов портрет папы: старый и дряхлый наместник Христа оказывается вдруг таким молодым и здоровым и с улыбкой приподымается в кресле, и кажется, что его сильные носильщики разинут пасти для «Те Деум

laudamus» *. Лицо мертвого Карла тоже приобретает совсем иное выражение, и если пристальнее взглядеться, то не король, а убитая Польша лежит в черном гробу, и над гробом стоит не Кромвель, а русский царь, благородная мощная фигура, такой же величественный, каким я видел его несколько лет тому назад в Берлине, когда он стоял на балконе рядом с королем прусским и целовал ему руку. Трицать тысяч берлинских зевак вопили: «Ура!» — а я думал про себя: «Бог да помилует всех нас!» Ведь я знал сарматское изречение: руку, которую еще не собираешься отрубить, нужно целовать...

Ах, я желал бы, чтобы король прусский дал поцеловать себя и в левую руку, а правой схватил бы меч и покончил бы с опаснейшим врагом родины, как того требуют долг и совесть. Уж если эти Гогенцоллерны стали хозяевами на севере, то они должны оберегать свои рубежи от натиска России. Русские — славный народ, и я рад уважать и любить их; но с тех пор как пала Варшава, последний оплот, отделявший нас от них, они стали так близки нам, что мне делается страшно.

Боюсь, что если теперь русский царь навестит нас, очередь будет за нами — целовать ему руку. Бог да помилует всех нас!

Бог да помилует всех нас! Наш последний оплот пал, богиня свободы умирает, друзья наши лежат сраженные, верховный римский поп подымается со злобной усмешкой, и победоносная аристократия стоит, торжествуя, над гробом народности.

Я слышу, Деларош пишет теперь картину в параллель к своему Кромвелю — Наполеона на острове св. Елены, и выбрал он тот момент, когда сер Гудсон Лоу подымает покров с трупа великого представителя демократии.

Возвращаясь к моей теме, я должен был бы похвалить еще целый ряд почтенных художников, но все же, несмотря на лучшие намерения, я не в силах спокойно разбирать их мирные заслуги, потому что грохот на

* Тебе, бога, хвалим

улице, действительно, слишком уж силен, и невозможно собраться с мыслями, когда в душе раздается эхо подобной бури. Ведь здесь, в Париже, даже в дни так называемого спокойствия бывает трудно отвлечься от событий улицы и отдаться своим личным грезам. Если в Париже искусство и процветает как нигде, то грубые шумы жизни каждую минуту мешают нам наслаждаться им; нежнейшее пение Пасты и Малибран отравлены для нас криками озлобленной нищеты, и опьяненное сердце, только-что впивавшее радостные краски Робера, сразу же отрезвляется при виде народных страданий. Нужен почти что гетевский эгоизм, чтобы достичь здесь невозмутимого наслаждения искусством, и как трудна здесь даже художественная критика, это я почувствовал именно сейчас. Вчера, однако, мне удалось снова поработать над этой статьей после того, как я прошелся по бульварам, где видел, как смертельно бледный человек упал от голода и нищеты. Но когда целый народ так, разом, гибнет на бульварах Европы, становится невозможным спокойно продолжать писать. Когда глаза критика затуманены слезами, тогда и суждение его уже немногого стоит.

Справедлива жалоба художников в эти годы вражды, всеобщего раздора. Говорят, что живопись во всех отношениях нуждается в оливе мира. Сердца, боязливо прислушивающиеся—не прозвучала ли труба войны, конечно, не могут с должной сосредоточенностью внимать нежной музыке. Оперу слушают глухими ушами, равнодушно gazeют даже на балет. «И в этом виновата проклятая июльская революция», — вздыхают художники и проклинают свободу и ненавистную политику, которая все поглощает, так что о них больше никто и не говорит.

Я слышу, но с трудом могу поверить, что даже в Берлине больше не говорят о театре, и «Morning Chronicle», сообщив вчера, что билль о реформе прошел в нижней палате, рассказывает по этому поводу, что доктор Раупах находится сейчас в Баден-Бадене

и сетует на наше время, по вине которого гибнут его художественные таланты.

Я, разумеется, искренний почитатель доктора Раупаха, я всегда бывал в театре, когда давали «Школьные проказы», или «Семь девушек в мундирах», или «Праздник ремесленников», или какую-нибудь другую его пьесу; но все-таки не могу утаить, что гибель Варшавы огорчает меня гораздо сильнее, чем могла бы огорчить меня гибель доктора Раупаха со всеми его художественными талантами. О Варшава! Варшава! За целый лес Раупахов не отдал бы я тебя!

Мое давнишнее предсказание, что эстетический период, начавшийся у колыбели Гете, должен окончиться у его гроба, повидимому, скоро исполнится. Современное искусство должно погибнуть, потому что его принципы уходят корнями в отживший, старый порядок, в прошлое Священной римской империи. Поэтому, как и все дряхлые остатки этого прошлого, оно находится в прискорбнейшем противоречии с современностью. Именно это противоречие, а не современное движение, само по себе так вредит искусству; наоборот, это современное движение должно бы иметь на него благотворное влияние, как некогда в Афинах или Флоренции, где как-раз среди военных и партийных бурь распустились прекраснейшие цветы искусства. Правда, те греческие и флорентинские художники вели не эгоистически замкнутую, посвященную только искусству жизнь, герметически закрывая праздно творящую душу от великих скорбей и радостей своего времени; напротив, произведения их были только созерцательным отражением их времени, и сами они были настоящие люди, личности такие же могущественные, как и их творческая сила; и Фидий, и Микель-Анжело были созданы из одного камня, как и статуи их, и если эти статуи гармонировали с греческими или католическими храмами, то и художники находились в священном согласии со своей средой; они не отделяли своего искусства от современной политики, трудились не с жалким лич-

ным вдохновением, лживость которого легко прикрывается любым сюжетом; Эсхил создал «Персов» с такой же правдивостью, с какой он сражался против них при Марафоне, а Данте написал свою «Комедию» не как поэт, принимающий заказы, но как изгнанник-гвельф, и в изгнании, среди бедствий войны, он оплакивал не гибель своего таланта, но гибель свободы.

Однако новое время породит и новое искусство, полное вдохновенной внутренней гармонии, и свою символику ему не надо будет заимствовать у выцветшего прошлого, и ему придется создать даже свою собственную технику, отличную от современной. А до тех пор пусть господствует, высказываясь в красках и звуках, упоенный собой субъективизм, необузданнейший индивидуализм, божественно свободная личность во всей своей жизнерадостности, что все-таки лучше мертвого, призрачного бытия старого искусства.

Или, быть может, для искусства и мира наступает печальный конец? Уж не является ли то преобладание духовности, которое сказывается теперь в европейской литературе, знаком близкого конца? Ведь порою в свой смертный час люди становятся ясновидящими и побледневшими устами вещают непостижимейшие тайны. Или, быть может, дряхлая Европа вновь помолодеет, и брезжащая духовность ее художников и писателей — не магическое ясновидение умирающего, но трепетное ожидание второго рождения, дуновение новой весны?

Но в этом году целый ряд картин, бывших на выставке, рассеивает этот зловещий страх смерти и укрепляет нас в надеждах на лучшее. Архиепископ парижский ожидает спасения от холеры, от смерти; я ожидаю его от свободы, от жизни. Вот чем отличаются наши верования. Я верю, что из сердечных глубин своей новой жизни Франция вызовет и новое искусство. И эту трудную задачу разрешат французы, легкий, порхающий народ, который мы так любим сравнивать с мотыльком. Но ведь мотылек есть также символ бессмертия души и ее вечного обновления.

ДОПОЛНЕНИЕ

1833

Когда летом 1831 года я приехал в Париж, ничто так не удивило меня, как открывшаяся в то время выставка картин, и хотя внимание мое привлекали к себе крупнейшие революции в политике и религии, все же я не мог удержаться и прежде всего написал о той великой революции, которая произошла здесь в области искусства и значительнейшим явлением которой следовало считать названную выставку.

Так же, как прочие мои соотечественники, я был очень враждебно настроен против французского искусства, в частности против французской живописи, с последними произведениями которой я был совершенно незнаком. Но живопись во Франции представляет нечто особое. Она следовала за социальным движением и сама помолодела вместе с народом. Однако это произошло не так непосредственно, как в родственных ей искусствах — музыке и поэзии, где метаморфоза началась еще до революции.

Господин Луи де-Мейнар, напечатавший в «Europe littéraire» * ряд статей о нынешней выставке, которые принадлежат к самому интересному, что когда-либо писали французы об искусстве, сказал по этому поводу следующие слова, которые я привожу с полной точностью, насколько позволяет изящество и грация стиля:

«Живопись восемнадцатого века возникла так же, как и современная ей политика и литература; развиваясь наравне с ними, она достигла известного совершенства и рухнула в тот самый день, когда все рушилось во Франции. Странный век, начинающийся громким смехом у гроба Людовика XIV и кончающийся в объятиях палача, «господина палача», как назвала его госпожа Дюбарри! О этот век, все отрицавший, все

* «Литературной Европе»

осмеивавший, все осквернявший и ни во что не веривший, — он тем ревностнее исполнял свое великое дело разрушения и разрушал, вовсе не будучи в силах что бы то ни было выстроить вновь, да и не было у него к тому охоты.

«Однако искусства, если они и следуют за одним и тем же движением, то следуют неодинаковым шагом. И вот, живопись в XVIII веке осталась позади. Она произвела своих Кребильонов, но у нее не было ни Вольтера, ни Дидро. Всегда на жалованьи у знатных благодетелей, всегда под охраной юбок правящей фаворитки, она постепенно — уж не знаю как — утрачивала свою смелость и силу. При всей своей распушенности она никогда не проявляла того буйства и того вдохновения, что захватывают и ослепляют нас и вознаграждают за отсутствие вкуса. Неприятное впечатление производят ее ледяные игрушки, ее вялые изящные безделушки, созданные для будуара, где так беспечно, раскинувшись на софе, обмахивается веером какая-нибудь нарядная миниатюрная дама. Фавар со своими Эглями и Зульмами правдоподобнее, чем Ватто и Буше с их идиллическими аббатами и кокетливыми пастушками. У Фавара, если он и казался смешным, все же были честные намерения. Художники того времени менее всего принимали участие в том, что подготовлялось во Франции. Революция застала их в неглиже. Философия, политика, наука, литература, имевшие каждая своего представителя, неистово, словно толпа пьяниц, устремились к цели, неведомой им самим; но чем ближе становилась эта цель, тем больше остывал их пыл, тем спокойнее делалось лицо, тем увереннее делался шаг. Эту цель, неведомую им, они все смутно угадывали, ибо в книге божьей могли прочесть, что все человеческие радости кончаются слезами. А пир, увы, был слишком буйный и ликующий, и после него должно было настать для них самое серьезное и самое жуткое. Когда видишь тревогу, смущавшую их порой среди сладостнейшего опьянения этой оргии восемнадцатого века, то думается, что эша-

фот, которым кончилось все это дикое веселье, и тогда уже издали приветствовал их кивками, как призрачная голова привидения.

«Живопись, державшаяся в то время поодаль от настоящего социального движения, потому ли, что ее расслабляло влияние женщин и вино, потому ли, что свое участие она считала бесполезным, во всяком случае, до последней минуты влачилась среди роз, благоуханий мускуса и пасторалей. Вьен и некоторые другие чувствовали, что ее надо поднять во что бы то ни стало, но не знали, что делать с нею потом. Лесюэз, которого очень высоко ставил учитель Давида, не мог создать новой школы. Он должен был в этом сознаться. Занесенный в эпоху, когда все духовные авторитеты тоже очутились во власти Маратов и Робеспьеров, он оказался в таком же затруднении, как и те художники. Известно ведь, что он был в Риме и вернулся оттуда таким же ванлоистом, каким уезжал туда. Лишь впоследствии, когда начали проповедывать греческо-римскую древность, когда публицистам и философам пришла в голову мысль, что надо вернуться к литературным, социальным и политическим формам древних, тогда лишь во всей своей прирожденной смелости раскрылся его талант, и мощной рукой вырвал он искусство из игривой, раздушенной пасторали, в которой оно погрязло, и вознес его в величавые сферы античного героизма. Реакция была беспощадна, как всякая реакция, и Давид довел ее до крайности. Он и в живопись ввел терроризм».

О деятельности и творчестве Давида Германия достаточно осведомлена. В годы империи наши французские гости достаточно часто занимали нас разговорами о великом Давиде. Много слышали мы также и об его учениках, продолжавших, каждый по-своему, его манеру, о Герене, Гро, Жераре и Жироде. Меньше знают у нас о другом человеке, имя которого тоже начинается на «Ж» и который явился если не основателем, то все же вождем новой школы живописи во Франции. Это Жерико.

На предыдущих страницах я непосредственно касался этой новой школы живописи. Описывая лучшие произведения, бывшие на выставке 1831 г., я вместе с тем давал и фактическую характеристику новых мастеров. По общему признанию, эта выставка была самой замечательной из всех, какие когда-либо бывали во Франции, и память о ней сохранится в летописях искусства. Картины, которые я почтил описанием, проживут века, и слово мое, может быть, послужит на пользу истории живописи.

В этом огромном значении выставки 1831 г. я вполне мог убедиться в нынешнем году, когда первого апреля вновь открылись залы Лувра, остававшиеся закрытыми в течение двух месяцев, и нас приветствовали новейшие произведения французского искусства. Старые картины, составляющие Национальную галерею, были, как это принято, заставлены ширмами, на которых висели новые картины, так что порой из-за готических безвкусиц неоромантического художника выглядывали мифологические шедевры старого итальянского искусства. Вся выставка походила на палимпсест, новый варварский текст которого раздражает нас тем более, что мы знаем, какая божественная греческая поэзия замарана его брызгами.

Было выставлено около трех с половиною тысяч картин и среди них не было почти ни одного шедевра. Было ли это следствием слишком сильной усталости после слишком сильного возбуждения? Не сказывается ли в искусстве то национальное похмелье, которое теперь, когда миновало сумасшедшее опьянение свободой, замечается и в политической жизни французов? Была ли нынешняя выставка всего лишь пестрой зевотой? Всего лишь красочным отголоском теперешней палаты? Если выставка 1831 г. была еще накалена июльским солнцем, то на выставке 1833 г. уже накрапывал унылый дождь июня. Знаменитые герои предшествующей выставки, Деларош и Робер, на сей раз вовсе не выступили на арену, прочие же художники, о которых я отзывался

с похвалой, не выставили в этом году ничего замечательного. За исключением одной вещи Тони Жоанно, немца, ни одна картина нынешней выставки не отозвалась в моей душе. Господин Шеффер выставил новую Маргариту, которая свидетельствует о большом техническом прогрессе, но не имеет большого значения. Это все та же мысль, написанная более пламенными красками и зародившаяся в еще более холодном мозгу. Орас Верне тоже выставил большую картину, которая, однако, хороша только в деталях. Декамп, верно, захотел посмеяться над выставкой и над самим собою и выставил главным образом обезьян; среди них — отличнейшая обезьяна, пишущая историческую картину. Ее германо-христианские низко свисающие волосы забавным образом напомнили мне моих зарейнских друзей.

Больше всего говорилось в этом году об Энгре, удостоившемся наибольших похвал и возбудившем наибольшие споры. Он выставил две вещи; одна — портрет молодой итальянки, другая — портрет господина Бертена l'ainé *, старого француза.

Как в мире политики Луи-Филипп, так в мире искусства господин Энгр играл в этом году роль короля. Как Луи-Филипп был королем в Тюильри, так Энгр был королем в Лувре. Характер Энгра — это тот же *juste milieu*, а именно — *juste milieu* между Мирисом и Микель-Анжело. В его картинах мы находим героическую смелость Мириса и тонкий колорит Микель-Анжело.

Если живопись, представленная на выставке этого года, неспособна была вызвать воодушевление, то с тем большим блеском проявила себя скульптура и показала произведения, среди которых многие подавали повод к самым большим надеждам, а одно могло даже поспорить с высочайшими созданиями этого искусства. Это — «Каин» господина Этекса. Это группа симметричной,

* старшего

более того — монументальной красоты, доисторическая по своему характеру и в то же время полная современного смысла. Каин, с женой и детьми, — покорный судьбе, без думы, но сосредоточенный, в оцепенении безутешного покоя. Человек этот убил своего брата в споре за жертвоприношение, в религиозном споре. Да, религия подала повод к первому братоубийству, и с тех пор на челе ее — кровавое пятно.

К «Каину» Этекса я вернусь еще в дальнейшем, когда буду говорить о том расцвете, который в современных нам скульпторах сказывается даже сильнее, чем в живописцах. «Спартак» и «Тезей», выставленные теперь оба в саду Тюильри, вызывают во мне, всякий раз как я гуляю там, восхищение, смешанное с раздумьем. Порой меня только огорчает, что эти мастерские произведения нашего современного искусства отданы на произвол погоды, ничем не защищенные. Небо здесь не такое кроткое как в Греции, да и там лучшие произведения были защищены от ветра и непогоды более надежно, чем принято считать. Лучшие произведения стояли в закрытых местах, большей частью в храмах. Однако пока что новым статуям в Тюильри влияние воздуха не причинило еще большого вреда, и отрадное зрелище представляют они, когда из свежей зелени листвы каштанов приветствуют нас своей ослепительной белизной. К тому же забавно слушать, как няньки иногда объясняют детям, играющим там, что означает голый мраморный человек, так гневно сжимающий меч, или что это за странный чудак с телом человека и бычьей головой, которого другой голый человек поражает палицей; человеко-бык, говорят они, много сожрал маленьких детей. Молодые республиканцы, проходя мимо, обычно замечают, что Спартак весьма подозрительно косится на окна Тюильри, а в образе Минотавра они видят монархию. Другие же считают, что Тезей неудачно взмахивает палицей, и утверждают, что если бы он ударил ею, то непременно раздробил бы собственную руку. Но как бы то ни было, до сих пор все

это имеет прекрасный вид. Все же через несколько зим эти превосходные статуи уже выветрятся и станут ломкими, и на мече Спартака вырастет мох, и мирные семейства насекомых будут гнездиться между бычьей головой Минотавра и палицей Тезея, если тем временем у него вместе с палицей не отломается и рука.

Так как здесь приходится кормить столько праздных военных, то королю следовало бы возле каждой статуи в Тюильри поставить по часовому, который раскрывал бы над нею зонтик, когда идет дождь. Тогда искусство в буквальном смысле слова было бы в безопасности под сенью буржуазно-королевского зонтика.

Художники все жалуются на чрезмерную скупость короля. Говорят, будучи герцогом Орлеанским, он более ревностно покровительствовал искусствам. Ворчат, что он заказывает сравнительно слишком мало картин и платит за них сравнительно слишком дешево. Однако, если не считать короля Баварского, он лучший ценитель искусства среди монархов. Сейчас, быть может, его ум слишком уж охвачен политикой, чтобы он мог заниматься искусством так же ревностно, как прежде. Но если несколько поостыла его страсть к живописи и скульптуре, то любовь к архитектуре приняла почти-что неистовые формы. В Париже никогда столько не строилось, сколько строится сейчас по воле короля. Всюду строятся новые здания, прокладываются совершенно новые улицы. В Тюильри и в Лувре все время стучат молотками. Нельзя себе представить ничего более великолепного, чем план новой библиотеки. Вскоре достроят и церковь Магдалины, бывший храм славы. Большой дворец посольства, который Наполеон решил воздвигнуть на правом берегу Сены и который был выстроен лишь наполовину, так что напоминает развалины какого-то исполинского замка, это огромное здание теперь достраивается. Кроме того, на площадях воздвигаются грандиозные памятники. На площади Бастилии высится огромный слон, неплохо изображающий сознательную силу и мощный разум народа. На

площади Согласия мы уже видим деревянную модель Луксорского обелиска; через несколько месяцев станет там и сам египетский оригинал и будет служить памятником страшного события, когда-то, 21 января, совершившегося на этом месте. И каким бы тысячелетним опытом ни обладал этот иероглифический вестник из Египта — страны чудес, все же молодому фонарному столбу, стоящему на площади Согласия, пришлось испытать вещи гораздо более замечательные, и старый, красный, древлесвященный камень-гигант побледнеет и задрожит от ужаса, если как-нибудь, тихой зимней ночью, этот легкомысленный французский фонарный столб примется болтать и расскажет историю площади, на которой стоят они оба.

Зодчество — главная страсть короля и может стать, пожалуй, причиной его падения. Опасаюсь, что, несмотря на все обещания, он все-таки не отстанет от мысли о *forts détachés* *, ибо этот проект даст случай пустить в дело его любимые орудия — лопату и молот, сердце же его радостно стучит, когда он думает о молотке. Пожалуй, этот стук заглушит когда-нибудь голос его разума, и, сам того не подозревая, он поддастся внушениям своих любимых капризов, решив, что эти форты его единственное спасение и что их постройка — легко осуществима. Так, благодаря архитектуре, мы, быть может, будем вовлечены в величайшие политические волнения. Что касается этих фортов и самого короля, то я приведу здесь отрывок из заметки, которую написал в июле прошлого года:

«Весь секрет революционных партий состоит в том, что они больше не хотят нападать на правительство, но сами ожидают с его стороны какого-нибудь резкого нападения, чтобы оказать действительное сопротивление. Поэтому в Париже не может случиться нового мятежа без особой на то воли правительства, которое само должно подать повод, сделав какую-нибудь большую

* фортах

глупость. Если мятеж удастся, во Франции тотчас же будет провозглашена республика, и революция забудет по всей Европе, учреждения которой будут если и не разрушены, то по крайней мере сильно расшатаны. Если мятеж не удастся, то здесь начнется страшная, неслыханная реакция, которой потом с обычной неумелостью начнут подражать и в соседних странах и которая также может вызвать не одну перемену в существующем строе. Как бы то ни было, всякая исключительная мера, которую здешнее правительство может принять против революционных партий, всякое враждебное действие, направленное против интересов революции, угрожает опасностью спокойствию Европы. А так как воля здешнего правительства — это исключительно воля короля, то грудь Луи-Филиппа собственно и является ящиком Пандоры, заключающим бедствия, которые разом могут излиться на эту землю. К сожалению, на лице его невозможно прочесть желания его сердца, ибо в искусстве притворяться младшая линия не уступает старшей. В мире ни один актер не владеет так своим лицом, не умеет так мастерски исполнить свою роль, как наш король-буржуа. Он, быть может, один из самых способных, самых умных и самых отважных людей во Франции, а все-таки, когда дело шло о короне, он сумел принять вид совершенно невинный, мещанский, робкий, и люди, без особых церемоний посадившие его на трон, наверно думали, что им с еще меньшими церемониями удастся сбросить его с этого трона. На этот раз королевская власть сыграла роль безумного Брута. Поэтому не над Луи-Филиппом, а над самими собою должны были бы смеяться французы, глядя на те карикатуры, где Луи-Филипп изображен в своей белой войлочной шляпе и с большим зонтиком. И то и другое было реквизитом и так же, как *roignées de main*, относилось к его роли. Когда-нибудь историк признает, что он хорошо сыграл свою роль; это сознание может вознаградить его за карикатуры и сатиры, избравшие его мишенью своих шуток. Число этих

сатирических листов и карикатур с каждым днем возрастает, и всюду на стенах домов виднеются причудливые груши. Никогда еще так не издевались над монархом в его же собственной столице, как издеваются над Луи-Филлипом. Но, думает он, хорошо смеется тот, кто смеется последний; не вы скушаете грушу, а груша скушает вас. Конечно, он чувствует всякое оскорбление, наносимое ему, ибо он человек. Да у него уж и не такой милосердный овечий характер, чтобы ему не хотелось отомстить за них; он человек, но человек сильный, умеющий сдерживать вспышки гнева и повелевать своими страстями. Когда настанет час, который покажется ему удобным для этого, он нанесет удар, сперва внутренним врагам, а затем врагам внешним, оскорблявшим его еще гораздо больше. Человек этот на все способен, и кто знает, не бросит ли он ту самую перчатку, что стала такой грязной от всевозможных *poignées de main*, как перчатку вызова всему Священному союзу? Право, у него нет недостатка в царственном чувстве собственного достоинства. Он, которого вскоре после Июльской революции я видел в войлочной шляпе и с зонтиком, — как внезапно он преобразился шестого июня прошлого года, когда усмирал республиканцев. Это уж не был добродушный мещанин с толстым брюхом, с улыбающимся мясистым лицом; самая полнота его вдруг придала ему величественный вид; голову он закинул так смело, словно кто-нибудь из его предков; он высылся величественно толстый, — король в каждом фунте своего тела. Когда он все-таки почувствовал, что корона еще не совсем твердо сидит у него на голове и что еще не раз может наступить ненастье, — как быстро он напялил свою старую войлочную шляпу и взял в руки свой старый зонтик. С каким буржуазным видом несколько дней спустя, во время большого смотра, он снова кланялся куму-портному и куму-сапожнику, как он опять направо и налево раздавал *poignées de main*, не только рукою, но также и глазами, улыбающимися губами, даже бакенбардами! А все-

таки и этот улыбающийся, кланяющийся, заискивающий, умоляющий добряк носил в груди четырнадцать forts détachés.

«Эти форты вызывают сейчас опаснейшие вопросы, и разрешение их, быть может, окажется ужасным и потрясет весь земной шар. Вот то проклятие, которое губит умных людей, считающих себя умнее чем целые народы, хоть опыт и показывает, что массы всегда судили правильно и если не целиком угадывали планы, то все же угадывали намерения своих правителей. Народы всеведущи, всевидящи; глаз народа — глаз божий. Оттого-то французский народ с состраданием пожал плечами, когда правительство, отечески лицемеря, стало сочинять ему, будто оно хочет укрепить Париж, чтобы иметь возможность защищать его против Священного союза. Все чувствовали, что это только Луи-Филипп хочет защищать себя от Парижа. Правда, у короля достаточные основания бояться Парижа, корона будет гореть у него на голове и опалить его тупей, пока в Париже, очаге революции, еще пылает великое пламя. Но почему бы ему совершенно открыто не признаться в этом? Почему он все еще ведет себя как верный блюститель этого пламени? Может быть, полезнее было бы ему откровенно признаться бакалейным торговцам и прочим своим сторонникам, что он не в силах ручаться ни за себя, ни за них, пока не будет полным хозяином в Париже, что поэтому он хочет окружить столицу четырнадцатью фортами, пушки которых сразу же заставят замолкнуть любой мятеж. Откровенное признание, что дело идет о его голове и о головах всего *juste milieu*, произвело бы, может быть, благоприятное действие. Теперь же не только партии оппозиции, но также и лавочники, и большинство приверженцев системы *juste milieu* совершенно раздосадованы этими forts détachés, и газеты с достаточной полнотой объяснили им причины, почему это так досадно. Дело в том, что теперь большинство лавочников того мнения, что Луи-Филипп — отличнейший король,

ради которого стоит приносить жертвы, а порою даже подвергать себя опасности, как например 5 и 6 июня, когда они, в количестве сорока тысяч человек, совместно с двадцатью тысячами линейного войска рисковали жизнью, сражаясь против нескольких сотен республиканцев; однако Луи-Филипп отнюдь не стоит того, чтобы, в случае дальнейших более значительных восстаний, ради сохранения его подвергать опасности весь Париж, т. е. самих себя вместе с женами и детьми и всеми лавками, рискуя быть расстрелянными с высоты четырнадцати фортов. Впрочем, рассуждают они, за пятьдесят лет все уже привыкли ко всевозможным революциям, за пятьдесят лет уж выучились оказывать сопротивление маленьким мятежам, так, чтобы сразу же можно было восстановить спокойствие, а мятежам более крупным сразу же покоряться тоже для того, чтобы сразу же можно было восстановить спокойствие. Да, по их мнению, и богатые приезжие, приезжие, которые тратят в Париже столько денег, поняли теперь, что для спокойного зрителя революция совершенно безопасна, что она протекает всегда в полном порядке, даже вполне соблюдает правила вежливости, и таким образом пережить революцию в Париже — это для чужеземца даже особое развлечение. Но если Париж окружают *forts détachés*, то страх, что как-нибудь рано утром вас пристрелят, прогонит из Парижа иностранцев и провинциалов, да и не только приезжих, но жительствоющих здесь рантье; придется продавать меньше сахару, перцу и помады, меньше брать за квартиры, словом, торговля и промышленность придут в упадок. Поэтому-то бакалейщики, дрожащие за доход от своих домов, за клиентов своих лавок, за себя и за свои семьи, и являются противниками проекта, который превращает Париж в крепость и не позволит ему больше быть прежним веселым, беззаботным Парижем. Другие, принадлежащие, правда, к *juste milieu*, но не отказавшиеся от либеральных принципов революции и все еще привязанные к этим принципам более,

чем к Луи-Филиппу, желали бы, чтобы буржуазная монархия находилась под защитой государственных установлений, а не фортификационных сооружений, которые слишком уж напоминают феодальные времена, когда хозяин крепости мог по своему произволу управлять городом. Луи-Филипп, говорят они, до сих пор был верным стражем буржуазной свободы и буржуазного равенства, завоевание которых стоило столько крови, однако он человек, а в человеке всегда живет тайное стремление к неограниченной власти. Владея *forts détachés*, он безнаказанно мог бы удовлетворять любой прихоти своего произвола, и власть его была бы тогда еще более неограниченной, чем власть любого короля до революции; прежние короли могли сажать в Бастилию только отдельных недовольных, а Луи-Филипп окружил бы весь город Бастилиями, забастировал бы весь Париж. И даже если бы можно было нисколько не сомневаться в благородстве намерений теперешнего короля, то все же нельзя было бы поручиться за намерения его преемников, а тем менее — за намерения всех тех, кто благодаря хитрости или случайности мог оказаться хозяином этих *forts détachés* и стал бы тогда по своему произволу управлять Парижем. Гораздо существеннее всех этих соображений была другая тревога, дававшая о себе знать со всех сторон и всколыхнувшая даже тех, кто еще до сих пор не успел стать ни сторонником, ни противником правительства и даже не стал ни сторонником, ни противником революции. Тревога эта касалась высочайших и важнейших интересов всего народа, касалась национальной независимости. Несмотря на все французское тщеславие, которое никогда не любило воспоминаний о 1814 и 1815 годах, все же пришлось признать в душе, что возможность третьего нашествия не совсем исключена, что для союзников, идущих на Париж, *forts détachés* не только не явятся сколько-нибудь значительной преградой, но что, завладев этими *forts détachés*, они, верно, смогут держать Париж в своих

руках, если не разрушат его до основания. Я излагаю здесь только мнение французов, убежденных в том, что некогда, во времена нашествия, иностранные войска потому только и отошли от Парижа, что не отыскали точки опоры против огромной массы населения, и что теперь монархи ничего так страстно не желают, как «полного уничтожения Парижа, великого очага революции»...

Действительно ли теперь навсегда откажутся от проекта *forts détachés*? То ведает один господь, читающий в почках королей.

Не могу не отметить здесь, что нас, быть может, ослепляет дух партий и что король в самом деле имеет в виду общую пользу и хочет только забарикадироваться от Священного союза. Это, однако, невероятно. Скорее уж у Священного союза есть тысячи оснований бояться Луи-Филиппа, и, кроме того, у него есть еще более важная причина желать его сохранения. Ибо, во-первых, Луи-Филипп — могущественнейший монарх в Европе, материальные его силы удесятятся благодаря свойственной им подвижности, и в десять, во сто раз сильнее те нравственные средства, которыми он может располагать в случае надобности, а если бы союзные монархи все-таки решили низвергнуть этого человека, они тем самым низвергли бы могущественнейший и, быть может, последний столп монархии в Европе. Да, каждый день должны были бы монархи на коленях благодарить творца тронов и корон за то, что Луи-Филипп — французский король. Раз они уже сделали глупость — убили человека, который лучше всех умел обуздывать республиканцев — Наполеона. О, по праву называетесь вы королями милостью божией! То была особая милость божия, что он еще раз послал королям человека, спасшего их, когда якобинство снова схватило топор и грозило разрушить старую королевскую власть; если уж и этого человека убьют монархи, бог не в силах будет им помочь. Он дважды спасал монархию, ниспослав ей Наполеона Бонапарта и Луи-Фи-

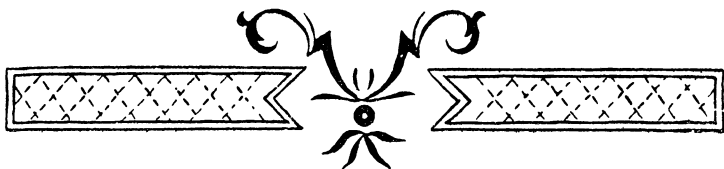
липпа, эти два чуда. Ибо господь благоразумен и понимает, что республиканская форма правления вовсе не подходит старой Европе, очень невыгодна и безотрадна для нее. И я такого же мнения. Но, быть может, нам обоим ничего не удастся сделать с ослеплением монархов и демагогов. Потому что против глупости и мы, боги, боремся вотще.

Да, это мое священнейшее убеждение, что народам Европы республиканство не идет, что оно для них невыгодно и безотратно, а для немцев даже и невозможно. Когда, слепо подражая французам, немецкие демагоги стали проповедовать республику и в безумной ярости поносили и позорили не только монархов, но и самую монархию, я счел долгом высказать свое мнение, как это и сделано выше, по поводу 21 января. Хотя с 28 июня прошлого года мой монархизм что-то скис, все же и в новом издании я не пожелал исключить эти слова. Я горжусь тем, что некогда у меня хватило мужества и что ни ласкательства, ни интриги не могли увлечь меня к бессмысленным и ошибочным поступкам. Кто остановится, не пройдя всего пути, который указывает ему сердце и который разрешает ему рассудок, тот трус; кто идет дальше, чем хотел итти, тот раб.

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

ДРУЖЕСКИЕ ПИСЬМА АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

(Писаны в мае 1837, в деревне в окрестностях Парижа)



П И С Ь М О П Е Р В О Е

Наконец-то, наконец-то погода позволила покинуть Париж и теплый камин, и первые часы, которые я провожу в деревне, пусть снова будут посвящены любимому другу. Как мило светит мне солнце на бумагу и золотит буквы, которые понесут вам мои радостнейшие приветствия! Да, зима убегает за горы, и ей вслед порхают дразнящие весенние ветерки, подобные стае легкомысленных гризеток, преследующих влюбленного старца ироническим смехом, а то и березовыми хворостинами. Как он пыхтит и охает, седовласый франт! Как безжалостно гонят его перед собою эти молодые девушки! Как хрустят и блестят пестрые ленты на груди! То тут, то здесь упадет в траву какой-нибудь бант! Фиалки с любопытством поднимают глаза и с боязливым блаженством смотрят на веселую травлю. Наконец, старик уже совершенно обратился в бегство, и соловьи запевают торжествующую песнь. Их песнь так мила и так свежа! Наконец-то мы можем обойтись без Большой Оперы, без Мейербера и Дюпре. Без Нурри мы обходимся уже давно. В конце-концов, каждый в этом мире таков, что без него можно обойтись, за исключением разве солнца и меня. Потому что без этих двух я не могу себе представить весны, а также и весенних ветерков, и гризеток, и немецкой литературы!.. Весь мир был бы зияющим ничто, тенью нуля, сном блохи, стихотворением Карла Штрекфуса!

Да, теперь весна, и я, наконец, могу снять фуфайку. Маленькие мальчики сняли даже курточки и в одних рубашках скачут вокруг большого дерева, растущего

около маленькой деревенской церкви и заменяющего колокольню. Дерево сейчас все в цветах и похоже на старого напудренного деда, который стоит спокойный, улыбающийся посреди белокурых внуков, резвящихся вокруг него. По временам он, дразня, посыпает их своими белыми хлопьями. Но тогда ликование детей становится еще шумнее. Строго запрещено, запрещено под страхом розог дергать за веревку от колокола. Но тот большой мальчик, что должен был бы подавать пример остальным, не может противиться искушению, он украдкой дергает запретную веревку, и тогда голос колокола раздается словно дедовское предостережение.

Позднее, летом, когда дерево все блистает зеленью и листва плотно окутывает колокол, в звоне его появляется что-то таинственное, это — странно приглушенные звуки, и как только они раздаются, сразу же умолкают болтливые птицы, качавшиеся на ветвях, и в испуге улетают.

Осенью звон колокола еще более строг и зловещ, и кажется, словно слышишь голос призрака. Особенно же, когда кого-нибудь хоронят, звон колокола будит невыразимо тоскливое эхо; при каждом его ударе падает с дерева несколько желтых больных листьев, и этот звенящий листопад, эта звучащая эмблема умирания навевали на меня однажды такую бесконечную печаль, что я заплакал как дитя. Это случилось несколько лет тому назад, когда Марго хоронила своего мужа...

Но сейчас стоит чудная весенняя погода, солнце смеется, дети ликуют, даже громче, нежели следовало бы, и здесь, в маленьком деревенском домике, где я и в прошлом году провел лучшие месяцы, собираюсь я написать вам ряд писем о французском театре, притом, согласно вашему желанию, не упуская из виду отечественной сцены. Последнее представляет известную трудность, так как мои воспоминания о мире немецких подмостков с каждым днем все более и более тускнеют. Из пьес, написанных в последнее время, я ничего не

читал, кроме двух трагедий Иммермана: «Мерлин» и «Петр Великий», которые обе не могли быть поставлены на сцену: «Мерлин» — из-за поэзии, «Петр» — из-за политики... И представьте себе мою мину: в пакете, содержащем эти творения дорогого великого поэта, оказалось еще несколько томов, озаглавленных «Драматические сочинения Эрнста Раупаха»!

Этого баловня немецких театральных дирекций я знал в лицо, но никогда еще не читал ничего, написанного им. Я только видел в театре некоторые его пьесы, а тут никогда не знаешь наверное, автор ли губит актера или актер — автора. И вот судьбе угодно было, чтобы я на чужбине мог на досуге прочитать некоторые комедии доктора Эрнста Раупаха. Не без усилий добирался я до последних актов. Все плохие остроты я бы еще извинил ему, ведь, в конце-концов, он всего лишь старается угодить ими публике; ведь бедный малый, сидя в партере, скажет: «Так и я могу остричь», — и за это удовлетворенное чувство собственного превосходства он будет признателен автору. Но невыносим был для меня стиль. Я так избалован, хороший тон в беседе, настоящий легкий разговорный язык благодаря моему долгому пребыванию во Франции до такой степени стал для меня потребностью, что, читая раупаховские комедии, я чувствовал странное недомогание. В этом стиле есть что-то одинокое, отшельническое, нелюдимое, что-то такое, от чего сжимается грудь. Разговор в этих комедиях надуманный, это — всегда лишь чревоущательномногоголосый монолог, глухая заваль холостых мыслей, мыслей, которые спят одни, сами по утрам варят себе кофе, сами бреются, в одиночестве отправляются на прогулку к Бранденбургским воротам и сами для себя собирают цветы. Там, где он заставляет говорить женщин, речи их под белым кисейным платьем носят грязные панталоны из фланели и пахнут табаком и юфтью.

Но среди слепых и одноглазый — король, а среди наших плохих драматургов-комиков Раупах — самый

лучший. Говоря о плохих драматургах-комиках, я имею в виду только тех бедных малых, которые под названием комедий ставят на сцену свои изделия или — так как большей частью они комедианты — сами выступают в них на сцене. Но эти так называемые комедии, собственно говоря, — только прозаические пантомимы с традиционными масками: отцами, злодеями, гофратами, кавалерами, любовником, возлюбленной, субретками, матерями и так далее, как бы они ни назывались в контрактах наших актеров, приученных лишь к таким неизменным ролям, традиционным типам. Наша немецкая комедия, так же как итальянская комедия масок, — это одна бесконечно варьируемая пьеса. Характеры и отношения заданы, и тот, кто обладает даром комбинирования, приступает к сочетаниям этих заданных характеров и отношений и составляет из них новую на вид пьесу, примерно, таким же способом, каким в китайской головоломке из известного числа кусочков дерева разнообразной формы составляются всякого рода фигуры. Талантом этим часто бывают одарены люди самые незначительные, и тщетно стремится к этому настоящий поэт, гений которого привык двигаться свободно и который умеет создавать только живые образы, а не искусственные деревянные фигуры. Некоторые настоящие поэты, занимавшиеся неблагодарным делом — писавшие немецкие комедии, создали несколько новых комических масок; но тут они сталкивались с актерами, которые, будучи выдрессированы только в соответствии с ранее существовавшими масками и стараясь скрасить свое невежество или свою лень, так деятельно интриговали против новых пьес, что их нельзя было поставить на сцену.

Быть может, в основе того суждения, которое я высказал только-что о сочинениях доктора Раупаха, лежит тайная вражда к личности автора. Вид этого человека заставил меня однажды трепетать, а как вам известно, этого не прощает ни один монарх. Вы с удивлением смотрите на меня, доктор Раупах кажется вам

вовсе не таким страшным, да вы и не привыкли к тому, чтобы я дрожал перед живым человеком? Тем не менее это так; я почувствовал однажды такой страх перед доктором Раупахом, что колени у меня затряслись и зубы застучали. Еще и теперь, когда я гляжу на гравированный портрет Эрнста Раупаха, помещенный перед титульным листом его сочинений, сердце трепещет в груди... Вы с великим изумлением смотрите на меня, дорогой друг, и подле вас я слышу и женский голос, с любопытством умоляющий: «Пожалуйста, расскажите».

Однако это длинная история, и мне сегодня некогда рассказывать ее. Да и слишком много всяких вещей, которые я рад бы забыть, вспомнилось бы мне по этому поводу, — например, те хмурые дни, которые я проводил в Потсдаме, и та великая боль, которая прогнала меня тогда в уединение. Один-одинешенек прогуливался я там в забытом Сан-Суси, под померанцевыми деревьями большой аллеи... Боже мой, до чего безотрадны, непоэтичны эти померанцевые деревья! Они — словно замаскированные дубки, и к тому же у каждого дерева свой номер, как у сотрудника брокгаузовской «Энциклопедической газеты», и эта занумерованная природа так насмешливо скучна, в ней такая палочно-капральская принужденность! Мне всегда казалось, будто они нюхают табак, эти померанцевые деревья, так же, как их покойный государь, старый Фриц, который, как вам известно, был великий герой в те времена, когда Рамлер был великий поэт. Бога ради не подумайте, что я собираюсь умалить славу Фридриха Великого! Я даже признаю его заслуги перед немецкой поэзией. Разве не подарил он Геллерту белую лошадь, а госпоже Карш — пять талеров? Разве, заботясь о преуспевании немецкой литературы, не писал он по-французски свои собственные плохие стихи? Если бы он издал их на немецком языке, его высочайший пример мог бы принести неисчислимый вред! Немецкая муза никогда не забудет этой его услуги.

В Потсдаме, как уже сказано, я находился не в слишком радостном расположении духа, а тут еще тело и душа побились об заклад — кто из них больше измучит меня. Ах! Страдание нравственное легче вынести, чем физическое, и если бы, например, мне дали на выбор большую совесть или больной зуб, я избрал бы первое. Ах! Ничего нет ужаснее зубной боли! Это я почувствовал в Потсдаме. Я позабыл все мучения души и решил ехать в Берлин, чтобы мне там вырвали больной зуб. Какая жуткая, страшная операция! Она так напоминает обезглавливание. Тут тоже надо сесть на стул, и сидеть совершенно неподвижно, и спокойно ожидать страшного удара! При одной этой мысли волосы встают у меня дыбом. Но провидение в своей мудрости устроило все к нашему благу, и даже страдания человека служат ему, в конце концов, только на пользу. Конечно, зубная боль ужасна, невыносима; но благотельно-предусмотрительное провидение придало нашей зубной боли именно такой ужасный, невыносимый характер, чтобы мы в отчаянии бросились, наконец, к врачу и дали вырвать себе зуб. Право, никто бы не решился на эту операцию, или, скорее, экзекуцию, если бы зубная боль была хоть мало-мальски выносима!

Вы не можете себе представить, какая робость, какой страх владели мной во время трехчасового переезда в почтовой карете. Когда приехали в Берлин, я был совершенно разбит, а так как в подобные минуты совсем не думаешь о деньгах, то я дал на водку почтальону целых двенадцать грошей. Он посмотрел на меня странно нерешительно, потому что по новому наглеровскому почтовому регламенту почтальонам строго запрещается брать на водку. Он долго держал монету в руке, точно взвешивая ее, и, прежде чем сунуть ее в карман, печально произнес: «Уже двадцать лет я служу почтальоном и так привык получать на водку, а теперь господин почт-директор вдруг запретил нам под страхом строгого наказания брать что-нибудь от пассажиров. Но это —

нечеловеческий закон: ни один человек не откажется взять на водку. Это противоестественно». Я пожал руку честному человеку и вздохнул. Вздыхая, дошел я, наконец, до гостиницы, а когда я сразу же спросил, не знают ли хорошего зубного врача, хозяин, весьма обрадованный, ответил мне: «Вот превосходно! У меня только что остановился знаменитый зубной врач из Петербурга, и если вы будете обедать за табль-д'отом, то увидите его». Да, подумал я, прежде чем сяду на скамью осужденного, предстоит мне моя предсмертная трапеза. Но за столом мне совсем не хотелось есть. Я чувствовал голод, но не чувствовал аппетита. Несмотря на мое легкомыслие, я все же не мог выбросить из головы те ужасы, что ожидали меня через час. Даже мое любимое блюдо, баранина с тельтовской репкой, было мне противно. Глаза мои невольно искали страшного человека, зубного палача из С.-Петербурга, и вскоре, инстинктом страха, они нашли его среди прочих гостей. Он сидел далеко от меня, в конце стола, лицо у него было щемящее и колющее, лицо — словно клещи, которыми вырывают зубы. То было отвратительное существо, в пепельного цвета сюртуке с блестящими стальными пуговицами. Я почти не смел взглянуть ему в лицо, а когда он взял в руки вилку, я испугался так, как-будто к моей челюсти уже приближался страшный лом. Трепеща от страха, отвернулся я, чтобы не видеть его, и рад был бы заткнуть себе уши, чтобы не слышать звука его голоса. По этому звуку я заметил, что он — один из тех людей, которые внутри выкрашены в серый цвет, у которых — деревянные кишки. Он говорил о России, где долго жил, но где его искусство не могло достаточно развернуться. Он говорил с той тихой наглой сдержанностью, которая еще невыносимее, чем самое громкое хвастовство. Всякий раз, когда он начинал говорить, мне становилось дурно, и душу охватывала дрожь. С отчаянья ринулся я в разговор с моим соседом и, в немалом испуге повернувшись спиной к страшилищу, я стал говорить так оглушительно громко, что, наконец,

уже и не слышал его голоса. Сосед мой был человек очень любезный, благородной наружности, с утонченнейшими манерами, и его ласковая беседа смягчила то мучительное расположение духа, в котором я находился. Он был сама скромность. Слова кротко лились с его нежно округленных губ, глаза его были ясны и приветливы, а услышав, что я страдаю зубной болью, он покраснел и предложил мне свои услуги. «Бога ради, — воскликнул я, — но кто же вы?» — «Я — зубной врач Мейер из С.-Петербурга», ответил он. Я невежливо быстро отодвинулся от него на стуле и пробормотал в большом замешательстве: «Так кто же тот, на конце стола, человек в пепельном сюртуке с блестящими пуговицами?» — «Не знаю», — отвечал мой сосед, удивленно глядя на меня. Но кельнер, слышавший мой вопрос, шепнул мне на ухо, как нечто очень важное: «Это — господин театральный сочинитель Раупах».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

...Неужели правда, что мы, немцы, в самом деле не можем создать хорошей комедии и навсегда обречены заимствовать у французов подобные сочинения?

Я слышал, что вы в Штутгарте до тех пор терзались этим вопросом, пока, наконец, не назначили с отчаяния плату за голову автора лучшей комедии. Как мне говорили, вы сами, дорогой Левальд, были в составе жюри, а книгоиздательство И. Г. Котты держало вас взаперти до тех пор, пока вы не произнесли своего драматического приговора. По крайней мере, это доставило вам сюжет для хорошей комедии.

Нет ничего более шаткого, чем те доводы, которыми обычно подкрепляют утвердительный ответ на вопрос, поставленный выше. Утверждают, например, будто у немцев потому нет хорошей комедии, что они серьезный народ, французы же, напротив, — народ веселый

и поэтому более способны к комедии. Этот взгляд в корне неправилен. Французы — вовсе не веселый народ. Напротив, я начинаю думать, что Лоуренс Стерн был прав, утверждая, что они чересчур серьезны. А в то время, когда Иорик писал свое «Сентиментальное путешествие во Францию», там еще цвело все легкомыслие, вся надушенная пошлость старого режима. И гильотина, и Наполеон еще не научили французов надлежащим образом размышлять. А уж теперь, после Июльской революции, — какие скучнейшие успехи сделали они в серьезности или, по крайней мере, в невеселии! Их лица вытянулись, губы опустились более глубоко-мысленно; они научились от нас философии и курению табака. Большая перемена произошла за это время с французами, — они больше не похожи на себя. Нет ничего более жалкого, чем болтовня наших тевтоманов, которые, ополчаясь на французов, все-таки по-прежнему имеют в виду французов Империи, виденных ими в Германии. Они не думают о том, что этот изменчивый народ, на непостоянство которого они сами вечно нападают, за двадцать лет не мог не изменить образа мыслей и чувств.

Нет, они не веселее нас; быть может, мы, немцы, более склонны и восприимчивы к комическому, чем французы, мы, народ юмора. К тому же в Германии есть более благодарный материал для смеха, в ней больше действительно смешных характеров, чем во Франции, где общественная насмешка в зародыше убивает все незаурядно смешное, где ни один оригинальный дурак не может расти и совершенствоваться на свободе. Немец с-гордостью может утверждать, что только на немецкой почве дураки могут достичь того титанического роста, о котором не имеет понятия приплюснутый, рано подавленный в своем развитии французский дурак. Лишь Германия производит на свет тех колоссальных безумцев, колпаки которых достигают небес и звоном своих бубенцов тешат звезды! Не будем несправедливы к заслугам соотечественников и не будем чтить глупость

иноземную; не будем несправедливы к нашей собственной отчизне!

Ошибаются также и те, кто бесплодие немецкой Талии приписывает отсутствию свободного воздуха или, извините мне легкомысленное выражение, отсутствию политической свободы. То, что обычно называют политической свободой, отнюдь не необходимо для процветания комедии. Вспомним хотя бы Венецию, где, несмотря на свинцовые крыши и тайные приспособления, чтобы топить людей, Гольдони и Гоцци все же создали свои лучшие произведения, Испанию, где, несмотря на самодержавный топор и ортодоксальный огонь, сочинялись чудеснейшие пьесы плаща и шпаги, — вспомним о Мольере, который писал при Людовике XIV; даже в Китае есть превосходные комедии... Нет, не политическое состояние определяет собой развитие комедии в той или иной стране, и я подробно доказал бы это, если бы это не завело меня в такую область, от которой я рад держаться вдалеке. Да, дражайший друг, политика прямо пугает меня, и всякую политическую мысль я обхожу на десять шагов, как бешеную собаку. Когда ход мысли нечаянно наталкивает меня на политическую идею, я скорее произношу заклятие.

Известно ли вам, любезнейший друг, заклятие, которое поскорее надо произнести, когда встречаешь бешеную собаку? Оно мне памятно еще с детских лет, а научился я ему от старого капеллана Астхевера. Когда, гуляя вместе, мы замечали собаку, у которой хвост был опущен несколько подозрительно, мы спешили помолиться: «О пес, пес дворовый, — Ты нездоровый, — Проклят ты навек. — Боится тебя всяк человек. — Да минует нас твой укус. — И да сохранит нас господь наш Иисус. — Аминь».

Так же, как и политика, беспредельный страх внушает мне теология, платившая мне одними неприятностями. Я более не поддаюсь соблазнам Сатаны, я воздерживаюсь даже от всяких размышлений о христианстве, и теперь уже я не такой дурак, чтобы Генгс-

тенберга и компанию стараться обратить к радостям жизни; пусть себе эти несчастные до самой смерти жрут чертополох вместо ананасов и умерщвляют свою плоть; *tant mieux*, я сам предоставлю им для этого розги. Теология составила мое несчастье, — вы знаете, путем какого недоразумения. Вы знаете, как союзный сейм, хоть я и не ходатайствовал об этом, причислил меня к «Молодой Германии» и как я до сих пор тщетно просился в отставку. Тщетно пишу я смиреннейшие прошения, тщетно утверждаю, что совершенно не верю во все мои религиозные заблуждения... Ничто не помогает! Я, право же, не требую ни гроша пенсии, но мне хотелось бы уйти на покой. Любезнейший друг, вы доставили бы мне истинное удовольствие, если бы в вашем журнале при случае обвинили меня в обскурантизме и раболепстве, это для меня может быть полезно. Моих врагов мне особенно не приходится просить об этой дружеской услуге, они клеветуют на меня с величайшей предупредительностью.

...Я остановился на том, что французы, которым комедия удалась лучше, чем нам, обязаны этим преимуществом не политической свободе; может быть, вы разрешите мне показать несколько подробнее, что авторы комедий во Франции обязаны своим первенством состоянию общества.

Авторы комедий во Франции редко берут в качестве основного материала общественную жизнь народа, они обычно пользуются только отдельными ее моментами; на этой почве они то там, то здесь срывают какой-нибудь комический цветок и украшают им зеркало, из граней которого, отшлифованных иронией, нас приветствует смехом домашняя жизнь французов. Больше материала дают авторам комедий контрасты, которые существуют между многими старыми учреждениями и нынешними нравами, а нередко и между нынешними нравами и тайными мыслями народа, и, наконец, особенно обильный материал представляют для него те противоречия, которые так забавно выступают наружу, когда благород-

ный энтузиазм, вспыхивающий у французов с такою легкостью и с такою же легкостью угасающий в них, приходит в столкновение с положительными, промышленными тенденциями современности. Тут под ногами у нас почва, где уже пятьдесят лет тешит свой произвол великий деспот — революция, здесь — разрушая, там — щадя, но повсюду колебля основы общественной жизни; и это неистовство равенства, которое смогло только принизить высокое, но не возвысить низкое; этот раздор между прошлым и настоящим, которые издеваются друг над другом, драка безумца с привидением; это крушение всех авторитетов как духовных, так и материальных; эти люди, спотыкающиеся на обломках, и эта безмозглость в великие роковые часы, когда чувствуется необходимость авторитета и когда разрушитель сам пугается дела своих рук, от страха начинает петь и, наконец, разражается смехом... Вы видите, это страшно, пожалуй, даже ужасно, но для комедии это превосходно!

А все-таки немцу здесь жутковато. Клянусь вечными богами! Нам следовало бы всякий день благодарить спасителя и господа нашего за то, что у нас нет такой комедии, как у французов, что у нас не растет цветов, которые могут распусться лишь на гряде обломков, на гряде развалин, какой является французское общество. Француз — автор комедии — напоминает мне порой обезьяну, которая сидит на развалинах опустошенного города и строит гримасы и смеется, скаля зубы, когда из обрушившейся арки собора выглядывает голова настоящей лисы, когда в бывшем будуаре королевской любовницы разрешается от бремени настоящая свинья, или когда на зубчатой крыше ратуши вороны важно слетаются на совет, или когда гиена откапывает старые кости в королевском склепе.

Я уже упоминал, что главные мотивы французской комедии черпаются не в общественном, а в домашнем быту народа; и здесь самая благодарная тема — отношения мужчины и женщины. Как во всех житейских

отношениях, так и в семье у французов распались все связи и сломлены все авторитеты. Что уважение к отцу утрачено и сыном, и дочерью, это вполне понятно, если принять в расчет разлагающую силу того критицизма, который родился из материалистической философии. Это отсутствие всякого пиетета еще резче проявляется в отношениях мужчины и женщины, союзах брачных и внебрачных, которые по своему характеру исключительно удобны для комедии. Здесь мы видим в подлиннике арену всех тех войн между двумя полами, что известны нам только по плохим переводам или переделкам и которые немец может описать разве как Полибий, но отнюдь не как Цезарь. Конечно, супруги воюют, как вообще муж и жена во всех странах, но повсюду, кроме Франции, слабому полу нехватает свободы в движениях, война должна вестись в более скрытой форме; она обходится без внешних драматических эффектов. В других странах женщина едва решается на маленькое возмущение, в крайнем случае — на бунт. Здесь же оба члена брачного союза противостоят друг другу с равными военными силами и вступают в ужаснейшие домашние сражения. При образе немецкой жизни вам в немецком театре очень забавно смотреть на военные походы двух полов, которые хотят перехитрить друг друга с помощью стратегического искусства, засад, ночных нападений, двусмысленных перемирий, а то и заключения вечного мира. Но когда сам находишься во Франции, на поле битвы, где подобные вещи разыгрываются не только для виду, но и по-настоящему, и если в груди у тебя немецкая душа, то пропадает всякое удовольствие от лучшей французской комедии. И — увы! — я давно уже не смеюсь, когда Арналь с восхитительной глупостью играет роль рогоносца. И я также не смеюсь, когда Женни Верпре в роли знатной дамы, проявляя всяческую грацию, играет цветами прелюбодеяства. И я также не смеюсь, когда гляжу на девушку Дежазе, которая — это вы знаете — столь превосходно, с таким

классическим бесстыдством исполняет роли гризеток. Сколько потребовалось поражений в добродетели, прежде чем эта женщина смогла достичь таких побед в области искусства! Она, быть может, лучшая актриса Франции. С каким мастерством играет она бедную модистку, которая благодаря щедрости богача-любовника вдруг оказывается окруженной роскошью, совсем словно знатная дама, или же маленькую прачку, которая впервые выслушивает нежные речи какого-нибудь *caubin* * (по-немецки: *studiosus medicinae* **) и отправляется в сопровождении его на *Bal champêtre de la Grande Chaumière*... Ах! Все это очень мило и смешно, и публика смеется; но когда я подумаю про себя, чем в действительности кончается подобная комедия, а именно — грязью проституции, больницей Сен-Лазар, столами анатомического театра, где *caubin* нередко случается видеть поучительное зрелище, как вскрывают его бывшую возлюбленную... Тогда смех замирает у меня в горле, и если бы я не боялся показаться дураком в глазах самой просвещенной в мире публики, то я не прятал бы своих слез.

Видите ли, дорогой друг, тайное проклятие изгнания именно в том, что в атмосфере чужбины мы никогда не чувствуем себя как дома, что, привезя с родины свой образ мыслей и чувств, мы стоим особняком среди народа, который чувствует и мыслит совсем иначе, нежели мы, что нас то-и-дело оскорбляют нравы, вернее — безнравственность, с которой туземцы давно примирились, которая даже не занимает их, как и явления природы их страны... Ах! Духовный климат на чужбине для нас так же негостеприимен, как и физический; к последнему даже легче примениться, и в крайнем случае заболевает тело, но не душа!

Революционная лягушка, которая рада была бы подняться из стоячих вод отечества и которая идеалом свободы считает жизнь птицы в небе, не сможет, однако,

* студент-медик

** То же.

выдержать долгого пребывания на так называемом свежем сухом воздухе и, конечно, скоро начнет томиться по своему тяжелому, густому родному болоту. Сперва она раздувается во-всю, радостно приветствует солнце, которое столь пышно сияет в июле, и говорит, обращаясь сама к себе: «Я выше моих земляков, всякой рыбы, всякой трески, немых водяных животных, Юпитер наделил меня даром слова. Я ведь даже певица и уже тем самым я чувствую себя сродни птицам; нехватает мне только крыльев»... Бедная лягушка! А если бы ей и даны были крылья, то все же она не смогла бы подняться в самую высь — в вышине ей не хватило бы птичьей легкости в мыслях; она невольно стала бы поглядывать вниз, на землю. Только с этой высоты ей стали бы явственно заметны печальные явления земной долины плача, и пернатой лягушке стало бы еще тяжелее чем раньше — в самом немецком из всех болот!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Голова у меня тяжелая и пустая. Нынче ночью мне почти совсем не пришлось уснуть. Я все время ворочался в постели, и в мозгу у меня все время ворочалась мысль: кто был замаскированный палач, обезглавивший Карла I в Уайтхолле? Только под утро я задремал, и тут мне приснилось: ночь, и я, одинокий, стоял на Pont Neuf * в Париже и глядел вниз на темную Сену. А внизу, под сводами моста, видны были голые люди, стоявшие по пояс в воде, с горящими светильниками в руках, и, казалось, чего-то искали. Они многозначительно смотрели на меня, и сам я кивал им головой, как-будто мы таинственнейшим образом уславливались о чем-то... Наконец ударил тяжелый колокол Собора богородицы, и я проснулся. И вот я целый час уже все думаю: чего же собственно искали под Pont-Neuf

* Новый Мост

голые люди? Мне кажется, во сне я это знал, а потом забыл.

Лучистый утренний туман обещает ясный весенний день. Поет петух. Старый инвалид, что живет рядом с нами, сидит уже перед дверью своего дома и поет наполеоновские песни. Внук его, белокурый кудрявый ребенок, стоит уже на своих босых ножках перед моим окном с куском сахара в руке и собирается кормить им розы. Воробей бежит, семена маленькими лапками, и как-будто с любопытством, как-будто с удивлением смотрит на милого ребенка. Но быстро подходит мать, красивая крестьянка, берет ребенка на руки и уносит его в дом, чтобы он не простудился на утреннем воздухе.

А я снова берусь за перо, чтобы нацарапать мои путанные мысли о французском театре стилем еще более путаным. Вряд ли окажется в этой пустыне писаний нечто такое, что могло бы быть поучительно для вас, дорогой друг. Вам, драматургу, во всех отношениях знакомому с театром и читающему в утробах комедантов, как господь-бог в наших утробах; вам, некогда жившему на подмостках, которые означают мир, любившему и страдавшему на этих подмостках, как некогда в нашем мире сам господь, вам ведь я не смогу сообщить много нового ни о немецком, ни о французском театре! Здесь я осмеливаюсь набросать только беглые замечания, в ответ на которые вы благосклонно закиваете головой.

Так, я надеюсь, вы согласитесь с тем, что я в прошлом письме сказал о французской комедии. Нравственное отношение или, вернее, нравственный разлад между мужем и женой здесь, во Франции, является тем навозом, который так прекрасно удобряет почву комедии. Супружество, или вернее супружеская неверность, — это самая суть всех тех комедийных ракет, которые с таким блеском взлетают в высоту, но оставляют после себя меланхолический мрак, если даже не скверный запах. Старая религия, католическое христианство,

освящавшее брак и грозившее адом неверному супругу, угасло здесь так же, как и этот ад. Мораль, являющаяся не чем иным, как религией, сросшейся с нравами, утратила тем самым все свои жизненные корни, уныло вянет, обвиваясь вокруг тощих прутьев разума, посаженных на место религии. Но даже и эту жалкую, беспочвенную, опирающуюся только на разум религию здесь не уважают как следует, и общество чтит только приличие, являющееся не чем иным, как видимостью морали, обязательством тщательно избегать всего того, что может вызвать публичный скандал; говорю — публичный, а не тайный скандал, ибо все то скандальное, что не показывается наружу, для общества не существует; грех оно карает только в тех случаях, когда языки слишком уж громко начинают бормотать о нем. И даже тут бывает милостивое смягчение вины. Грешницу не осуждают окончательно до тех пор, пока сам супруг не скажет: виновна. Самой порочной Мессалине открыты двери французского салона, пока рядом с нею терпеливо трусит рогатая домашняя скотина. Напротив, девушка, которая с безумием великодушия, с женским самопожертвованием бросается в объятия любимого, навсегда изгоняется из общества. Но это случается редко, во-первых, потому что здешние девушки никогда не любят, а во-вторых, потому что в случае, если им случится полюбить, они стараются как можно скорее выйти замуж, дабы воспользоваться той свободой, которую обычай предоставляет только женщинам замужним.

В том-то и дело. У нас, в Германии, так же как в Англии и других германских странах, девушкам предоставляют возможно большую свободу, женщины замужние, напротив, находятся в строжайшей зависимости от своего супруга и под самым бдительным его надзором. Здесь, во Франции, как я сказал, имеет место противоположное, молодые девушки до тех пор пребывают здесь в монастырском уединении, пока не выйдут замуж или не вступят в свет под строжайшей охраной родствен-

ника. В свете, т. е. во французском салоне, они сидят всегда молча и мало привлекают к себе внимание, потому что здесь и не умно, и не считается хорошим тоном ухаживать за девушкой.

В том-то и дело. Мы, немцы, так же как и наши германские соседи, поклоняемся только девушке, и только ее воспевают наши поэты; у французов, наоборот, лишь замужняя женщина является предметом любви как в жизни, так и в искусстве.

Я только-что указал на факт, лежащий в основе одного существенного различия между немецкой и французской трагедией. Героини в немецких трагедиях почти всегда — девушки, во французской трагедии — замужние женщины, и более сложные отношения, появляющиеся здесь, дают, пожалуй, больше простора для игры страстей и для действия.

Мне никогда не придет в голову хвалить французскую трагедию в ущерб немецкой или наоборот. Искусство и литература каждой страны обусловлены местными потребностями, которых при оценке их нельзя не принимать в расчет. Ценность немецких трагедий, как то Гете, Шиллера, Клейста, Иммермана, Габбе, Эленшлегера, Уланда, Грильпарцера, Вернера и других больших писателей, — скорее в поэзии, чем в действии и страсти. Но как бы чудесна ни была поэзия, все же влияние ее распространяется скорее на одинокого читателя, чем на большое собрание. То, что в театре всего более захватывает широкую публику, — это именно действие и страсть, а в этом отношении французы — авторы трагедий — стоят на непревзойденной высоте. Французы по самой природе более деятельны и страстны, чем мы, и трудно решить: благодаря ли врожденной дееспособности страсть проявляется у них резче, нежели у нас, или же прирожденная страстность сообщает их поступкам более темпераментный характер и делает их жизнь гораздо более драматичной, чем наша, тихие воды которой спокойно текут по неизменному руслу традиции и отличаются скорее глубиной,

чем бурными волнами. Словом, здесь, во Франции, жизнь более драматична, и в зеркале жизни — театре, действие и страсть достигают высшей ступени.

Страсть в том виде, какой она принимает во французской трагедии, эта непрестанная буря чувств, эти непрекращающиеся громы и молнии, это вечное движение эмоций, в такой же мере соответствует потребностям французской публики, в какой, с точки зрения вкусов публики немецкой, необходимо, чтобы автор сперва постепенно мотивировал безумные взрывы страсти, чтобы затем он вводил спокойные пассажи, которые позволили бы немецкой душе мирно оправиться, чтобы нашим чувствам и сознанию он давал маленькую передышку, чтобы мы со всеми удобствами и не торопясь могли предаваться умилению. В немецком партере сидят миролюбивые граждане и государственные чиновники, которые желали бы спокойно переваривать там свою кислую капусту, а повыше, в ложах, сидят голубоглазые дочери просвещенных сословий, прекрасные белокурые души, взявшие с собой в театр чулок, который они вяжут, или другое какое рукоделие и желающие в меру помечтать, так, чтобы при этом не спустилась ни одна петля. И все зрители обладают той немецкой добродетелью, которая всем нам дана от природы или воспитана в нас — терпением. Да ведь в драму и приходят затем, чтобы судить об игре комедиантов, или, как мы выражаемся, о степени совершенства артистов, и последние дают материал для толков в наших салонах и газетах. Француз же, напротив, идет в театр, чтобы видеть пьесу, чтобы получить эмоции; изображаемое совершенно заставляет его забыть об исполнителях, да и вообще о них почти нет речи. Беспокойство увлекает француза в театр, и менее всего он ищет там покоя. Если бы автор на мгновение оставил его в покое, он был бы в состоянии «кликнуть Азора», что по-немецки значит — засвистать. Таким образом главная задача французского драматурга в том, чтобы его публика совершенно не могла опомниться, притти

в себя, чтобы эмоции неслись одна за другой, чтобы любовь, ненависть, ревность, честолюбие, гордость, *point d'honneur* * — словом, все те страстные чувства, которые в действительной жизни французов и так уже принимают достаточно шумную форму, вспыхивали на подмостках еще более дико и неистово.

Но чтобы судить о том, не преувеличивается ли во французской трагедии страсть, не нарушаются ли здесь все границы, требуется глубочайшее знание самой французской жизни, являвшейся прообразом для автора. Чтобы подвергнуть французскую пьесу справедливой критике, нельзя мерить ее немецким, надо мерить ее французским масштабом. Страсти, кажущиеся нам совершенно преувеличенными, когда где-нибудь в тихом уголке мирной Германии мы смотрим или читаем французскую пьесу, может быть, в точности воспроизводят действительную жизнь, и то, что в театральном наряде кажется нам таким чудовищно неестественным, ежедневно и ежечасно случается в Париже, в самой буржуазной действительности. Нет, в Германии невозможно составить себе представление об этой французской страсти. Мы видим ее действия, слышим ее слова, но эти действия и эти слова хоть и приводят нас в изумление, заставляя нас, пожалуй, смутно догадываться, все же никогда не дадут нам точного понятия о чувствах, породивших их. Кто хочет понять, что значит огонь, должен сунуть руку в огонь; недостаточно видеть обожженного человека, а меньше всего толку, если о природе пламени мы будем знать только понаслышке или из книг. Люди, живущие на северном полюсе общества, не имеют и понятия о том, как легко воспламеняются сердца в жарком климате французского общества, или о том, как в дни июля от безумнейших солнечных укулов воспаляются головы. Слыша, как они там кричат, или видя, какие они строят гримасы, когда это пламя опалает им сердце и мозг, мы, немцы, просто диву даемся,

* вопрос чести

и качаем головой, и объявляем, что все это противостоит естественно или даже — что это безумие.

Подобно тому, как мы, немцы, не можем понять беспрестанную бурю и натиск страсти в произведениях французских поэтов, так и французам непонятна тихая душевность, полная предчувствий и воспоминаний мечтательная жизнь, которая постоянно чувствуется у нас даже в произведениях, наиболее одушевленных страстью. Люди, мысли которых занимает только настоящий день, которые за ним признают высшее значение и поэтому-то распоряжаются им с поразительнейшей уверенностью, они не могут понять чувств народа, у которого есть только вчера и завтра, но нет сегодня, который беспрестанно вспоминает прошлое, но никак не может понять настоящего как в любви, так и в политике. С удивлением смотрят они на нас, немцев, нередко целых семь лет с мольбой смотрящих на глаза любимой, пока не явится решимость обнять рукой ее стан. Они с удивлением смотрят на нас, когда мы сперва стараемся основательно изучить всю историю французской революции вместе со всеми комментариями к ней и выжидаем последних добавочных томов, прежде чем переводить этот труд на немецкий язык, прежде чем давать роскошное издание прав человека с посвящением королю баварскому...

«О пес, пес дворовый, — Ты нездоровый, — Проклят ты навек. — Бойтся тебя всяк человек. — Да минует нас твой укус, — И да сохранит нас господь наш Иисус. — Аминь!»

П И С Ь М О Ч Е Т В Е Р Т О Е

Сегодня утром, любезнейший друг, я нахожусь в удивительно мягком расположении духа. Весна очень странно действует на меня. Целый день я в ошеломлении, и душа моя дремлет. Ночью же я бываю так возбужден, что засыпаю лишь под утро, и тут овладевают

мной самые мучительно прелестные сны. О томительное счастье, с какой тревогой прижимало ты меня к своему сердцу несколько часов тому назад! Мне снилась она, которую я не хочу любить и которую не смею любить, но чья страсть все же дарит мне тайное блаженство. Это было в ее загородном доме, в маленькой сумрачной комнате, где окно балкона оплетено дикими маслинами. Окно было открыто, и яркая луна светила к нам в комнату и бросала серебряные полосы света на ее белые руки, с такой любовью обнимавшие меня. Мы молчали и думали только о своем сладостном горе. По стенам двигались тени деревьев, цветы которых благоухали все сильнее. Там, в саду, сперва в отдалении, потом поближе, заиграла скрипка, долгие, медленные звуки, то грустные, то вдруг благодушно радостные, порой напоминающие унылое рыдание, по временам грозные, но все время чарующие, прекрасные и правдивые... «Кто это?» — тихо прошептал я. И она ответила: «Это мой брат играет на скрипке». Но вскоре скрипка умолкла в саду, и вместо нее мы услышали тающие, замирающие звуки флейты, и раздавались они полные такой мольбы, такой молитвы, словно истекали кровью, и были это такие жалобно таинственные звуки, что душу охватывала безумная боязнь и нельзя было не думать о самых страшных вещах, о жизни без любви, о смерти без воскресения, о слезах, которые мы не в силах выплакать... «Кто это?» — тихо прошептал я. И она ответила: «Это мой муж играет на флейте».

Дорогой друг, еще хуже, чем видеть сны, — пробуждаться от них.

Какие все-таки счастливые эти французы! Им совсем ничего не снится. Я наводил точные справки, и это обстоятельство также объясняет, почему они с такой неусыпной уверенностью вершат свои дневные дела и не поддаются неясным, еле брезжащим мыслям и чувствам как в искусстве, так и в жизни. В трагедиях наших великих немецких поэтов большую роль играют сны, а французские драматурги-трагики и не догады-

ваются об их значении. Предчувствий у них вообще не бывает. То, что появляется в этом роде в новейших произведениях французской поэзии, не соответствует ни характеру писателя, ни характеру публики, а бывает лишь прочувствовано на немецкий лад, даже в конце-концов чуть ли не оказывается жалким воровством. Ибо французы плагиатируют не только мысли, похищают у нас не только поэтические фигуры и образы, мысли и взгляды, но они крадут у нас чувства, ощущения, и душевные состояния; они плагиатируют чувства. В частности это заметно тогда, когда некоторые из них подделываются под душевные бредни католико-романтической школы времен Шлегелей.

За малыми исключениями, французы не могут отречься от своего воспитания; они более или менее материалисты, смотря по той степени, в какой на них повлияло французское воспитание, являющееся продуктом материалистической философии. Оттого их поэтам и не дано души и наивности, не дано познавать путем созерцания и растворяться в созерцаемом. У них есть лишь рефлексия, темперамент и сентиментальность.

Да, мне хочется высказать здесь также и соображение, которое могло бы быть полезно для оценки кое-кого из немецких авторов: сентиментальность — продукт материализма. В душе материалист смутно сознает, что в мире как-никак не все — материя; пускай ограниченный разум так убедительно доказывает ему материальность всего сущего, все же против этого восстает его чувство; по временам в него прокрадывается тайная потребность увидеть в сущем также и нечто исконно духовное; это смутное стремление и эта потребность порождают ту смутную чувствительность, которую мы называем сентиментальностью. Сентиментальность — отчаяние материи, уже не самодовлеющей и мечтательно стремящейся наружу, в неопределенность чувства, рвущейся к чему-то лучшему. И действительно, я видал, что именно сентиментальные

авторы, дома у себя или когда вино развязывало им языки, в самых грубых, непристойных выражениях выкладывали свой материализм. Но сентиментальный тон, особенно, если он разукрашен патристическими, нравственно-религиозными нищими мыслишками, широкая публика считает признаком прекрасной души!

Франция — страна материализма; он сказывается во всех проявлениях здешней жизни. Некоторые одаренные умы пытаются, правда, выкорчевать его корни, но эти попытки вызывают еще большие опасности. На разрыхленную почву падают семена тех спиритуалистических ересей, яд которых самым болезненным образом ухудшает социальное состояние Франции.

С каждым днем меня все больше страшит кризис, который это социальное состояние может вызвать; если бы французы хоть немного думали о будущем, они не могли бы ни одной минуты радоваться жизни. И действительно, французы никогда не радуются ей спокойно. Не сидят они с комфортом на банкете жизни, а поспешно глотают очаровательные блюда, быстро выливают себе в глотку сладостный напиток и никогда не могут спокойно отдаться наслаждению. Они напоминают мне старую гравюру в нашей домашней библии, где изображены были дети Израиля, которые, перед тем как покинуть Египет, справляют праздник Пасхи и, стоя, снарядившись уже в дорогу, со странническим посохом в руке, поедают жаркое молодого барашка. Если жизненные утехи отпускаются нам куда более скупо, то все же нам дано наслаждаться ими в самом уютном спокойствии. Дни наши плавно скользят подобные волосу, плавающему в молоке.

Любезнейший Левальд, последнее сравнение принадлежит не мне, а одному раввину; я недавно прочел его в сборнике раввинской поэзии, где поэт сравнивает жизнь праведника с волосом, плавающим в молоке. Сперва этот образ вызывал во мне легкую тошноту, ибо ничто не оказывает на мой желудок такого тошно-

творного действия, как волос, который я нахожу в своем утреннем кофе. А в особенности, если это — длинный волос, который плавно держится на поверхности, точно жизнь праведника! Но у меня это идиосинкразия; я во что бы то ни стало хочу свыкнуться с этим образом и пользоваться им по всякому случаю. Писатель не должен впадать в полный субъективизм, он должен уметь все писать, как бы дурно ему ни становилось.

Жизнь немца подобна волосу, плавающему в молоке. Да, сравнению этому можно было бы придать форму еще более совершенную, если бы сказать: немецкий народ подобен косице, сплетенной из тридцати миллионов волос и преспокойно плавающей в большом горшке молока. Я мог бы наполовину сохранить этот образ и сравнить французскую жизнь с горшком молока, куда ринулись целые тысячи мух, из которых каждая стремится взобраться на спину другой, но, в конце-концов, они погибают все, за исключением немногих, которые случайно или из осторожности сумели добраться до края горшка и ползают тут по сухому, но с мокрыми крыльями.

У меня были особые причины к тому, чтобы поделиться с вами лишь немногими соображениями насчет социального состояния французов; но чем разрешится эта путаница — не в силах угадать ни один человек. Быть может, Франция приближается к страшной катастрофе. Те, кто начинают революцию, обычно становятся ее жертвами, и, быть может, эта участь постигает целые народы, — совершенно так же, как и отдельные личности. Французский народ, начавший великую европейскую революцию, быть может, погибнет, а грядущие народы пожнут плоды его начинаний.

Но надо надеяться, я ошибаюсь. Французский народ — это кошка, которая, даже если ей и случается свалиться с опаснейшей высоты, все же никогда не ломает себе шею, а, наоборот, каждый раз сразу же становится на ноги.

Собственно говоря, любезнейший Левальд, я не знаю, правильно ли с точки зрения естественной истории считать, что кошки всегда падают на все четыре лапы и благодаря этому никогда не причиняют себе вреда, как мне однажды пришлось слышать, когда я еще был маленьким мальчиком. Я сразу же пожелал проделать эксперимент, взобрался с нашей кошкой на крышу и с этой высоты бросил ее на улицу. Но случилось, что мимо нашего дома как-раз проезжал казак, бедная кошка упала прямо на острие его пики, и он весело поскакал дальше с проткнутым животным. Если же в самом деле правда, что кошки всегда невредимо падают на лапы, то в таком случае они должны остерегаться казачьих пик...

П И С Ь М О П Я Т О Е

Мой сосед, старый гренадер, сидит сегодня, задумавшись, у двери своего дома; порой он начинает одну из своих старых бонапартистских песен, но от внутреннего волнения голос не повинуется ему; глаза у него красные и по всему видно, что старик плакал.

Но ведь вчера вечером он был у Франкони и смотрел там аустерлицкое сражение. В полночь вышел он из Парижа, и душа его так властно была охвачена воспоминаниями, что он, как лунатик, пробродил всю ночь и сам был удивлен, когда сегодня утром добрался до деревни. Он растолковал мне недостатки пьесы, так как сам был при Аустерлице, где было так холодно, что ружье примерзало к пальцам; наоборот, у Франкони была нестерпимая жара. Пороховым дымом он остался очень доволен, также и запахом лошадей; только он утверждает, что у кавалерии при Аустерлице не было таких прекрасно выдрессированных лошадей. Вполне ли правильно представлены маневры инфантерии, он не мог точно определить, ибо при Аустерлице, как во время всякого сражения, стоял такой

Густой пороховой дым, что едва было заметно то, что происходило совсем поблизости. Но у Франкони пороховой дым, по словам старика, был прямо превосходен и так приятно подействовал на его грудь, что он вылез из своего кашля. «А император?» — спросил я его. «Император, — отвечал старик, — был все тот же, совсем как живой, в своем сером сюртуке и треугольной шляпе, и сердце заколотилось у меня в груди. Ах, император, — прибавил старик, — знает бог, как я люблю его, уж не раз в этой жизни ходил я за него в огонь, и даже после смерти придется мне за него идти в огонь!»

Последнюю фразу Рикю — так зовут старика — прознес тайно и мрачным шопотом и уже много раз слышал я от него, что он за императора попадет когда-нибудь в ад. Когда же я сегодня настойчиво стал убеждать его объяснить мне эти загадочные слова, он рассказал мне вот какую ужасную историю.

Когда Наполеон увез из Рима папу Пия VII и поместил его в Савоне, в высоком горном замке, Рикю принадлежал к роте grenadiers, стороживших его там. Сперва папе была предоставлена некоторая свобода; он мог беспрепятственно в любое время покидать свои покои и посещать капеллу замка, где сам каждый день читал мессу. Проходя при этом через большую залу, где императорские grenadiers стояли на часах, он протягивал к ним руку и благословлял их. Но однажды утром grenadiers получили положительное приказание — строже, чем раньше, охранять выход из папских покоев и не позволять папе проходить через большой зал. К несчастью, исполнение этого приказа выпало именно на долю Рикю — Рикю, родом бретонца, а значит архикатолика, чтившего в пленном папе наместника Христова. Бедный Рикю стоял на часах у двери в папские покои, когда папа, собираясь, как обычно, идти в капеллу читать мессу, захотел пройти через большой зал. Но Рикю встал перед ним на дороге и объявил, что ему дан приказ — не пропускать святого

отца. Напрасно священники, находившиеся в свите папы, увещевали его и объясняли, какое святотатство, какой грех, какое проклятие он берет на себя, претпствуя его святейшеству, верховному главе церкви, читать мессу... Но Рику остался непоколебим, он все ссылался на невозможность нарушить приказ, а когда папа все же захотел итти дальше, он, полный решимости, воскликнул: «*Au nom de l'Empereur!*»* — и отеснил его назад, держа перед собой штык. Через несколько дней строгое приказание было отменено, и папа снова мог проходить через большой зал, идя служить мессу. Он попрежнему благословлял всех присутствующих, всех, кроме бедного Рику, на которого теперь он бросал всегда строгий наказующий взгляд и к которому поворачивался спиной, протягивая к остальным благословляющую руку. «А все-таки я не мог поступить иначе, — прибавил старый инвалид, рассказав мне эту ужасную историю, — я не мог поступить иначе, мне было дано приказание, я должен был повиноваться императору, а по его приказанию (бог да простит мне!) я бы и самого господа-бога проткнул штыком!»

Я уверил беднягу, что за все грехи великой армии отвечает император, но в этом для него нет большой беды, так как в аду ни один чорт не дерзнет и притронуться к Наполеону. Старик охотно согласился со мной и стал рассказывать, как всегда, с болтливым воодушевлением, о великолепии империи, о временах императора, когда всюду лилось золото и все было в цвету, тогда как теперь весь мир вянет и блекнет.

Действительно ли время Империи было во Франции так прекрасно и так счастливо, как привыкли хвастать эти бонапартисты, от мала до велика, от инвалида Рику до герцогини Абрантской? Не думаю. Поля не возделывались, а людей уводили на бойню. Повсюду слезы матерей и запустение в домах. Но с этими бонапартистами происходит то же самое, что с пьяным бед-

* Именем императора!

няком, проникательно заметившим, что, пока он трезв, жилище его остается жалкой лачугой, жена его закутана в лохмотья, а ребенок лежит больной и голодный, но как только он выпьет несколько стаканов водки, вся эта нищета сразу преобразается, жена его становится нарядной принцессой, а ребенок улыбается ему, как упитаннейшее олицетворение здоровья. Если порой его бранили за скверное хозяйство, он то и дело уверял, что надо бы только дать ему достаточно водки, и скоро все в его доме примет вид более блестящий. Не водка, но слава, честолюбие и жажда завоеваний так опьяняли этих бонапартистов, что они во время империи не видели подлинной сути вещей, теперь же по всякому поводу, когда раздается жалоба на плохие времена, они всегда кричат: «Все это сразу преобразилось бы, Франция засверкала бы и зацвела бы опять, если бы нас вновь, как прежде, стали поить орденами, эполетами, *contributions volontaires* *, испанскими картинами, герцогствами, дали бы пить все это залпом».

Но как бы то ни было, не только старые бонапартисты, а также и народная масса рада убаюкивать себя этими иллюзиями, и дни Империи — поэзия этих людей, поэзия, которая к тому же составляет оппозицию умственной трезвости побеждающего буржуазного сословия. Героизм императорского владычества — единственный, к которому французы еще чувствительны, и Наполеон — единственный герой, в которого они еще верят.

Если вы взвесите это, дорогой друг, то поймете и его значение для французского театра и успех, которым здешние драматурги так часто пользуются, прибегая к этому, единственному в песчаной пустыне равнодушия, источнику вдохновения. Когда в водевиле, где-нибудь в бульварном театре, изображается сцена из времен Империи, а то еще появляется и сам император, то как бы плоха ни была пьеса, не бывает недостатка

* добровольными контрибуциями

в аплодисментах, ибо в представлении принимает участие и душа зрителей, и они аплодируют собственным чувствам и воспоминаниям. И бывают здесь куплеты, а в них — слова, которые ошеломляют мозг француза, словно удары дубиной, или оказывают на его слезные железы такое же влияние, как луковица. Зрители плачут, ликуют, горят, когда раздается: *aigle français, soleil d'Austerlitz, Iena, les pyramides, la grande armée, l'honneur, la vieille garde, Napoléon**... или когда сам этот человек, *l'homme***, появляется в конце пьесы, как *deus ex machina****. На голове у него все та же волшебная шапка, и руки заложены за спину, и говорит он нельзя более лаконично. Он никогда не поет. Я не видел ни одного водевиля, где Наполеон пел бы. Все остальные поют. Я даже слышал, как пел в водевилях старый Фриц, *Frédéric le Grand*****, и пел он к тому же такие скверные стихи, что прямо можно было подумать, будто он сам их и сочинил.

Действительно, стихи в этих водевилях ниже всякой критики, но только не музыка, особенно в тех пьесах, где безногие старики воспевают величие полководца и горестный конец императора. Грациозное легкомыслие водевиля переходит здесь в элегически-сентиментальный тон, который и немца мог бы растрогать. Дело в том, что плохие тексты этих *complaintes****** сочинены к музыке тех известных мелодий, которые звучат в народных песнях о Наполеоне. Песни эти раздаются здесь повсюду, можно бы подумать, что они витают в воздухе или птицы поют их на ветвях деревьев. У меня из головы не выходят эти элегически-сентиментальные мелодии, которые я со всяческими аккомпанементами и всяческими вариациями слышал от девушек, малень-

* французский орел, солнце Аустерлица, Иена, пирамиды, великая армия, честь, старая гвардия, Наполеон...

** человек

*** бог из машины

**** Фридрих Великий

***** жалобных песен

ких детей, увечных солдат. Всего трогательнее пел их слепой инвалид в Диеппской крепости. Дом, где я жил, находился у самого подножия этой крепости, в том месте, где она выступает в море, и там, на темной стене, просиживал он целые ночи, этот старик, и воспе-вал подвиги императора Наполеона. Море как-будто прислушивалось к его песням, слово *gloire** всякий раз так торжественно проносилось над волнами, которые порой словно от удивления раздражались ропотом, а потом снова в тишине продолжали свой ночной путь. Когда они достигали Святой Елены, они, быть может, с благоговением приветствовали трагический утес или с мучительным негодованием ударялись о него. Сколько ночей простоял я у окна, слушая его, старого диеппского инвалида! Я не могу его забыть. Я все еще вижу его, как он сидит на старой стене, а месяц выходит из темных об-лаков и меланхолично освещает его, Оссиана Империи.

Какое значение для французской сцены приобретет когда-нибудь Наполеон — это просто нельзя опре-делить. Пока что императора приходилось видеть только в водевилях или пьесах, рассчитанных на пышные декорации и внешние эффекты. Но на этот высокий образ, как на свою неотъемлемую собственность, предъявляет права богиня трагедии. Как будто Фор-туна, так удивительно руководившая его судьбой, предназначает его в исключительный подарок своей кухне Мельпомене. Авторы трагедий всех веков будут в стихах и прозе возвеличивать судьбу этого человека. Но совершенно особое значение этот герой имеет для французских поэтов, потому что французский народ порвал со всем своим прошлым, к героям феодальной и придворной поры Валуа и Бурбонов не чувствует симпатии, если даже не питает к ним ненависти, и Наполеон, сын революции, — единственный высокий державный образ, царственный герой, радующий сердце новой Франции.

* слава

Я мимоходом отметил здесь, что политическое состояние французов не может благоприятствовать процветанию их трагедий. Когда они трактуют сюжеты из истории средних веков и времен последних Бурбонов, им никогда не удастся избавиться от влияния известного партийного духа, и поэт уже заранее, сам того не зная, находится в современно-либеральной оппозиции по отношению к старому королю или рыцарю, которого он собрался прославить. Так возникают диссонансы, которые крайне неприятно поражают немца, в действительности еще не порвавшего с прошлым, а в особенности немецкого поэта, воспитанного в беспристрастном духе художественной манеры Гете. Последние отзвуки Марсельезы должны умолкнуть, прежде чем автор и публика во Франции смогут настроиться вновь на соответствующий лад по отношению к героям своего исторического прошлого. И даже если бы душа автора очистилась от всех осадков ненависти, все же слово его не встретило бы беспристрастного уха в партере, где сидят люди, которые не могут забыть, какие кровавые столкновения случались у них с родней героев, действующих на сцене. Особого удовольствия не представляет вид отцов, если на Гревской площади пришлось рубить головы их сыновьям. Подобные вещи омрачают чистоту театральных наслаждений. Беспристрастие автора нередко остается настолько непонятным, что его обвиняют в антиреволюционных взглядах. «К чему это рыцарство, эта фантастическая ветошь?» — воскликнет раздосадованный республиканец и возгласит анафему поэту, возвеличившему своим стихом героев старых времен, чтобы обольстить народ, чтобы возбудить аристократические симпатии.

Здесь, как и во многом другом, сказывается родственная близость французских республиканцев с английскими пуританами. В их полемике против театра слышится почти тот же ворчливый тон, с тою лишь разницей, что нелепейшие доводы одни черпают в религиозном, другие же — в политическом фанатизме,

В числе документов из эпохи Кромвеля имеется полемическое сочинение знаменитого пуританина Принна, озаглавленное: «Histriomastix»* (напечатано в 1633 г.), откуда я извлекаю, чтоб позабавить вас, следующие нападки на театр:

«There is scarce one devil in hell, hardly a notorious sin or sinner upon earth, either of modern or ancient times, but hath some part or other in our stage-plays.

O, that our players, our play-hounters would now seriously consider, that the persons whose parts, whose sins they act and see, are even then yelling in the eternal flames of hell for these particular sins of theirs on the stage! Oh, that they would now remember the sighs, the groans, the tears, the anguishes, weeping and gnashing of tooth, the crys and shriks that these wickednesses cause in hell, whiles they are acting, applauding, comitting and laughing at them in the playhouse!»**

П И С Ь М О Ш Е С Т О Е

Мой дорогой, искренне любимый друг! У меня нынче утром такое чувство, словно на голове у меня венок из маков, усыпляющий все мои помыслы и думы. Временами я сердито встряхиваю головой, и тогда в ней, то здесь, то там пробуждаются, правда, кое-какие мысли, но сразу же засыпают и начинают взапуски

* «Бич комедиантов»

** Нет ни одного дьявола в аду, ни одного общеизвестного греха или отъявленного грешника на земле, нынешнего времени или прежнего, который не играл бы той или иной роли в наших театральных представлениях.

О, если бы теперь наши комедианты и зрители вправду поразмыслили о том, что те лица, чьи роли, чьи грехи они изображают и видят, воют в вечном пламени ада за эти самые свои грехи в то самое время, когда на сцене разыгрываются эти их грехи, их роли. О, если бы теперь они подумали о воздыханиях, столах, слезах, мучениях, о плаче и скрежете зубов, о воплях и криках, которые служат расплатой за эти беззакония, между тем как они в театре разыгрывают их, им рукоплещут, над ними смеются!

храпеть. Остроты, блохи мозга, скачущие среди дремлющих мыслей, тоже оказываются не особенно резвы, скорее даже сентиментальны и вялы. Весенний ли воздух вызывает такое ошеломление, или перемена в образе жизни? Я ложусь здесь уже в девять часов вечера, не чувствуя усталости, и не сплю тем здоровым сном, который сковывает все члены, а всю ночь ворочаюсь в постели в бредовом полусне. Напротив, в Париже, где мне удавалось лечь спать лишь через несколько часов после полуночи, сон мой был словно железный. Только в восемь часов вставал я из-за стола, а потом мы ехали в театр. Доктор Детмольд из Ганновера, проводивший прошлую зиму в Париже и всегда сопровождавший нас в театр, всеял в нас бодрость как бы усыпительна ни была пьеса. Мы много смеялись с ним, критиковали и злословили. Будьте спокойны, дражайший, вас мы вспоминали только в самых приятных тонах. Вам мы воздавали самые лестные похвалы.

Вы удивляетесь, что я так часто бывал в театре; вы знаете, что посещение театра не вполне относится к моим привычкам. Этой зимой я из каприза воздерживался от салонной жизни, а для того, чтобы друзья, у которых я редко появлялся, не увидели меня в театре, я обычно выбирал ложу авансены, в углу которой лучше всего прятаться от глаз публики. К тому же эти ложи авансены — мои любимые места. Тут видишь не только то, что изображается на сцене, но и то, что происходит за кулисами, за теми кулисами, где кончается искусство и начинается любезная природа. Когда на сцене разыгрывается патетическая трагедия, а в то же время за кулисами то здесь, то там открывается какая-нибудь деталь беспутной жизни комедиантов, это напоминает ту античную роспись стен или же те фрески Мюнхенской глиптотеки и некоторых итальянских палаццо, где в углах больших исторических картин нарисованы потешные арабески, смеющиеся забавы богов, вакханалии и идиллии с сатирами.

«Théâtre Français» я посещал очень редко; этот зал, по-моему, какой-то пустынный, унылый. Здесь еще являются призраки старой трагедии, с кинжалами и отравленными кубками в бледных руках; здесь еще клубится пудра с классических париков. Всего нестерпимее то, что на этой классической почве современному романтизму порой разрешают его дикие игры или, идя навстречу требованиям публики старой и молодой и составляя смесь классического с романтическим, создают так сказать трагический *juste milieu*. Эти французские драматурги-трагики — освобожденные рабы, все еще таскающие на себе обрывки старой классической цепи; чуткое ухо при каждом их шаге все еще различает какое-то позвякиванье, как во дни господства Агамемнона и Тальма.

Я далек от того, чтоб безусловно отвергать старую французскую трагедию. Я чту Корнеля и люблю Расина. Они создали мастерские произведения, которые будут стоять на вечных пьедесталах в храме искусства. Но на сцене их время прошло; они исполнили свою миссию перед публикой, состоявшей из дворян, которые любили считать себя наследниками древнего героизма или по крайней мере не отвергали с мещанской мелочностью этот героизм. Еще и в дни Империи герои Корнеля и Расина могли рассчитывать на величайшие симпатии, в те дни, когда они играли перед ложей великого императора и партером королей. Времена эти прошли, старая аристократия умерла, умер Наполеон, и престол теперь не что иное, как обыкновенный деревянный стул, обитый красным бархатом, и властвует теперь буржуазия, герои Поль де-Кока и Эжена Скриба.

Смесь стилей и анархия вкуса, господствующая сейчас в «Théâtre Français», отвратительна. Большинство новаторов склоняется даже в пользу натурализма, который так же не подходит к высокой трагедии, как и пустое подражание классическому пафосу. Вы достаточно хорошо знакомы, любезный Левальд, с той

системой правдоподобности, тем иффиандинизмом, что некогда свирепствовал в Германии и был побежден Веймаром, главным образом благодаря влиянию Шиллера и Гете. Такая же система правдоподобности хочет распространиться и здесь, и приверженцы ее ратуют против метрической формы и стихотворной читки. Если бы первая заключалась только в александрийском стихе, а вторая — в полных дрожи завываниях старого периода, то люди эти были бы правы, и простая проза и самый трезвый разговорный тон были бы полезнее для сцены. Но тогда истинная трагедия должна погибнуть. Она требует ритмической речи и декламации, не похожей на разговорный тон. Эти условия, по-моему, требуются почти для всякого драматического произведения. Пусть хоть сцена никогда не будет пошлым воспроизведением жизни и пусть она придаст ей некое благородство, проявляющееся если не в количестве слогов и читке, то в общем тоне, во внутренней торжественности пьесы. Ибо театр — это особый мир, отделенный от нас так же, как сцена — от партера. Между театром и действительностью лежит оркестр, музыка и тянется огненная полоса рампы. Действительность, миновав область звуков и переступив через знаменательные огни рампы, является нам на сцене, преображенная поэзией. Как замирающее эхо, отдается в ней еще прелестная гармония музыки, и таинственные лампы освещают ее сказочными лучами. Это — волшебные звуки и волшебный блеск, которые прозаической публике легко могут показаться неестественными и которые, однако, еще куда естественнее, чем обыкновеннейшая натура; это — натура, которую возвысило искусство, подняло на высоту самой цветущей божественности.

Лучшие трагические поэты французов — всё по-прежнему Александр Дюма и Виктор Гюго. Последнего я называю во вторую очередь, потому что его театральная деятельность не так велика и не так удачна, хотя по своему поэтическому значению он превосхо-

дит всех своих современников по сю сторону Рейна. Я отнюдь не отказываю ему в драматическом таланте, как делают многие, с коварной целью превозносящие его величие, как лирика. Он поэт, и поэзия повинуетя ему во всех формах. Его драмы так же заслуживают похвал, как и его оды. Но на сцене большее влияние имеет риторика, нежели поэзия, и упреки, которые делаются поэту после провала пьесы, с большим основанием следовало бы обратить к широкой публике, менее восприимчивой к наивным неподдельным звукам, глубокомысленным образам и психологическим тонкостям, нежели к помпезной фразе, нелепому ржанию страсти и театральным эффектам. Последнее на жаргоне французских актеров называются: *brûler les planches**.

Вообще Виктора Гюго во Франции еще не оценили по достоинству. Немецкая критика и немецкое беспристрастие обладают лучшим масштабом, чтобы мерить его заслуги, и могут воздать ему хвалу более свободную. Здесь его признанию мешает не только жалкая литературная ругань, но и политические, партийные страсти. Карлисты смотрят на него, как на отступника, который сумел перестроить свою лиру для гимна июльской революции, пока на ней еще дрожали последние аккорды оды на помазание Карла X. Республиканцы сомневаются в его преданности делу народа и в каждой фразе чувствуют скрытое пристрастие к дворянству и католицизму. Даже незримая сенсимонистская церковь, которая — всюду и нигде, как христианская церковь до Константина, даже она отвергает его, ибо она смотрит на искусство, как на жречество, и требует, чтобы каждое произведение поэта, живописца, скульптора, композитора свидетельствовало о высшем его призвании, доказывало его священную миссию, чтобы оно ставило себе целью счастье и красоту человеческого рода.

* Буквально: «сжигать подмости». Означает очень горячую, страстную игру

Шедевры Виктора Гюго не допускают подобной нравственной мерки, они даже грешат против всех этих великодушных, но ошибочных требований новой церкви. Я называю их ошибочными, ибо, как вы знаете, я стою за автономию искусства. Оно не должно быть ни служанкой религии, ни служанкой политики, оно само себе цель, так же как сам мир. Здесь мы сталкиваемся с теми ж односторонними упреками, которым подвергался Гете со стороны наших блюстителей благочестия, и подобно ему Виктор Гюго должен выслушивать неуместное обвинение, что идеальное не вызывает в нем восторга, что он лишен нравственных устоев, что он холодный эгоист и т. д. А ко всему этому присоединяется еще и неправильная критика, объявляющая ошибкой то лучшее, что заслуживает в нем похвалы, его способность создавать чувственные образы, и вот они говорят: творениям его недостает внутренней поэзии, *poésie intime**, контуры и узор для него самое главное, его поэзия внешне осязаема, сам он материален, словом, они порицают в нем его самое ценное свойство — склонность к пластическому.

И столь несправедливо судят о нем не старики-классики, сражавшиеся с ним только аристотелевским оружием и давно уже побежденные, но его бывшие соратники, часть романтической школы, совершенно поссорившаяся со своим литературным гонфалоньером. Почти все его прежние друзья отпали от него и, по правде сказать, отпали по его собственной вине, оскорбленные тем эгоизмом, который очень удобен при создании шедевров, но в общении с людьми оказывается очень вредным. Даже Сент-Бев не мог больше вынести этого; даже Сент-Бев порицает его теперь, он, бывший некогда самым преданным оруженосцем его славы. Подобно тому, как в Африке, когда царь Дафурский совершает торжественный въезд, впереди его бежит панегирист, все время выкрикивающий самым громким

* интимной поэзии

голосом: «Глядите на буйвола, потомка буйвола, быка среди быков, все прочие — волю, и только он — истинный буйвол!» — так прежде всякий раз, когда Виктор Гюго появлялся перед публикой с новым произведением, Сент-Бев бежал впереди него, и трубил в трубу, и расхваливал буйвола поэзии. Это время прошло, Сент-Бев восхваляет теперь обыкновенных телят и отборных коров французской литературы, голоса друзей молчат или бранят, и величайший поэт Франции никак не может добиться подобного признания.

Да, Виктор Гюго — величайший поэт Франции и, что много значит, он даже и в Германии мог бы стать наряду с поэтами высшего разряда. Он отличается фантазией и чувством и к тому же отсутствием такта, какое никогда не встречается у французов, а только у нас, немцев. Уму его недостает гармонии, и у него со всех сторон — безвкусные наросты, как у Граббе или Жан Поля. Ему недостает прекрасного чувства меры, которым мы восхищаемся в классических писателях. Муза его, несмотря на свое величие, стеснена какой-то немецкой беспомощностью. Мне хотелось бы сказать о его музе то же самое, что говорят о красавице-англичанке: у нее две левые руки.

Александр Дюма поэт не такой крупный, как Виктор Гюго, но у него свойства, с помощью которых ему на сцене удастся достигнуть гораздо большего. К его услугам то непосредственное выражение страсти, которое французы называют *verve**, и он в большей мере француз, чем Гюго: он сочувствует всем добродетелям и порокам, насущным нуждам и тревогам своих соотечественников, он восторжен, кипуч, полон актерства, великодушен, легкомыслен, хвастлив, истинный сын Франции, европейской Гаскони. С сердцем он говорит на языке сердца, и его понимают, и ему аплодируют. Голова его — гостиница, где порой останавливаются и хорошие мысли, но не остаются там дольше одной

* воодушевлением, темпераментом

ночи; очень часто она пустует. Дюма, как никто, обладает драматическим талантом. Театр — его подлинное призвание. Он прирожденный драматург, и по праву принадлежат ему все драматические сюжеты, где бы он ни нашел их — в жизни или у Шиллера, Шекспира или Кальдерона. Он извлекает из них новые эффекты, он переплавляет старые монеты, чтобы они могли вновь приобрести веселую современную цену, и мы должны бы даже быть благодарны ему за то, что он обкрадывает прошлое — ведь он обогащает им настоящее. Несправедливая критика, статья в «Journal des Débats», появление которой было связано с прискорбными обстоятельствами, очень сильно повредила нашему автору в глазах широкой невежественной массы, так как многим сценам его пьес были указаны самые разительные соответствия в трагедиях иностранных. Но ничего нет нелепее, чем упрек в плагиате; в искусстве не существует шестой заповеди, поэт имеет право черпать отовсюду, где он находит материал для своих произведений, и даже присваивать себе целые колонны с изваянными капителями, если прекрасен тот храм, который они будут поддерживать. Это очень хорошо понимал Гете, и даже до него Шекспир. Нет ничего нелепее, чем обращенное к поэту требование, чтобы все свои сюжеты он черпал в самом себе, в этом-де оригинальность. Мне вспоминается басня, где паук разговаривает с пчелой и упрекает ее в том, что она из тысячи цветов собирает материал, из которого сооружает свои восковые постройки и приготовляет мед. «Я же, — торжествующе прибавляет он, — я сам из себя вытягиваю нити, из которых создаю свою искусную ткань».

Как я уже отметил, появление в «Journal des Débats» статьи против Дюма было связано с прискорбными обстоятельствами, а именно, она была написана одним из тех юных сеидов, которые слепо слушаются приказаний Виктора Гюго, и напечатана в газете, редакторы которой в самой тесной дружбе с ним. Гюго был настоль-

ко благороден, что не отрицал своего общности в напечатании этой статьи и предполагал во-время и кстати нанести смертельный удар своему старому другу Дюма, как это принято в литературных дружбах. Действительно, репутацию Дюма скрыл теперь черный траурный флер, и многие утверждали, что если бы убрать этот флер, то за ним уже ничего больше и не пришлось бы увидеть. Но после постановки такой драмы, как «Эдмунд Кин», репутация Дюма в новом блеске явилась из мрака, обволакивавшего ее, и этой драмой он снова доказал свой большой драматический талант.

Эта пьеса, которая наверно привилась и на немецкой сцене, задумана и написана с такой живостью, какой мне никогда еще не приходилось видеть; тут цельность, новизна в средствах, которые как-будто напрашиваются сами, фабула, сплетения которой совершенно естественно развиваются одно из другого, чувство, которое идет из сердца и говорит сердцу, одним словом — создание. Пусть Дюма и допускает маленькие ошибки во внешних деталях костюма и места действия, тем не менее во всей картине царит потрясающая правдивость: он мысленно снова целиком перенес меня в старую Англию, и мне казалось, что я снова вижу, как живого, самого покойного Кина, которого я так часто видел там. Правда, этой иллюзии способствовал и актер, игравший роль Кина, хотя своей наружностью, своей внушительной фигурой Фредерик Леметр так непохож на маленькую приземистую фигуру покойного Кина. И все же в личности Кина, так же как и в его игре, было нечто такое, что я узнаю в Фредерике Леметре. Они связаны каким-то чудесным родством. Кин был одной из тех исключительных натур, которые неожиданным движением тела, непостижимым звуком голоса и еще более непостижимым взглядом выражают не столько простые, общие всем чувства, сколько все то необычайное, причудливое, выходящее из ряду вон, что может заключать в себе

человеческая грудь. То же касается и Фредерика Леметра, и он тоже один из тех страшных шутников, при виде которых Талия в ужасе бледнеет, а Мельпомена блаженно улыбается. Кин был один из тех людей, характер которых противится влиянию цивилизации, которые созданы не то, что из лучшего, но из совершенно другого материала, чем все мы, одним из угловатых чудаков с односторонним дарованием, но исключительных в этой своей односторонности, стоящих выше всего окружающего, полных той беспредельной, неисповедимой, неосознанной, дьявольски-божественной силы, которую мы называем демоническим началом. Это демоническое начало встречается более или менее у всех великих людей слова или дела. Кин вовсе не был многосторонним актером; правда, он мог играть много ролей, однако в этих ролях он играл всегда самого себя. Но благодаря этому он достигал всегда потрясающей правды, и хотя десять лет протекло с тех пор, все же я как сейчас вижу его в роли Шейлока, Отелло, Ричарда, Макбета, и его игра помогла мне полностью уразуметь некоторые темные места в этих шекспировских пьесах. В голосе его были модуляции, в которых, открывалась целая жизнь, полная ужаса; в глазах его — огни, освещавшие весь мрак души титана; в движениях рук, ног, головы были неожиданности, говорившие больше, чем четырехтомный комментарий Франца Горна.

П И С Ь М О С Е Д Ь М О Е

После столь хвалебного отзыва о Фредерике Леметре было бы несправедливо обойти молчанием другого великого актера, которым может гордиться Париж. Бокаж пользуется здесь славой столь же блистательной, а личность его если не так же замечательна, то во всяком случае так же интересна, как личность его коллеги. У Бокажа — красивая аристократическая

внешность, и движения его полны благородства. У него богатый металлический голос, гибкий и способный передать любой оттенок речи, будь то самые грозные громы ярости и гнева или умилительной нежность любовного шопота. В самых бешеных взрывах страсти он сохраняет грацию, сохраняет достоинство искусства и отказывается от возможности перейти к грубой натуре, как Фредерик Леметр, достигающий этой ценой больших эфффектов, но эфффектов, которые возбуждают в нас восторг не поэтической своей красотой. Леметр — исключительная натура, более подвластная своей демонической силе, чем сама владеющая ею, и его я мог сравнить с Кином; Бокаж от других людей отличается не органическими свойствами, а более тонкой организацией; он — не помесь Ариэля с Калибаном, а гармонический человек, прекрасная стройная фигура, подобная Фебу-Аполлону. Взор его не так глубок, но движением головы он может создавать невероятные эфффекты, особенно когда по временам он высокомерно откидывает ее назад, насмехаясь над миром. У него холодные, иронические вздохи, которые задевают вашу душу, точно стальная игла. В голосе его — слезы и глубокие звуки скорби, и можно бы подумать, что он незримо истекает кровью. Когда он вдруг обеими руками закрывает себе глаза, то начинает казаться, что говорит смерть: «Да будет мрак!» Но когда он потом снова улыбается, улыбается весь, исполненный сладостного очарования, тогда кажется, что в углах его рта восходит солнце.

Так как я все же начал говорить об игре актеров, то позволю себе поделиться с вами кой-какими субъективными замечаниями о различии декламации в трех монархиях цивилизованного мира — Англии, Франции и Германии.

Когда я в Англии впервые смотрел английские трагедии, особенно поразила меня жестикуляция, являвшаяся величайшее сходство с жестикуляцией в пантомимах. В этом, однако, я не усмотрел ничего неестествен-

ного, а увидел скорее преувеличенную естественность, и много времени прошло, пока я смог привыкнуть к ней и, невзирая на карикатурное исполнение, смог на английской почве наслаждаться шекспировской трагедией. Вначале я не выносил их криков, тех раздирающих душу криков, с которыми разыгрывают там свои роли и мужчины, и женщины. Или в Англии, где зрительные залы так обширны, эти крики необходимы для того, чтобы слова не терялись в огромном пространстве? И отмеченная выше карикатурная жестикуляция — тоже местная необходимость, так как ведь большая часть зрителей находится на очень большом расстоянии от сцены? Не знаю. Быть может, исполнение на английской сцене подчиняется праву традиции, и на ее счет следует отнести преувеличения, особенно поразившие меня в актрисах, которые, обладая нежными голосами, ставят их на ходули и нередко проваливаются в безобразнейшие диссонансы, а при изображении девственной страсти мечутся как дромадеры. То обстоятельство, что прежде на английской сцене женские роли разыгрывались мужчинами, влияет еще на декламацию теперешних актрис, которые, быть может, по старым преданиям, по театральным традициям выкрикивают свои роли.

Между тем, как бы велики ни были те недостатки, которыми страдает английская декламация, все же она в значительной мере искупает их искренностью и наивностью, которые сказываются в ней порой. Этими особенностями она обязана родному языку, который, собственно, является диалектом и обладает всеми достоинствами наречия, вышедшего непосредственно из народа. Французский язык скорее — продукт общества и лишен той искренности и наивности, которую может дать лишь более мощный, из сердца народа бьющий и кровью его сердца напоенный родник речи. Зато во французской декламации есть грация и плавность, которые английской совершенно чужды, даже невозможны в ней. Здесь, во Франции,

болтливая жизнь общества, в течение трех столетий фильтрующая язык, так очистила его, что из него безвозвратно исчезли все низкие выражения и неясные обороты, все мутное и пошлое, но вместе с тем и весь аромат, все эти дикие целебные силы, все эти тайные чары, которые струятся и журчат в девственном слове. Французская речь, а следовательно и французская декламация, так же, как и сам народ, обращена только к настоящему, к современности; сумрачный мир воспоминаний и предчувствий для нее недоступен. Она расцветает на солнце, и в нем источник ее прекрасной ясности и теплоты; чужда и неласкова к ней ночь с бледным лунным светом, мистическими звездами, блаженными снами и жуткими призраками.

Но что касается собственно игры французских актеров, то они превосходят своих коллег во всех странах, и притом по той естественной причине, что все французы — прирожденные комедианты. Они с такой легкостью вникают в любую жизненную роль и всегда драпируются так удачно, что любо смотреть. Французы — придворные актеры господ-бога, *les comédiens ordinaires du bon Dieu*, превосходная труппа, и вся французская история кажется мне иногда большой комедией, представленной, однако, в бенефис человечества. В жизни, так же как и в литературе и в изобразительных искусствах французов, господствует театральность.

Что до нас, немцев, то мы честные люди и добрые граждане. Того, в чем нам отказано природой, мы добиваемся с помощью науки. И только если наше рычание становится чересчур громким, мы иногда начинаем опасаться, как бы в ложах не испугались и не вздумали наказать нас, и тогда мы с известной хитростью намекаем на то, что мы не настоящие львы, а всего лишь Основы, зашитые в трагические львиные шкуры, и эти намеки мы называем иронией. Мы честные люди и лучше всего играем честных людей. Справляющие юбилей государственные чиновники, старые служаки,

честные обер-форстмейстеры и верные слуги — вот наша улада. Герои нам солоно приходится, но все-таки мы с ними справляемся, особенно в городах с гарнизоном, где у нас перед глазами хорошие образцы. С королями нам не везет. В княжеских резиденциях почтение не позволяет нам играть с абсолютной смелостью роли королей, ведь на это могут обидеться, и вот из-под горностая мы высовываем напоказ жалкую блузу верноподданнического смирения. В немецких вольных городах, в Гамбурге, Любеке, Бремене и Франкфурте, в этих славных республиках, актеры с полной непринужденностью могли бы играть свои королевские роли, но патриотизм побуждает их к злоупотреблению сценой ради политических целей, и свои королевские роли они играют так плохо, что если и не внушают ненависти к королевской власти, то делают ее смешной. Они косвенно способствуют республиканским симпатиям, и это в особенности касается Гамбурга, где королей играют всего отвратительней. Если бы тамошний высокопремудрый сенат не был так же неблагодарен, как во все времена правительства всех республик — Афин, Рима, Флоренции, то республика Гамбург должна была бы воздвигнуть своим актерам большой пантеон с надписью: «Плохим комедиантам благодарное отечество!»

Помните ли вы еще, любезный Левальд, покойного Шварца, который в Гамбурге играл в «Дон-Карлосе» короля Филиппа и всегда медленно волочил свои слова вниз, в подземные глубины, а затем вдруг так быстро устремлял их к небу, что они являлись нам в течение какой-нибудь секунды?

Но чтоб не быть несправедливыми, мы должны признать, что если читка в нашем театре хуже, чем у англичан и у французов, то дело главным образом в немецком языке. Язык англичан — диалект, язык французов — продукт общества; наш язык — ни то, ни другое, он поэтому лишен и наивной искренности и плавной грации, это — только книжный язык, беспоч-

венное изделие писателей, получаемое нами с лейпцигской ярмарки через посредство книготорговцев. Декламация англичан — это преувеличенная естественность; наша декламация — это неестественность. Декламация французов — аффектированный тон тирады, наша декламация — ложь. На нашей сцене — традиционное хныканье, от которого нередко мне делались противны лучшие пьесы Шиллера, особенно в сентиментальных местах, где наши актрисы расплываются в водянистых напевах. Но не будем говорить ничего плохого о немецких актрисах, они ведь мои землячки, и к тому же ведь гуси спасли Капитолий, и притом среди них столько порядочных женщин и наконец... Тут меня перебил чертовский шум, раздавшийся перед моим окном, на кладбище...

В мальчиках, которые еще только-что так мирно плясали под большим деревом, зашевелился древний Адам или, точнее, древний Каин, и они принялись тузить друг друга. Чтобы восстановить спокойствие, я должен был выйти к ним, и мне еле удалось унять их словами. В их числе один маленький мальчик с особым остервенением колотил по спине другого маленького мальчика. Когда я спросил его: «Что тебе сделал бедный ребенок?» — он посмотрел на меня большими глазами и сказал, запинаясь: «Это же мой брат».

И у меня в доме сегодня тоже отнюдь не цветет вечный мир. Как-раз в эту минуту из коридора ко мне доносится такой шум, словно с лестницы свалилась клошштоковская ода. Ссорятся хозяин и хозяйка, и последняя упрекает своего бедного мужа в том, что он расточитель, что он проживает ее приданое и что она умирает от горя. Болеет она в самом деле, но от скудости. Каждый кусок, который муж ее кладет себе в рот, причиняет ей боль. А кроме того, когда муж ее принимает свое лекарство и в бутылках что-нибудь остается, она сама обыкновенно глотает эти остатки, чтобы не пропало ни одной капли дорогого лекарства,

и от этого заболевает. Этот бедняга, портной по национальности, а по ремеслу немец, удалился в деревню, чтобы в сельском спокойствии насладиться остатком своих дней. Но это спокойствие он обретет наверно лишь на могиле своей супруги. Быть может, поэтому он и купил себе дом возле кладбища и с таким вождением глядит на могилы умерших. Единственное его удовольствие — табак и розы, и он умеет разводить лучшие сорта этих цветов. Сегодня утром он посадил в цветнике перед моим окном несколько горшков с розами. Они чудесно цветут. Но, любезнейший Левальд, спросите-ка у вашей жены, почему эти розы не благоухают? Или эти розы больны насморком, или я сам.

П И С Ь М О В О С Ь М О Е

В предпоследнем письме я говорил об обоих представителях французской драмы. Однако не имена Виктора Гюго и Александра Дюма всех пышнее цвели этой зимой в бульварных театрах. Три имени слышались постоянно из уст народа, хотя до сих пор они неизвестны в литературе. Это были: Мальфиль, Ружмон и Бушарди. На первого я возлагаю самые большие надежды, у него, насколько я заметил, большие поэтические данные. Вы, может быть, помните его «Семь инфантов Лары», эту пьесу ужасов, которую мы как-то раз вместе смотрели у Сен-Мартенских ворот. В этой дикой смеси крови и ярости встречались по временам чудные, по-настоящему возвышенные сцены, свидетельствовавшие о романтической фантазии и драматическом таланте. Другая трагедия Мальфиля — «Гленарвон» — представляет собой нечто еще более значительное, так как в ней нет той путаницы и тех неясностей и экспозиция в ней потрясающе-прекрасна и грандиозна. В обеих пьесах роли матерей-прелюбодеек превосходно исполняет девица Жорж, огромное, лучезарно-мясистое солнце театрального неба бульваров. Несколько

месяцев тому назад Мальфилль поставил новую пьесу под заглавием: «Альпийский пастух», «*Le raupan des Alpes*». Здесь он постарался достигнуть бóльшей простоты, но за счет поэтического содержания. Пьеса слабее его прежних трагедий. Здесь так же, как и там, автор патетически ломает брачные перегородки.

Второй бульварный лауреат Ружмон положил основание своей известности тремя драмами, появившимися на свет одна за другой за короткий срок, чуть ли не за полгода, и имевшими громаднейший успех. Первая называлась «Герцогиня Лавобальер» — слабая самодельщина; в ней много действия, которое, однако, не развивается неожиданно смело и естественно, а постоянно кажется результатом потуг и мелочных расчетов, так же как и страсть в ней лишь притворяется пылкой, а внутренне полна вялости и мертвенной холодности. Вторая пьеса, под заглавием «Леон», уже лучше, и хотя она тоже грешит этой надуманностью, все же в ней есть несколько великолепных, потрясающих сцен. На прошлой неделе я смотрел третью пьесу, «Элали Гранже», чисто мещанскую драму, вещь прямо превосходную, так как автор повинуетя в ней природе своего таланта и дает в прекрасном обрамлении ясную и умную картину печальных неурядиц нынешнего общества.

Бушарди, третий лауреат, поставил пока что только одну пьесу, которую, однако, увенчал неслыханный успех. Называется она «Гаспардо», в течение пяти месяцев ее давали каждый день, а если так пойдет и дальше, то вскоре насчитается несколько сот представлений. Честно говоря, ум мой бессилен, когда я начинаю раздумывать о причинах этого огромного успеха. Пьеса посредственная, если даже не совсем плохая, полная действия, эпизоды которого, однако, спотыкаются друг о друга, так что эффекты один другому ломают шею. Мысль, в пределах которой движется вся пьеса, узка, и нет в ней ни характера, ни ситуации, которые

естественно возникали бы и разворачивались. Правда, это нагромождение материала уже в самой невыносимой форме встречается и у двух драматургов, названных выше, но автор «Гаспардо» превзошел их. А между тем такова цель, таков принцип, как уверяют меня некоторые молодые драматурги; эти сваленные в одну грудку разнородные сюжеты, хронологические периоды и местности отличают нынешнего романтика от прежних классиков, которые в замкнутых пределах драмы так строго придерживались единства времени, места и действия.

Действительно ли эти новаторы расширили границы французского театра? Не знаю. Но эти французские драматурги всегда напоминают мне того тюремщика, который сетовал на тесноту темницы и, стремясь расширить ее пределы, не нашел лучшего средства, как запереть в нее все больше и больше заключенных, не раздвигавших, однако, стен тюрьмы, а только душивших друг друга.

Добавлю еще, что и в «Гаспардо» и «Элали Гранже», как и во всех дионисийских играх бульвара, брак служит козлом отпущения, которого здесь и ведут на заклание.

Я был бы рад, любезный друг, поговорить с вами еще о некоторых других драматургах бульвара, но если они время от времени и ставят сносную пьесу, то в ней сказывается всего только легкость трактовки, которую мы находим у всех французов, но отнюдь не своеобразия замысла. Да и я, только-что посмотрев пьесу, сразу же забывал ее и никогда не справлялся, как звали автора. Но взамен я сообщу вам имена евнухов, служивших камергерами при царе Агасфере в Сузе; их звали: Мегуман, Биста, Гарбона, Бигта, Абгата, Сетар и Каркас.

Бульварные театры, о которых я только-что говорил и которые в этих письмах все время имел в виду, — это настоящие народные театры, начинающиеся у Сен-Мартенских ворот и расположенные вдоль всего Тампль-

ского бульвара по степеням нисходящего достоинства. Да, эта пространственная последовательность вполне правильна. Первое место занимает театр, называемый по имени Сен-Мартенских ворот и, конечно, являющийся в Париже лучшим драматическим театром, обладающий превосходной труппой, среди которой находятся девица Жорж и Бокаж, и превосходно показывающий произведения Гюго и Дюма. Затем идет «Ambigu-Comique», где уже хуже обстоит дело и с исполнением и с исполнителями, но где все-таки еще ставится романтическая драма. Оттуда мы попадаем к Франкони, театр которого, однако, здесь нельзя принимать в расчет, так как в нем ставятся скорее лошадиные, чем человеческие пьесы. Далее следует «La Gaité»*, театр, недавно сгоревший, но теперь снова отстроенный и как снаружи, так и внутри соответствующий своему веселому названию. Романтическая драма здесь также имеет право гражданства, и в этом приветливом здании тоже порою льются слезы и бьются сердца во власти самых страшных ощущений; но все-таки здесь больше поют и смеются, и с легкими рефренами появляется здесь на сцену водевиль. Это же относится и к находящемуся рядом театру «Les Folies dramatiques»**, где тоже даются драмы, но больше водевили; однако этот театр нельзя назвать плохим, и мне иногда случалось видеть там хорошие пьесы, и притом в хорошем исполнении. За «Folies dramatiques» как в смысле достоинства, так и в смысле местоположения следует театр госпожи Сакй, где также даются драмы, но крайне посредственные, и пошлейшие буфонады с пением, переходящие, наконец, по соседству, в театре Фюнамбюль, в самый грубый фарс. За Фюнамбюль, где один из превосходнейших Пьерро, знаменитый Дебюро, строит свои белые гримасы, я обнаружил еще совсем маленький театр называющийся «Lazarri», где играют совсем плохо, где

* «Веселость»

** «Драматические шалости»

плохое доходит, наконец, до предела, где искусство забито досками.

После вашего отъезда в Париже возник еще новый театр в самом конце бульвара, у Бастилии, и называется «Théâtre de la Porte Saint-Antoine»*. Он во всех отношениях *hors de ligne*** и как по своему художественному, так и по своему топографическому положению не может быть отнесен к упомянутым бульварным театрам. Но он еще и слишком нов, чтобы о его достоинстве можно было сказать что-нибудь определенное. Впрочем пьесы, которые там ставятся, не плохи. Недавно я там, по соседству с Бастилией, видел драму, носящую имя этой тюрьмы и содержавшую ряд весьма захватывающих мест. Героиня, само собой разумеется, — супруга коменданта Бастилии и бежит с государственным преступником. Видел я там и хорошую комедию, озаглавленную «*Mariez-vous donc!*»*** и рисовавшую судьбу супруга, который не пожелал вступить в великосветский брак по расчету, а женился на красивой девушке из простонародья. Кузен его становится ее любовником, теща, заодно с ним и с верной женой, составляет домашнюю оппозицию мужу, которого ее расточительность и бестолковое хозяйство доводят до нищеты. Чтобы добыть средства для пропитания своего семейства, несчастный, наконец, принужден открыть у заставы танцкласс для всякого сброда. Когда в кадрили нехватает танцора, он заставляет танцовать своего семилетнего сына, и ребенок уже умеет пережегать свои па распутнейшей пантомимой канкана. В таком положении находит его друг, и бедняга со скрипкой в руке, пилякая, и прыгая, и дирижируя танцами, пользуется иногда паузой и рассказывает пришельцу о своих брачных бедах. Самое мучительное — это контраст между рассказом и занятием рассказчика, которому часто приходится прерывать свою страдаль-

* Театр у Сент-Антуанских ворот

** из ряду вон, ниже критики

*** Женитесь-ка!

ческую повесть и, выкрикнув «Chassez!» или «En avant deux!», вприпрыжку бросаться в ряды танцующих и танцевать вместе с ними. Танцевальная музыка, служащая мелодраматическим аккомпанементом к этой брачной истории, эти звуки, сами по себе такие веселые, здесь иронически жутко врезаются в сердце. Я не в силах был смеяться, как прочие зрители. Смешил меня только тесть, старый пьяница, который пропил все свое добро и должен, наконец, просить милостыню. Но и милостыню он просит крайне юмористически. Он — толстый бездельник с красным пьяным лицом и водит на веревке шелудивого слепого пса, которого называет своим Велизарием. Человек, утверждает он, неблагодарен к собакам, которые так часто служат верными проводниками слепым людям; но он хочет отплатить этим животным за их человеколюбие и служит теперь проводником своему слепому Велизарию, своему слепому псу.

Я так весело смеялся, что окружающие наверно приняли меня за *chatouilleur** этого театра?

Знаете ли вы, что такое *chatouilleur*? Я лишь недавно узнал значение этого слова и обязан этим познанием моему цирюльнику, брат которого служит в качестве *chatouilleur* в одном из бульварных театров. Платят ему за то, что он во время представления комедий, всякий раз, когда откалывают удачную остроту, громко хохочет и возбуждает в публике охоту к смеху. Это — должность очень важная, и успех многих комедий зависит от нее. Ибо удачные остроты порою весьма плохи, и публика вовсе не стала бы смеяться, если бы *chatouilleur* не обладал искусством — с помощью различных модуляций своего хохота, от самого тихого хихиканья до самого громкого блаженного хрюканья, заставить публику смеяться вместе с ним. Смех имеет эпидемический характер, так же как и зевота, и я рекомендую

* Буквально: тот, кто щекочет, от глагола *chatouiller* — щекотать

вам ввести в немецких театрах *chatouilleur*'а, хохотуна. Зевунов, наверно, у вас там достаточно. Однако не легко исправлять эту должность, и как уверяет меня мой цирюльник, для этого требуется большой талант. Его брат исполняет ее уже пятнадцать лет и дошел в этом деле до такой виртуозности, что ему стоит лишь издать фальцетом всего один более тонкий, приглушенный, ускользающий звук, чтобы заставить публику разразиться диким хохотом. «Он человек с талантом, — прибавил мой цирюльник, — и денег зарабатывает больше, чем я; потому что он кроме того служит еще факельщиком в «*Pompes funèbres*»* и у него по утрам часто бывает от пяти до шести похорон, и тут он, в черном траурном костюме, с белым носовым платком и скорбным выражением лица, кажется таким грустным, словно идет за гробом родного отца — побожиться можно...»

Право же, любезный Левальд, я питаю уважение к этой многосторонности, но если бы я и был способен на нее, все же я ни за какие деньги в мире не согласился бы принять на себя обязанности этого человека. Подумайте только, как это ужасно — весенним утром, когда вы только-что с удовольствием выпили кофе и солнце своей улыбкой освещает ваше сердце, сразу же принимать похоронный вид и лить слезы по какому-нибудь отдавшем душу бакалейном торговце, которого, может быть, вы и не знали вовсе и чья смерть может быть только отрадна, так как факельщику она приносит семь франков и десять су. А потом, когда вы шесть раз вернулись с кладбища и смертельно устали и страшно сердиты и серьезны, надо еще весь вечер смеяться всем тем скверным островам, которым вы уже так часто смеялись, и смеяться всем лицом, каждым мускулом, всеми судорогами тела и души, чтобы побудить к смеху пресыщенный партер... Это ужасно! Я предпочел бы быть французским королем.

* Бюро похоронных процессий

П И С Ь М О Д Е В Я Т О Е

Но что такое музыка? Этот вопрос долго занимал меня вчера вечером, пока я не заснул. Музыка — причудливая вещь, она чудо, хочется мне сказать. Она находится посередине между мыслимым и видимым; смутно зримой посредницей стоит она между материей и духом; она родственна им и все же отлична от обоих: она дух, но дух, нуждающийся в темпе; она материя, но материя, которая может обойтись и без пространства.

Мы не знаем, что такое музыка. Но что такое хорошая музыка, это мы знаем, и еще лучше знаем, что такое плохая музыка; ибо последнюю нам приходилось слушать больше. Музыкальная критика может опираться лишь на опыт, а не на синтез; она должна классифицировать музыкальные произведения только по их сходству и за масштаб принимать впечатление, которое они произвели на толпу.

Нет ничего менее совершенного, чем теоретизирование в музыке. Есть здесь, правда, законы, математически определенные законы, но эти законы — не музыка, а ее условия, подобно тому как искусство рисования и учение о красках или же палитра и кисть — не живопись, а только необходимое средство. Сущность музыки — откровение, в ней нельзя дать никакого отчета, и подлинная музыкальная критика есть наука, основанная на откровении.

Я не знаю ничего более безотрадного, чем критика monsieur Fétis или его сына monsieur Fœtus*, которые a priori, на основе высших соображений, доказывают достоинства музыкального произведения или отрицают их. Подобная критика, написанная особым арго и напичканная техническими выражениями, известными не вообще образованным людям, а только артистам-исполнителям, придают этому пустословию некоторый

* Игра слов: Fétis (Фетис) — фамилия критика, fœtus — зародыш

авторитет в глазах широкой публики. Подобно тому, как мой друг Детмольд написал по вопросам живописи справочник, благодаря которому в два часа становишься знатоком в искусстве, кому-нибудь следовало бы написать такую же книжечку по вопросам музыки и при помощи иронического словаря музыкально-критических фраз и оркестрового жаргона положить конец пустому ремеслу, которым занимается какой-нибудь Fétis или foetus. Лучшую музыкальную критику, и единственную, которая, быть может, что-нибудь доказывает, мне пришлось слышать в прошлом году в Марселе, за табль-д'отом, где два коммивояжера дебатировали злободневный вопрос — кто больший мастер, Россини или Мейербер. Как только один признавал за итальянцем высшее совершенство, другой возражал ему, но не сухими словами, а напевал какие-нибудь особенно красивые мелодии из «Роберта-Дьявола». Первый не находил иного, более меткого возражения и пел в ответ несколько кусочков из «Севильского цирюльника», и это они оба проделывали в течение всего обеда; вместо шумного обмена ничего не говорящих фраз, они угостили нас чудеснейшей застольной музыкой и под конец я должен был сознаться, что о музыке либо вовсе не следует спорить, либо спорить только на этот реалистический лад.

Вы замечаете, дорогой друг, что я не собираюсь докучать вам никакими традиционными фразами по поводу оперы. Но при обсуждении французской сцены я не могу оставить ее совершенно неотмеченной. Вам нечего также опасаться сравнительного рассуждения о Россини и Мейербере в том виде, как это обычно принято. Я ограничиваюсь тем, что люблю обоих, и ни одного из них я не люблю в ущерб другому. Если первому я симпатизирую еще больше, чем второму, то это — только личное чувство, но отнюдь не признание высшего превосходства. Может быть, именно его недостатки будят во мне такой родственный отголосок и находят соответствие в некоторых моих недостатках. По при-

роде я склонен к известному *dolce far niente**, люблю лежать на лугу, усеянном цветами, глядеть на спокойное движение облаков и тешиться их освещением; но случая часто бывало угодно пробуждать меня от этих приятных грез жестокими пинками рока, мне приходилось поневоле принимать участие в скорбях и боях века, и я честно участвовал в них и бился с храбрейшими... Но не знаю, как мне выразиться, — в моих чувствах всегда оставалась известная обособленность от чувств прочих людей; я знал, что у них на душе, но на душе у меня было совсем иное, чем у них, и с каким бы рвением я ни прищипоривал моего боевого коня и как бы неутомимо ни рубил врагов моим мечом, все же меня никогда не охватывали боевая горячка, увлечение битвой или боязнь; мое внутреннее спокойствие часто пугало меня, я замечал, что мысли мои — не здесь, между тем как сам я, в разгаре партийной схватки, бился на все стороны, и порой казался я себе датчанином Ожье — лунатиком, который сражался с сарацинами, погруженный в сон. Такому человеку Россини должен быть ближе, чем Мейербер, и все же он в известные периоды если и не целиком отдается музыке последнего, то все же, наверно, будет восторженно восхищаться ею. Ибо на волнах россиниевой музыки всего безмятежнее могут покачиваться индивидуальные радости и горести человека, любовь и ненависть, нежность и тоска, ревность и досада, все здесь — только обособленное чувство отдельной личности. Характерно поэтому преобладание в музыке Россини мелодии, всегда являющейся непосредственным выражением обособленного чувства. У Мейербера мы, напротив, находим преобладание гармонии; в потоке гармонических масс умолкают, даже тонут мелодии, так же как собственные ощущения отдельного человека исчезают в общем чувстве целого народа, и в эти гармонические потоки

* приятно безделью

радостно бросается наша душа, когда ею овладевают горести и радости всего человечества и когда она отстаивает великие общественные вопросы. Музыка Мейербера более социальна, чем индивидуальна; благодарная современность, узнающая в его музыке свои внутренние и внешние распри, свой душевный разлад и борьбу воли, свои беды и свои надежды, справляет торжество собственной страсти и воодушевления, аплодируя великому маэстро. Музыка Россини более подходила эпохе Реставрации, когда после великих боев и разочарований великие общие интересы должны были для пресыщенного человека отступить на задний план и чувство собственного я снова смогло вступить в свои законные права. Во время революции и Империи Россини никогда не достиг бы своей великой популярности. Робеспьер обвинил бы его, быть может, в антипатриотических, умеренных мелодиях, а Наполеон, конечно, не назначил бы его на должность капельмейстера в великой армии, где ему требовалось всеобщее воодушевление... Бедный лебедь из Пезаро!.. Галльский петух и императорский орел, быть может, растерзали бы тебя, и более подходящим, чем поля битв буржуазной добродетели и славы, было для тебя тихое озеро, с берегов которого тебе мирно кивали кроткие лилии и где ты мог спокойно плавать, каждым движением воплощая красоту и грацию! Реставрация была триумфальной порой для Россини, и даже звезды неба, отдохнувшие в то время от работы и больше не заботившиеся о судьбе народов, с восхищением внимали ему. Между тем июльская революция вызвала большое волнение на небесах и на земле. Звезды и люди, ангелы и короли и даже сам господь-бог простились со своим спокойствием. У них опять много дела. Им надо устраивать новую эпоху, у них нет ни досуга, ни должного душевного спокойствия, чтобы наслаждаться мелодиями личного чувства, и только тогда, когда гармонически ропщут, гармонически ликуют, гармонически рыдают огромные хоры в «Роберте-

Дьяволе» или, тем более, в «Гугенотах», прислушиваются их сердца и, восторженно вторя им, рыдают, ликууют и рошщут.

В этом, быть может, главная причина того неслыханного, огромного успеха, которым пользуются во всем мире две большие оперы Мейербера. Он человек своего времени, и время, всегда умеющее выбирать людей, с шумом подняло его на щит и провозглашает его господство и вместе с ним совершает свой радостный въезд. Находиться в таком положении, восседать на щите, торжественно несомом, — отнюдь не уютно: несчастный случай или неловкость хоть одного из щитоносцев может вызвать опасный для вас крен или даже серьезное повреждение; венки, сыплющиеся на вашу голову, могут иногда не столько порадовать, сколько поранить, а то и замарать, если они попадают к вам из грязных рук; и непомерная тяжесть лавров может, разумеется, выжать из вас немало тоскливого пота... Россини, когда встречает такое шествие, крайне иронически улыбается тонкими губами, а потом жалуется на свой скверный желудок, состояние которого ухудшается с каждым днем, так что он больше ничего не может есть.

Это тяжело, ибо Россини всегда был одним из величайших гурманов. Мейербер — полная противоположность: как в смысле внешности, так и в смысле наслаждения жизненными благами он — сама скромность. Только тогда, когда он приглашает друзей, у него бывает хороший стол. Однажды, когда я собрался к нему, чтоб пообедать *à la fortune du pot**, оказалось, что скудное кушанье из трески составляет весь его обед; разумеется, я стал уверять, что уже обедал.

Многие утверждали, что он скуп. Это не так. Скупится он только на расходы, касающиеся его самого. По отношению к другим он сама щедрость, и особенно

* на риск

пользовались ею, вплоть до злоупотреблений, несчастные соотечественники. Благотворительность — фамильная добродетель мейерберовской семьи, в особенности матери, к которой я гоню всех нуждающихся в помощи, и всегда — с успехом. А женщина эта — счастливейшая мать в мире. Всюду вокруг нее звучит великолепие ее сына, где бы она ни была, выются вокруг, касаясь ее слуха, отрывки из его произведений, всюду сверкает ей навстречу его слава, а уж в опере, где вся публика самым бурным образом выражает Джакомо свой восторг, ее материнское сердце трепещет в восхищении, которое мы едва можем понять. Во всей мировой истории я знаю только одну мать, которую можно было бы сравнить с нею, это — мать святого Борромео которая видела, как сына ее еще при жизни сопричли к лику святых, и могла вместе с тысячами верующих склонить пред ним колени и молиться ему.

Мейербер пишет теперь новую оперу, которую я жду с большим любопытством. Развитие этого гения — для меня зрелище в высшей степени замечательное. С интересом прослеживаю я фазы как музыкальной, так и личной его жизни и наблюдаю то взаимодействие, которое установилось между ним и его европейской публикой. Прошло уже десять лет с тех пор, как я впервые встретился с ним в Берлине, между зданием университета и гауптвахтой, между наукой и барабаном, и повидимому он в этом окружении чувствовал себя очень стесненным. Помню, я встретил его в обществе доктора Маркса, входившего в те годы в состав некоего музыкального регентства, которое во время несовершеннолетия некоего юного гения, считавшегося законным престолонаследником Моцарта, неизменно поклонялось Себастиану Баху. Увлечение Себастианом Бахом должно было, однако, не только заполнить междуцарствие, но также уничтожить и репутацию Россини, которого регентство боялось больше всего, а значит и больше всего ненавидело. Мейербер

слыл тогда подражателем Россини, и доктор Маркс смотрел на него несколько свысока, с видом ласкового сверхпревосходства, что заставляет меня теперь от души смеяться. Россинизм был тогда тяжким преступлением Мейербера; ему далеко еще было до чести иметь своих собственных врагов. Да он и сам благо-разумно воздерживался от всяких притязаний, и когда я рассказал ему, с каким восторгом я недавно смотрел в Италии представление его «Crosiato»*, он улыбнулся шутливо-уныло и сказал: «Вы компрометируете себя, хваля меня, бедного итальянца, здесь в Берлине, в столице Себастиана Баха!»

Мейербер в то время действительно стал совершенным подражателем итальянцев. Недовольство холодным и сырым, рассудительно-остроумным, бесцветным берлинизмом рано вызвало в нем естественную реакцию: он бежал в Италию, радостно наслаждался там жизнью, всецело отдаваясь своим личным чувствам, и сочинял там чудесные оперы, где россинизм доведен до самого сладостного преувеличения; золото покрыто здесь новой позолотой и цветы надушены еще более сильными благоуханиями. То было для Мейербера счастливейшее время; он писал в веселом опьянении итальянской чувственностью и как в жизни, так и в искусстве срывал самые легкие цветы.

Но немецкую натуру это не могло долго удовлетворять. В нем пробудилась некая тоска по отечественной серьезности; в то время как он лежал под миртами Италии, им овладели воспоминания о таинственном трепете немецких дубовых лесов; в то время как южные зефиры ласкались к нему, он думал о мрачных хоралах северных ветров; с ним случилось, быть может, то же самое, что и с госпожой де-Севинье, которая, живя около оранжереи и непрестанно вдыхая благоговения цветов апельсина, подконец стала тосковать по скверному запаху здоровой навозной тачки...

* «Крестоносца»

Словом, произошла новая реакция, синьор Джакомо снова внезапно превратился в немца и снова вступил в союз с Германией, не старой, дряхлой, отжившей Германией узкогрудого мещанства, а с юной, великодушной, свободной, как мир, Германией нового поколения, которое все вопросы человечества превратило в свои собственные, запечатлев их если не на своем знамени, то — тем неизгладимее — в своем сердце.

Вскоре после июльской революции Мейербер выступил с новым произведением, которое среди скорбей этой революции породил его гений, с «Робертом-Дьяволом» — героем, который не знает точно, чего он хочет, который постоянно борется с самим собой, являя верное отражение нравственных штатаний, неустойчивости того времени, с таким мучительным беспокойством колебавшегося между добродетелью и пороком, изнуравшего себя в стремлениях и в борьбе с преградами и не всегда находившего силы, чтобы устоять против соблазнов Сатаны! Я совсем не люблю эту оперу, этот шедевр робости, — робости, говорю я, не только в смысле сюжета, но и выполнения, так как композитор еще не доверяет своему гению, еще не решается всецело следовать воле его и, трепеща, служит толпе, вместо того чтобы бесстрашно повелевать ей. Мейербера тогда справедливо называли боязливым гением; ему не доставало победоносной веры в самого себя, он проявил испуг перед общественным мнением, его пугало малейшее порицание, он потворствовал всем прихотям публики и направо и налево раздавал усерднейшие *poignées de main*, как-будто в музыке он признал суверенность народа и основывал свою власть на большинстве голосов, в противоположность Россини, который в царстве музыки, как король божьей милостью, властвовал без ограничений. Эта боязливость все еще не оставляет Мейербера как человека; он все еще озабочен мнением публики, но, к счастью, благодаря успеху «Роберта-Дьявола» эта

тревога не мешает ему во время работы; он сочиняет с гораздо большей уверенностью и выражает в своих произведениях великую силу своей души. И с этой возросшей свободой духа написал он «Гугенотов», где исчезло всякое сомнение, где кончилась его внутренняя борьба с самим собой и начался поединок с внешним миром, огромный размах которого повергает нас в изумление. Только этим произведением Мейербер завоевал бессмертное право гражданства в вечном граде духа, в небесном Иерусалиме искусства. В «Гугенотах» Мейербер, наконец, показывается без боязни; бесстрашными линиями начертал он здесь полностью свою мысль, и все, что волновало его грудь, он решился выразить в необузданных звуках.

Исключительная особенность его произведения — это равномерность энтузиазма и художественного совершенства, или, правильнее выражаясь, равная высота, которой достигают здесь искусство и страсть; человек и художник вступили здесь в состязание, и когда первый ударяет в набатный колокол самой неистовой страсти, второму удается преобразить грубые звуки природы в самую жуткую и сладостную гармонию. В то время как толпу захватывает внутренняя мощь, страсть «Гугенотов», ценитель искусства изумляется мастерству, которое проявляется в формах. Это произведение — готический собор, колонны которого, устремленные к небу, и огромный купол словно возведены рукою великана, тогда как бесчисленные, изысканно-тонкие гирлянды, розетки и арабески, накинутые поверх словно каменно-кружевное покрывало, свидетельствуют о неутомимом терпении карлика. Великан по силе замысла и выполнения всего целого, карлик в кропотливой обработке деталей, зодчий «Гугенотов» так же непонятен нам, как и композиторы старых соборов. Когда я недавно стоял с одним приятелем перед Амьенским собором, и приятель, с испугом и состраданием созерцая этот памятник исполинской силы, громоздящей скалы, и неутомимого терпения

карлика, работающего резцом, наконец спросил меня, как это случилось, что мы теперь не в силах создавать такие здания, — я ответил ему: «Дорогой Альфонс, в те давние времена у людей были убеждения, а у нас, новых, есть только мнения, а для того, чтобы соорудить такой готический собор, требуется нечто большее, чем простое мнение».

В этом все дело. Мейербер — человек убеждения. Однако это касается, собственно говоря, не злободневных общественных вопросов, хотя и в этом смысле образ мыслей у Мейербера имеет более твердую основу, чем у других художников. В груди у Мейербера, которого князья этой земли осыпают всевозможными почестями и который к тому же так любит эти почести, есть сердце, горящее самыми священными интересами человечества, и он открыто чтит героев революции. Счастье для него, что иные судьи на севере не понимают музыки, иначе они в «Гугенотах» усмотрели бы не только партийную борьбу протестантов с католиками. Но все-таки его убеждения, собственно, не политического, а тем менее религиозного свойства. Настоящая религия Мейербера — религия Моцарта, Глюка, Бетховена, это — музыка; он верит только в нее, только в этой вере обретает он блаженство и живет, полный убеждения, которое по глубине, страстности и твердости напоминает убеждения минувших веков. Да, мне хочется назвать его апостолом этой религии. С апостольским рвением и горячностью относится он ко всему, что касается его музыки. В то время как другие художники бывают удовлетворены, создав нечто прекрасное, и даже теряют всякий интерес к своему произведению как только оно закончено, у Мейербера, напротив, горшие родовые муки начинаются только после разрешения от бремени; тут он не успокаивается до тех пор, пока создание его духа не явится в блеске всему народу, пока вся публика не насладится его музыкой, пока его опера не прольет во все сердца те чувства, которые он хочет поведать целому миру, пока

все человечество не станет сопричастно ему. Как апостол не страшится ни трудов, ни страданий, лишь бы спасти одну погибшую душу, так и Мейербер, узнав, что кто-нибудь отвергает его музыку, неустанно будет его преследовать, пока не обратит его; и одна спасенная овца, будь то хотя бы душа самого незначительного фельетониста, бывает ему дороже, чем целое стадо верующих, почитавшее его всегда с ортодоксальной верностью.

Музыка — убеждение Мейербера, и это, быть может, причина всех тех страхов и огорчений, которые так часто сказываются в великом маэстро и которые нередко вызывают у нас улыбку. Надо видеть его в то время, когда разучивается его опера; тут он мучитель всех музыкантов и певцов, которых он терзает непрестанными репетициями. Он никогда не бывает доволен, один какой-нибудь фальшивый звук в оркестре — для него удар кинжалом, от которого он думает умереть. Это беспокойство долгое время преследует его и после того как опера уже поставлена на сцену и встречена шумным одобрением. Он и тогда еще продолжает опасаться, и я думаю, он не успокоится до тех пор, пока несколько тысяч человек, слышавших его оперу и восхищавшихся ей, не умрут и не будут похоронены; с их стороны, по крайней мере, ему нечего бояться отступничества. В дни, когда дают его оперу, ему сам господь-бог не угодит; если идет дождь и холодно, он боится, как бы мадмуазель Фалькон не схватила насморка, если же, наоборот, вечер ясный и теплый, то он боится, как бы хорошая погода не заманила публику за город и театр не оказался пуст. Ничему нельзя уподобить педантизм, с которым Мейербер правит корректуру, когда его музыка, наконец, печатается; эта неутомимая страсть к исправлениям, вносимым в корректуру, стала пословицей у парижских артистов. Но следует помнить, что музыка ему дороже всего, дороже, конечно, его жизни. Когда холера начала неистовствовать в Париже, я заклинал Мейербера

уехать как можно скорее, но его еще на несколько дней задерживали дела, которых он не мог оставить: ему надо было с одним итальянцем заняться итальянским либретто «Роберта-Дьявола».

«Гугеноты» в гораздо большей степени, чем «Роберт-Дьявол», являются плодом убеждения как в смысле содержания, так и в смысле формы. Если, как я уже заметил, широкую публику увлекает содержание, то спокойный наблюдатель восторгается неслыханными успехами искусства, новыми выступающими здесь формами. Теперь, по отзыву компетентнейших судей, все композиторы, собирающиеся писать оперы, должны прежде изучить «Гугенотов». Наибольшего Мейербер достиг в инструментовке. Неслыханна трактовка хоров, которые высказываются здесь как личности и свободны от всякой оперной традиционности. После «Дон-Жуана» в мире музыки, конечно, не было явления более значительного, чем четвертый акт «Гугенотов», где за потрясающей жуткой сценой благословения мечей, освящения убийства, следует дуэт, дающий еще более сильный эффект, — огромная смелость, которой едва можно было ожидать от опасливого гения, удача которой, однако, в одинаковой мере возбуждает в нас восторг и удивление. Что до меня, то, я думаю, Мейербер решил подобную задачу не средствами искусства, а средствами природы, так как этот дуэт выражает целый ряд чувств, которые никогда или, по крайней мере, никогда с такой правдивостью не проявлялись в опере и которые все же зажигают в современных умах самые неистовые симпатии. Что до меня, то, сознаюсь, никогда ни одно музыкальное произведение не заставляло мое сердце биться так бурно, как четвертый акт «Гугенотов», но все же я предпочитаю обходить этот акт и его тревожнения и гораздо большее удовольствие испытываю от второго акта. Этот акт — идиллия, прелестью и грацией напоминающая романтические комедии Шекспира, а, пожалуй, в еще большей степени «Аминту» Тассо. Действительно, под розами радости

здесь таится нежная тоска, напоминающая о несчастном придворном поэте Феррары. Это, скорее, тоска по радости, чем самая радость, это не сердечный смех, а усмешка сердца, сердца, которое страдает тайным недугом и может только грезить о здоровье. Как могло случиться, что художник, от которого с самой колыбели отгоняли все высасывающие кровь жизненные заботы, который, будучи рожден в лоне богатства, ласкаемый всей семьей, с полной готовностью, даже энтузиазмом шедшей навстречу всем его наклонностям, более чем какой-либо другой смертный художник имел право на счастье, — как могло случиться, что он всё же изведal те безмерные муки, стоны и рыдания, которые слышатся нам в его музыке? Ведь того, чего композитор не прочувствует сам, он не в силах высказать с такой потрясающей мощью. Странно, что художник, материальные потребности которого удовлетворены, терпит тем более невыносимые нравственные горести! Но это — счастье для публики, которая обязана своими самыми идеальными радостями мукам художника. Художник — то дитя, о котором народная сказка повествует, будто слезы его — чистый жемчуг. Ах! Злая мачеха, вселенная, затем и бьет так беспощадно бедное дитя, чтобы оно роняло побольше слез-жемчужин.

«Гугенотов» в еще большей степени, чем «Роберта-Дьявола», упрекали в недостатке мелодий. Этот упрек основан на недоразумении. «Из-за леса не видно деревьев». Мелодия подчинена здесь гармонии, и уже при сравнении с музыкой Россини, где имеется обратное соотношение, я отметил, что это преобладание гармонии и характеризует музыку Мейербергера как музыку человечески взволнованную, общественно-современную. Право, у ней нет недостатка в мелодиях, но только эти мелодии не выделяются беспокойно-резко, я сказал бы даже — эгоистически, они и тут служат только целому, они дисциплинированы, тогда как у итальянцев мелодии выступают изолированно, я сказал бы

даже — действуют вне закона, примерно так, как их знаменитые бандиты. Только этого не замечаешь; часто простой солдат дерется в большом сражении не хуже, чем калабриец, одинокий герой-разбойник, личная храбрость которого меньше поражала бы нас, если бы он сражался в строю, как солдат регулярного войска. Я отнюдь не думаю оспаривать достоинства единовластной мелодии, но я должен заметить, что следствием ее в Италии является равнодушие к опере как к целому, к опере как к замкнутому художественному произведению, и выражается оно настолько наивно, что если со сцены не раздастся какая-нибудь бравурная партия, то в ложах принимают знакомых, неприужденно беседуют, чуть ли не играют в карты.

Преобладание гармонии в творениях Мейербера является, может быть, необходимым следствием его широкого образования, включающего в себя мир мыслей и внешних явлений. На воспитание его были потрачены сокровища, и ум его был восприимчив; он рано был посвящен во все науки и этим также отличается от большинства композиторов, блистательное невежество которых до известной степени извинительно, так как чаще всего им нехватало ни средств, ни времени, чтобы приобрести значительные познания вне своего искусства. Полученное знание стало у Мейербера натурой, и школа света дала ему высшее развитие; он принадлежит к тому ничтожному числу немцев, которых даже Франция должна была признать образцом светскости. Это высокое образование было, пожалуй, необходимо для того, чтобы собрать воедино и с полной сознательностью обработать материал, связанный с созданием «Гугенотов». Но не пошла ли в ущерб другим особенностям эта широта концепции и ясность взгляда? — вот вопрос. Образование уничтожает в художнике ту острую выразительность, ту резкую окраску, ту самобытность мыслей, ту непосредственность чувств, которую мы так восхищаемся в грубо ограниченных, необразованных натурах.

Вообще образование достается все более дорогой ценой, и маленькая Бланка права. Восьмилетняя дочка Мейербера завидует праздности маленьких мальчиков и девочек, играющих на улице, и выразилась недавно так: «Какое несчастье, что у меня образованные родители! Я с утра до вечера должна учить наизусть всевозможные вещи и смирно сидеть и быть умной, а необразованные дети бегают там целый день по улице и могут забавляться вволю!»

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Если не считать Мейербера, то в Académie royale de musique * почти нет композиторов, о которых стоило бы говорить подробно. И все же французская опера находится в самом цветущем состоянии, или, правильнее выражаясь, каждый день делает прекрасный сбор. Это процветание началось шесть лет тому назад благодаря руководству знаменитого господина Верона, принципы которого с таким же успехом применялись после него новым директором, господином Дюпоншелем. Говорю — принципы, ибо действительно у господина Верона были принципы, результаты его размышлений в области искусства и науки, и подобно тому как будучи аптекарем он изобрел превосходную микстуру от кашля, так в качестве директора оперы он изобрел средство от музыки. Ведь он по себе заметил, что представление у Франкони доставляет ему большее удовольствие, нежели самая лучшая опера; он убедился в том, что и большую часть публики одушевляют такие же чувства, что большинство людей из приличия ходит в Большую оперу и тешится только тогда, когда красивые декорации, костюмы и танцы настолько приковывают к себе их внимание, что они совершенно перестают слышать несносную музыку. Этим путем великий Верон

* Королевская музыкальная академия (т. е. Большая опера)

напал на гениальную мысль — так постараться угодить этой жажде зрелищ, чтобы музыка больше никому не мешала, чтобы в Большой опере люди находили такое же удовольствие, как у Франкони. Великий Верон и широкая публика поняли друг друга: он сумел обезвредить музыку и под названием «опера» стал давать только пышные зрелищные спектакли; а она публика, смогла с дочерьми и супругами ходить в Большую оперу, как подобает образованному сословию, не умирая при этом от скуки. Америка была открыта, яйцо поставлено на острый конец, театр оперы стал наполняться каждый день, Франкони был побежден и обанкротился, а господин Верон с тех пор — богатый человек. Имя Верон вечно будет жить в летописях музыки; он украсил храм богини, но ее самое выгнал за дверь. Ни с чем не сравнится роскошь, воцарившаяся в Большой опере, и место это стало теперь раем тугоухих.

Нынешний директор следует принципам своего предшественника, хотя их личности составляют самый забавный и резкий контраст. Видели ли вы когда-нибудь господина Верона? В *Café de Paris* или на Кобленцском бульваре вам, наверно, иногда бросалась в глаза эта жирная карикатурная фигура с криво нахлобученной шляпой, с головой, совершенно утопающей в огромном белом галстуке и воротничке, который поднимается до самых ушей, так что едва-едва заметно красное жизнерадостное лицо с маленькими поблескивающими глазками. Уверенный в своем знании света и в своей удаче, он выступает так безмятежно, так нагло безмятежно, окруженный придворным штатом молодых, а порою и пожилых литературных денди, которых он обычно угощает шампанским или красивыми фигурантками. Он бог материализма, и когда я встречался с ним, мучительно врезался мне в сердце его взгляд, издававший над духом.

Господин Дюпоншель — худощавый, бледножелтый человек, если не аристократической, то все же благо-

родной внешности, всегда печальный, с похоронным лицом, и кто-то совершенно верно назвал его: *un deuil perpétuel* *. По наружности, его скорее можно было бы принять за сторожа с кладбища Пер-Лашез, чем за директора Большой оперы. Он всегда напоминает мне меланхолического придворного шута Людовика XIII. Теперь этот Рыцарь печального образа — *maître de plaisir* ** парижан, и мне иногда хочется подсмотреть, как он, сидя один у себя дома, обдумывает новые забавы, которыми должен тешить своего самодержца — парижскую публику, как он тоскливо-глуповато покачивает головой и хватается за красную книгу, чтобы справиться, когда Тальони...

Вы с удивлением смотрите на меня? Да, это курьезная книга, значение которой очень трудно было бы раскрыть приличными словами. Я могу объяснить здесь лишь путем аналогий. Вы знаете, что такое насморк у певицы! Я слышу ваш вздох, и вот, вы вспоминаете годы своего мученичества: кончена последняя репетиция, опера уже объявлена на вечер, и вдруг приходит примадонна и сообщает, что не может петь, что у нее насморк. Ничего тут не поделаешь, взгляд возводится к небу, безмерно скорбный взгляд! И вот печатается новая афиша, в которой почтенной публике сообщается, что по нездоровью девицы Шнапс представление «Весталки» не сможет состояться и вместо нее будет дан «Рохус Пумперникель». Танцовщикам бесполезно было говорить, что они больны насморком, ведь он не мешал им танцевать, и долгое время они завидовали простудному изобретению певиц, с помощью которого те в любой момент могут устроить себе маленький отдых, а своему врагу, директору театра, немалую неприятность. Поэтому они стали просить у господ-бога такого же мучительного права, и он, любитель балета, как и все монархи, наделил их недомоганием, которое,

* вечным трауром

** распорядитель на празднестве

будучи безобидно само по себе, все же мешает им делать публично пируэты и которое мы, по аналогии с *thé dansant* *, назвали бы танцевальным насморком. Теперь, когда танцовщица не желает являться на сцену, у нее имеется такая же неопровержимая отговорка, как и у лучшей певицы. Прежний директор Большой оперы часто посылал себя ко всем чертям, если надо было давать «Сильфиду», а Тальони сообщала ему, что сегодня не может надеть крылья и трико, ибо у нее танцевальный насморк... Великий Верон, полный глубокомыслия, открыл, что танцевальный насморк от певучего насморка певиц отличается известной регулярностью и что появление его каждый раз можно рассчитывать заранее: ибо господь-бог, любя порядок, дал танцовщицам недомогание, связанное с законами астрономии, физики, гидравлики, словом, всего мироздания и, следовательно, поддающееся расчету; насморк же певиц, напротив, есть частное изобретение, изобретение женского каприза и, следовательно, расчету не поддается. В этом факте вычисляемости периодического повторения танцевального насморка великий Верон стал искать средства, чтобы устранить гнет танцовщиц, и каждый раз, когда одна из них заболела этим насморком, дата этого события точно отмечалась в особой книге, и это-то и есть та красная книга, которую только что держал в руках господин Дюпоншель и по которой он мог рассчитывать, в какой день Тальони... Эта книга, характеризующая изобретательность ума да и самый ум прежнего директора оперы, господина Верона, конечно, представляет практическую пользу.

По предыдущим заметкам вы могли составить себе понятие о теперешнем значении французской Большой оперы. Она помирилась с врагами музыки, и в *Académie royale de musique* так же, как и в Тюильри, проникло зажиточное буржуазное сословие, а высшее общество оставило поле сражения. Изысканная аристо-

* чаем, чаепитием с танцами

кратия, эти избранные, которых отличает их положение, образование, рождение, светскость и праздность, бежали в Итальянскую оперу, в этот музыкальный оазис, где все еще заливаются трелями великие соловьи искусства, где все еще журчат волшебные родники мелодии и пальмы красоты одобрительно машут своими гордыми опахалами, а кругом — бледная песчаная пустыня, музыкальная Сахара. Лишь отдельные хорошие концерты всплывают еще порой в этой пустыне и доставляют любителям музыки исключительное наслаждение. Таковы были нынешней зимой воскресные концерты в Консерватории, несколько частных концертов на Rue de Bondy и особенно концерты Берлиоза и Листа. Два последние, конечно, самые замечательные события здешнего музыкального мира, говорю — самые замечательные, не самые прекрасные, не самые отрадные. Скоро мы услышим оперу Берлиоза. Сюжет ее — один из эпизодов жизни Бенвенуто Челлини, отливка статуи Персея. Ждут чего-то исключительного, так как этот композитор уже создал исключительные вещи. Направление его ума — фантастика, связанная не с чувством, а с сентиментальностью; в нем большое сходство с Калло, Гоцци и Гофманом. Уже внешний его облик указывает на это. Жаль, что он остриг свою огромную допотопную шевелюру, эти взъерошенные волосы, подымавшиеся у него надо лбом, точно лес над крутым утесом; таким увидел я его в первый раз шесть лет тому назад, и таким останется он навсегда в моей памяти. Это было в Conservatoire de musique*, и исполнялась там большая симфония его сочинения, причудливая ночная картина, только по временам озаряемая сентиментально белым женским платьем, которое мелькает в ней, или серно-желтой молнией иронии. Лучшее в ней — шабаш ведьм, где чорт служит обедню и католическая церковная музыка пародируется с самым жутким, с самым кровавым шутством. Это фарс, от которого с радо-

* Музыкальной консерватории

ственным шипением выползают все тайные змеи, носимые нами в сердце. Мой сосед по ложе, словоохотливый молодой человек, показал мне композитора, находившегося в самом конце зала, в углу оркестра, и ударявшего в литавры. Ведь литавры — его инструмент. «Видите в ложе авансцены, — сказал мне сосед, — эту толстую англичанку? Это мисс Смитсон; господин Берлиоз уже три года смертельно влюблен в эту даму, и этой страсти мы обязаны дикой симфонией, которую вы сегодня слушаете». Действительно, в ложе авансцены сидела знаменитая актриса Ковентгардена. Берлиоз не сводил с нее глаз, и всякий раз как его взгляд встречался с ее взглядом, он словно в ярости ударял в свои литавры. Мисс Смитсон стала с тех пор мадам Берлиоз, да и супруг ее с тех пор остригся. Когда этой зимой я снова слушал в Консерватории его симфонию, он снова сидел в глубине оркестра за литаврами, толстая англичанка снова сидела в ложе авансцены, их взгляды встречались снова... но он уже не так жаростно ударял в литавры.

Лист — ближайший духовный родственник Берлиоза и лучше всех исполняет его музыку. Я могу не писать вам о его таланте: слава его — европейская. Бесспорно, этот артист находит в Париже самых безусловных энтузиастов, но также и ревностнейших противников. Знаменательно, что равнодушно о нем никто не говорит. Без политического содержания в этом мире нельзя разбудить ни дружественных, ни враждебных страстей. Нужен огонь, чтобы воспламенить людей, будь то ненависть или любовь. Что убедительнее всего говорит в пользу Листа, это — полное уважение, с которым даже противники признают его личные достоинства. Он человек с характером взбалмошным, но благородным, бескорыстен и чужд фальши. Крайне замечательно направление его ума: у него большие философские задатки, и еще больше, чем интересы его искусства, привлекают его исследования различных школ, занятых разрешением великих, небо и землю обнимаю-

щих вопросов. Долгое время он страстно сочувствовал прекрасному сенсимонистскому мировоззрению, потом его затуманивали спиритуалистические, или, вернее, вапористические мысли Балланша, теперь он восторгается республиканско-католическим учением Ламене, посадившего на крест якобинский колпак . . . Бог знает, в каком умственном стойле найдет он своего очередного конька. Но все же достойно похвалы это неустанное стремление к свету и божеству, оно свидетельствует о понимании святого, религиозного. Что такая беспокойная голова, в которой нужды и доктрины нашего времени вечно создают сумбур, которая чувствует потребность заботиться обо всех нуждах человечества и рада совать нос во все горшки где господь-бог варит будущее, что Франц Лист не может быть спокойным пианистом для мирных граждан и уютных ночных колпаков, — это понятно само собой. Когда он садится за фортепиано и, несколько раз проведя рукой по волосам, начинает импровизировать, то нередко слишком уж неистово обрушивается на клавиши из слоновой кости, и тогда начинает звучать пустыня небесно-возвышенных мыслей, среди которых то тут, то там сладостнейшие цветы распространяют свое благоухание, так что в одно и то же время ощущаешь и тревогу, и блаженство, но все же тревога сильней.

Признаюсь вам, как ни люблю я Листа, все же его музыка не всегда приятно действует на меня, тем более, что я — особый счастливец, и мне зримы те привидения, которых другие люди только слышат, ибо, как вам известно, при каждом звуке, который рука создает на рояле, в моем сознании вырастает соответствующий звуковой образ; словом, музыка становится мне зрима. До сих пор еще трепещет мой разум при воспоминании о концерте, в котором я последний раз слушал Листа. То был концерт в пользу несчастных итальянцев, в доме прекрасной, благородной мученицы-княгини, которая служит такой прекрасной представительницей своей телесной и своей духовной

отчизны, Италии (вы, наверно, видели ее в Париже, видели этот идеальный образ, являющийся, однако, лишь темницей, в которую заключена святейшая ангельская душа... Но эта темница так прекрасна, что каждый, будто околдованный, останавливается перед ней и в изумлении на нее глядит)... То был концерт в пользу несчастных итальянцев, где истекшей зимой я в последний раз и слушал игру Листа. Я не помню уж, что он играл, но готов поклясться, он играл вариации на некоторые темы из Апокалипсиса. Сперва я не мог отчетливо различить их, этих четырех мистических зверей, я слышал только их голоса, особенно — рыкание льва и клёкот орла. Быка с книгой в руке я видел совершенно ясно. Лучше всего сыграл он долину Иосафата. Была здесь арена, как на турнире, а зрители, теснившиеся вокруг огромного пространства, были воскресшие народы, могильно бледные и трепещущие. Сперва на арену проскакал Сатана, в черном панцире, на млечно-белом коне. Вслед за ним медленно ехала Смерть на чалой лошади. Наконец, появился Христос в золотых латах, и святым своим копьём он сперва поверг Сатану, затем Смерть, и зрители возликовали... Бурные аплодисменты были ответом на игру достойного Листа, который устало поднялся из-за рояля и раскланялся перед дамами... На губах прекраснейшей среди них мелькала та меланхолически сладостная улыбка...

Было бы несправедливо, если бы я не упомянул здесь о пианисте, который после Листа пользуется наибольшей славой. Это — Шопен, который не только блистает техническим совершенством как виртуоз, но создает величайшие произведения как композитор. Это человек первостепенный. Шопен — любимец тех избранных, которые в музыке ищут высочайших умственных наслаждений. Слава его — аристократического характера, она благоухает от похвал хорошего общества, она аристократична, как и его личность.

Шопен родился в Польше от французских родителей и одно время воспитывался в Германии. Эти влияния

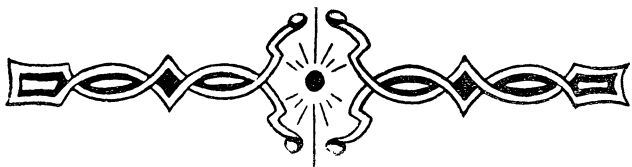
трех национальностей делают из его личности явление в высшей степени замечательное; ведь он усвоил лучшее, что отличает эти три народа: Польша дала ему свой рыцарский характер и свою историческую скорбь, Франция дала ему свою легкую прелесть, свою грацию, Германия дала ему свое романтическое глубокомыслие... А природа ему дала изящную, стройную, слегка болезненную фигуру, благороднейшее сердце и гений. Да, Шопена следует признать гением в полном значении слова; он не только виртуоз, он также и поэт, он может сделать для нас зримой ту поэзию, что живет в его душе, он композитор, и ничто не сравнится с наслаждением, которое он дает нам, садясь за рояль и импровизируя. Тогда он ни поляк, ни француз, ни немец, в нем сказывается происхождение гораздо более высокое, тогда замечаешь, что он родом из страны Моцарта, Рафаэля, Гете, его истинная родина — волшебное царство поэзии. Когда он сидит за роялем и импровизирует, мне чудится, будто меня навестил земляк из любимой отчизны и рассказывает мне забавнейшие истории, случившиеся там в мое отсутствие. Порой мне хочется перебить его вопросом: а как поживает прекрасная русалка, которая так кокетливо умела повязывать серебряной вуалью свои зеленые кудри? Преследует ли ее попрежнему своей дурацкой тухлой любовью белобородый морской бог? Попрежнему ли розы у нас так пламенно горды? Все попрежнему прекрасен напев наших деревьев в лунных лучах?..

Ах, уже с давних пор живу я на чужбине, и временами мне кажется, что я с моей сказочной тоской — нечто вроде Летучего голландца и его спутников, которых вечно качают холодные волны и которые тщетно томятся по тихим набережным, тюльпанам, разным туфлов, глиняным трубкам и фарфоровым чашкам Голландии... «Амстердам! Амстердам! Когда вернемся мы в Амстердам?» — вздыхают они среди бури, а ревущие вихри то и дело швыряют их во все стороны по проклятым волнам их водяного ада. Мне понятна боль,

с которой капитан заколдованного корабля однажды сказал: «Если когда-нибудь я вернусь в Амстердам, то скорее превращусь там в камень на углу улицы, чем снова уеду из города!» Бедный ван-дер-Декен!

Надеюсь, любезнейший друг, что письма эти застанут вас здоровым и веселым, в румяном цвете жизни и что со мной не случится того, что случилось с Летучим голландцем, чьи письма бывали обычно адресованы к лицам, которые давно умерли на родине за время его отсутствия!

П Р И Л О Ж Е Н И Е



«ГУГЕНОТЫ» МЕЙЕРБЕРА

П а р и ж, 1 м а р т а. Для парижского большого света вчера был знаменательный день: в Опере давали первое представление долгожданных «Гугенотов» Мейербера, и Ротшильд давал первый большой бал в своем новом особняке. Я хотел в один вечер насладиться и тем и другим торжеством и так переутомился, что все еще словно одурманен; мысли и образы кружатся в моей голове, и я оглушен и утомлен настолько, что почти не могу писать. О какой бы то ни было оценке не может быть и речи. «Роберта-Дьявола» нужно было прослушать раз десять, чтобы проникнуться всей красотой этого шедевра. А в «Гугенотах», как уверяют ценители искусства, Мейербер достиг еще большего совершенства формы, еще более виртуозного выполнения деталей. Он — величайший из современных контрапунктистов, величайший художник в музыке; теперь он выступает как творец совершенно новых форм, он создает новые формы в мире звуков; он создает также и новые мелодии, совершенно необычайные, и не в анархическом изобилии, а там, где хочет и когда хочет, в том месте, где они нужны. Этим он и отличается от других гениальных музыкантов, у которых богатство мелодий, в сущности, изобличает недостаток мастерства, так как они, увлеченные потоком своих мелодий, скорее подчиняются музыке, чем повелевают ею. Совершенно правильно сравнивали вчера в фойе Оперы искусствоведом Мейербера и Гете. Только, в противоположность Гете, у нашего гениального маэстро любовь к своему искусству, к музыке, приняла столь страстный характер, что

почитатели часто опасаются за его здоровье. К этому человеку действительно применима восточная притча о свече, которая, светя другим, сама сгорает. Он заклятый враг всего немзыкального, всех диссонансов, всякого рева, всякого писка, и об его антипатии к кошкам и кошачьим концертам рассказывают забавнейшие вещи. Одна близость кошки может выгнать его из комнаты, даже довести до обморока. Я убежден, что, если бы это потребовалось, Мейербер умер бы во имя музыкальной фразы, как другие умирают во имя догмата веры. Да, я того мнения, что, если бы в день страшного суда архангел затрубил фальшиво, то Мейербер способен был бы остаться спокойно в могиле и не принял бы участия во всеобщем воскресении из мертвых. Благодаря своему энтузиазму, а также и своей личной скромности, благородству и доброте, он, конечно, победит ту небольшую оппозицию, которая, будучи вызвана колоссальным успехом «Роберта-Дьявола», имела достаточно времени, чтобы сплотиться и, конечно, на этот раз, при новом триумфальном шествии, заведет свои самые злобные песни. Пусть вас поэтому не удивляет, если несколько резких фальшивых нот раздастся среди общего хора одобрений. Владелец нотной лавки, не ставший издателем новой оперы, будет центром этой оппозиции, и к нему примкнет несколько музыкальных светил, давно угасших или никогда не всходивших. Удивительное зрелище представляла собой вчера вечером элегантнейшая празднично разодетая парижская публика, которая собралась в большой оперный зал в трепетном ожидании, с почтительной серьезностью, почти с благоговением. Все сердца, казалось, были потрясены. То была музыка. А затем — ротшильдовский бал. Так как я покинул его только сегодня, в четыре часа утра, и еще не спал, то я слишком утомлен, чтобы дать вам отчет о месте этого праздника, новом дворце, построенном совершенно в духе Ренессанса, и о публике, осматривавшей его. Эта публика, как и всегда на ротшильдовских вечерах, состояла из цвета аристо-

кратических знаменитостей, импонировавших громкими именами или высоким положением, а женщины прежде всего — красотой и нарядами. Что до дворца и его убранства, то здесь собрано все, что мог создать дух шестнадцатого века и оплатить кошелек — девятнадцатого; здесь гений изобразительного искусства состязался с гением Ротшильда. В течение двух лет непрерывно шла постройка и отделка дворца; говорят, суммы, затраченные на него, огромны. Господин фон-Ротшильд только улыбается, когда его об этом спрашивают. Это — Версаль денежного абсолютизма. Тем не менее вкусу, с которым все выполнено, приходится удивляться в такой же мере, как и богатству отделки. Украшением дворца руководил господин Дюпоншель, и все свидетельствует о его хорошем вкусе. В целом, как и в частностях, сказывается также и тонкое художественное чутье хозяйки дома; она не только одна из самых красивых женщин Парижа, но одарена умом и знаниями и практически занимается изобразительным искусством, а именно — живописью. Ренессанс, как называли эпоху Франциска I, стал теперь модой в Париже. Вся мебель, все костюмы во вкусе того времени; у иных это даже превращается в манию. Что означает эта внезапно пробудившаяся страсть к той эпохе пробудившегося искусства, пробудившейся жизнерадостности, пробудившейся любви к разумному в форме прекрасного? Быть может, в нашей эпохе заложены известные тенденции, которые и проявляются в этой склонности.

ВАРИАНТЫ И ДОБАВЛЕНИЯ



ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

Материалы, из которых извлечены варианты и добавления, следующие:

1) Корректурный экземпляр предисловия, отдельные отклонения которого от окончательной редакции предисловия были уже отмечены в первом посмертном издании сочинений Гейне (Гамбург, 1862).

2) Аугсбургская «Всеобщая газета» («Allgemeine Zeitung») 1832 г., где первоначально печатались статьи Гейне, вошедшие во «Французские дела» (сокращенно: «*Аугсб. газ.*»).

3) Французские издания — 1834 и 1857 гг.:

а) *Oeuvres de Henri Heine. De la France.* Paris. Eugène Ren-
duel, éd. 1834.

б) *Oeuvres complètes de Henri Heine.* Paris. Michel Lévy frères, éd. 1857 [ниже всюду, где дается ссылка на французское издание (сокращенно *фр. изд.*, без указания года) — имеется в виду издание 1834 г.].

4) Рукопись статьи IX.

Мы приводим лишь наиболее существенные (как по размерам, так и по содержанию) добавления и варианты, влияющие на смысл или на стиль, опуская более мелкие различия текстов (например, случаи замены одного слова другим, близким по значению, случаи незначительных пропусков и т. п.).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

(самим Гейне не печаталось, Штродтман впервые напечатал этот текст в издании 1862 г. по корректурному экземпляру, бывшему у него в руках)

Предисловие к «Французским делам», как я слышу, появилось в столь изуродованном виде, что долгом

моим является издать его в первоначальной целости. Выпуская его теперь отдельным оттиском, я прошу отнюдь не приписывать мне намерения — нарочно раздражить или оскорбить нынешних властителей Германии. Я даже пытался, насколько позволяла истина, смягчить свои выражения. Поэтому я был немало удивлен, узнав, что в Германии это предисловие сочли все еще слишком резким. Боже мой! Что же это будет, если я дам волю моему сердцу и выскажусь полным голосом, сбросив с себя всякие путы! А ведь это может случиться. Отвратительные вести, которые, точно вздохи, каждый день доносятся к нам с того берега Рейна, могут довести меня до этого. Напрасно стараетесь вы своей хулой уронить в общественном мнении друзей отечества и их принципы, выдавая последние за «французские революционные учения», а друзей отечества — за «французскую партию в Германии». Вы ведь всегда спекулируете на том, что есть дурного в немецком народе, — национальной ненависти, религиозном и политическом суеверии и глупости вообще. Но вы не знаете, что уже и Германию нельзя обмануть старыми штуками, что даже немцы заметили теперь, что национальная ненависть служит лишь средством для порабощения одной нации другою и что в Европе вообще нет больше наций, а есть лишь две партии, одна из которых, называемая аристократией, считает себя привилегированной от рождения и узурпирует все блага гражданского общества, тогда как другая, называемая демократией, отстаивает свои неотъемлемые человеческие права и во имя разума стремится упразднить все наследственные привилегии. Право же, вы должны были бы назвать нас партией небесной, а не французской, ибо та декларация прав человека, на которой зиждется вся наша государственная наука, создана не во Франции, где, правда, она всего торжественнее была провозглашена, даже не в Америке; откуда вывез ее Лафайет, — она создана на небе, вечной отчизне разума.

Как ужасно должно быть для вас слово «разум»! Наверно, столь же ужасно, как и для наследственных врагов его, попов, царству которых оно тоже кладет конец и которых общая беда заставляет объединиться с вами.

Выражение «французская партия в Германии» не выходит у меня сегодня из головы, так как нынче утром, в последней книжке «Edinburgh Review»* оно особенно поразило меня. Там помещена характеристика стихов господина Уланда, хорошего мальчика, и моих стихов, стихов злого мальчика, которого изображают вождем «французской партии в Германии». Это, как я подозреваю, лишь эхо немецких журналов, которых, к сожалению, я здесь не вижу. Однако, если я сейчас и не могу оценить их как следует, то сделаю это ко всеобщему удовольствию как-нибудь в другой раз. В течение десяти лет являясь неизменно предметом газетной критики, высказывавшейся то pro, то contra**, но всегда со страстностью, по поводу моих сочинений, я полагаю, что в достаточной мере доказал свое равнодушие к печатным отзывам обо мне. Поэтому, если теперь я иногда и буду упоминать об этих отзывах, чего я раньше никогда не делал, то читатель, надеюсь, все же поймет, что не личная обидчивость писателя, а высшие интересы гражданина будут вдохновлять мою речь. К сожалению, как я сказал уже, в Париже теперь, кроме политических газет, попадаетесь очень мало современных немецких произведений. Отсутствие их досадно для меня во всех отношениях. Право же, в этом великом городе, где каждый день разыгрывается какая-нибудь страница всемирной истории, пикантно было бы позаняться порой, ради контраста, нашими домашними misères***. Некий молодой человек недавно писал мне, что он в прошлом году напечатал по моему адресу ряд ругательств, за которые я не должен на него

* «Эдинбургского обозрения»

** за и против

*** несчастьями

сердиться, так как мой антинациональный образ мыслей привел его в ярость и в патриотическом негодовании он дал волю словам. Этот молодой человек должен был бы довести свою любезность до конца и прислать мне также экземплярчик своего опуса. Повидимому, он принадлежит к беотийской партии в Германии, негодование которой по отношению к французской партии вполне простительно; я от всего сердца прощаю его. Но право же, мне было бы приятно, если б он прислал мне самый опус. Тут я должен похвалить содомитскую партию в Германии, которая всегда сама присылает мне свои ругательства, порою даже изящно переписанные и — что всего похвальнее — уплатив почтовые расходы. Но этим людям незачем принимать такие меры предосторожности, чтобы скрыть свои имена. Несмотря на искаженную манеру письма, я всегда узнаю безымянных авторов этих безымянных подлостей, я знаю этих людей по стилю. «*Cognosco stilum curiae romanae!*»* — воскликнул благородный летописец Тридентского собора, когда подлый кинжал убийцы поразил его в спину.

Кроме партий содомитской и беотийской, возмущается мною в Германии еще и партия абдеритская. И уж не только мои французские принципы раздражают большинство ее членов. Тут действуют порой и более благородные мотивы. Например, один из вождей абдеритской партии, который уже долгие годы непрестанно громит и разносит меня, является только защитником своей супруги, которая считает, что я ее обидел, и поклялась погубить меня. Такая смертельная ненависть очень меня огорчает, ибо дама эта весьма привлекательна. В ней много черт сходства с Венерой Медицейской, а именно, она так же стара, так же не имеет зубов; подбородок ее, когда она побреется, совершенно так же гладок, как подбородок сей мраморной богини; ходит она тоже почти такая же голая, конечно, желая показать что кожа ее не совершенно желтая, что там и сям есть

* Узнаю острие пера римского двора!

на ней и белые пятна. Тщетно обращался я к этой привлекательной даме с разными любезностями, в самом примирительном тоне, например, говоря, что я ей завидую, ибо бриться ей нужно лишь два раза в неделю, тогда как я должен выносить эту операцию каждый день, что среди женщин, не имеющих зубов, я считаю ее самой добродетельной, что я желал бы обладать ее сердцем (конечно, в золотом футляре), — тщетно, никакие задабривания не помогали! Непримируемая слишком ненавидит меня, и подобно тому, как некогда Изабелла Кастильская поклялась не менять рубашку до тех пор, пока не падет Гренада, так и эта дама тоже поклялась не надевать чистой рубашки до тех пор, пока я, враг ее, не буду повержен в прах. Вот она и натравливает на меня всех писак, в частности своего бедного супруга, которому рубашка цвета Изабеллы на его дражайшей половине доставляет, право же, немалое неудобство, особенно летом, когда красавица благодаря этому благоухает еще восхитительнее, чем всегда. Так что порою, обезумев, он выскакивает из постели и устремляется к письменному столу, стараясь поскорее дописать до моей гибели.

Летом Брокгаузовская «Энциклопедическая газета» содержит гораздо больше ругательных статей против меня, чем зимою.

Прости, любезный читатель, что строки эти не совсем подходят к нашему серьезному времени. Но враги мои слишком уж смехотворны! Я говорю — враги, я из вежливости дарю им этот титул, хотя большею частью они только мои клеветники. Это — маленькие людишки, ненависть которых не достигает даже моих икр. Тупыми зубами грызут они мои сапоги. В изнеможении лают они там, внизу.

Хуже, когда друзья несправедливы ко мне. Это может меня огорчить и в самом деле огорчает меня. Однако я не стану скрывать, я сам довожу до всеобщего сведения, что даже со стороны небесной партии мое доброе имя подвергалось нападкам. Но у этой партии

есть фантазия, и ее намеки — не такие плоско-прозаические, как намеки беотийской, содомитской и абдеритской партий. Разве не требовалась великая фантазия, чтобы, как это было недавно, обвинить меня в самых антилиберальных тенденциях и счесть изменником делу свободы? Печатное суждение об этой инкриминируемой мне измене я на днях нашел в книге, озаглавленной «Письма дурака к дуру». За все то хорошее и остроумное, что есть в этой книге, за благородный образ мыслей автора вообще я охотно прощаю ему злые отзывы обо мне; я знаю, с какой стороны наваяно ему все это, откуда дул ветер. Дело здесь в том, что среди наших якобинских бешеных, которые после Июльской революции стали так громогласны, есть продолжатели той полемики, которую я во время Реставрации вел с твердой прямолинейностью и в то же время с разумной осмотрительностью. Они же очень неумело делали свое дело, и вместо того, чтобы личные затруднения, постигшие их вследствие этого, приписать собственной своей неловкости, обрушили свой гнев на автора этих страниц, которого они видели невредимым. С ними случилось то же, что с обезьяной, которая подглядела, как бреется человек. Когда он вышел из комнаты, обезьяна вынула из ящика бритвенный прибор, намылилась, а затем перерезала себе горло. Не знаю, в какой мере поранили себе горло эти немецкие якобинцы, но вижу, что они истекают кровью. Теперь они бранят меня. «Смотрите, — восклицают они, — мы честно намылились и ради правого дела истекаем кровью; Гейне же, когда бреется, действует нечестно, он недостаточно серьезен, когда орудует ножом, он никогда не порежется, он спокойно вытирает следы мыла, и при этом беспечно насвистывает, и смеется над кровавыми ранами тех, кто перерезал себе горло, у кого честные намерения».

Утешьтесь, на этот раз я порезался.

Париж, конец ноября 1832 г.

Генрих Гейне

К ПРЕДИСЛОВИЮ

Стр. 11, *см.*: окружающих народов *во фр. изд.*: в глазах народов, которые смотрели на нас и которые с нетерпением ждут, что мы предпримем. «Дело идет не только о свободе, — говорят они, — дело теперь идет о чести».

Стр. 15, *см.*: как Аякса свободы. Этим королевско-прусским революционером *в корректуре было*: как Аякса, который борется за свободу точно лев. Этим львом, этим ужасным зверем из берлинского государственного зверинца, этим королевско-прусским революционером

Стр. 17, *см.*: пожертвовал добром своим и кровью *во фр. изд.*: он в 1813 и 1814 гг. пожертвовал добром своим и кровью.

Стр. 17, *после сл.*: закрепленное рабство *в корректуре добавление*: и что изготовители этого противозаконного, лживого и потому недействительного документа как вероломные уполномоченные должны быть признаны виновными в злоупотреблении народным доверием!

Следующий абзац: В силу моей компетенции *до сл.*: я обвиняю их! *в корректуре отсутствует*.

Стр. 18, *после сл.*: короле прусском *в корректуре добавление*: владетельном князе Рейнском, которому меня в лето господне 1815 отдали в подданство вместе с несколькими миллионами жителей рейнских земель. Правда, моего согласия не спросили, как полагалось бы; меня обменяли, кажется, на какого-то бедного жителя восточной Фризландии, которого я никогда не видал, который никогда не посвящал меня в свои бывшие королевско-прусские верноподданнические чувства и который, быть может, из-за этого обмена стал таким несчастным — в могиле он лежит ганноверцем. Меня же, право, это опрусение не сделало счастливым, и все, что я при этом выиграл, — это право верноподданнически напоминать названному монарху, чтобы он, согласно своему обещанию, всемиловейше пожаловал нам представительный образ правления.

Стр. 19—20, *от сл.:* Или в самом деле *до сл.:* четырехсоттысячной армией *в корректуре вариант:* Но этих защитников клятвопреступления я могу опровергнуть хорошим документом — это бюллетень битвы при Иене. Довольно грустно, право, было положение, в котором очутился тогда король прусский и из которого его спас народ, получивший за это в награду обещание свободной конституции. Как низко пал тогда этот король, живший в то время в Кенигсберге приватным образом и читавший лишь лафонтеновские романы!

Стр. 22, *от сл.:* Не пугайтесь *до сл.:* это великий шут *в корректуре:* Правда ли, что королю, как рассказывают в Саксонии, приснилось, будто он стоит перед Уайтхоллским дворцом и смотрит, как рубят голову Карлу Стюарту; вдруг с палача спадает маска, и король с ужасом узнает лицо лейпцигского цензора, старого плута, по имени Даниэля Бека? Не бойтесь, однако, этих рептилий! Римско-апостолическо-католический проповедник абсолютизма господин Ярке лишь наполовину сыграет роль Брута, то есть только до смерти Лукреции, а у старого трясущегося лейпцигского плута с цензорскими ножницами хватает мужества резать головы только мыслям. И если не осмелится слуга, то уж не осмелится ли шут?

Есть большой, большой шут, и имя ему: немецкий народ.

Стр. 22, *вместо фразы:* Вообще его приводит в бешенство всякий, кто желает ему добра *в корректуре:* Я сам как-то раз сделал такую глупость, и если бы живо не перескочил через Рейн, шут своей палкой размозил бы мне голову.

Стр. 22, *после сл.:* врагов *в корректуре добавление:* Все же я не сержусь на бедного шута, я люблю его и оплакиваю его на безопасной чужбине. Вам, на кого шут смотрит как на своих милостивых господ, вам нечего бояться его, пока он пребывает по-своему разумным.

Стр. 23, *после сл.*: так, что мозг ваш брызнет до самых звезд *в корректуре*: Не страшно ли вам по крайней мере, что как-нибудь среди своей юмористической болтовни он просто из дурачества произнесет страшное могучее заклятие и таким образом нечаянно положит начало великому превращению, и сам он, шут, предстанет, как герой, в своей исконной белокурой красе, глядя на вас большими голубыми глазами, одетый не в пеструю куртку, но в пурпур, и держа в руке не палку, а царственный меч!

Вам нечего бояться — великий шут не произнесет этого слова. А что до маленьких шутов, вам стоит лишь подать знак, и великий шут убьет их.

К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ

Стр. 27, *после сл.*: отца семейства в «*Аугсб. газ.*» *добавление*: как истинно буржуазный иезуит, иезуит-буржуа.

Стр. 28, *после сл.*: беспечность *добавление в «Аугсб. газ.»*: та оскорбительная и для врага и для друга беспечность, что никогда, до самой его казни, не покидала и его отца.

Стр. 28, *от сл.*: Конечно, достойно порицания *до*: ожидают забавнейшей путаницы *во фр. изд. пропуск, обозначенный рядом тире, и примечание*: Здесь выпущено сообщение, которое могло иметь большой интерес для немцев, но лишено всякого интереса для французов, так как груша, о процессе которой шла здесь речь, приелась в результате постоянных повторений. Все точки, которые встретятся в дальнейшем, будут заменять только подобные места.

Стр. 28, *после сл.*: забавнейшей путаницы в «*Аугсб. газ.*» *добавление*: Но еще больше, чем карикатуры и процессы о карикатурах, компрометирует теперь короля — и притом самым болезненным образом — пресловутый процесс, который возбудила семья Роганов из-за наследства Бурбонов-Конде. Это вопрос столь ужасный, что даже самые резкие газеты оппозиции

не решаются обсуждать его во всей его пугающей обнаженности. Публика крайне тягостно поражена, тихий, робкий шопот, которым обмениваются об этом в салонах, внушает опасения, и молчание тех, кто обычно защищает королевский дом, еще тревожнее, чем громкий обвинительный приговор толпы. Это та же история с ожерельем в младшей линии, но только здесь вместо придворных любовных интриг и подлога дело идет о чем-то более низком, именно — о вымогательстве наследства и тайном убийстве (совершенном одной из участниц). Имя Роганов, которое фигурирует и здесь, к сожалению, слишком напоминает старые истории. Кажется, будто слышишь, как шипят змеи Эвменид, и будто суровые богини не видят никакой разницы между старшей и младшей линиями проклятого рода. Однако было бы несправедливо, если бы и люди не признали этой разницы.

Стр. 29, *после сл.*: негодуют в «Аугсб. газ.» *добавление*: чувствуют к нему презрение, еще большее, чем ненависть.

Стр. 30, *от сл.*: под конец же и *до*: собственную голову *во фр. изд.*: что, наконец, ему явился св. Дени, держащий в руке, по своему обыкновению, собственную голову.

Стр. 30, *вместо сл.*: Дуэль на гильотине *во фр. изд.*: дуэль на мясничьих ножах.

Стр. 42: *после сл.*: танцуют в «Аугсб. газ.» *добавление*: там настоящий высший свет, высокая аристократия человечества.

Стр. 42, *после сл.*: церемониймейстер в «Аугсб. газ.» *добавление*: Это поместье называется Лагранж, и необыкновенно очарователен герой Старого и Нового света, когда он рассказывает молодежи о своих былых подвигах; в эти минуты он — словно эпос, обвитый гириляндами идиллии.

Стр. 55, *после сл.:* зрелище столь же отвратительное в «Аугсб. газ.» *добавление:* Среди лучших нет единства. Одиллон Барро, этот хитрец с сумрачно-вкрадчивым взором, не хочет особенно удалаться от вождя портфеля и отстаёт от своей партии. Зато Моген слишком уж опередил своих коллег. Они полагают, что он заблудился, так как больше уже не видят его. И он тоже не видит их больше, и притом в настоящем смысле слова. Моген каждый вторник принимает у себя вечером демагогов, и один из моих друзей, бывший там на этой неделе, не встретил ни одного депутата. Старый член Конвента, бывший там, хвалил Могена за то, что он с такой энергией идет вперед. Моген же скромно ответил, что он в этом отношении не выдерживает сравнения с великанами старого Конвента, что в политике, однако, он пошел дальше, чем его коллеги по оппозиции, и что они, как видят все, покидают его.

Стр. 59, *к сл.:* беркировать во фр. изд. *примечание:* Намек на другого Берка, который несколько лет тому назад занимался убийствами, поставляя трупы анатомическим театрам, и нагнал на всех англичан ужасный страх — быть беркированным: такое слово было тогда пущено в ход (примечание издателя).

Стр. 65, *после сл.:* состоянии в «Аугсб. газ.» *добавление:* На этих страницах он был представлен именно с такой точки зрения, и тут приходилось больше почитать, чем хвалить.

Стр. 72, *после сл.:* сомнительным (в конце статьи I V) в «Аугсб. газ.» *добавление:* Мы в другой статье подробнее коснемся наших самых мучительных опасений по этому поводу и путем сравнения духа обоих народов и их правителей укажем те пределы, в каких французы могут доверять британцам. А пока-что отсылаем читателя к остроумным и глубокомысленным статьям, которые «National» с недавних пор печатает на эту тему. Сегодняшний номер этой газеты заслуживает

внимания прежде всего в этом отношении. *Под этим добавлением подпись: Г. Г.*

Стр. 73, *после сл.: Лиссабона в «Аугсб. газ.» добавление:* Если падет лорд Грей, то англичане станут требовать большего, но тогда падет и Казимир Перье! Оба держатся только благодаря своей взаимной неустойчивости, примерно так, как двое пьяных, которые держатся на ногах только потому, что непрерывно наваливаются друг на друга.

Стр. 79, *после сл.: из-под него во фр. изд. добавление:* Красивая дама, с которой мы говорили, это госпожа Леон, жена бельгийского посла; это очаровательная фламандская красавица, словно сошедшая с одной из картин Рубенса.

Стр. 86, *после сл.: пустить в ход во фр. изд. добавление:* и поэты, малые и великие, спекулируют на этом, стараясь воспользоваться энтузиазмом толпы в интересах своей популярности. Так, например, Виктор Гюго, чья лира еще хранит отзвуки оды на коронацию Карла X, принялся теперь прославлять императора с характерной для его таланта романтической смелостью.

Стр. 118, *после сл.: молодой человек в «Аугсб. газ.» добавление:* веселый и прозрачный, словно пестрая придворная карета со стеклянными стенками, приветливый, доброжелательный человек.

Стр. 118, *после сл.: увеличительное стекло в «Аугсб. газ.» добавление:* или как херувимчик со страшного суда, плохо трубивший в трубу, словом — ангел, как зовут его обычно при дворе те три дамы, что, собственно говоря, управляют сейчас Францией.

Стр. 118, *после сл.: гладит собак в «Аугсб. газ.» добавление:* как ночной колпак из бумажной материи, в котором сидит обыватель, сделанный из кожи, или как герой романа Поль де-Кока.

Стр. 119, *от сл.:* Первый лорд *до сл.:* министерство в «Аугсб. газ.» *вариант:* The first lord of the treasury, первый лорд казначейства, как таковой не является премьером, но король назначает того или иного государственного деятеля первым лордом казначейства и поручает ему составить министерство.

Стр. 119, *от сл.:* Такое поручение *до сл.:* на время в «Аугсб. газ.» *вариант:* Поэтому the first lord of the treasury, первый лорд казначейства, является обычно естественным председателем совета министров, и не требуется, чтобы особый закон признал его таковым. Так, на этих днях, когда лорд Грей должен был уйти в отставку, мы видели, что король поручил герцогу Веллингтону составить новое министерство. Кстати, не могу не заметить, что когда я недавно (в начале марта) решительнейшим образом предсказывал на этих страницах, что дела примут такой оборот, я встретил немало возражений и упреков с разных сторон, и не один государственный деятель с состраданием пожимал плечами по адресу немецкого пророка. Ах! Мне дано печальное удовлетворение: мои пророчества сбылись; лорд Грей и его виги потерпели поражение, хотя бы и на один миг, и «чорту снова пришлось строить церковь». *Под этим вариантом подпись:* Г. Г.

Стр. 119, *после сл.:* могилах в «Аугсб. газ.» *добавление:* бедных мертвецов великой недели, которые ведь сражались не за младшую линию Бурбонов.

Стр. 119, *вместо сл.:* этим мертвецам в «Аугсб. газ.»: этим смешным мертвецам.

Стр. 119, *после сл.:* сердца в «Аугсб. газ.» *добавление:* он духовно разоружил Францию, дав врагам время запастись грозным материальным оружием, в десять раз более мощным.

Стр. 120, *после сл.:* сердец в «Аугсб. газ.» *добавление:* С Казимиром Перье угасла великая звезда. Да, хотя эта звезда, за которой финансовые цари Востока следовали с такой верой, возвещала блаженство не

бедным, но богатым, и хоть она была роковой звездой для сынов свободы, все же мы с чистым сердцем признаем и свидетельствуем ее величие.

Стр. 123, *от сл.*: отречется от Луи-Филиппа и до сл.: принесет их в жертву в «*Аугсб. газ.*» *вариант*: и пустит в ход свое известное: «Талейран дал, Талейран взял, благословенно имя Талейраново», — применив его на этот раз к Луи-Филиппу и всему *juste milieu*».

Стр. 134—152, *статья IX* в «*Аугсб. газ.*» *отсутствует*, но имеется в рукописном варианте, представляющем ряд весьма значительных отличий от текста книги «*Французские дела*» (Гамбург, 1833). Приводим этот вариант: все вычеркнутое в рукописи указывается в квадратных скобках.

Париж, 25 июня.

Джон Буль требует сейчас дешевого правительства и дешевой религии (cheap government, cheap religion) [и сам желает наслаждаться плодами своего труда, утверждает]; он больше не желает трудиться день и ночь, чтобы вся родня этих господ, которые должны заботиться о его государственном хозяйстве и проповедывать ему смирение, утопала в самой горделивой роскоши. Он не питает к их власти такого уважения, как прежде, Джон Буль тоже заметил: *la force des grands n'est que dans la tête des petits*. Чары сломлены с тех пор, как английская аристократия сама показала свою слабость. Ее больше не боятся: все видят, что она состоит из людей таких же слабых, как и все прочие. Когда был убит первый испанец и мексиканцы увидели, что белые боги [вооруженные молнией и громом] тоже смертны, испанцам, пожалуй, плохо пришлось бы в бою, если бы огнестрельное оружие, заряженные громом винтовки, не решили дела. У наших врагов, однако, нет этого преимущества; Бартольд Шварц для всех нас изобрел порох, все мы, смертные боги, вооружены молнией и громом, а «из буржуазной винтовки так же хорошо стрелять, как и из дворянской».

С тех пор как билль о реформе возведен в закон, аристократы стали вдруг так великодушны, что утверждают, будто не только тот, кто платит налог в десять фунтов стерлингов, но и всякий родившийся в Англии человек имеет право подавать голос на выборах депутатов в парламент. Они скорее предпочтут зависимость от самого низкого сброда нищих и оборванцев, чем зависимость от того состоятельного среднего сословия, которое не так легко подкупить [на чьи независимые голоса они своему влиянию не], которое голосует только по убеждению, независимо ни от чего, и которое действительно не чувствует к ним такой глубокой симпатии, как чернь. Последнюю с этими высокородными связывает, по крайней мере, родство душ. Между ними полное сходство, и они легко вступают друг с другом в союз. Они одинаково восстают против предрасудков нравственности, они в равной мере питают отвращение к промышленной деятельности, они гораздо больше стремятся к присвоению чужой собственности или к подаркам и чаевым подачкам за случайные [лакейство] лакейские услуги. Делать долги — это отнюдь не ниже их достоинства; и лорд и нищий стоят выше буржуазной чести какого-нибудь буржуа, они выказывают одинаковую беспощадность, когда голодны, и совершенно единодушны в своей ненависти к состоятельному среднему сословию. [Только они не признаются друг другу в своей] [Басня повествует] Басня, которую я недавно слышал, может быть, уместна здесь. Верхние ступени лестницы надменно сказали нижним ступеням: «Не думайте, что вы нам родня, вы вязнете внизу, в грязи, а мы, свободные от земной грязи, свободно возносимся ввысь, иерархия ступеней введена самой природой, она освящена временем, она законна». Но философ, проходивший мимо и услышавший эти аристократические речи, улыбнулся и перевернул лестницу. Как часто случается это и в жизни, и вот тогда-то обнаруживается, что в одинаковом положении верхние и нижние ступени общественной лестницы проявляют общую

им сущность. Знатные эмигранты, что впали в нищету по ту сторону Рейна и Ламанша, по чувствам и по образу мыслей превратились в обыкновенных нищих, тогда как корсиканский сброд, занявший во Франции их место, стал так задирать нос, стал чваниться так нагло и надменно, точно принадлежал к самой старинной аристократии.

Насколько опасен для друзей свободы этот союз аристократии и черни, обнаруживается самым отвратительным образом на Пиренейском полуострове. Там так же, как и в некоторых провинциях восточной Франции и южной Германии, католическое духовенство благословляет этот священный союз аристократии и черни, оно — третье лицо в этом прекрасном союзе, и с тихой любовью льет оно смерть в св. дары правды. Это всего опаснее. Наши враги не очень опасны нам своими мечами, но тем опаснее они ложью, иезуитской фальсификацией мысли, отравленным словом божьим. Так, вооруженная чернь и дворянство Вандей далеко не столь опасны для Франции, как господин Женуд и его «Gazette de France». Этот остроумнейший политический фальсификатор принес непостижимый вред своими софизмами. Его коварные классификации приводят в замешательство честнейшие головы и толкают на нелепые суждения. Больше всего я советую остерегаться введенного им различия американской, английской и французской школ. Иезуитской задней мыслью было: сперва запутать понятия и разделить одинокимыслящих; затем надо было изобразить свободу как нечто чуждое, наносное, беспочвенное, американского или английского образца; наконец, предполагалось, подкупив национальное чувство французов, направить их на поиски либеральных установлений в архивы их собственной истории, где уж можно было бы, под разными светлыми именами, взвалить на них весь темный хлам прошлого. [Что установления должны являться результатом истории народа, что они] В Германии тоже пытаются вести эту нечестную игру: декла-

рация прав человека и гражданского [свободы и] равенства выдается за нечто чужестранное, нечто американское и французское, не немецкое. Немецкая школа объясняет все дело в свете, более приятном, более немецком, народном, дубово-крепком, совершенно в духе той древней свободы жрать желуди, которой наслаждались любезные предки. Что установления должны являться результатом истории народа и быть национально-историческими — это [почти, неоценимый] драгоценный [закон] принцип, установленный здесь, как и в Германии, несколькими мелкотравчатыми учеными, которые старались продать власти [-ям] свои исторические домыслы. Из истории, однако, можно вывести все, что угодно. Аббат Дюбо всюду во французской истории искал идею абсолютной монархии, и ему удалось показать, что французские короли унаследовали свою неограниченную власть во всей ее полноте от римлян. Напротив, граф Буленвилле, всюду искавший лишь аристократию, увидел в придворной знати исконных паров короля, бывших суверенных господ, которые отнюдь не отказались от всех своих притязаний на подобное равенство прав. Мабли, революционный Мабли, в своей французской истории всюду стоит на демократической точке зрения, он всюду ищет обоснования прав третьего сословия, утраченных вследствие разных захватов, и его умный, острый, глубокий взгляд видит в летописях прошлого всегда то, что хотели в них видеть современные салоны. Точно так же недавно и сенсимонисты видели во всей французской истории одну только борьбу спиритуализма и сенсуализма, который после долгого гнета вновь стремится войти в свои права. После этого не приходится удивляться, что господин Женуд тоже может доказать национальный характер своих карлистско-легитимистско-папистско-католических свободы и равенства. Опасно то, что он всю эту смесь коварных противоречий (легитимность и избирательные собрания! Квадратура круга!) именует французской школой, а все другие идеи называет

английскими или американскими, антинациональными, и охотно пугает демократизм с республиканизмом, и умеренных, разделяющих этот последний образ мыслей, зовет республиканскими доктринерами, заранее разоблачая их перед менее умеренными, внося разлад, недоверие и раздор. Ведь вавилонская дама знает, что властвовать над нами она может только благодаря вавилонскому смещению языков. И ей даже слишком легко удастся губить наше единство пустой игрой названий, мы разделены на партии и почти не знаем как это случилось, и [лучшие товарищи по оружию] должны бороться друг против друга, не зная, почему, — и все это из-за подлой словесной хитрости вавилонской дамы. К тому же мы, действительно, недостаточно твердо помним настоящие названия вещей. С нами слишком уж часто случается то же самое, что с ирландцем, который поспорил с англичанином, утверждая, будто в Ост-Индии он видел сардины, растущие на деревьях; когда же ему, после слишком страстных возражений со стороны англичанина, пришлось стреляться с ним и он всадил ему пулю в живот, [ему пришло в голову, что он ошибся в названии] [что] [и] он вспомнил, что плод, который он видел на деревьях, назывался не сардины, а каперс.

С подобной путаницей мы честнейшим образом будем бороться. Мы точно установим имена и обозначения и будем повторять их до тех пор, пока они не запечатлеются и в самой слабой памяти. [Мы не будем опасаться упрека в скуке.] Мы будем постоянно повторять то, что уже не раз говорилось, как бы скучно ни было слушать все это, чтобы не надо было стреляться ни из-за сардин, ни из-за каперсов. «Мы сражаемся за тот принцип, что на этой земле все люди одинаково благородны по своему происхождению, и никто в государстве [привилегиями рождения, за исключением только главы государства] не должен пользоваться привилегиями рождения». Сторонников этого принципа мы называем демократами, а партия их называется демократией.

Противников этого принципа, неразумно и непристойно утверждающих, «что один человек появляется на свет более благородным, нежели другой, и за это достоинство должен пользоваться большими правами, чем другой!» — мы называем аристократами, а их партию — аристократией. Борьба с этой партией — наша задача, и мы должны быть настороже, как бы наш добрый меч не стал наносить удары воздушным призракам и как бы лучшие друзья, поддавшись хитрому обману, не стали травить друг друга. Это случается [увы, слишком часто] чаще всего тогда, когда лучшие друзья не согласны насчет формы правления, которая обеспечивает демократическому принципу наилучшие условия развития. Форму правления, служащую только средством, — тогда как демократический принцип является собственно целью, — начинают рассматривать, как самое главное, непонимание и злоба вносят путаницу в основные понятия, вавилонская дама вмешивается в спор, и лжет, и заискивает, и плутует, и посредничает, пока спор о принципах не вырождается в пустой спор о формах. Я говорю, что спор о форме правления — есть пустой спор; дело не в том, стоит ли во главе государства одно лицо, почитаемое бессмертным, как и само государство, и передающее свою власть по праву первородства, или же управление государством доверяется ряду лиц, которых периодически избирает народ. Ведь мы же видели, что полное гражданское равенство, священнойшая демократия процветала в так называемых монархиях — государствах, где во главе стоял один человек, называвшийся императором, или халифом, или президентом, или королем, или султаном, или протектором, а в так называемых республиках, даже когда в них царило равенство, в конце концов брали верх привилегии рождения [и появилась [появилась] злейшая аристократия]. Республики древнего мира были только аристократиями, даже Афины, где большинство населения состояло из рабов. Римская республика была отвратительнейшей аристократией. Тацит, аристократ,

имел, правда, полное основание [оппозиционные воззрения] порицать Тиверия-Нерона; мне, однако, всегда больше нравился этот основатель императорской демократии, чем [Брут и Кассий] [те патр] [которые из аристократического высокомерия] те знаменитые хваленые патриции, что не хотели пережить [окончательную] победу демократического принципа и [гордо] вскрывали себе вены. Итальянские республики средневековья были аристократии; смешно называть Флоренцию, по сравнению с Венецией, демократией—на том основании, что число полноправных там было на несколько тысяч больше. [О немецких свободных городах, Любеке, Бремене и Франкфурте (господь да сжалятся над ними!) я вовсе не буду говорить.] Нашего внимания заслуживают в качестве настоящих демократий только североамериканская и блаженной памяти французская республика. Но замечу, что первая могла развиваться только в такой нетронутой, девственной, новой стране света, как Америка, и что нелепо было бы стараться воссоздать ее на груде старых обломков тысячелетней цивилизации, на лихорадочной, истощенной, больной почве Европы. Что до [блаженной памяти] французской республики, то она, безусловно, заслуживает нашего уважения. Право, я люблю ее, она была прекрасна, она была великолепна, и жаль только, что это великолепие не могло продержаться и четырех лет. Но люблю я эту республику не потому, что она была республикой, а потому, что она всего могущественнее и всего славнее отстаивала интересы демократии, и это—несмотря на страшнейшее сопротивление всех рыцарей и попов Европы, несмотря на всех наемников, вооруженных винтовками и перьями, несмотря на смерть и ложь. Мне дороги воспоминания об этих боях и героях, участвовавших в них, я чту их так высоко, как может чтить их только юношество Франции; да, я еще до июльских дней восторгался Робеспьером, Сен-Жюстом, великой Горой; но мне все-таки не хотелось бы жить под властью этих высоких личностей, я бы не мог вы-

терпеть, чтобы меня гильотинировали каждый день, и никто не вынес этого, и республике оставалось только изойти кровью и победить. Таким образом нет никакой непоследовательности [как считают некоторые] в том, что я люблю эту былую французскую республику, однако, отнюдь не желаю возврата к этой форме правления, а еще менее — ее перевода на немецкий язык. Можно было бы даже, не впадая в непоследовательность, желать, чтобы во Франции ввели республику, в Германии же, напротив, сохранялась монархическая форма правления. Тот, кому важнее всех других интересов упрочение побед, одержанных принципом демократии, действительно, легко мог бы в данном случае прийти к подобному убеждению. Здесь я затрагиваю большой вопрос, вокруг которого ведется сейчас во Франции кровавая и жестокая борьба, и я должен указать те основания, почему здесь так много [истинных демократов] друзей свободы, настолько не согласных между собой, что одни из них являются приверженцами теперешнего правительства, а [отчего другие] другие требуют его низвержения и восстановления республики. Первые, т. е. демократические филипписты, говорят: [Франция, которая может управляться только монархически] [в лице Луи-Филиппа имеет самого подходящего короля, надежнейшего защитника достигнутой свободы и равенства для] «Луи-Филипп — самый подходящий для Франции король, надежнейший защитник французской [свободы] буржуазии; [но сам он по своим взглядам и по своим правам буржуазен и благоразумен] он не может, подобно старшим Бурбонам, таить в сердце злобу против революции, в которой он и отец его принимали деятельное участие; он не может предать народ в руки прежней династии, которую он в качестве родственника должен особенно ненавидеть; он может оставаться в мирных отношениях с прочими монархами Европы, которые в виду его высокого рождения мирятся с его нелегитимностью, тогда как они тотчас же объявили бы войну, если бы на фран-

цузский трон посажен был какой-нибудь простолудин или если бы провозглашена была республика. А мир необходим для счастья Франции». Республиканцы напротив утверждают: «Разумеется, тихое счастье мира — прекрасная вещь, однако она не имеет смысла без свободы. Так думали наши отцы, когда штурмовали Бастилию, когда рубили голову Людовику XVI и вели войну со всей аристократией Европы. Война эта отнюдь не кончена, сейчас только перемирие. Аристократия все еще попрежнему питает злейшую, непримиримейшую ненависть к Франции, между ними — кровная вражда, которая может кончиться лишь уничтожением одной из этих двух сил. А Луи-Филипп — все же король, для него главное — сохранить корону. Он вступает в соглашения и в родственные связи с королями и, обреченный на самую жалкую половинчатость вследствие всяких семейных [интересов] обстоятельств, дергающих его во все стороны, он — лишь неудачный представитель тех дорогих интересов, которые только республика умела некогда защищать всей своей нераздельной волей и всей своей силой и которые и теперь твердо и победоносно могла бы отстоять только республика». И вполне понятно, что можно чувствовать известную симпатию к этим воинам, которые ради победы демократического принципа рискуют тихим счастьем мира, готовы приносить в жертву кровь свою и добро, пока во всей Европе не будет уничтожена аристократия.

Благодаря тому, что Германия тоже принадлежит к Европе, многие немцы разделяют эту симпатию к французским республиканцам; но так как при этом всегда можно зайти слишком далеко, то у некоторых эта симпатия перерождается в пристрастие к республиканской форме правления самой по себе, и вот мы наблюдаем явление, едва ли постижимое, а именно — немецких республиканцев. Что итальянцы и поляки, которые, подобно немецким друзьям свободы, чают от французских республиканцев больше пользы, чем от *juste*

milieu, и от этого больше любят их, теперь же вдобавок очень воодушевлены [чувствуют пристрастие, даже сильный энтузиазм] республиканской формой правления, не вполне для них чуждой, — это, по-моему, вполне естественно! Но немецкие республиканцы! Почти не веришь собственным ушам [и обоим своим глазам], а все же [мы видим], что они есть и здесь, и в Германии. Когда гляжу на своих немецких республиканцев, я протираю глаза и говорю себе: «Не снится ли тебе это?» Даже читая некоторые южнонемецкие газеты, например «Трибуну», я спрашиваю: «Кто же он, великий поэт, выдумывающий все это? Существует ли доктор Вирт со сверкающим мечом чести? Или это лишь плод фантазии Тика или Иммермана?» Но затем я сознаю, что поэзия не парит столь высоко, что поэты все же не в силах изображать такие мощные характеры и что этот доктор Вирт — совсем как живой, смелый, хоть и блуждающий рыцарь свободы, каких немного видела Германия со времен Ульриха фон-Гуттена.

Неужели правда, что тихая страна вновь ожила, снова задвигалась? Кто бы мог это подумать до июля 1830 г.? Гете — своим баюшки-баю, блюстители набожности [благочестия] — своей благочестивой детской верой, магнетизеры всех родов усыпили Германию, и все кругом неподвижно лежало и спало. Но только тела были скованы сном; души, томившиеся в них, как в темнице, сохраняли странно теплившееся сознание. Автор этих страниц, тогда еще молодой человек, странствовал по немецким землям и созерцал спящих людей. Я видел страдание на их лицах, я изучал их физиономии, я прикладывал руку к их сердцу, и они, подобно лунатикам, начинали говорить во сне странные отрывистые речи, в которых раскрывались их затаеннейшие мысли. Стражи народа, натянув на самые уши золотые ночные колпаки, восседали в красных бархатных креслах [сердито], плотно закутавшись в горностаевые мантии, и тоже спали, и даже храпели. И вот, странствуя с котомкой и палкой, я шел или говорил вслух то, что

удавалось мне прочесть на лицах спящих людей или во вздохах их сердец; и был я, быть может, единственный, чьи слова были услышаны в ту глухую пору, не потому, что я говорил особенно громко, а потому, что я говорил в то время, как другие молчали или, бормоча, брюзжали спросонья. Я отмечаю это не из тщеславия, а чтобы опровергнуть ошибочное мнение, будто я говорю сейчас не так громко, как прежде. Да и нет столь настоятельной необходимости в речах, когда [не являешься уже единственным органом] видишь, что и многие другие обладают даром речи. С тех пор Германия, разбуженная пушками великой недели, проснулась, и каждый, молчавший до сих пор, хочет быстро наверстать потерянное, стоит шумная болтовня, а мне вовсе неохота напрягать легкие сильнее, чем обычно. Все равно, придет время, когда это понадобится. Гроза [подымается на горизонте] приближается, каркают птицы — вестники бури, сигнальные выстрелы слышны издалека, уже высоко вздымаются волны. А на утесах стоят ораторы. Одни, набрав полный рот воздуха, дуют на бушующее море и думают, что подняли бурю и чем больше они будут дуть, тем яростнее будет реветь ураган. Другие робеют: они слышат, как трещат корабли государства, они видят [мятущиеся валы] грозные волны, а так как из своего [своих] учебника [-ов] они знают, что их можно укротить маслом, то они и выливают в разъяренную людскую пучину масло из своих кабинетных лампочек, т. е. пишут примирительную уступчивую брошюрку и удивляются, когда это не помогает, и вздыхают: «Oleum perdidit». Я вполне могу себе представить, что бедным монархам трудно сейчас приходится в Германии, я почти готов пожалеть их. Но, надо признаться, они не совсем безвинны. Они упустили долгие годы мира, не воспользовавшись ими. Если бы мы за эти годы получили свободу печати, народ был бы теперь политически воспитан и не доступен всяким демагогическим ухваткам. Теперь какой-нибудь провинциальный контрабандный листок *in octavo*

может вызвать в стране больше беспорядка, чем целая библиотека в государстве, где просвещение насаждено свободой печати и где люди привыкли к страстным речам. Я всегда это говорил, и вот мои книги подверглись запрещению и конфискации. Что вы сделали с таким множеством экземпляров хороших книг, на которые наложен запрет? Если бы вы внимательно прочитали хоть одну из них, вы бы не были сейчас в такой великой беде. Но уж таковы эти люди; дело не в злых умыслах, а в страхе. Когда они на литературном горизонте замечают яркую звезду, им становится страшно, и они считают, что должны погубить ее. О горестное заблуждение! Звезды на небесах не зажигают пожаров, которые чаще вспыхивают от маленьких неосторожных ночников, падающих на солому. Благонамеренных водчих, желавших поставить более прочную опору вашим тронам, — здоровый народ на место гнилого от старости дворянства, — их вы оскорбляли, а то и преследовали. Как-то вы теперь справитесь с неистовыми плотниками, что работают только топором, — с республиканцами!

Легко предвидеть, что идея республики, как ее понимают теперь многие немецкие умы, является отнюдь не мимолетной фантазией и что она причиняет немало забот современным правительствам. Ибо это — идея, а немцы никогда не отказывались от идеи, не исчерпав ее в спорах со всеми вытекающими из них следствиями. Мы, немцы, в дни нашего художественного периода истощивавшие до дна мельчайший спорный вопрос, например вопрос о сонете, — неужели теперь, в начале нашего политического периода, мы не разрешим со всюю смелостью [не со свежими] вопроса о республике? Для подобной полемики французы снабдили нас совсем особым оружием. Вообще за последнее время оба народа, и французы, и немцы, многому друг у друга научились. Французы много позаимствовали у немецкой философии и поэзии, и мы многое взяли от политического опыта и практического смысла французов. Эти два народа подобны гомеровым героям, которые на поле

сражения в знак дружбы обмениваются оружием и латами. Отсюда — и та странная перемена, которая сейчас происходит с немецкими писателями. В прежние времена немецкие писатели были или академически-учеными людьми, или поэтами. Они мало заботились о народе, никто из них не писал для него, и в философской и поэтической Германии народ пребывал во власти самого грубого образа мыслей, и [боролся в крайнем случае из-за грубых реальностей, налогов, таможен, въездных пошлин] крайними политическими тяготами были для него налоги, таможи, въездные пошлины и тому подобные грубые реальности, между тем как в прекрасной Франции [народ которой был так поработен материализмом], в стране материализма, народ, воспитанный, развитый и руководимый писателями, боролся только за идеальные интересы и философские принципы. Во время войны за освобождение (*lucis a non lucendo*) правительства воспользовались сворой факультетских ученых и поэтов, толкая их на то, чтобы они повлияли на народ в интересах их корон, и народ в самом деле оказывался весьма восприимчивым, читал «Рейнского Меркурия» Герреса, пел Арндтовы песни, украшался листвою немецких дубов, вооружался немецким мечом [за бога, короля и отечество], выстраивался в шеренги, бился, стрелял и побеждал Наполеона; ибо против [немецкой мудрости] подобного энтузиазма сами боги борются тщетно. Теперь правительства снова хотят воспользоваться этой сворой, но она все это время просидела на цепи в темной дыре, и не выучилась ничему новому, и лает все еще в прежнем тоне. Народ же за это время слышал совсем иные голоса, громкие величавые голоса, говорившие о гражданском равенстве, о неотъемлемых правах человека, и с насмешливым сожалением, если не с презрением, смотрит он сверху вниз на постаревших шавок, [верных пуделей и] средневековых кобелей [1814 г.] и достойную пуделей верность 1814 г.

Разумеется, я бы не стал защищать голоса 1832 г., ни все вместе, ни каждый из них в отдельности. Я уже

с достаточной полнотой высказал свое мнение о самом странном из этих голосов, а именно — о немецких республиканцах. Я указал на случайное обстоятельство, вызвавшее их появление. Я вовсе не собираюсь оспаривать немецких республиканцев, это не входит в мои обязанности [тем более, что [это] делается правительствами, при помощи особых людей, которым они платят]. Во всяком случае, в основе наших стремлений лежит одна и та же цель — победа демократического принципа, и мы не согласны только насчет средств, насчет формы правления; мы не хотим убивать друг друга из-за сардин и каперсов. Но все же я не могу не заметить здесь вскользь, что сардины нигде не растут на деревьях свободы [и что от этого происходит главное заблуждение]. Замечу: главное заблуждение немецких республиканцев происходит оттого, что они недостаточно точно взвешивают различие в состоянии обеих стран или, вернее, не принимают в расчет временного различия в характере обоих народов. Не вследствие своего географического положения и не вследствие вооруженных угроз соседних монархов Германия не может стать республикой, [как утверждает в одном недавнем публицистическом опыте баденское правительство] как утверждало недавно в одной полемической статье баденское правительство. Нет, именно географические условия приходят на помощь доводам немецких республиканцев, а что касается чужеземной опасности, то объединенная Германия была бы страшной силой в мире, и народ, который в самых рабских [условиях] обстоятельствах всегда так превосходно сражался, мог бы, если бы он состоял из одних только республиканцев, превзойти в храбрости даже башкир и калмыков, которыми нас пугают. Но Германия не может быть республикой потому, что она по существу своему монархична. Франция же, напротив, по существу своему — страна республиканская. Я этим не хочу сказать, что у французов больше республиканских добродетелей, чем у нас; нет, и у французов они тоже не

в изобилии. Я говорю только о существе, о характере, которым республиканизм и монархизм не только отличаются друг от друга, но и проявляются вовне и приобретают общественный смысл, как глубоко различные явления.

Роялизм (я всегда пользуюсь этим словом как равнозначным со словом «монархизм»), роялизм народа по существу своему состоит в том, что народ уважает авторитеты, что он верит в личности, являющиеся носителями авторитетов, и что в силу этого доверия он предан самой личности правителя. Республиканизм народа по существу своему состоит в том, что республиканец не верит в авторитеты, что он чтит только законы, что от блюстителя законов он постоянно требует отчета, с недоверием наблюдает за ними, проверяет их, что, следовательно, он никогда не привязан к личности, а напротив, чем выше она поднимается, тем враждебнее стремится он противоречиями, подозрениями, насмешками и преследованиями [даже речами] низвести ее с высоты.

Остракизм был в этом смысле самым республиканским установлением, и тот афинянин, который голосовал за изгнание Аристиды, потому что его всегда звали «справедливым», был истинным республиканцем. Он не желал, чтобы добродетель была представлена одним только лицом, чтобы лицо имело, в конце концов, большее значение, чем самый закон, он опасался авторитета имени. Человек, думавший так, был величайшим гражданином Афин, и характерно для него также, что история умалчивает его имя. Робеспьер, носитель великого принципа — «правителям никогда нельзя доверять», — тоже является для меня типом истинного республиканца; выдержки из его дневника, приводимые в докладе Куртуа, с этой точки зрения в высшей степени замечательны. Вообще, с тех пор как я изучаю французских республиканцев — по книгам и в жизни, я всюду встречаю характерную черту — недоверие к личности, ненависть к авторитету имени. Не из мелочной жажды

равенства и не от мрачной зависти ненавидят эти люди всякое крупное имя, — нет, они опасаются, как бы носитель такого имени не [стал употреблять] употребил его во вред свободе или, быть может, по слабости или уступчивости не позволил другим воспользоваться им [своим именем для подавления] тоже во вред свободе. Поэтому во время революции и казнили столько великих популярных деятелей свободы [с патриотическими [благороднейшими] намерениями], авторитета которых опасались, думая, что их авторитет может оказать вредное влияние на народ. [Поэтому-то даже Дантон должен был умереть.] Поэтому еще и теперь я слышу из разных уст республиканское учение, что надо уничтожать все либеральные репутации, ибо они при случае могут приобрести самое пагубное влияние, как недавно показал пример Лафайета, которому обязаны «лучшей из республик».

Я, быть может, указал здесь мимоходом на ту причину, почему сейчас во Франции [цветет] так мало выдающихся репутаций: бо́льшая часть их уже уничтожена. Начиная с самых высоких особ и кончая самыми низкими, здесь больше нет авторитетов. [Однако здесь уничтожена не только вера в личности, но и во все сущее.] [Здесь больше не существует то, что называют верой.] Только молодежь [Никто не] верит в прошлое. [Да, здесь уничтожена не только вера в прошлое, но также вера в настоящее, во все сущее.] От архиепископа Парижского до Одри, от Талейрана до Видока, от Поль де-Кока до Гизо, священники, чиновники, ученые — все унижены в своем достоинстве. Вера в личности кончилась; уничтожена даже вера во все настоящее, во все, что существует. Лучшие, в особенности молодежь, верят разве в будущее, в еще не родившийся мировой порядок, в идеальную республику. По всякому поводу я замечаю недоверчивое покачивание головой и пожимание плеч. Многие не верят даже в смерть и презирают жизнь. Большею частью здесь даже не сомневаются, ибо сомнение само по себе имеет предпосыл-

кой веру, а в нее не верят. Здесь нет атеистов; к гос-поду-богу не осталось уважения даже настолько, чтобы кто-нибудь [утруждал себя] подумал отрицать его. Религия совсем умерла. Старая мораль — только при-видение, которое не появляется даже ночью. Брак — двухспальный эгоизм. Родительская власть определяется законом. «Трон есть стул, обтянутый красным бархатом». Хартия есть кусок бумаги. Истина есть хартия. Дружба, любовь, все прекрасные человеческие страсти бегут из дому на рынок — и вот, одержимый политической [неистойой] яростью, народ беснуется, разбивает старые иконы, требует нового хлеба и новых зрелищ, и каждый здесь — король, каждый здесь — нищий, и друг друга они рубят на части, лишь бы посмотреть, как бьет из их собственных жил алая дерзкая кровь жизни, лишь бы не быть филистерами, лишь бы что-нибудь делать. Конечно, в этом народе у монархического принципа больше нет корней, французы обречены на республику. Как-то им удастся вынести ее? Немцы же еще не находятся в таком положении, и если я и не особенно высоко ценю веру в авторитеты, которая еще не угасла в них, и отнюдь не ставлю их [всех] выше [не пред] французов, все же я утверждаю, что они не находятся еще подобно последним в [столь] отчаянном состоянии, при котором республиканская форма правления явилась бы для них [подходящей] необходимостью. Они по своей природе еще не выросли из роялизма, почтение к монархам еще не убито в них окончательно, [боги] небо милостиво уберегло их от несчастья двадцать первого января, они не порвали насильственно с прошлым, они еще верят в личности, они верят в авторитеты, в верховное начальство [в савонников], в полицию, в гофратов, в пресвятую троицу, в «Гальскую литературную газету», в пропускную бумагу, в промокательную бумагу, особенно же в пергамент. Бедный Вирт! Ты ждал не таких гостей! Писатель, который хочет содействовать социальной

революции, имеет право на столетия опережать свое время; трибун же, ставящий себе целью революцию политическую, не должен слишком удаляться от масс. Вообще, в политике так же, как и в жизни, следует желать только достижимого.

В какой мере французские республиканцы пользуются симпатиями народа, обнаружилось 5 и 6 июня. Вообще, эти знаменательные дни в самом ярком свете показали положение партий, их силу, их слабость; об этих знаменательных днях я дал уже достаточно горестных сообщений и могу избавить себя от нового обсуждения их. Да и судебное следствие еще не закончено, и, может быть, допросы, производимые военным судом, прольют на эти дни больше света, чем удавалось добиться до сих пор. Еще не выяснено, как началась борьба, еще менее известны имена бойцов. Филипписты заинтересованы в том, чтобы представить все дело как давно подготовлявшийся заговор и преувеличить число своих противников. Этим они оправдывают насилия [насильственные меры] и [бесправие] [незаконность] незаконные меры, принимаемые теперь правительством. Оппозиция же утверждает, напротив, что это восстание отнюдь не было подготовлено заранее, что у республиканцев вовсе не было вождей и что вообще республиканцев было крайне мало. Кажется, правда — на стороне оппозиции. По крайней мере среди мятежников не оказалось ни одного известного имени. Партия «National» [доктринеры-республиканцы, как называет их, или, скорее, заблаговременно доносит на них якобинцам «Gazette», эта партия] отказала 5 и 6 июня в каком бы то ни было [содействии] участии, и даже [настоящие] главари «Amis du peuple» воздержались от слишком деятельного участия [повидимому] воздержались [воздержались от всякого участия] последние, это общество все же раскололось теперь на две партии: собственно «Amis du peuple» и секции, которые много демократичнее, чем те. (Чтобы) [Об этих] (не появлялись нигде). Все же о [действиях

этого общества] деятельности «Amis du peuple» нельзя сказать ничего определенного, о них идут лишь смутные толки, происходят недоразумения, тем более, что это общество теперь собственно распалось [на два], так как [прежние] много прежних членов ушло из секций; последние организованы более демократично, и на их сторону стали более последовательные республиканцы, в частности гражданин Кавеньяк. Но во всяком случае для оппозиции было большим несчастьем, что эта неудачная революционная попытка произошла в то самое время, когда она была собрана *in corpore* и словно находилась в боевой готовности. Однако, если оппозиция утратила при этом долю своего авторитета, то правительство в этом отношении пострадало еще гораздо больше, необдуманно объявив осадное положение. Точно оно хотело показать, что если уж на то пошло, оно может проделать глупости еще более грандиозные, чем оппозиция, что оно во всех отношениях превосходит ее. Можно считать, что поражение оппозиции с избытком компенсировано глупостью осадного положения и что партия, в смысле шансов на успех или неуспех, занимает такое же место, что и до похорон генерала Ламарка. Повторяю, на события 5 и 6 июня я смотрю как на простое происшествие, особенно даже и не подготавливавшееся. Похороны Ламарка были только большим военным смотром оппозиции, и зрелище их могло воодушевить на неожиданные деяния. Мысль о том, что все теперь так хорошо собрались вместе, побудила некоторых молодых республиканцев сымпровизировать революцию. Действительно, даже на самого спокойного зрителя похороны эти должны были произвести большое впечатление как благодаря множеству провожающих (их было больше ста тысяч), так и благодаря сумрачно-отважному духу, который отражался на их лицах, сказывался в их жестах. В особенности же бодрящее и вместе с тем устрашающее впечатление производил вид молодежи всех высших школ Парижа и стольких других молодых республиканцев, которые,

оглашая воздух страшными ликующими кликами, проходили, подобно вакханкам свободы, с посохами, напоминавшими радостные тирсы, с зелеными венками из ветвей ивы вокруг шапочек, одетые братски просто и бесцеремонно, с глазами, словно опьяненными [удальским] смелым веселием [с пылающими щеками]. Увы! На некоторых лицах я видел также меланхолические тени близкой смерти, которую часто легко бывает предсказать юным героям. Кто видел этих юношей в их горделивом упоении свободой, тот, верно, чувствовал что им недолго осталось жить. Печальным предзнаменованием было также и то, что победная колесница, за которой, ликуя, следовала вся эта вакхическая молодежь, везла только мертвого победителя [только труп] [только в черном гробу] [гроб].

Злополучный Ламарк! Сколько крови стояли твои похороны! И это ведь были не гладиаторы—невольники или наемники, рубившие друг друга, чтобы суетой воинственной игры усугубить суету [грубого] траурного великолепия. То была цветущая, восторженная молодежь, отдававшая кровь свою ради прекраснейшего своего идеала, ради великодушной грезы своей души. [Достоинейшая любви] [храбрейшая.] Самая живая героическая кровь Франции пролилась на улице Сен-Мартен, и я не думаю, чтобы при Фермопилах сражались более отважно, чем у входа в переулочки Сен-Мери и Обри-де-Буше, где под конец кучка примерно в пятьдесят республиканцев почти восемь часов защищалась против шестидесяти тысяч человек линейного войска и национальной гвардии и несколько раз заставляла их отступать. Многие из числа старых соратников Наполеона, знающих толк в военном деле не хуже, чем мы в христианской догматике, в примирении крайних мнений или в художественных талантах актрисы, а также немало знаменитых военных из разных стран утверждают, что бой на улице Сен-Мартен принадлежит к числу величайших подвигов в новейшей истории. Республиканцы творили чудеса храбрости, и те немногие,

что не могли больше обороняться, отнюдь не просили пощады. Я, во всяком случае, свидетельствую, что все мои расследования подтверждают это. Большинство республиканцев было заколото штыками национальных гвардейцев. Когда всякое сопротивление стало бесполезно, некоторые республиканцы с обнаженной грудью выступили навстречу своим врагам и дали себя застрелить. Когда же был взят угловой дом на улице Сен-Мери, какой-то молодой человек поднялся с красным знаменем на крышу, воскликнул: «Vive la République!» и упал, пронзенный пулями. В один из домов, первый этаж которого был еще занят республиканцами, ворвались солдаты и сломали в нем лестницу, но республиканцы, не желая отдаться живыми в руки врагов, покончили с собой, и в плен была взята лишь комната, наполненная трупами. Мне это рассказывали в церкви Сен-Мери, и мне пришлось прислониться в статуе святого Себастиана, чтобы от внутреннего волнения не свалиться, и я заплакал как дитя. Тут снова пришли мне на память все горестные героические истории, которые еще в детстве вызывали у меня столько слез, и больше всего думал я о Клеомене, царе спартанском, и его двенадцати сподвижниках, о том, как они бегали по улицам Александрии, как они звали народ на бой за свободу, как они не нашли единомышленных сердец и, не желая сдаться египетским палачам, умертвили себя сами; последним [оставшимся в живых] был [последним умертвил себя] прекрасный Антей, и он еще раз взглянул на мертвого Клеомена и поцеловал любимые уста, а потом бросился на свой меч.

О числе республиканцев, сражавшихся на улице Сен-Мартен, еще не удалось узнать ничего определенного. Кажется, сперва там собралось около двухсот республиканцев, но число это растаяло до пятидесяти. Среди них не было ни одного, кто, как замечено уже выше, был бы носителем известного имени или которого знали бы раньше как [выдающегося] [незаурядного] поборника республики. Это тоже свидетельствует

о том, что если сейчас во Франции немного героических имен, звучащих особенно [внушительно] громко, то это объясняется не недостатком в героях, а преизбытком их. Вообще, кажется, миновал тот период мировой истории, когда надо всем высились деяния отдельных личностей. Сами народы, партии, массы — герои нового времени. Современная трагедия отличается от античной тем, что теперь хоры принимают участие в действии и исполняют настоящие главные роли, тогда как боги, герои и тираны, бывшие раньше действующими лицами, опустились теперь до ролей праздных представителей воли партий и деяний народа и выступают с болтливыми рассуждениями в качестве тронных ораторов, председателей банкетов, депутатов ландтага, корреспондентов и т. д. Луи-Филлип и все его герои, вся оппозиция с ее *comptes-rendus*, с ее депутациями, господа Одиллон Барро, Лафит и Араго — какими бессильными и ничтожными кажутся эти истасканные знаменитости, если сравнить их с героями улицы Сен-Мартен, имена которых никому неизвестны. Я говорю это в прямом смысле слова, я предпринимал ряд [много] расспросов, чтобы узнать эти имена и по долгу моей службы внести их в великий мартиролог, но тщетно — никто не мог мне их назвать. Никто не знает, как звали этих смелых [бойцов] воинов, которые умерли так беспримерно бескорыстно [за своих единомышленников] [так беспримерно бескорыстно принесли себя в жертву за своих единомышленников, умерли, так сказать, анонимно] [и при этом свой] [для которых], и это странно напоминает легенду о двух чужеземцах, пришедших в некий город, где они нашли общину верующих, погруженную в великую печаль, ибо язычник-наместник потребовал жизни двух верующих как искупления некой мнимой вины; чужеземцы же предложили себя в добровольные жертвы и умерли смертью мучеников, не сказав своего имени. Это скромное [анонимное] мученичество внушает нам не только трагическую скорбь, оно вселяет в наши души

отвагу, как знак того, что столько людей, совершенно неведомых нам, готово отдать свою жизнь ради святого дела [единоверцев] опечаленной общины. А [врагам свободы] злым наместникам должна внушать тайный ужас мысль об этой толпе неведомых, жаждущих смерти.

У монастыря Сен-Мери сражалась, кажется, только молодежь; в других местах сражалось также много стариков.

[В числе пленных, которых вели по городу, я видел глубокого старца [стариков], и особенно бросилось мне в глаза лицо одного старого человека]. У Шатле я видел старика, которого вели [отводили] в тюрьму вместе с несколькими студентами *Ecole polytechnique* *. [Первые] Последние шли с опущенными головами, сумрачные и дикие, и души их были истерзаны так же, как и их платья; старик же был одет хотя бедно и старомодно, зато аккуратно: на нем был соломенножелтый сюртук, жилет, брюки и гамаша того же цвета, треугольная шляпа была надета на [седую] пудренную голову, а лицо было так беззаботно, как будто он шел на свадьбу; за ним бежала старая женщина, держа в руках зонтик, который он, вероятно, забыл взять с собою, и в каждой черте ее лица сказывался смертельный страх, который можно испытать, когда кого-нибудь из наших близких должны расстрелять в двадцать четыре часа. Седьмого июня, в морге, я тоже видел снежноседого старика, он весь был в ранах. А морг — это здание, куда привозят и где выставляют трупы [привозят трупы, найденные на улицах, и трупы неизвестных] и куда обычно приходят разыскивать исчезнувших. В те дни у входа в морг теснилось столько народу, что надо было стоять в хвосте, точно перед зданием Большой оперы, когда дают «Роберта-Дьявола». Я должен был прождать почти час, пока меня пропустили, и у меня было достаточно времени, чтобы

* Политехнической школы.

рассмотреть этот мрачный дом, похожий скорее на громадную каменную глыбу. Не знаю, что бы значило, что над входом висит [большой] желтый деревянный диск с голубым кружком в середине, точно большая португальская кокарда. Номер дома 21, *vingt-un*. Грустно было видеть, с какой боязнью иные рассматривали выставленных мертвецов, опасаясь найти того, кого они искали. При мне там разыгрались две мучительные сцены узнавания. Маленький мальчик узнал своего мертвого отца и молча застыл, словно прирос к земле. Молодая девушка увидела труп своего возлюбленного и лишилась чувств. Так как я знал ее, мне выпала печальная забота отвести безутешную домой. Она была из модного магазина по соседству со мною. Там работает восемь молодых дам — все республиканки; в их обществе я всегда — единственный роялист.

Стр. 144, *от сл.:* Гаспара Дебюро до: малейшего Молаффи *во фр. изд. вариант:* От знаменитого Гаспара Дебюро до господина де-Келен, от господина Стауба до Ламартина, от Гизо до Поль де-Кока, от Россини до Биффи.

Стр. 145, *во фр. изд. 1857 г. вместо сл.:* о католицизме *вариант* о церкви.

ТЕКУЩИЕ СООБЩЕНИЯ

Стр. 159 и след.: *Во фр. изд. большая часть их отсутствует.* «Вместо предисловия» *отсутствует в «Аугесб. газ.»* *Во фр. изд. следующее примечание от издателя:* (О событиях 5 и 6 июня и мероприятиях, вызванных ими, автор писал отчеты день за днем, час за часом. Нам эти рассказы не дали бы ничего нового. К тому же поэтическое дарование находчивого и остроумного писателя не может проявиться среди этих отрывочных фактических описаний и непрерывающегося потока уличных толков. И мы подумали, что никому не нанесем ущерба, если опустим их, и что сам автор,

писавший для немцев, будет нам благодарен за то, что мы убавили его груз и облегчили ему доступ к французам. Однако мы не решились пожертвовать следующим отрывком, к которому прибавляем фрагменты писем из Нормандии).

Стр. 173 и след. «Текущие сообщения» совершенно отсутствуют до стр. 198 во фр. изд.

Стр. 173, после сл.: наводило на размышления в «Аугсб. газ.» добавление: В Тюильри вчера уверяли, что герцогиня Беррийская арестована в Нанте. Если это правда, то Луи-Филипп окажется в большом затруднении, так как он не может предать суду племянницу королевы, которая станет горько жаловаться ему, и к тому же должен отвести от себя подозрения в том, что он поддерживает дружественные связи со своей семьей в Голируде. Относительно маршала Бурмона определенно уверяют, что он взят в плен. Если его предадут военному суду, он умрет, как Ней, но не с такой славой и не оставит по себе таких сожалений.

Стр. 185, после сл.: улыбаться в «Аугсб. газ.» добавление: можно все улыбаться и улыбаться и тем не менее быть очень беспокойным.

Стр. 188, после сл.: Более всего восстановлены против Карреля в «Аугсб. газ.» добавление: И возможно, что, учреждая чрезвычайные суды, имели в виду именно его. Да, если правда, что господин Тьер был инициатором этой гениальной находки, то наверно он подумал о своем бывшем коллеге Карреле. Ибо его он, должно быть, боялся больше всех. Он хорошо знает его силу, и ему известно, что каждая партия, победив, прежде всего карает своих ренегатов. Голова маленького Тьера, полная гамом марсельских кухонных горшков и хвалебных стихов Вьенне, вероятно совсем была оглушена, когда до ее ушей донесся пушечный гром и имя Карреля.

Стр. 190, после сл.: вы ставить себя на посмешище в «Аугсб. газ.» добавление: Они желают быть тиранами,

природа же предназначила их к чему-то совсем другому.

Стр. 193, *после сл.:* составить целой порядочной фигуры в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* Большинство попыток предпринималось в отношении Талейрана и Дюпена старшего. Что касается первого, газеты не скупилась на всяческие выдумки. Главный обман состоял в том, что ему придавали такую исключительную важность в деле образования нового министерства. Старик стар и поношен и приехал сюда, может быть, только по личным делам. К тому же говорят, будто он очень болен и слаб, ибо постоянно уверяет, что никогда не чувствовал себя таким здоровым и крепким, как именно сейчас. Теперь он, по его словам, едет на воды, чтобы укрепить свое здоровье и силы. С ветренностью мальчика, еще не знающего света с его дурной стороны, этот старик, вряд ли узнавший его и с хорошей стороны, прелегкомысленно шутит над всей пестрой путаницей и опасностями наших дней. Таким путем, обращая в шутку самые серьезные вещи, он придает себе вид уверенности и непогрешимости, он — словно папа той неверующей, той несчастной церкви, что не верит ни в святой дух народов, ни в воплощение божественного слова.

Стр. 193, *после сл.:* с этим происшествием в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* Если бы Дюпен стал председателем совета министров, большинство членов теперешнего министерства вышло бы в отставку. Часть же других высших сановников была бы отставлена. Бывшему редактору газеты «*National*», господину Тьеру, опять пришлось бы принять новое направление. Зато теперешний редактор «*Temps*», господин Кост, получил бы ту важную должность, которою прежде был облечен исчезнувший господин Кеснер, а именно — управление государственной казной.

Стр. 197, *после сл.:* многие сердца в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* На ряду с немецкими делами нас занимают

теперь дела бельгийско-голландские, которые с каждым часом все более запутываются и которым, однако, как можно скорее должен быть положен конец. Здесь думают, что Англия намеревается путем серьезных мероприятий так или иначе разрешить эту путаницу, и это намерение, а не интерес к Польше является действительной целью поездки Дергема в Петербург. Во всяком случае, самый выбор посла считают свидетельством твердого решения. Ибо лорд Дергем — самый угрюмо-неподатливый, самый шероховатый сын Альбиона, и к тому же он лично озлоблен против русской камарильи, так как она, в связи с биллем о реформе, будто бы весьма враждебно интриговала против него, ревностнейшего реформера, и против его тестя, лорда Грея, и всеми способами старалась свалить его. Дружья мира надеются, что он и император Николай не будут много разговаривать друг с другом, так как император отнюдь не может быть дружелюбно настроен теми неподобающими, весьма дерзкими речами, которые говорились о нем в парламенте. Впрочем, и по вполне естественным причинам между ними может вовсе не произойти сколько-нибудь значительной беседы, и все будет зависеть от посредников — переводчиков.

Стр. 206, *после сл.:* в одном карлистском замке в «Аугсб. газ.» *добавление:* Так как я здесь не читаю маленьких карлистских газет, то и не знаю, напечатаны ли там следующие острословия.

Стр. 216, *после сл.:* новой формы власти во фр. *изд. добавление:* буржуазной монархии.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА». ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

По французскому тексту (книга Oeuvres de H. Heine. IV. De la France, Paris, Eugène Renduel, 1834 (сокращенно: фр. *изд.*) и тексту, напечатанному в газете «Morgenblatt für gebildete Stände» 1831, № 257—274 («Утренняя газета для образованных сословий»), сокращенно: УГ.

Стр. 226, *вместо*: змеи немного болтают там о христианской любви *во фр. изд. вариант*: и змеи не шипят там набожным тоном и не жалят поцелуями христианской любви.

Стр. 236—237, *от сл.*: Шеффера «Леонора» *до*: Все же они имели большой успех *в УГ вариант*: Шеффера Леонора, которая среди проходящих мимо нее воинов не может найти своего Вильгельма, заслуживает наименьшего внимания. Легенда перенесена здесь в эпоху Крестовых походов и костюмы не соответствуют характеру сюжета. Все же картина имела большой успех.

Стр. 242, *после сл.*: больше сорока *в УГ добавление*: Какой-то капрал-эльзасец говорил по-немецки своему соседу: «Что за великое искусство — эта живопись! Как верно все это нарисовано! Как похоже нарисован покойник, что лежит там на земле! Побожиться можно, как живой!»

Стр. 243, *после сл.*: улыбки *в УГ добавление*: Она похожа на прекраснейший из семи смертных грехов». — «И она такая грязная», заметила девочка.

Стр. 254, *после сл.*: пародии *в УГ добавление*: Еще недавно я спорил по этому поводу с философом из Берлина, города в Пруссии, желавшим объяснить мне мистическое значение фрака и его естественно историческую поэзию. Он рассказал мне следующий миф: человек, когда его создали, не был непристойно наг, он был совершенно зашит в шлафрок, и когда впоследствии из его ребра возникла женщина, то спереди в шлафроке оказался вырезан большой кусок, который должен был служить женщине в качестве передника, так что шлафрок благодаря этому вырезу стал фраком и свое естественное дополнение находит в женском переднике. Несмотря на такое прекрасное происхождение фрака и на поэтический смысл его, как взаимодополнения двух полов, я все же не могу примириться с его формой.

Стр. 261, *после сл.*: Жоанно в УГ *добавление*: То же направление господствует и в родственных искусствах, особенно в поэтической литературе французов, где Виктор Гюго с наибольшим блеском следует ему. Последние успехи французов в исторической науке и большие результаты, достигнутые в реальной историографии, таким образом не одинокое явление.

Стр. 273, *от сл.*: Чудом *до laudamus* в УГ *вариант*: Юный английский принц падает и, умирая, смотрит на меня знакомым взором друга, с той скорбной душевностью, которая присуща полякам.

Стр. 274, *от сл.*: Ах, я желал бы *до* всех нас *во фр. изд. отсутствуют*.

Стр. 274, *от сл.*: Ах, я желал бы *до* я должен был бы в УГ *вслед за многопочием (цензурный пропуск) вариант*: Ах, правая рука Германии была парализована, зацелована до онемения, и пал наш лучший оплот, пал наш авангард, смелая Польша лежит в гробу, и когда теперь царь снова посетит нас, тогда за нами будет очередь целовать ему руку — Бог да помилует всех нас!

Так как речь здесь идет не о цареубийстве ... то я и не стану углубляться в подробности и вернусь к тому, что собственно является моей темой. Я должен был бы...

Стр. 274, *после сл.*: сэръ Гудсон Лоу *во фр. изд. добавление*: палач-тори.

Стр. 274, *после сл.*: почтенных художников в УГ *добавление*: например двух маринистов Гудена и Изабе, так же как и некоторых превосходных художников, изображающих повседневную жизнь умного Детуша и остроумного Пигаля.

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Стр. 296, *после сл.*: своего мужа в «Т. о.» и *во фр. изд. добавление*: Он погиб в Сене во время необыкновенно

сильного разлива. Три дня и три ночи бедная женщина плавала в своей рыбацкой лодке вдоль берегов реки, пока ей не удалось выловить своего мужа и похоронить его по-христиански. Она вымыла его, и одела его, и сама уложила его в гроб, а на кладбище приподняла крышку, чтобы еще раз взглянуть на покойника. Она не сказала ни слова и не проронила ни одной слезы, но глаза ее наливались кровью, и никогда не забыть мне этого белого каменного лица с кровавыми глазами.

Стр. 305, *после сл.:* состоянию общества в «Т. о.» *добавление:* Вам известно, что я разумею под «состоянием общества». Это — нравы и обычаи, дела и заботы, весь общественный, а также и домашний быт народа, поскольку в нем выражаются господствующие взгляды на жизнь.

Стр. 305, *после сл.:* жизнь французов в «Т. о.» *добавление:* Правда, это зеркало показывает нам карикатуры, но так как у французов все преувеличивается самым резким образом и превращается в карикатуру, то и эти карикатуры все же дают нам беспощадную истину, если не истину нынешнего дня, то во всяком случае истину завтрашнюю.

Стр. 312, *после сл.:* германские соседи во фр. изд. *добавление:* главным образом англичане.

Стр. 315, *от сл.:* О пес до: Аминь в «Т. о.» *пропуск.*

Стр. 315, *после сл.:* Письмо четвертое в «Т. о.» *имелись следующие два абзаца, предшествовавшие словам:* Сегодня утром и служившие началом этого письма:

Господь все устроит к лучшему. Он, без воли которого даже воробей не упадет с крыши и советник Карл Штрекфус не сочинит ни одного стиха, он не оставит на произвол плачевнейшей близорукости судьбу целых народов. Я это знаю совершенно достоверно: он, который некогда так чудесно вывел детей израилевых из Египта, из страны каст и боготворимых быков, он и нынешним фараонам покажет свои фокусы. Надменных

филистимлян он время от времени будет ставить на место, как некогда во времена Судей. И даже новую вавилонскую блудницу — какими пинками угостит он ее! Видишь ты ее, волю божью? Она пронесится по воздуху, как немая тайна телеграфа, который в высоте над нашими головами подает весть посвященным, между тем как непосвященные живут себе внизу в рыночной сутолоке и совсем не замечают, что их важнейшие интересы, война и мир, незримо для них обсуждаются в воздухе. Если же кто из нас и посмотрит вверх и окажется толкователем знамений, если ему будут понятны знаки на башнях, и он станет предостерегать людей от близящихся бед, то люди назовут это бредом и высмеют его. Иногда с ним случается и нечто худшее, и предостерегаемые гnevаются на него за злую весть и побивают его камнями. Иногда пророка, пока не исполнится пророчество, сажают в крепость, и тут он долго может просидеть. Ибо хотя господь-бог всегда делает то, что ему представляется лучшим, он никогда не спешит.

О господь! Я знаю, ты сама премудрость и справедливость, и то, что ты делаешь, всегда будет премудро и справедливо. Но молю тебя, то, что ты задумал сделать, сделай это чуточку побыстрее. Ты вечен, и времени у тебя вдоволь, и ты можешь ждать. Я же смертен и умру.

Во фр. изд. это добавление отсутствует, но пропуск его обозначен строкою точек.

Стр. 320, после сл.: казачьих пик (конец четвертого письма) в «Т. о.» добавление: В предыдущем письме я сказал, что не политическое состояние является причиной, способствующей во Франции большому преуспеванию комедии, нежели в Германии. То же касается и трагедии. Да, я осмеливаюсь утверждать, что политическое состояние Франции даже вредит развитию французской трагедии. Автору трагедии необходима вера в героизм, что совершенно невозможно в стране, где господствуют свобода печати, представительный

образ правления и буржуазия. Ибо свобода печати, ежедневно самыми дерзкими лучами озаряя человеческие слабости героя, лишает его того благодетельного ореола, который окружает его голову и обеспечивает ему слепое благоговение народа и поэта. Не стоит и упоминать, что республиканизм пользуется во Франции свободой печати для того, чтобы насмешкой или клеветой подавлять все выдающееся и великое и в корне истреблять всякий энтузиазм, вызываемый личностью. И эта тяга к клевете находит исключительную поддержку в так называемом представительном образе правления, в той системе фикций, которая скорее тормозит дело свободы, чем способствует ему, и не допускает появления великой личности ни в народе, ни на престоле. Ибо эта система, это издевательство над настоящим представителем национальных интересов, эта смесь мелких интриг на выборах, недоверия, ругани, публичной наглости, тайной продажности и официальной лжи деморализует королей в такой же мере, как и народы. Короли должны играть здесь комедию, отвечать на ничего не говорящую болтовню общими местами, говорящими еще менее, милостиво улыбаться своим врагам, приносить в жертву своих друзей, никогда не действовать прямо и, вечно отрекаясь от самих себя, должны убивать в своей груди все свободные, великодушные и деятельные порывы царственного героизма. Этим умалением всякого величия и истреблением героизма мы, однако, исключительно обязаны той буржуазии, тому городскому сословию, которое, низвергнув родовую аристократию, пришло здесь, во Францию, к власти и во всех сферах жизни доставляет торжество своим узким трезвым торгашеским взглядам. Уже недолго ждать, и все героические мысли и чувства должны будут если не совсем угаснуть, то хоть стать здесь предметом насмешек. Я отнюдь не хочу возврата старой власти дворянских привилегий, ибо это было не что иное, как покрытый лаком тлен, нарумяненный и надушенный труп, который надо было спокойно опустить в могилу

или же силой втоптать в яму, если бы он пожелал продолжать свое безотрадное призрачное существование и слишком уж упорно стал бы противиться погребению. Однако новая власть, занявшая место старой, еще гораздо хуже, и гораздо большее отвращение должна внушать нам эта не покрытая лаком грубость, эта жизнь без благоуханий, это усердное денежное рыцарство, эта национальная гвардия, эта вооруженная боязнь, которая повалит тебя с помощью интеллигентного штыка, если ты станешь утверждать, что править миром подобает не мелочному духу чисел, не арифметическому таланту, который ценится так высоко, но гению, красоте, любви и силе.

Люди мысли, которые столь неумоимо готовили революцию в XVIII веке, покраснели бы, если б увидели, для чего они трудились, если б увидели, как на месте разрушенных дворцов корыстолюбие строит свои жалкие лачуги и как вырастает здесь и плодится новая аристократия, которая, являя зрелище еще более безотрадное, даже не ищет себе оправдания в идее, в идеальной вере в преемственную доблесть, а видит конечную цель в приобретениях, достигаемых обычно мелочным терпением, если даже не грязнейшими пороками, в денежной собственности.

Все же, если внимательно взглядеться в эту новую аристократию, становится заметна аналогия между ней и аристократией прежней, какою она явилась в особенности перед своей кончиной. Родовое преимущество опиралось тогда на бумагу, которою доказывалось число предков, а не на заслуги их. Это были своеобразные бумажно-родовые деньги, придававшие узаконенную цену аристократам эпохи Людовика XV и Людовика XVI и размещавшие их по различным степеням значения, так же как нынешние бумажно-торговые деньги придают вес промышленникам эпохи Луи-Филиппа и определяют их положение. Суждение о достоинстве и определение ранга, на который дают право бумажные свидетельства, берет на себя биржа, и при этом она

проявляет такую же добросовестность, с какою в прошлом столетии присяжный геральдист рассматривал дипломы, которыми дворянин доказывал свое превосходство.

Эти денежные аристократы, хотя они подобно прежним родовым аристократам, и образуют иерархию, причем каждому кажется, что он лучше другого, обладают все же известным *esprit de corps* *. В затруднениях они солидарны друг с другом, приносят жертвы, если дело идет о чести корпорации, и, как я слыхал, устраивают даже благотворительные заведения для товарищей по сословию, пришедших в упадок.

Я сегодня озлоблен, дорогой друг, и несправедлив даже к духу той благотворительности, которую новая аристократия проявляет в большей степени, нежели старая. Говорю: проявляет, потому что эта благотворительность не страдает светобоязнью и охотнее всего показывается при ярком солнечном свете. Эта благотворительность является в нынешней денежной аристократии тем, чем была снисходительность прежней родовой аристократии, проявление которой, однако, оскорбляло наши чувства и казалось нам порою рафинированной наглостью. О, миллионеров благотворительности я ненавижу гораздо сильнее, чем богатого скрягу, который с заботой и опаской прячет под замком свои сокровища. Он менее оскорбляет нас, чем благотворитель, который всенародно выставляет напоказ свои богатства, приобретенные эксплуатацией наших же потребностей и нужд, и в виде милостыни уделяет нам из них несколько геллеров.

Это же добавление, за исключением последних двух абзацев, имеется и во фр. изд., представляя лишь несколько очень небольших отклонений и пропусков отдельных слов.

Стр. 334, вместо стр. 24—25 от сл.: Мне вспоминается басня до: упрекает ее в том, в «Т. о.» и во фр. изд.

* сословным духом

вариант: Помню, у меня в затерявшихся бумагах была басня, где я заставлял паука беседовать с пчелой; паук упрекает ее в том...

Стр. 336, *после сл.:* «Письмо седьмое» в «Т. о.» и фр. изд. *находится следующее добавление:* Как вам известно, любезный Левальд, в мои привычки не входит уютно-многословное обсуждение игры комедиантов, или, пользуясь благородным языком, совершенства артистов. Но Эдмунд Кин, которого я коснулся в предыдущем письме и к которому я возвращаюсь снова, не был обыкновенный герой подмоштов, и, признаюсь вам, мне не казалось неуместным заносить в мой английский дневник, на ряду с замечаниями о каком-нибудь парламентском ораторе мирового значения, также и беглые записи моих впечатлений от игры Кина в каждом спектакле. К сожалению, вместе со многими из лучших моих бумаг потерялась и эта книга. Мне кажется, однако, что как-то раз в Вандсбеке я читал вам из них отрывки о Кине в роли Шейлока. Венецианский еврей — это была первая героическая роль, в которой я видел его. Говорю: героическая роль, ибо он изображал его не разбитым стариком, чем-то вроде Шевы ненависти, как наш Девриент, а героем. Таким я и сейчас еще вижу его, одетого в черный шелковый *roquelaure* * без рукавов, доходящий только до колен, так что красное, как кровь, исподнее платье, спускающееся до самых пят, выделяется тем резче. Черная, широкополая, но с обеих сторон приплюснутая шляпа с высокой тульей, обвязанной кровавокрасной лентой, покрывает голову, волосы которой так же, как и волосы бороды, длинные и черные, что смоль, свисают, как бы служа мрачной рамой этому румяному здоровому лицу, с которого смотрят, вселяя боязнь и трепет, два белых жадных глазных яблока. Правой рукой он держит палку, которая для него не столько опора, сколько оружие. Он опирается на нее только локтем левой руки, и левой же

* полуплащ, полусюртук

рукой он подпирает коварно задумчивую черную голову, полную мыслей еще более черных, объясняя в это время Бассанио, что следует понимать под употребительным и до сих пор выражением «добрый человек». Рассказывая притчу о праотце Иакове и овцах Лавана, он как бы оплетает себя собственными словами и внезапно обрывает: «Ay, he was the third» *, потом в течение долгой паузы он словно обдумывает то, что собирается сказать, видишь, как рассказ постепенно округляется в его голове, и когда он затем вдруг, как будто вновь отыскивая своего повествования, продолжает: «Not take interest» **, то кажется, что слушаешь не роль, заученную наизусть, а речь, с трудом придуманную им самим. Кончая рассказ, он и улыбается, как автор, довольный собственным измышлением. Он медленно начинает: «Signor Antonio, many a time and oft» *** пока не доходит до слова «dog» ****, которое выбрасывает уже с большей резкостью. Злоба закипает при словах: «and spit upon my jewish gabardine... own» *****. Потом он подходит ближе, прямой и гордый, и с насмешливой горечью произносит: «Well then... ducats» °. Но вдруг спина сгибается, он снимает шляпу и произносит, униженно кланяясь: «Or, shall I bent low... monies» °°. Да и голос его тоже становится униженным, лишь еле слышен в нем сдержанный гнев, на приветливых губах извиваются резвые змейки, только глаза не в силах притворяться, они неустанно пускают свои отравленные стрелы, и этот разлад между наружным смирением и внутренней злобой завершается при последнем слове (monies) жутким смехом, обрывающимся внезапно резко, между тем как лицо, судорожно искаженное выражением покорности, некоторое

* Да, он был третьим

** Не наживался

*** Синьор Антонио, часто...

**** собака

***** и плевали на мой кафтан еврейский...

° Хорошо же... дукатов.

°° Или я низко поклонюсь... денег.

время хранит неподвижность маски, и только глаз, злой глаз поблескивает на нем, грозящий и смертоносный.

Но все это ни к чему. Лучшее описание не может дать вам ясного представления о личности Эдмунда Кина. Многие удачно переняли манеру его декламации, отрывистость его речи, ибо и попугай может с величайшим совершенством подражать голосу орла, царя воздуха. Но орлиный взор, смелый огонь, который может глядеть на родное ему солнце, глаз Кина, эту магическую молнию, это волшебное пламя — вот чего не смогла перенять обыкновенная театральная птица. Только во взоре Фредерика Леметра, именно когда он играл Кина, я открыл нечто, представлявшее величайшее сходство со взглядом настоящего Кина.

Стр. 358, *после сл.:* религиозного свойства в «Т. о.» *добавление:* нет, даже не религиозного свойства, религия его — только отрицательна, она состоит лишь в том, что в отличие от других артистов он, может быть из гордости, не желает пятнать ложью свои губы, что он отвергает назойливые благословения, которые, если бы он принял их, выставили бы его в двусмысленном, отнюдь не благородном свете.

Стр. 364, *после сл.:* до самых ушей в «Т. о.» *добавление:* чтобы скрыть лишаи.

Стр. 364, *после сл.:* над духом в «Т. о.» *добавление:* временами мне казалось, будто из его глаз выползает множество маленьких червей, липких и блестящих.

Стр. 365, *после сл.:* головой *добавление:* так что бубенчики на его черном колпаке позвякивают, точно вздыхая, когда он раскрашивает рисунок нового костюма для Фалькон.

Стр. 368, *после сл.:* в сердце в «Т. о.» *добавление:* и от блаженства кусают себе хвосты.

Стр. 370, *после сл.:* улыбка в «Т. о.» *добавление:* которая напоминает об Италии и позволяет предчувствовать небеса.

Концерт, только что упомянутый, представил для публики еще особый интерес. Вам достаточно известно из газет, какая прискорбная вражда царит между Листом и венским пианистом Тальбергом, какого шума наделала в музыкальном мире статья Листа против Тальберга и какую роль при этом сыграли подкарауливающие злоба и сплетня во вред и критику и критикуемому. В разгаре этого скандального разлада оба героя дня решились сыграть в одном и том же концерте, один вслед за другим. Они оба отложили в сторону оскорбленные личные чувства, чтобы послужить благотворительной цели, и публика, которой они дали случай путем непосредственного сравнения понять и оценить их своеобразные особенности, щедро отплатила им заслуженными аплодисментами.

Да, стоит лишь раз сравнить музыкальный характер обоих пианистов, чтобы убедиться в том, что похвалы одному в ущерб другому в такой же мере свидетельствуют о коварстве, как и об ограниченности. Техническим мастерством они друг другу не уступят, а что касается их духовного характера, то невозможно представить себе контраст более резкий, чем между благородным, полным чувства, благоразумным, спокойным, тихим, немецким, даже австрийским Тальбергом и диким, молние-подобным, вулканическим, штурмующим небо Листом!

Сравнение виртуозов основывается обычно на недоразумении, которое некогда процветало и в поэтике, а именно на так называемом принципе преодоленной трудности. Но подобно тому, как впоследствии убедились, что смысл метрической формы вовсе не в том, что она свидетельствует о языковом мастерстве поэта, и что прекрасный стих вызывает наше восхищение вовсе не потому, что создание его стоило большого труда, вскоре так же поймут, что достаточно, если музыкант может передать на своем инструменте все то, что он чувствует и думает или то, что чувствовали и думали другие, и что все виртуозные *tours de force**. свидетель-

* ухищрения, фокусы

ствующие лишь о преодоленных трудностях, должны быть отвергнуты, как ненужные прикрасы, и отнесены к области фокусничества, трюков, проглоченных мечей, хождения по канату и искусства танцевать на яйцах. Достаточно, если музыкант вполне владеет своим инструментом, если забываешь о материальном посредничестве и внятно слышен становится дух. Вообще, с тех пор как техника игры доведена Калькбреннером до высшего совершенства, пианистам не следовало бы слишком гордиться своими техническими навыками. Только сумасбродство и зложелательность могли в педантических выражениях говорить о революции, которую Тальберг якобы произвел на своем инструменте. Этому великому, прекрасному артисту дурную услугу оказали те, кто вместе того, чтобы восхвалять юношескую красоту, нежность и грацию его игры, представили его чем-то вроде Колумба, открывшего Америку фортепиано, в противоположность всем другим, которые, желая угостить публику музыкальными пряностями, лишь с трудом доплывали до мыса Доброй Надежды. Как должно быть заулыбался Калькбреннер, услышав о новом открытии.

Стр. 370, *вместо* строк 29—32, *от сл.:* это — Шопен, *до сл.:* любимец в «Т. о.» *вариант:* Это Шопен, который вместе с тем может служить примером того, как человек исключительный не довольствуется возможностью соперничать благодаря техническому совершенству с лучшими представителями своего искусства. Шопен не удовлетворяется тем, что мастерству его рук аплодируют другие руки: он стремится к высшим лаврам, его пальцы — только слуги его души, и ей аплодируют люди, которые слушают не только ушами, но и сердцем. Поэтому он любимец.

Стр. 372, *после сл.:* за время его отсутствия (*т. е. в самом конце десятого, последнего, письма*) в «Т. о.» *добавление:* Ах, сколько любимых мною умерло с тех пор, как злейшие бури на чужбине из стороны в сторону

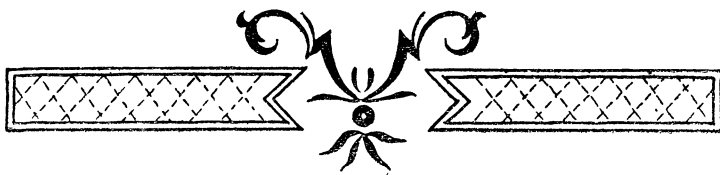
швыряют мой жизненный корабль! У меня начинает кружиться голова, и мне кажется, что и звезды на небе уже не твердо стоят на своих местах и движутся страстными кругами. Я закрываю глаза, и тут-то безумные сны хватают меня своими длинными руками, завлекают меня в неслыханные края, в жуткие тревоги... Вы не можете себе представить, дорогой друг, как странны, как причудливо-удивительны местности, которые я вижу во сне, и какие страшные скорби терзают меня даже когда я сплю...

Прошлой ночью я оказался в огромном соборе. Там царили сумерки, полусвет... Лишь в самом верху, по галлерейам, которые высились, поддерживаемые колоннами, тянулись колеблющиеся огни процессии: впереди — мальчишки-певчие, одетые в красное, с огромными восковыми свечами и хоругвями, за ними следом — коричневые монахи и священники в пестрых ризах... И шествие, сказочно-жуткое, двигалось в высоте, вдоль по куполу, но понемногу спускаясь; а я внизу, держа за руку несчастную женщину, носился по церкви. Мы носились, и сердце у нас билось от страха, не помню отчего. Порою мы пытались спрятаться за одной из гигантских колонн, но тщетно, и нам делалось все страшней, потому что процессия, спускаясь по витым лестницам, стала, наконец, приближаться к нам. Раздавался непостижимо печальный напев, и, что было еще непостижимее, впереди шла высокая бледная, уже пожилая женщина, еще со следами бывлой красоты на лице, направляясь к нам размеренными шагами, почти совсем как оперная танцовщица. В руках у нее был букет из черных цветов, который она протянула нам театральным жестом, а в ее больших блестящих глазах, казалось, плакала подлинная, огромная скорбь... Но вот сцена внезапно переменилась, и вместо темного собора мы оказались в местности, где горы двигались и, подобно людям, становились во всевозможные позы, где деревья с красными, пламенными листьями, казалось, пылали, и это в самом деле было так... Потому, что

когда горы, после безумнейших движений, совершенно сгладились, — сгорели и деревья, рассыпались пеплом... И, наконец, я очутился совершенно один среди широкой, пустынной равнины, под ногами у меня не было ничего, кроме желтого песка, а надо мной ничего, кроме безутешно бесцветного неба. Я был один. Спутница моя исчезла, и когда я с тревогой стал искать ее, в песке оказалась статуя женщины, чудно-прекрасная, но с отломанными руками, как у Венеры Милосской, и мрамор в некоторых местах был попорчен. Некоторое время я в печальном созерцании простоял перед нею, пока всадник не подскакал ко мне. То была большая птица, страус, верхом на верблюде, забавно было смотреть. Он тоже остановился перед разломанной статуей, у нас начался долгий разговор об искусстве: «Что есть искусство?» — спросил я его. И он ответил: «Спросите это у большого каменного сфинкса, что сидит на корточках во дворе музея в Париже».

Дорогой друг, не смейтесь над моими ночными личинами! Или у вас тоже будничное предубеждение против снов? Завтра я еду в Париж. Прощайте!

КОММЕНТАРИИ



ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

Эта книга составилась из корреспонденций о французской политической жизни, которые Гейне помещал в европейски распространенной и влиятельной аугсбургской «Всеобщей газете», издававшейся бароном Котта. Издание это отнюдь не отличалось левизной взглядов, но Гейне дорожил им как трибуной, с которой голос его был слышен далеко. Сотрудничество Гейне продолжалось с декабря 1831 г. по сентябрь 1832. Уже статью от 16 июня 1832 г. (статью девятую) «Всеобщая газета» не поместила. От дальнейшей работы Гейне барон Котта отказался под правительственным давлением. Гентц, ближайший сотрудник князя Меттерниха, вдохновителя европейской реакции, обратился к Котта с письмом столь характерным, что мы даем большую выдержку из него: «Наконец исполнилась мера этого, простите мне резкое слово, фальшивого и в высшей степени губительного направления, — с тех пор как стали печататься позорные статьи, подброшенные Гейне под названием «Французских дел» подобно горящей головне в вашу газету, до того недоступную для всяких плебейских штук. Я отлично понимаю, что такие статьи находят любителей и что этих любителей немало — очень значительная часть публики глубоко восхищается наглостью и злобностью какого-нибудь Берне или Гейне — и Перье, а вместе с ним и Луи-Филипп, только потому что они ставят себе целью мир и порядок, настолько дискредитированы у этих беспокойных голов в Германии, что эти последние предпочли бы видеть Париж под управлением козаков, нежели в руках обесславленного *juste milieu*. Меня не удивляет все это — я слишком долго присматривался к ходу земных вещей, чтобы быть готовым к самым невероятным и безумным революциям в человеческих мнениях. Но то, что вы, благородный друг мой, можете терпимо относиться к этим ядовитым распутствам, которые вы, конечно, сами не одобряете — это превосходит мое разумение. Чего хочет такой нечестивый авантюрист как Гейне — я признаю его как поэта, даже люблю его — чего он хочет и добивается, втапывая в грязь нынешнее французское правительство — этого я не исследую дальше, хотя все это чрезвычайно легко отгадать.

Мне кажется однако, что безграничное презрение, с которым эти чудовища трактуют наиболее уважаемые группы среднего сословия, возмутят против них самый этот класс!.. О духовенстве и о дворянстве уже давно и слышать не хотят — с ними покончено: *requiescant in pace!* * Но когда таких людей как Перье и их сторонников, т. е. государственных служащих, банкиров, землевладельцев и торговцев, поносят еще больше, нежели бывших князей, графов и баронов, — то кому же тогда управлять государством? Остается выбирать только между редакторами «Свободомыслящего» ** (Роттек и Велькер) в качестве — господи, помилуй нас, — представителей более умеренной революционной котерии и такими представителями народа как Гейне, Вирт, Зибенпфейфер и др.).

После этого письма статьи Гейне во «Всеобщей газете» прекратились.

Публицистическими выступлениями Гейне немецкие мелкобуржуазные демократы и республиканцы были недовольны. Особенно ополчался против них Людвиг Берне, обвинявший Гейне в заигрывании с существующей в Германии властью.

Нельзя говорить об особой выдержанности и последовательности революционных устремлений Гейне, автора «Французских дел». Он иногда заверяет читателя в своих монархических взглядах. Однако, сторонник народа и стихийный революционер очевидно берет в нем перевес: кроме соответствующей фразеологии его монархизм ничем не подкреплен, страницы же, посвященные республиканцам, героям Сен-Мери полны настоящего революционного пафоса. Июльская монархия с ее диктатурой банкиров находит в Гейне острого и неподкупного портретиста.

Немецкие демократы придавали слишком большое значение букве Гейне и не умели ценить скрытой революционной силы его писаний.

Процитированное письмо Гентца показывает, что враги лучше понимали с кем они имеют дело. Ненависть Гентца лучшая рекомендация для Гейне и лучший щит против обвинений Берне. Гентц сумел разглядеть в Гейне не только противника феодальных князей и попов, но и противника воцарившейся на их месте буржуазии. Отравленная злоба Гентца говорит о том, насколько действительна, насколько разрушительна была публицистика Генриха Гейне в немецких и в других землях.

Вынужденный прервать свою работу публициста Генрих Гейне собирает свои статьи из «Всеобщей газеты» в отдельную книгу, которую печатает в Гамбурге книгоиздатель Кампе. Книгу должно было открыть предисловие, специально написанное с целью доказать немецким демократам, что автор ее

* да гочит в миге.

** Название газеты — «Der Freisinnige».

не является «продажным мерзавцем» (так выражается Гейне в письме к Иммерману). Кампе напечатал это предисловие в изуродованном виде — по настояниям цензуры. Гейне пришел в полнейшее негодование.

В приложении ко «Всеобщей газете» (11 января 1833 г., № 14) Гейне напечатал такое заявление:

«Просьба.

Так как мне придется теперь долгое время или даже навсегда жить вдали от родины, то с тем более глубокой скорбью я воспринимаю всякое недоразумение, которое может вызвать ошибочное толкование моих воззрений со стороны немецкой публики.

Такое именно недоразумение может возникнуть при выходе в свет «Французских дел», книги, которая должна была заключать в себе собрание политических статей, писанных мною ранее для «Всеобщей газеты», и которая должна быть дополнена предисловием.

Я ни за что не выпустил бы эту книгу без указанного предисловия, в котором я старался убедительно изложить воззрения, лишь намеченные в моих статьях, и в то же время другими высказываниями исполнить великий свой гражданский долг. Как же мне теперь выразить то тягостное чувство, которое я испытал, когда получил вместе с письмом оттиск этого моего предисловия и увидел, что выброшена добрая половина его; еще хуже этого обстоятельство, что купюры не только уродуют сказанное мною, но и придают ему смысл угодливый и раболепный.

Настоящим заявлением я хочу оградить себя от всякого ложтолкования, какое может возникнуть на этой почве.

Прошу все честные издания перепечатать эти строки.

Париж, 1 января 1833 г.

Генрих Гейне.

Кампе пришлось напечатать предисловие в полном его виде отдельной брошюрой в том же 1833 г.

На французском языке у издателя E. Renduel «Французские дела» появились в одной книге вместе с неприкосновенным предисловием; называлась книга «О Франции» (De la France), соответственно чему более поздние книги Гейне, посвященные немецким темам, у того же издателя назывались «О Германии» (De l'Allemagne).

Не весь текст, относящийся к «Французским делам» и которым мы располагаем теперь, был опубликован самим Гейне. Штротгман имел в руках корректурный экземпляр «Французских дел» с «Предисловием к предисловию» и с другими отклонениями от уже известного текста, опубликованными им в его издании сочинений Гейне (Гамбург, 1862 г.).

Статья IX в своей первоначальной редакции оказалась в частных руках. Все эти добавления и варианты в нашем издании использованы.

ПРЕДИСЛОВИЕ *

9. *Скаррон* Поль (1610—1660) — французский писатель реалистического направления, автор «Комического романа».

10. *Постановления сейма*. Речь идет о постановлениях, принятых 28 июня 1832 г. франкфуртским сеймом представителей союзных германских государств, в целях подавления революционного движения и ограничения прав представительных учреждений. Главнейшие из этих постановлений: 1) государи должны отклонять петиции палат, если эти петиции наносят, по их мнению, ущерб благу их государств или Германского союза; 2) если палаты отказываются утвердить налог, входящие в Союз государства должны притти на помощь заинтересованному государю; 3) сейм назначает специальную комиссию, которая должна следить за постановлениями палат во входящих в Союз государствах; 4) Австрия и Пруссия принимают необходимые военные меры, чтобы быть готовыми по первому требованию сейма оказать ему необходимую помощь.

Вводились также реакционные меры против печати, университетов и учащейся молодежи.

12. *Арндт*, Эрнст-Мориц (1769—1860) — немецкий профессор и поэт, воспевавший войны за освобождение в песнях, которые пользовались популярностью среди молодежи. Но «потом наступили конгрессы и дали немцам время выспаться после освободительного похмелья и проснуться у старого верноподданного „корыта“» (Энгельс). Оставил «Воспоминания из моей жизни», которым Энгельс посвятил одну из своих юношеских статей (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II ст. 67—80).

Меттерних... не проделывал гимнастических упражнений на Заячьей поляне. Гимнастические союзы были одной из форм организаций, в которых пропагандировалась необходимость освободительных войн против Наполеона. Первый гимнастический союз был учрежден в 1811 г. в Берлине на Заячьей полянке Фридрихом-Людвигом Яном (1778—1852). В цитированной выше статье Энгельс говорит о нем: «Немечина... хотела толкнуть нацию вспять в германское средневековье или даже в чистое древнее тевтонство из Тевтобургского леса. Крайности этого направления выражал Ян» (стр. 70).

Мария-Луиза (1791—1847) — дочь императора Франца II, вышедшая в 1810 г. замуж за императора Наполеона I.

Император Франц... как раз теперь носит... траур по любимому цветущему внуку. Речь идет о сыне Наполеона I и Марии-Луизы, герцоге Рейхштадтском, который воспитывался у своего деда императора Франца и умер 22 июля 1832 г., едва достигнув двадцати одного года.

* Цифры в начале примечаний обозначают страницы текста.

13. ... на изризую голову государя, украшенного золотыми шпорами. Указание на будущего короля Фридриха-Вильгельма IV. Стал королем в 1840 г., умер умалишенным в 1861 г. Пользовался репутацией остряка.

Карл, герцог Брауншвейгский (1804—1873) отменой всех реформ, проведенных при его предшественнике, попытками при поддержке Меттерниха править самодержавно, жестокостью и распутством восстановил против себя все слои населения и в сентябре 1830 г. был изгнан из страны. Власть перешла к его брату Вильгельму, последнему Брауншвейгскому герцогу. Незадолго до своего изгнания хвалился, что его ни в коем случае не может постигнуть участь Карла X.

14. *Фишау*. В деревне Фишау прусский офицер после требования разойтись приказал выпустить залп против двух сотен волновавшихся польских солдат. Девять человек пали мертвыми.

Раумер Фридрих, фон - (1781—1873) — историк, профессор. К характеристике, данной ему Гейне в тексте, можно добавить, что в 1848 г., когда он был имперским послом в Париже, этот бывший «либерал» присоединился к верноподданническим профессорским адресам по поводу кампании за отказ от уплаты налогов.

...оно... написано все-таки еще недостаточно раболопно. По официальным сообщениям, в докладе Раумера «Отношения Пруссии к Польше в годы 1830—1832» было столько резкостей и нареканий по адресу других дружественных государств, что он не мог быть напечатан. Он появился в печати лишь в 1853 г. во II т. «Разных произведений» Раумера.

Крелингер Августа (1795—1865) — актриса, выступавшая преимущественно в классических трагедиях. Вторым браком была замужем за сыном крупного банкира, Крелингером.

15. *Шлейермахер* Фридрих-Даниель (1768—1834) — немецкий философ и теолог, был пастором и принимал участие в церковных делах.

...лает на июльское солнце. В 1831 г. Арндт выпустил книгу под названием «Нидерландский вопрос», в которой разносил Июльскую революцию во Франции.

Штегеман Фридрих-Август (1763—1840) — поэт, воспевавший освободительные войны. В 1828 г. выпустил новый сборник своих произведений под названием «Исторические воспоминания в лирических стихах».

Ранке Леопольд, фон - (1795—1886) — известный немецкий историк. Гейне намекает здесь на полученную Ранке продолжительную командировку для работы в архивах Вены, Венеции, Рима и Флоренции. Ранке в 1832—1836 гг. издавал «Историко-политический журнал», в котором вел ожесточенную борьбу с либералами и радикалами. Статья, о которой говорит Гейне и в ко-

торой восхвалялись постановления сейма, была напечатана без подписи, но она обратила на себя внимание даже за границей и была почти целиком воспроизведена в «National» как показатель настроений в Германии.

16. *Messenger* — название французской газеты.

Венский союзный акт — навязанная в значительной мере Меттернихом конституция Германского союза (1815 г.), во главе которого стояла Австрия.

18. *Прекрасная царица* — старшая дочь Фридриха-Вильгельма III, Шарлотта, бывшая замужем за императором Николаем I; в православии носила имя Александры Федоровны.

...его нежности мы... обязаны холерой. Свирепствовавшая в России холера была занесена русскими войсками в восставшую Польшу, откуда она перекинулась в Австрию и Пруссию, а оттуда дальше на запад.

...чтобы он дал нам, наконец, обещанную конституцию! В рескрипте от 22 мая 1815 г. Фридрих-Вильгельм III возвестил, что для упрочения государственных учреждений и чтобы «дать прусской нации залог нашего доверия» должно быть образовано народное представительство. Государственному канцлеру Гарденбергу было поручено незамедлительно образовать в Берлине комиссию, которая должна была заняться организацией народного представительства и выработкой конституционной хартии на основе провозглашенных принципов.

20. ...чья песня превышает двадцать листов. Имеются в виду цензурные строгости в отношении книг размером свыше двадцати листов, которые, по закону, выходили в свет без предварительной цензуры.

21. *И жие еще старый Симург*. *Симург* — мифологическая, премудрая гигантская птица иранского народного эпоса. Под Симуртом Гейне разумеет Меттерниха.

...и во Франкфурте их высисивают. Франкфурт был центром Германского союза, где вырабатывались и принимались официальные акты.

«*Moniteur*» (полное назв. «*Moniteur universel*») — официальный орган французских правительств с 1789 г. до 1869 г. Гейне советовал сторонникам абсолютизма «бояться «*Moniteur*» 1793 г.», потому что он переполнен революционными речами Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста, а главное, потому, что в нем напечатан отчет о процессе Людовика XVI в конvente («Слова, которые рассекают всю вашу мощь, как нож гильотины — королевскую шею»).

22. *Даже Ярке не опасен*. Ярке Карл-Эрнст (1801—1852) — публицист, редактор «Историко-политических ведомостей», руководящего органа ультрамонтанской партии, реакционер, против-

ник конституционного строя. Ярке поддерживал легитимистскую партию также в своей статье об Июльской революции. Гейне намекает здесь на заявление Ярке, которое он сделал через год после основания им при поддержке Меттерниха «Политического еженедельника». В этом заявлении он протестовал против делавшихся ему упреков в раболепстве, подчеркивая, что одинаково не желал бы ни чтобы его считали либералом, ни чтобы его смешивали с легитимистской «Французской газетой».

Его пестрый кафтан состоит из тридцати шести заплат. Намек на то, что Германия была разделена на 36 государств.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

25. *Наследственные перы.* Так назывались при Бурбонах назначавшиеся королем члены верхней (аристократической) палаты (палаты перов). При Июльской монархии палата перов была реформирована (перство стало лишь пожизненным) и в этом виде просуществовала до революции 1848 г.

Лионские беспорядки. Речь идет об известном восстании тридцати тысяч рабочих-текстильщиков в Лионе в ноябре 1831 г.

Петион Вильнев, Жером (1756—1794) один из главарей партии жирондистов во время революции 1789 г., мер Парижа с ноября 1791 до 10 августа 1792 г., председатель конвента. Лишенный депутатской неприкосновенности вместе с другими жирондистами, бежал в свой родной город Бордо и погиб в его окрестностях жертвой волков.

26. *Герцог Орлеанский* — Луи-Филипп Жозеф (1747—1793), известный под именем *Филипп Эгалите* (Равенство), которое он принял, желая приспособиться к революции.

28. *Филиппон* (1800—1862). Издавал несколько журналов, в том числе «Карикатура», главным сотрудником которой был знаменитый Домье, автор серии «Робер Макер» и десятков брошюр и альбомов, в которых он высмеивал нравы Июльской монархии и самого Луи-Филиппа.

29. *Саллюстий* (82—36 до н. э.). Римский историк, автор «Заговора Катилины» и «Жизни Югурты».

Quasi-легитимизм. Оппозиционная, главным образом республиканская, печать обвиняла Луи-Филиппа и захватившую власть верхушку крупной буржуазии в том, что они, формально выступая против свергнутого режима, фактически продолжают его линию, и называла новый режим quasi-легитимизмом (как бы или якобы-легитимизм). Приставка quasi постепенно стала применяться ко всему, что делало правительство. Как читатель увидит дальше, Гейне, на статьях которого сильно отражалось внимательное чтение оппозиционных французских газет, говорит даже, описывая карнавал, о «quasi-жирных» карнавальных быках.

Июльские дни известные также под названием «les trois glorieuses» — три славных дня) дни революции 1830 г. 25 июля были опубликованы ордоннансы Карла X, которыми распущалась только-что избранная, но еще не собравшаяся, враждебная министерству Полиньяка палата депутатов, изменялись конституционная хартия и избирательный закон, значительно ухудшалось положение печати и т. д. Ответом послужило длившееся три дня восстание, в котором главными героями были рабочие, мелкая буржуазия и учащаяся молодежь. Карл X бежал в Англию, а его министры Полиньяк, Перонне, Гернон-Ранвиль и Шантелов были арестованы и преданы суду.

30. ...в день 10 августа. В этот день (1792 г.) народ, окончательно убедившийся в измене короля Людовика XVI, восстал и ворвался в Тюильрийский замок. Семья короля укрылась в помещении конвента. Король был заключен вместе с семьей в Тамплъ.

31. *Гревская площадь* — старое название нынешней площади Городской ратуши (переименована в 1806 г.). На этой площади в дореволюционные времена приводились в исполнение смертные приговоры.

Ленотр Андре (1613—1700) — строитель садов и парков. По его плану разбиты Тюильрийский сад, знаменитый Версальский парк и пр.

...вид на катастрофу площади *Согласия*. Намек на то, что на этой площади были гильотинированы Людовик XVI, его жена Мария-Антуанетта и немало представителей высшей аристократии.

32. «*Трибуна*» — зал в галлерее дельи Уфици во Флоренции, в котором собрано много знаменитых картин и скульптур.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

33. «*Temps*» — умеренно-республиканский орган, основанный в 1829 г. и выходивший под редакцией Коста. Заметка, о которой упоминает Гейне, гласила: «Аугсбургская газета начала печатать письма из Парижа, весьма враждебные по отношению к королевской семье. Цензура, не пропускающая ни одного слова, неблагоприятного по отношению к русскому и австрийскому императорам и к прусскому королю, повидимому не считала себя обязанной проявить хотя бы некоторую осмотрительность в отношении к королю-гражданину».

34. «*Journal des Debats*» — газета, возникшая во время Великой французской революции в качестве отчетов депутатов своим провинциальным избирателям о происходивших в представительных учреждениях прениях. Впоследствии, после Июльской революции, орган крупной буржуазии.

34. «*Tribune*» (полн. название «*Tribune politique et litteraire*» — «Политическая и литературная трибуна») выходила с небольшими промежутками с июня 1829 по май 1835 г. Вела очень энергичную борьбу с монархией Луи-Филиппа.

Менотти Чиро (1798—1831) — итальянский патриот, борец за независимость Италии, участник заговора и восстания в Модене. Положился на моденского герцога Франца, на торжественные заявления французских министров о невмешательстве в итальянские дела, на французского наследника принца Орлеанского, обещавшего свою помощь. В конце концов был предан моденским герцогом и казнен 26 мая 1831 г.

Видел... недавно сеньору Луизу де-Торрихос. Генерал Торрихос — один из вождей испанского восстания 1831 г., поднятого сторонниками конституции. Расстрел Торрихоса и его пятидесяти товарищей вызвал горячие протесты во всей республиканской печати во Франции.

«*National*» — орган средней промышленной буржуазии. Основан в начале 1830 г. Сыграл большую роль в Июльской революции; в нем был напечатан послуживший сигналом к революции протест журналистов против ордоннансов Карла X.

«*Société des amis du peuple*». Это было одно из многочисленных обществ, частью вновь организовавшихся, частью существовавших еще при Реставрации, но освободившихся от многих членов своих, перешедших на сторону Луи-Филиппа (как Гизо, Брой и др.), обществ, которые, увидя, к чему на практике привела революция 1830 г., продолжали борьбу, требуя установления республики. Казимир Перье после назначения его министром-президентом стал круто преследовать эти общества и вождей их начали привлекать к суду. Одним из наиболее громких процессов был процесс Общества друзей народа. Главными обвиняемыми были Кавеньяк, Трела и Гинар. Все они держались на суде с большим достоинством, гордо объявляя себя республиканцами, и были оправданы. Тысячи людей, собравшихся у здания судебных установлений, с триумфом доставили их домой. Борьба после этого процесса еще больше обострилась.

35. «*Figaro*» — умеренно-оппозиционный орган. Просуществовал недолго. Существующий ныне «Фигаро» был основан Вильмессаном в 1854 г. в качестве сатирического еженедельника.

Республиканская партия... ставит ему (Лафайету) в упрек, что он... мог бы заранее знать, чего от него (Луи-Филиппа) ждать. Луи-Филипп обманул не только политические партии, участвовавшие в низвержении Карла X, но и лично Лафайета, которому в значительной степени обязан был своим престолом. Испугавшись все возрастающей популярности Лафайета среди средней и мелкой буржуазии, он, по тайному соглашению с министром Казимира Перье, провел в палате депутатов отмену занимаемого Лафайетом поста главнокомандующего национальной

гвардией всего королевства, а потом в лицемерном воззвании к национальной гвардии проливал крокодиловы слезы по поводу того, что столь выдающийся человек уходит со своего поста.

35. ...*примером английской революции 1688 г.* Вступивший на престол в 1685 г. Яков II, ярый католик и деспотический правитель, успел за свое короткое царствование восстановить против себя не только тех, кто сражался против его отца (казненного в 1649 г. Карла I), но и тех, кто выступал за его отца. В 1688 г. он был низложен, и его место занял Вильгельм Оранский, первый король, признавший права парламента.

36. ...*своей брошюрой против Шатобриана* Гейне имеет в виду брошюру Тьера «La monarchie de 1830» (Монархия 1830 г.), написанную в ответ на брошюру Шатобриана «Bannissement de Charles X» (Изгнание Карла X). Шатобриан, нападая на Июльскую монархию, предлагает созвать национальный конгресс, который следует уполномочить разрешить вопросы о форме правления и о династии. Тьер в своей брошюре обвиняет как республиканцев, так и легитимистов в том, что они одинаково являются «плагиаторами эпохи 1789—1793 гг.» и что они подают друг другу руки для совместной борьбы против Июльской монархии. Это обвинение повторялось в речах и статьях министров, журналистов и всех сторонников «золотой середины» (*juste milieu*), как называли в начале царствования Луи-Филиппа приверженцев новой монархии.

...*является из произведения Бельмонте.* Брошюра Бельмонте, написанная в наполеоновском духе, была озаглавлена «*Reflexions d'un patriote concernant la brochure de M. Chateaubriand sur le bannissement des Bourbons. Paris, 1831*» (Размышления патриота по поводу брошюры г. Шатобриана относительно изгнания Бурбонов. Париж, 1831).

37. *Верн, Вефур и Каррем* — знаменитые повара.

Ватель — повар принца Конде, покончил с собою, когда на приеме в Шантильи в честь Людовика XIV ему не удалось какое-то замысловатое блюдо.

38. *Марраст* Арман (1801—1852). Начал свою карьеру преподавателем всеобщей истории, истории литературы и философии, причем выступал в качестве последователя материалистов XVIII в. и вел энергичную борьбу с эклектизмом Кузена. В политическую борьбу вмешался во время революции 1830 г. В первые годы Июльской монархии был крайним среди крайних и слыл монтаньяром и даже отчасти бабувистом. Имел касательство к апрельскому восстанию 1834 г. и должен был бежать в Англию. Возвратившись после амнистии во Францию, резко переменил позицию. В 1848 г. в качестве члена временного правительства, парижского мера, а потом председателя учредительного собрания был одним из вождей контрреволюции и смертельным врагом

рабочего класса. Слова Гейне о том, что Шатобриан братается с Маррастом, не соответствуют действительности. Шатобриан сблизился с Арманом Каррелем, редактором «National», Марраст же в это время был еще «крайним левым», принадлежал к тайным обществам и стоял за революционный образ действий.

38. ...*принимает от Беранже посвящение в рыцари*. В сентябре 1831 г. Беранже обратился к Шатобриану со стихами: «Шатобриан, зачем чуждаться родины, чуждаться ее любви, наших похвал, наших забот?». Шатобриан ответил на это в своем предисловии к брошюре «Изгнание Карла X».

«Gazette de France» — старейшая во Франции газета, начавшая выходить под названием просто «Gazette» 1 мая 1631 г. под редакцией «патриарха» французских журналистов Теофраста Ренодо. В ней сотрудничали, между прочим, король Людовик XIII и Ришелье. Сравнительно недавно найденные рукописи Людовика XIII показывают, что Теофраст Ренодо бесцеремонно сокращал и исправлял статьи и корреспонденции своего высокопоставленного сотрудника. «Французская газета» существует и поныне в качестве органа роялистов.

...на *Вандомскую колонну*. Колонна была воздвигнута в 1806—1810 гг. в честь побед Наполеона I. Верхняя ее оболочка состоит из бронзы 1200 пушек, взятых Наполеоном у австрийцев и русских в 1805 г. На ней стояла статуя Наполеона. Эта статуя была свергнута в первый раз после победы коалиции над Наполеоном и заменена огромной лилией (из герба Бурбонов). В 1833 г. при Луи-Филиппе статуя была восстановлена. В 1871 г. при Коммуне была свергнута вся колонна как символ кровавого милитаризма. После крушения Коммуны снова восстановлена.

Барбье Огюст (1805—1882), поэт, автор знаменитых «Ямбов», в которых бичевались нравы и пороки Июльской монархии. Гейне имеет в виду следующие его стихи:

Ce bronze que jamais ne regardent les mères,
Ce bronze grandi sous leurs pleurs.

Эта бронза, на которую никогда не взирают матери,
Бронза, взращенная их слезами.

39. ...*верный Эккарт свободы*. Верный Эккарт — сторож грота Венеры (миф.).

40. ...*провозгласят молодого Наполеона*. Речь идет о сыне Наполеона I, герцоге Рейхштадтском, умершем в 1832 г.

41. ...*пели «Парижанку»*. «Парижанка» (la Parisienne) — национальная песня в честь революции 1830 г. Слова Казимира Делавиня, музыка Обера. В четвертой строфе воспевается «свобода старого и нового света — седовласый Лафайет», а в шестой строфе «солдат трехцветного знамени — Орлеан».

44. *Моген Франсуа* (1785—1854) — адвокат и политический деятель, выдвинувшийся в качестве выдающегося оратора уже

в последние годы Реставрации. Участник революции 1830 г., во время которой играл видную роль в городской ратуше, центре событий. После революции, в течение 30-х годов, одна из наиболее видных фигур на политической арене Франции. Но даже в расцвете своей популярности он не внушал доверия ни сторонникам Июльской монархии, на службу которой готов был поступить, ни оппозиции. В событиях революции 1848 г. не играл никакой роли. В последние годы своей жизни был бонапартистом.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

45. ...знаменитого художественного критика и переводчика. Имеется в виду Шлегель Август-Вильгельм (1767—1845).

46. ...одной знаменитой дамы. Имеется в виду г-жа Сталь.

Жанлис Стефани-Фелисите, графиня (1746—1830) — воспитательница детей Филиппа Эгалите, в том числе и Луи-Филиппа. Автор некоторых беллетристических произведений и обширных мемуаров.

...с *Сент-Джемским кабинетом* — английским советом министров. Сент-Джемский дворец — бывшая резиденция английских королей. Отсюда и употребляемые еще в настоящее время выражения Сент-Джемский двор, Сент-Джемский кабинет.

«*Рамаяна*», «*Махабхарата*» — древнеиндийские эпические поэмы.

Заговор на башнях «Собора богоматери». 4 января 1832 г., около 5 час. дня, внезапно раздался гул большого колокола на одной из башен Собора парижской богоматери, а когда сторож кинулся в башню, оттуда вырвался оглушительный крик людей, за которым последовал ружейный выстрел. Вслед затем вспыхнул пожар на северной башне, который удалось вскоре потушить. Сбежавшаяся полиция арестовала семь человек, почти сплошь лишенных средств к существованию юношей, которые заявили, что гул колокола должен был послужить сигналом к восстанию для рассеянных по городу групп их единомышленников. На суде, которому преданы были арестованные, их защитникам удалось установить, что этот «заговор» был делом рук полиции, которая во всяком случае была осведомлена о нем во всех подробностях еще за несколько дней до 4 января, но ничего не предприняла для его предупреждения.

Остроты Рабле о колоколах. Герой произведения Рабле — Гаргантюа, находясь в Париже, снял колокола с колоколен Собора богоматери и привесил их к своей кобыле. Университет, в котором Гаргантюа обучался, поручил одному софисту убедить Гаргантюа вернуть колокола в собор, обещав ему в случае удачи некоторое количество колбасы и новые брюки.

47. ...заговор в ночь на второе февраля. Это был действительно заговор легитимистов, стремившихся низвергнуть Луи-Филиппа

и восстановить на престоле старшую линию династии Бурбонов в лице внука низвергнутого Карла X, графа Шамборского. Недовольство средней и мелкой буржуазии и рабочих масс исходом революции 1830 г., обостренное тупой, наглой и провокационной политикой Казимира Перье, являлось благоприятной почвой для заговорческих замыслов. Во главе заговора стояли видные военные, среди которых было два маршала и генералы. Членами организации были представители разных слоев населения — вплоть до несознательных рабочих. Вечером 2 февраля должен был состояться бал в Тюильрийском дворце. Заговорщики предполагали пробраться во дворец (ключи от нескольких входов были получены от сторожей) и, воспользовавшись суматохой, захватить королевскую семью, увести ее и провозгласить королем графа Шамборского, но потерпели неудачу главным образом в виду соперничества двух маршалов, один из которых отменил выступление. Противоречивые распоряжения вызвали смятение и деморализацию в рядах заговорщиков, что и привело к провалу всего предприятия.

...*роскошный заговор на двести приборов*. В действительности, сапожник Понселе, в Июльские дни мужественно боровшийся против легитимистов, а в 1832 г., возмущенный исходом революции и готовый драться за легитимистов, наказал, как было установлено на суде, ужин на некоторое количество приборов в ресторане на улице Прувер, где должны были собраться главы заговора, причем вручил авансом ресторатору тысячу франков.

...*оказалось 27 000 франков*. Речь идет о том же сапожнике Понселе, о котором говорится в предыдущем примечании. У Луи Блана в его «Histoire de dix ans» по этому поводу сказано: «Понселе был обыскан. У него нашли в кармане 140 франков деньгами и 7000 франков банковыми билетами под подкладкой одного из его сапогов» (т. III, стр. 162).

Мармонтель Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель. Мемуары, о которых упоминает Гейне, назывались «Mémoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants» («Записки отца в поучение своим детям»).

Шамфор Никола-Себастьян (1741—1794) — французский писатель, мастер небольших остроумных анекдотов. В разгар террора покончил самоубийством, чтобы избежать суда и эшафота. Ему принадлежит известный лозунг начального периода революции: «Мир хижинам, война дворцам».

48. ...*увядшие срезанные лилии*. Имеется в виду свергнутая династия Бурбонов, в гербе которой были расположены треугольником три лилии.

Жеруд Антуан-Эжен (1792—1849) — аббат и публицист, преданный слуга Бурбонов, редактор «Gazette de France»; в 1848 г. депутат Национального собрания, где принадлежал к легитимистам.

48. *Туре* Венсан-Феррар-Антони (1807—1871) — писатель и политический деятель. Участник революции 1830 г. Возмущенный ее исходом, вел неустанную борьбу с монархией Луи-Филиппа, которая столь же неустанно его преследовала. В 1832 г. — редактор республиканской газеты «*Révolution*». Много раз сидел в тюрьмах, где пользовался невольным досугом, чтобы писать романы, в которых пропагандировал свои республиканские идеи.

...мы видели *Женуда* и *Туре*... представших перед судом в качестве сообщников. В действительности дело обстояло совсем не так. Туре, ответственный редактор газеты «*Révolution*», опубликовал протокол допроса участников восстания второго февраля, в котором он заявил, что декларация от 7 августа 1830 г. (о новой монархии) включала в себя признание суверенитета народа. Легитимистские газеты «*Gazette de France*» и «*Courrier de l'Europe*» перепечатали этот протокол с некоторыми своими комментариями. Все три газеты были конфискованы, и их редакторы — Женуд, Туре и Ледюк — были привлечены к суду. Таким образом никакого «сообщничества», а тем более «союза» между республиканцами и легитимистами не было. Еще меньше основания было у Гейне говорить, что «в качестве хора за их спиной стояли Фитц-Джемс со своими карлистами и Кавеньяк со своими республиканцами». Если Фитц-Джемс имел непосредственное касательство к заговору 2 февраля, то ставить рядом с ним Годфруа Кавеньяка «с его республиканцами» могли только Казимир Перье и служащие газеты, которым нужно было дискредитировать республиканскую партию в глазах французского и европейского общественного мнения. Во всяком случае, необходимо отметить, что во французском издании «*Französische Zustände*» упоминание о хоре Фитц-Джемса и Кавеньяка выпущено.

Фитц-Джемс Эдуард (1776—1836) — потомок перешедшего во французское подданство английского герцога Бервика, побочного сына Якова II. Служил в армии Наполеона I, после поражения которого стал преданным сторонником легитимной монархии. В 1832 г., будучи одним из вождей легитимистов, имел касательство к попытке герцогини Беррийской захватить власть и некоторое время находился в заключении.

...газеты называли четырех поваров Карла X и четырех республиканцев из общества «*Amis du peuple*». В книге Margaret A. Clarke «*Heine et la monarchie de Juillet. Etude critique sur les «Französische Zustände», Paris, 1927*, по этому поводу приводятся выдержки (стр. 47) из газеты «*National*» от 6 февраля 1832 г., где между прочим сказано: «*Constitutionnel*» и другие правительственные газеты нашли новое доказательство пресловутого союза карлистов и республиканцев в факте ареста в ночь с 1 на 2-ое февраля четырех членов Общества друзей народа. Эти четыре лица были арестованы, когда проходили по Новому

мосту». Затем следует рассказ о том, каким образом, безо всяких оснований, был совершен этот арест. А 4 февраля в той же газете сказано было: «Если среди арестованных карлистов найдется несколько якобы членов «Друзей народа», то это только лишний раз доказывает, что карлисты способны втереться всюду... вплоть до Общества друзей народа». Что касается «четырех бывших поваров Карла X», то в действительности это были три бывших повара герцогини Беррийской.

49. *В тот вечер я был на собрании «Amis du peuple».* Автор цитируемой в предыдущем примечании книги подвергает сомнению сообщение Гейне о том, что он присутствовал на собрании «Друзей народа», и обосновывает свое сомнение рядом соображений. Начиная с сентября 1830 г., когда общество было изгнано из своего постоянного помещения национальной гвардией, его заседания не были публичными. Председателем общества был Распайль, который крайне недоверчиво относился ко всем, и на заседания общества было крайне трудно попасть. Автор, основательно проработавший все главные современные газеты, заявляет: «Гейневский отчет — единственный найденный мною отчет о заседаниях общества за это время».

51. *...децемвиры* — десять сановников, назначенных в древнем Риме после учреждения республики для выработки кодекса, получившего потом название двенадцати таблиц. Децемвиры были свергнуты в 449 г. до н. э.

Последняя речь Робеспьера... — из евангелие. Это утверждение Гейне подкрепляет мнение, что он не присутствовал на заседании Общества друзей народа и что отчет его составлен по наслышке, с чужих слов, в которых он, недавно лишь поселившийся в Париже, к тому же не совсем разобрался. Общество друзей народа, находившееся под влиянием идей сенсимонизма, не могло разделять основных положений речи Робеспьера от 8 термидора — ни по вопросу о собственности, ни по вопросу о диктатуре. Эта речь позже была принята как программа Обществом прав человека, и на этой почве и там произошел раскол.

И все же было смешно, что люди эти жалуется на знет. Нереакционная историческая литература того времени свидетельствует, что вся Франция, за исключением лишь верхушки буржуазии, негодовала по поводу режима, установленного с воцарением Луи-Филиппа, в особенности после прихода к власти Казимира Перье. Произвольные обыски, аресты, процессы с продолжительным предварительным заключением привлекаемых к суду, преследования печати, оставлявшие повзду худшие времена Реставрации, беззаконное предварительное заключение привлекаемых к суду писателей, по поводу которого даже редактор «National», Арман Каррель, ваявил в своей

газете, что писатели, которых приходят арестовать до суда, имеют право встречать непрошенных гостей с пистолетами в руках, — всем этим пестрит современная печать. Но Гейне, привыкшему к немецким порядкам, режим, установленный Казимиром Перье, представлялся достаточно свободным, и ему казалось смешным, что люди могут негодовать по поводу такого равноуданного произвола.

52. *Чудо-младенец* — внук низложенного Карла X, герцог Бордосский, граф Шамборский (1820—1883), претендент на французский престол. Имел шансы стать королем в 1849 г. и в особенности в 1873 г., но отказывался принять конституцию, трехцветное знамя, установленное революцией, и настаивал на белом знамени. «Чудесным младенцем» его звали роялисты потому, что он родился через несколько месяцев после убийства шорником Лувелем его отца, герцога Беррийского, младшего сына короля Карла X. Так как у наследника престола, герцога Ангулемского, не было детей, то Лувель рассчитывал убийством герцога Беррийского истребить династию Бурбонов, но оказалось, что в момент убийства мужа герцогиня Беррийская была беременна будущим герцогом Бордосским, или графом Шамборским, как он стал называться после изгнания семьи Бурбонов в 1830 г.

Генрих V. Так легитимисты именовали упоминаемого в предыдущем примечании графа Шамборского.

53. *Кеснер.* По поводу этого Кеснера Луи Блан в своей «Histoire de dix ans» сообщает: «Главный кассир казначейства Кеснер скрылся, оставив в вверенной ему кассе дефицит во много миллионов. Независимо от беспорядка, который должен был раскрыть в отчетности этот дефицит, действительных размеров которого публика долгое время не знала, он должен был еще вскрыть одну из наиболее отвратительных язв современной цивилизации. Кеснер, одаренный положительными качествами и известный своей благотворительной деятельностью, был вовлечен в пропасть своей страстью к биржевой игре... Палата депутатов должна была бы заняться разрешением этих вопросов. Но уничтожить злоупотребления было свыше сил учреждения, в котором заседали столько людей, обязанных этим злоупотреблениям своими богатствами и своим могуществом» т. III, стр. 198 и 199).

54. *Рошетт* Рауль (1789—1854) — археолог, возглавлявший известную экспедицию в Морею (бывш. Пелопоннес).

55. *Барон Луи* Жозеф-Доминик (1755—1837) — министр финансов при Реставрации и при Луи-Филиппе.

В них [в газетах] с достаточной полнотой рассказано о безобразиях, происходящих в палате. Это замечание Гейне относится

к следующему факту. Во время обсуждения в палате депутатов гражданского листа для короля, обсуждения, которое заняло несколько заседаний и при котором престижу короля нанесено было немало ударов, министр внутренних дел Монталиве сказал между прочим в своей речи: «Если роскошь будет изгнана из дворцов короля, она скоро исчезнет и в домах п о д д а н н ы х». Слово «подданных» вызвало крики негодования в палате. «Люди, которые делают королей, — восклицает депутат Маршаль, — не подданные». Ряд депутатов резко упрекает министра внутренних дел. Другие кричат председателю: «Исполняйте свою обязанность. Нужно призвать к порядку министра. Нации нанесено оскорбление!» Перебранка ожесточается. Председатель не переставая звонит в свой колокольчик и, наконец не будучи в состоянии успокоить собрание, надевает свой цилиндр, т. е. объявляет заседание закрытым. Когда на следующий день палата приняла по поводу этого инцидента простой переход к очередным делам, все республиканцы и вся династическая оппозиция покинули зал заседаний, собрались в одной из комнат Бурбонского дворца под председательством Одилона Барро и там составили мотивированный протест, в котором подверглась резкой критике вся политика министерств, правивших после революции 1830 г. Протест, подписанный 135 депутатами, получил широкое распространение в стране. См. этот протест в «Histoire de dix ans», приложение к т. III, стр. 446—453.

55. ...после событий в Италии. Речь идет о взятии французской эскадрой в ночь с 22 на 23-е февраля 1831 г. Анконы в ответ на занятие, по приглашению папы, австрийскими войсками Болоньи, причем взятие Анконы без предварительного соглашения с папой шло вразрез с политикой французского правительства, поддерживавшего в союзе с Австрией, Россией и Пруссией, папу против населения Папской области, боровшегося за свободу.

...после... экспедиции дона Педро. 7 апреля 1831 г. дон Педро отрекся от императорской короны Бразилии. В январе 1832 г. он, при поддержке английского и французского правительств, начал войну против своего брата дона Мигуэля, захватившего Португалию, корона которой, согласно постановлению, опубликованному доном Педро при принятии им сана бразильского императора, должна была перейти к его дочери Марии. В 1834 г. дон Мигуэль отрекся от всех своих притязаний, после того как в Лиссабоне малолетняя дочь дона Педро была провозглашена королевой.

56. ...когда Дантон отказался от бегства. Незадолго до ареста друзья уговаривали Дантона уехать за границу, но он ответил: «Разве уносятся с собою отечество на подошвах своих башмаков?»

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

57. ...лондонский туман едва прикрывает тонкие петли и узлы, связывающие протокольную паутину конференций. Намек на заседавшую в Лондоне конференцию держав, на которой установлены были независимость и международный нейтралитет Бельгии. Четыре державы — Англия, Россия, Австрия и Пруссия — фактически блокировались на этой конференции против Франции, заинтересованной в присоединении Бельгии и послышавшей в 1831 г. корпус войск на защиту Брюсселя от Голландии. На конференции Франция не только оказалась изолированной, но еще подверглась в английском парламенте унижениям и оскорблениям. Правительство Луи-Филиппа мирилось с этим положением и готово было на все, лишь бы не лишиться союза с Англией. И республиканцы, и легитимисты вели сильную агитацию по поводу «антифранцузской» политики Июльской монархии в бельгийском вопросе, как и по поводу ее политики по отношению к Италии, где она, отказавшись от возмещавшейся ею политики невмешательства, позволила Австрии притти на помощь папской власти против восставшего народа, и по поводу Польши, которую она дала задуть царскому правительству.

Талейран (1754—1838). К моменту, к которому относится статья Гейне, Талейран был послом в Лондоне, где он играл более чем жалкую роль на конференции держав, голосуя за все меры и присоединяя свою подпись ко всем актам, направленным против Франции.

...самого бога войны... поймал в свои... сети. Намек на то, что Талейран сумел обойти самого Наполеона.

мудрейший Мерлин — прославленный в британских народных сказаниях чародей, в минуту слабости открывший своей возлюбленной Вивиане тайну своего искусства и обращенный ею в куст боярышника. С тех пор у него «скован язык» и он в состоянии испускать лишь жалобные стоны.

...экс-епископ Отенский — Талейран.

58. *Вест-Энд* — фешенебельный квартал Лондона.

...британских реформеров. В это время в Англии велась борьба за избирательную реформу (сторонники ее и назывались реформерами), которая осуществлена была в 1832 г.

Добавления к «Путевым картинам» — см. настоящее издание, IV.

59. ...времен королевы Анны. Королева Анна (1665—1714) царствовала с 1702 по 1714 г.

Берк Эдмонд (1730—1797) — английский политический деятель, видный оратор, ярый противник Великой французской революции. Свое отношение к ней он выразил в книге: «Размышления о революции во Франции и о мерах, предпринятых в некоторых обществах в Лондоне по отношению к этому собы-

тию». Книга имела такой успех, что французский дипломатический представитель сообщал в Париж, что она восстановила против Франции все общественное мнение страны.

59. ...*пытался беркировать умы*. Во французском издании дано следующее примечание издателя к слову *беркировать*: «Намек на другого Берка, который несколько лет тому назад убивал людей, чтобы доставлять трупы анатомическим театрам и который по всей Англии сеял страх быть беркированным (так назывались тогда его преступления)».

Мазарини. Гейне упоминает о Мазарини в связи с той борьбой, которую ему пришлось вести с аристократией и которая закончилась полным покорением последней и установлением королевского самодержавия.

60. ...*жизнице пришлось... призвать к сопротивлению*. Намек на Марию-Антуанетту.

...*младших сыновей nobility*. В Англии в аристократических семьях все фамильные богатства, титулы, почетные звания и связанные с ними синекуры и привилегии переходят к старшему сыну; остальные сыновья должны сами пробивать себе дорогу в жизни и снискивать себе средства к существованию.

61. ...*я видел карету лорд-мера*. Выборы лорд-мера (городского головы) происходят в Лондоне 29 сентября, а вступление в отправление должности — 29 октября. В промежутке происходит торжественный выезд в описываемой в тексте средневековой карете старого и нового лорд-меров в сопровождении ряда городских чиновников из Сити в Вестминстер.

Если английский народ и ссорится сейчас со своей аристократией. Намек на борьбу, происходившую на почве избирательной реформы.

62. *Гамильтон* (1646—1720) — придворный Якова II, последовавший за ним в изгнание и живший вместе с ним и его семьей при дворе Людовика XIV. Автор очень остроумных «Мемуаров герцога Граммона», представляющих собою хронику фривольной жизни английского и французского королевских дворов XVII в.

Каннинг Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель, консерватор, верный сторонник Питта, участник ряда торийских министерств. В 20-х годах стал, однако, отходить от консерваторов и сближаться с вигами, а в 1827 г., незадолго до смерти, составил даже либеральное министерство, против которого, впрочем, боролись некоторые вожди вигов, в том числе лорд Грей.

После Каннинга явился лорд Годерих. Годерих, ранее лорд Рипон (1782—1859) — политический деятель, несколько раз переходивший от консерваторов к либералам и обратно. Во время премьерства Каннинга был в рядах вигов, и после смерти

Каннинга ему поручено было составить министерство. Однако он оказался не в силах бороться с нападавшими на него консерваторами и через два месяца вынужден был выйти в отставку.

62. *...полководец Священного союза снова получил жезл главнокомандующего.* Имеется в виду командовавший союзными армиями при Ватерлоо генерал Веллингтон (1769—1852), которому Георг IV теперь поручил составить министерство.

63. *Веллингтон добился эмансипации, за которую тщетно боролся Каннинг.* Имеется в виду эмансипация католиков, религиозная свобода, подготовленная либералами, но окончательно проведенная консерваторами. Гейне отмечает здесь часто наблюдавшийся в политической истории Англии факт, что консерваторы осуществляли крупные реформы, против которых долго боролись, опрокидывая либеральные министерства, их отстаивавшие, и осуществляли эти реформы тем легче, что либеральная партия не могла отказывать консерваторам в поддержке этих реформ.

Грей Чарльз (1764—1845) — английский государственный деятель, вождь вигов. На политическую арену выступил очень рано. Участник министерств, а потом премьер. Провел отмену рабства в колониях, подготовил эмансипацию католиков, провел отмену смертной казни за кражу со взломом. Провел разрабатанную Росселем избирательную реформу 1832 г. Постепенно лишаясь доверия левой части партии, требовавшей более решительной политики, Грей в 1835 г. вышел в отставку и отошел от активной политики.

...французскому оружию предоставят побороть более опасного врага на Востоке. Гейне хочет сказать, что английские консерваторы будут науськивать Францию на войну с Россией, чтобы ослабить одновременно обе страны.

64. *«Беллерофон»* — название корабля, на котором император Наполеон был увезен на остров св. Елены.

Атлас — мифологический царь Мавритании, обращенный Персеем, показавшим ему голову Медузы, в каменную гору и держащий на своих каменных плечах земной шар.

66. *Лихтенберге* Георг-Христиан (1742—1799) — немецкий писатель-юморист.

Законопроект о пэрах. Имеется в виду закон, по которому владение пера Франции перестало быть наследственным, закон, на котором настаивала промышленная буржуазия, чтобы завершить свою победу, и так как нельзя было рассчитывать, что палата перов пойдет на самоубийство, то ордоннансом короля от 19 ноября назначено было, чтобы обеспечить большинство, 36 новых перов. Закон был проведен.

67. *Себастиани* Франсуа-Орас-Бастиан, граф (1772—1851) — маршал и дипломат. Способствовал перевороту 18 брюмера Бона-

парта. При Реставрации — оппозиционный депутат. После Июльской революции — преданный слуга Луи-Филиппа, морской министр и министр иностранных дел. Ему принадлежит часто цитировавшаяся фраза: «В Варшаве царствует порядок», которую он произнес в речи в палате депутатов в ответ на запрос, почему французское правительство не пришло на помощь восставшей Польше.

67. ...отступление из России и посольство в Турцию. Во время русской кампании в 1812 г. Себастиани повел в Россию авангард армии и при этом, как и позже, при отступлении, проявил выдающиеся способности. Проявил он себя также и способным дипломатом, когда в 1806 г., будучи послом в Константинополе, сумел, несмотря на крайне трудное положение, склонить султана Селима III на сторону Наполеона, замышлявшего тогда поход в Россию.

Царица Карфагена (миф.) — легендарная основательница Карфагена Дидо, выпросившая у царя той страны, в которой она высадилась, такой участок земли, какой она могла бы охватить воловьей шкурой. Когда царь согласился, она разрежала шкуру на тончайшие ремни, которыми могла охватить значительную территорию.

69. Даунинг-стрит — улица в Лондоне, где помещаются правительственные здания (в данном случае речь идет о министерстве иностранных дел).

70. ...так легко натягивал тугой лук. Имеется в виду один из эпизодов «Одиссеи» Гомера. По возвращении Одиссея ни один из претендентов на руку его жены не в состоянии был натянуть лук, который сам он натягивал с большой легкостью.

...наполнял речь ораторскими цветами... Гейне имеет в виду 1793—1801 гг., когда Каннинг был товарищем министра иностранных дел при Питте и когда цветистый стиль и ученый лоск его речей вызывал много насмешек.

Летбридж Томас — член палаты общин, крайне правый консерватор; несмотря на это поддерживал парламентскую реформу Ресселя (см. примеч. об избир. законе 1832 г.). Гейне говорит о том моменте, когда Каннингу поручено было составить министерство (1827 г.).

Рессель Джон (1792—1878) — лорд, государственный деятель, вождь либералов, провел в 1828 г. отмену введенной в 1673 г. религиозной присяги (о непризнании католического догмата пресуществления), чем подготовил эмансипацию католиков, автор избирательного закона 1832 г. Занимал долгое время пост министра иностранных дел и премьер-министра.

Брум (Brougham) Генри (1778—1868) — государственный деятель, виг, историк, писатель.

Мекинтош Джеймс (1765—1832) — видный парламентский оратор.

70. *Хобхауз* Кем (1786—1869) — левый либерал, впоследствии сильно поправивший, друг Байрона, основатель журнала «Westminster Review» («Вестминстерское обозрение»).

71. *Вильсон* Роберт (1777—1844) — выдающийся офицер, сражался в 1812 г. в рядах русской армии против Наполеона. В 1819 г. был избран в палату общин, где заседал на левом фланге либеральной партии.

Бердетт Френсис (1770—1844) — виг, поддерживал Каннинга во время его премьерства, принимал деятельное участие в борьбе за избирательную реформу.

Роббет Вильям (1766—1835) — известный английский публицист. Сперва, до начала XIX в., — воинствующий тори, сторонник Питта. Затем перешел к левому крылу вигов, вел антимонархистскую агитацию в своих очень распространенных газетах (его «Twopenny Tract» имел 100 000 подписчиков). Подвергался преследованиям, отбывал тюремное заключение, вынужден был на время уехать в Америку. Автор и издатель ряда крупных работ по парламентской истории Англии и коллекции политических процессов. Автор «Завещания рабочим», в котором требует вмешательства государства в отношения между капиталом и трудом и доказывает, что крупное землевладение возникло из насильственных захватов.

72. *Фокс* Чарльз-Джеймс (1749—1806) — вождь либеральной партии, неоднократно был министром, в 1783 г. — министр-президент; выдающийся парламентский оратор, сочувственно относившийся к французской революции, являясь в этом отношении редким исключением среди английских государственных деятелей.

Шеридан Ричард (1751—1816) — политический деятель, член партии вигов, драматург, прославившийся своей пьесой «The School for scandal» («Школа злословия»), в которой остроумно высмеял господствовавшие светские нравы.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Бельгийский поход — см. примеч. к стр. 57.

...осада Лиссабона. Захвативший престол в Португалии, не признанный в качестве короля ни английским, ни французским правительствами и ненавидимый всем населением за свои деспотические наклонности, дон Мигуэль часто вымещал свою злобу на иностранцах, в том числе и на проживавших в Португалии французах. Один из них, студент коимбрского университета Бонном, был приговорен чрезвычайным судом за какое-то вымышленное преступление к публичному наказанию плетью, а купец Совюне, из сада которого, открытого для публики, пущена была во время волнений в городе ракета, приговорен был к ссылке в пустынные места африканского побережья. Французский консул предъявил протест, но на него не обратили

никакого внимания, и консул вынужден был уехать. Тогда послана была легкая эскадра из нескольких фрегатов, командиру которой поручено было потребовать освобождения осужденных французов и уплаты им indemnитета. Дон Мигуэль, потерпевший всякое самообладание, не только отказался удовлетворить предъявленное требование, но распорядился привести в исполнение приговор над студентом Бонномом. В ответ на эту провокацию снаряжена была сильная эскадра, командир которой прорвался сквозь все форты, стал пред Лиссабоном и под угрозой его бомбардировки заставил правительство дона Мигуэля удовлетворить все предъявленные ему требования и вывесить на всех улицах, по которым воевали студента Боннома на экзекуцию, афиши со списком принятых требований. Правительственная печать во Франции поспешила раздуть этот «успех», но тем горше дали себя почувствовать общественному мнению страны поражения правительства Луи-Филиппа в области международной политики и в Бельгии, и в Италии, и в Польше.

73. ...*под колоннадой Пале-Рояля*. Гейне имеет в виду политику, которая велась «под колоннадой Пале-Рояля», в котором Луи-Филипп продолжал жить некоторое время после того, как уже стал королем.

...*в Лионе*. Имеется в виду ноябрьское восстание 1831 г.

...*в Гренобле*. Произвол и система провокаций, воцарившиеся с приходом к власти Казимира Перье, вызвали волнения в ряде городов — в Але, Ниме, Клермоне, Каркассоне и др. Но не бывалой разнузданности произвол достиг в Гренобле, где в марте 1832 г. вследствие устроенного десятком молодых людей маскарадного шествия, изображавшего государственный бюджет с двумя дополнительными ассигнованиями, и вследствие попытки устроить кошачий концерт у дома префекта департамента Дюваля, последний распорядился окружить войсками собравшуюся толпу, а затем, без требуемого законом троекратного предупреждения, рубить ее. Было множество жертв. Население стало волноваться. По требованию муниципалитета начальник военного округа вывел из Гренобля пехотный полк, участвовавший в избиении народа. Но Казимир Перье и военный министр Сульт, желая продемонстрировать энергию и мощь правительства, распорядились вернуть выведенный полк. Начались новые волнения. После нескольких месяцев борьбы Казимир Перье все же вынужден был уступить — полк окончательно был выведен из Гренобля.

...*о завоевании Алжира*. Алжир завоеван незадолго до революции 1830 г. Ко времени написания статьи Гейне, занята была только очень небольшая часть колонии. Для прочного завладения ею требовалась длительная и трудная борьба (фактически она закончилась в 1844 г. битвою при Или), и были голоса,

высказывавшиеся за то, чтобы отказаться от завоевания этой колонии.

74. *Алина, королева Голконды* — опера под тем же названием французского композитора Бульде Франсуа-Адриена (1775—1834).

...*принцессы, столь же благочестивой, как дочь Пантьевра*. Имеется в виду Мария-Луиза-Аделаида Бурбонская, герцогиня Пантьевр, внучка одного из сыновей Людовика XIV и маркизы Монтеспан, которая вышла замуж за герцога Орлеанского (будущего Филиппа Эгалите).

...в *«Mouvement»*. «Le mouvement» (партия «движения») называлась партия, которая во главе с Лафиттом 2 ноября 1830 г. заменила у кормила правления партию «сопротивления», представленную Гизо, Броем и Моле. В это время существовала также газета «Le Mouvement», редактором которой был Ашиль Рош и которая в 1831 г. слилась с «Трибуной».

75. ...*отпразднован разрушением дворца архиепископа*. Этот факт, произошедший в половине февраля 1831 г., имел определенный политический характер, ярко освещавший взаимоотношения между различными слоями господствующих классов в первое время после революции 1830 г. Легитимисты воспользовались годовщиной смерти герцога Беррийского (убитого в 1820 г. рабочим-седельщиком Лувелем) и устроили под видом траурного богослужения политическую демонстрацию в честь своего «короля» — герцога Бордосского (он же граф Шамборский). В церкви Сен-Жермен-Оверуа (старинная церковь, из которой был дан сигнал к избиению гугенотов в Варфоломеевскую ночь), где происходила церемония и настоятелем которой был старый священник, в 1793 г. сопровождавший Марию-Антуанетту на казнь, собрались высшая аристократия и видные военные, был произведен сбор денег в пользу солдат, раненных в боях в защиту Карла X и вывешен портрет герцога Бордосского, разукрашенный букетами из иммортелей, к которому военные прицепляли свои ордена. Когда в городе узнали об этой демонстрации, молодежь промышленной буржуазии, еще не уверенной в своем окончательном торжестве над аристократией, ринулась к церкви; за нею вскоре последовали другие слои населения, сбежались и рабочие, и мелкая буржуазия, в которых живы были еще воспоминания о жертвах, понесенных в «славные Июльские дни». Так как демонстрация легитимистов была направлена против правительства Луи-Филиппа, полиция не оказала никакого сопротивления сбежавшимся, и в короткое время все, что было в церкви, было поломано, разорвано, выброшено на улицу. На следующий день полному разрушению подвергнут был дворец архиепископа, союзника легитимистов, причем и полиция, и национальная гвардия предоставляли демонстрантам полную свободу. Толпа ринулась было уже к Са-

бору парижской богоматери, и некоторые смельчаки взобрались уже на колокольню и стали сбивать крест, но Франсуа Араго, командовавшему одним отрядом национальной гвардии, удалось отстоять этот старинный памятник готического искусства.

77. ...*gros, gras et bête*. Гейне, вероятно из цензурных соображений, не выясняет действительного смысла злой насмешки, которую он мягко называет «шуткой». В самом начале марта в театре Одеон была представлена пьеса под названием «Une révolution d'autrefois» (Революция былых времен). В этой пьесе предлагают назначить императором некоего Клода, потому что он «толст, жирен и глуп». Это место, на каждом представлении вызывавшее бурные аплодисменты, было на последнем представлении выпущено. Публика стала протестовать — зал был очищен вызванными городовыми. Тогда юмористические журналы в последний день карнавала (*mardi gras*, выпавший в 1832 г. на 6 марта) заговорили о шествии не карнавального быка (*boeuf gras*), а о шествии «толстого, жирного и глупого», причем под этим псевдонимом явно подразумевались одновременно и разросшийся государственный бюджет, и толстый и жирный Луи-Филипп.

Этот более обширный карнавал начинается первого января и кончается тридцать первого декабря. Гейне хочет этим сказать, что вся парламентская жизнь является сплошным карнавалом.

78. *Пале-Бурбон* — Бурбонский дворец, в котором заседала палата депутатов — нижняя палата.

Люксембург — Люксембургский дворец, в котором заседала палата перов — верхняя палата.

Тюильри. В 1831 г. Луи-Филипп персежал из Пале-Рояля в старую резиденцию королей — Тюильрийский замок.

...однажды одному из его предков был дан хороший ответ. Намек на ответ, который Мирабо дал главному церемониймейстеру Людовика XVI Дре-Брезе от имени генеральных штатов: «Ступайте и скажите вашему повелителю, что мы здесь по воле народа и что заставить нас уйти отсюда можно только силою штыков».

...прения по поводу слова sujet (подданный) — см. примеч. к стр. 55.

79. ...*титул Madame* отмечается, как знаменующий поворот к старому, потому что при Бурбонах, т. е. при «легитимных» королях, он давался, независимо от возраста, дочерям короля и дофина (наследника престола) и жене Monsieur (брата короля).

21 января (1793 г.) — день казни Людовика XVI.

80. *Пожизненные господа из Люксембурга* — т. е. пожизненные перы.

80. ...*законопроект Бриквиля*. Депутат полковник Бриквиль внес в палату предложение (ранее внесенное уже депутатом Бодом) издать закон, по которому все члены династии Бурбонов изгонялись из Франции на вечные времена, а нарушивший этот закон подлежал смертной казни. Недвижимое же имущество изгнанных должно было быть продано в течение определенного срока. Палата депутатов приняла предложение, исключив уголовную санкцию.

Его благоволение к наследственности перов. Это не соответствует действительности. Луи-Филипп был с первых же дней против наследственности. За наследственность был Казимир Перье. Но в этом вопросе он уступил королю, внес формально предложение о назначении нужного числа новых перов для получения большинства в пользу реформы и провел эту реформу через обе палаты.

81. ...*мертвецов... похороненных под стенами Лувра*. Речь идет о части убитых в Июльские дни бойцов против монархии Карла X.

82. *Голируд* — дворец в Эдинбурге, который отвели Карлу X, когда он бежал из Франции и искал убежища в Англии, и который некогда занимала Мария Стюарт.

Вальми и Жемапп. Луи-Филипп в молодости сражался под начальством генерала Дюмуре, когда последний в 1792 г. одержал победы при Вальми (деревня в департаменте Марны, во Франции) и при Жемаппе (город в Бельгии) над пруссаками и австрийцами.

Делавинь, Казимир (1793—1843), как уже отмечено было, написал песню «Парижанка» (музыка Обера), которая стала официальным гимном при Июльской монархии и в которой одна строфа была посвящена Луи-Филиппу. См. примеч. к стр. 41.

Бёрне Орас (1789—1863) — внук художника-мариниста, сын художника-баталиста и сам известный баталист.

83. *Луи-Филипп изображен в виде учителя швейцарской школы*. После измены Дюмуре Луи-Филипп, который под начальством Дюмуре принимал участие в боях при Вальми и Жемаппе, уехал в Швейцарию и там в 1793 и 1794 гг. был в течение нескольких месяцев учителем в Рейхенау, под Хуром, не столько ради заработка, сколько для того, чтобы лучше укрыться от возможных преследований.

84. *Юный Генрих* — герцог Бордосский, граф Шамборский, которому в то время было 12 лет. См. прим. к стр. 52.

...*не имел права этим путем вымаливать мир*. Луи-Филипп подчеркивал свой «quasi-легитимизм», чтобы сделать себя приемлемым на королевском посту в глазах европейских монархов, особенно монархов самодержавных, и показать, что Фран-

ция Луи-Филиппа отнюдь не собирается, подобно революционной Франции, воевать с Европой.

84. *...безупречнейшим гражданином Старого и Нового Света.* Этим титулом Гейне награждает Лафайета.

85. *Советуют остерегаться прекрасных дней весны.* Гейне хочет этим сказать, что революции обычно вспыхивают весной. Великая революция началась в мае, революция 1830 г. — в июне.

86. *Чудо-отрок* — все тот же малолетний претендент на престол — граф Шамборский. См. примеч. к стр. 52.

...якобитская поэзия в Англии — поэзия сторонников претендента на престол Якова Стюарта, сына низложенного в 1688 г. Якова I.

...карлистская поэзия — поэзия сторонников низложенного в 1830 г. Карла X и его наследника — графа Шамборского.

в качестве Тиртеев. Тиртей — спартанский поэт, звавший соотечественников своими песнями на военные подвиги.

87. *Рейхштадт* — см. примеч. к стр. 40.

...порушение, которому немцы подвергли статую. Это имело место, по распоряжению прусского генерала Блюхера, в 1815 г., когда коалиционная армия вторично вступила в Париж после окончательного поражения Наполеона при Ватерлоо.

88. *Герцог Орлеанский Фердинанд-Филипп* (1810—1842) — старший сын Луи-Филиппа, его наследник, умерший в 1842 г. от несчастного случая (падение из кареты).

90. *Герцог Немурский Луи-Шарль-Филипп* (1814—1896) — второй сын Луи-Филиппа, назначенный после смерти своего старшего брата, герцога Орлеанского, регентом в случае смерти Луи-Филиппа до совершеннолетия графа Парижского, сына умершего наследника. В виду своей тупой реакционности был крайне непопулярен в стране.

...«через несколько лет будет производить в Америке большое впечатление». Намек на то, что Гейне не считал в это время трон Луи-Филиппа очень прочным.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

...огненное «мене, текел». «Мене-теке-фарес» — пророческая угроза, которая, по библейскому сказанию, огненными буквами начертана была невидимую рукою на стенах зала, где Валтасар справлял свое последнее пиршество в момент, когда персидский царь Кир вступил в Вавилон.

92. *Не за хартию сражались в дни великой недели.* Сменявшие друг друга министры Луи-Филиппа, хотя и соперничали друг с другом, все отстаивали, однако, ту точку зрения, что Июль-

ская революция 1830 г. была, по существу, произведена в защиту конституционной хартии 1814 г., за исключением только ее статьи 14-й, на ложном истолковании которой были основаны ордоннансы 25 июля, и что со сменой династии и пересмотром конституции и новой редакцией ст. 14-й, не допускаясь больших никаких ложтолкований, все требования, выдвинутые революцией, выполнены.

94. *Georgiae Augustae*. Название Геттингенского университета, основанного в 1737 г. английским королем Георгом II.

...лучший друг мой. Имеется в виду двоюродный брат Гейне, Карл Гейне.

...чем тот, презний террор, т. е. революционный террор 1793—1794 гг.

95. *Фукидид* описывает эпидемию чумы во второй книге своей «Истории пелопонесской войны» (гл. гл. 47—54).

98. ...вызвал своих мирмидонян из их лавок, т. е. собрал национальную гвардию. *Мирмидоняне*, по мифическому сказанию, сражавшиеся под Троей под начальством Ахилла воины народа южной Фессалии.

...и весь Париж впал в смертельное, полное ужаса, отчаяние. Одной из главных причин этого ужаса явилось извещение префекта полиции, известного Жиске, в котором между прочим говорилось: «Меня осведомили, что некоторые негодяи задумали обойти трактиры и мясные лавки с ядом в бутылках и порошках и отравить говядину и воду или же сделать только вид, что отравляют, и дать себя арестовать на месте преступления своими же соумышленниками, которые, засвидетельствовав их причастность к полиции, помогли бы им улизнуть и пустили бы в ход все, чтобы доказать достоверность гнусного обвинения, выдвигаемого против властей». После этого уведомления народные массы уже не сомневались в том, что причина бедствия — не холерная эпидемия, а «отравители».

99. *À la lanterne*. Из песни времен Великой революции:

Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Tous les aristos à la lanterne!
О, дело пойдет, дело пойдет!
Всех ари тократов на фонарь!

[т. е. повесить. — *Е. С.*].

...brevet de lys — грамота одного из королей Бурбонской династии (в гербе этой династии было три лилии).

101. «*Constitutionnelle*» («Конституционалист») газета, основанная в 1815 г. Либеральная при Реставрации, не раз подвергалась преследованиям. Участвовала в подготовке революции 1830 г. После Июльской революции стала правительственной газетой и постепенно захирела.

«*L'ordre règne à Paris*», — сказал бы Орас Себастиани. Намек на заявление Себастиани: «Порядок царит в Варшаве», — сделанное в палате депутатов в ответ на запрос, почему Франция не пришла на помощь восставшей Польше.

102. *Агуадо* Александр (1784—1842) — испанский эмигрант, служивший солдатом в наполеоновской армии и затем наживший в торговых предприятиях огромное состояние.

104. *Келен-Луи* (1778—1839) — архиепископ парижский.

106. *Пер-Лашез* — старинное кладбище в Париже.

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

108. *Смерть Перье*. Перье заболел 6 и умер 16 мая 1832 г.

109. ...с помощью мудрой богини. Богиня Афина-Паллада помогла Одиссею истребить женихов, засевших в его доме, обидевших и разорявших его.

«*Конституция!* И вы еще смеее ссылаться на конституцию!...». Эти слова сказаны были генералом Бонапартом на следующий день после совершенного им государственного переворота, 19 брюмера, в Сен-Клу, в Совете пятисот, когда в ответ на его призыв: «Спасем свободу! Спасем равенство!» — раздался крик: «И конституцию!».

18 *фрюктидора* (4 сентября 1797 г.) арестованы были два члена Директории, Бартеlemi и Карно, по обвинению в том, что они склонились на сторону роялистов. Бартеlemi удалось скрыться и бежать, а Карно вместе с некоторыми его сторонниками был сослан в Кайенну. В то же время аннулированы были выборы в 48 департаментах и отменены были законы, изданные в пользу духовенства и эмигрантов.

22 *флореаля* (11 мая 1796 г. раскрыт был заговор равных. По этому делу были гильотинированы Гракх Бабеф и Огюстен-Александр Дарте. Доктор Каффе, также приговоренный к смерти, перерезал себе в ночь перед казнью берцовую артерию. Семь человек, в том числе Филипп Буонаротти, впоследствии написавший историю этого заговора, приговорены были к ссылке. В то же время рядом противозаконных приемов Директории была кассирована большая часть выборов.

30 *прериала* (18 июня 1799 г.) принудили подать в отставку членов Директории Мерлена и Ла-Ревепера.

110. *Виллель Жозеф* (1773—1854) — вождь ультра-роялистов при Реставрации. Сперва министр финансов, а затем, с 1821 по 1828 г., — министр-президент. Он провел через парламент закон о «компенсации» в миллиард франков возвратившимся эмигрантам за конфискованные имения, издал закон против печати, поддерживал иезуитов. Он стал до того ненавистен населению, что даже Карл X, этот типичный представитель контр-

революционеров из Кобленца, вынужден был с ним расстаться и заменить его более «либеральным» Мартиньяком.

110. *Деказ* Эли, герцог (1780—1860) — государственный деятель. Начал свою карьеру в качестве полицейского администратора. На этом посту сумел заслужить доверие Людовика XVIII. Деказ понял (и сумел убедить в этом короля), что необходимо сдерживать слишком тупые и алчные требования возвратившихся эмигрантов и их сторонников, пользовавшихся большинством в так называемой «бесподобной палате» («бесподобной» она названа потому, что, противно тому, что обычно бывает в представительных учреждениях, она была гораздо реакционнее реакционного правительства). Началась памятная в истории Реставрации борьба между «либеральным» правительством и реакционным «народным» представительством. В сентябре 1816 г. «бесподобная палата» была распущена. Новые выборы дали некоторое количество мест либералам, и это количество увеличилось после снижения избирательного ценза до 300 франков, а палата перов была наводнена 60 новыми перами из числа имений Империи. В конце концов реакция, конечно, восторжествовала, и «либерал» Деказ очутился не у дел, уехал к себе в имение и там построил огромный деказвильский металлургический завод, стачки на котором известны в истории рабочего движения во Франции.

Дюпен Андре-Жан-Жак, барон (1783—1865). В качестве судебного сановника, депутата, министра, председателя законодательных учреждений и т. д. одинаково приспособлялся ко всем режимам — Первой империи, Реставрации, Июльской монархии, Второй республики, Второй империи. При Июльской монархии был министром юстиции, восемь раз был председателем палаты депутатов, председателем тайного королевского совета, генеральным прокурором при кассационном суде, членом Французской академии («бессмертных»).

111. *...весть о болезни Перье не всем... была неприятна.* Луи Блан в своей «Histoire de dix ans» рассказывает: «16 мая Казимира Перье не стало. Король отправил семье причествующее случаю послание и сказал одному из своих приближенных: «Казимир Перье умер. Благо это или зло? Это покажет будущее» (т. III, стр. 224).

...со времени... Сальмазиуса. Сальмазиус — Сомез Клод (1588—1650) — французский ученый, филолог и юрист, профессор в Лейдене. В 1650 г. выступил печатно в защиту прав сына казненного английского короля Карла I, будущего Карла II, на престол.

Ярке — см. примеч. к стр. 22.

112. *...подобно львам господина Мартена.* Осенью 1831 г. и в 1832 г. Париж восторгался необыкновенной смелостью укроти-

теля зверей, некоего Мартена, который спокойно входил в клетки львов, пантер и тигров и заставлял их покорно исполнять его приказания. Зрелище было столь потрясающее, что Бальзак посвятил описанию мужества Мартена целый рассказ, писали о нем Александр Дюма и другие писатели. Потом метод укрощения Мартена открылся. На это Гейне и намекает в тексте.

115. ...от Ксенофонта до Фенелона. Гейне имеет здесь в виду произведение Ксенофонта: «Воспитание Кира». Фенелон Франсуа де-Салиньяк де-Ламот (1651 — 1715), архиепископ в Камбре, воспитатель герцога Бургундского, написал для своего воспитанника несколько произведений, в том числе известную книгу «Телемак», в которой он разными намеками критикует царствование всемогущего тогда Людовика XIV и опубликование которой в 1699 г. навлекло на него немилость короля.

Блекстон Уильям (1723—1780) — английский правовед, автор «Commentaries on the laws of England» (Комментарии к английскому государственному праву).

116. Мариньи Ангерран — министр (сюринтендант) финансов при Филиппе Красивом. Когда после смерти последнего на престол вступил Людовик X (1314—1316) и воцарилась феодальная реакция, большинство советников Филиппа было уволено, а Ангерран де Мариньи после (крайне несправедливого) процесса был в 1315 г. повешен.

...в обществе господ Барта, Луи... и пр. Барт Феликс (1795—1868) — судебный и политический деятель. В молодости, при Реставрации, участник карбонарских заговоров, адвокат, выступавший по многим политическим делам, участник революции 1830 г., после которой тотчас же забыл свои революционные похождения и стал делать карьеру: генеральный прокурор при королевском суде, депутат, министр народного просвещения, министр юстиции, в качестве какового руководил процессом, к которому привлёк участников восстания 5 и 6 июня 1832 г.

118. Луи-Филипп учредил временное председательство и поручил его господину Монталиве. Это сообщение Гейне не соответствует действительности. Когда ясно стало, что болезнь Казимира Перье затянется, Монталиве, который был в кабинете Перье министром народного просвещения и культов, назначен был временно исполняющим должность министра внутренних дел, а Жиро-де-л'Эн назначен был министром просвещения и культов. Ордонанс об этом издан был 17 апреля. Казимир Перье, умерший 16 мая, сохранял за собою почти до последнего дня общее руководство кабинетом и принимал не только министров, но и иностранных послов, с которыми и вел ответственные переговоры.

Жиро-де-л'Эн Луи-Гаспар-Амедей (1781—1847) — политической деятельностью стал заниматься только после рево-

люции 1830 г., в которой принимал деятельное участие. Верный сторонник Луи-Филиппа. После революции — префект, в 1831 г. — председатель палаты депутатов, в 1832 г. — министр народного просвещения, затем — пер.

118. ...*Сульт* Никола, герцог Далматский (1769—1851) маршал. Провел войны Великой революции и Первой империи. В кабинете Казимира Перье был военным министром. Его мечта о poste министра-президента осуществилась в том же 1832 г., в октябре, когда Луи-Филипп поручил ему составить министерство.

119. *Такое поручение дано сейчас Веллингтону; лорд Грей со своими виами побужден — на время.* Лорд Грей, предложив королю назначить необходимое число лордов, чтобы получить в верхней палате большинство в пользу избирательной реформы, и получив от него отказ, 9 мая подал в отставку. Король поручил составить министерство герцогу Веллингтону. Однако последнему не удалось выполнить это поручение, и лорд Грей снова вернулся к власти, получив от короля согласие на назначение нужного числа лордов.

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

Сбир — агент судебной и полицейской власти в Италии. Обычно употребляется в презрительном смысле: сыщик.

Пантеон — храм славы в Париже, в котором хоронят великих людей, прославившихся на службе родине.

120. *Мартиньяк* Жан-Батист-Сильвер (1776 — 1832) — политический деятель. В начале 1828 г., когда он был назначен министром внутренних дел, а фактически руководил всем министерством, недовольство в стране правлением Бурбонов достигло уже большой степени напряжения, и Мартиньяк, считаясь с этим, стал проводить некоторые либеральные мероприятия, особенно в области цензуры. Карл X, который на троне оставался таким же, каким был в Кобленце во главе эмиграции, не мог мириться с этим, и в августе 1829 г., как только был провотирован государственный бюджет на 1830 г., министерство Мартиньяка было отставлено и заменено цветом реакции — Полиньяком, Перонне, Бурмоном и др.

Шамполион Жан-Франсуа (1790—1832) — французский египтолог, впервые расшифровавший египетские иероглифы. В этом смысле Гейне и говорит об открытии им многих египетских царей.

Кюве Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, положивший начало сравнительной анатомии. Установив законы взаимозависимости органов и соотношения форм, он получил возможность восстанавливать по отдельным костям уже исчезнувшие виды животных. В этом смысле в тексте и говорится об открытии им многих животных, не существующих уже больше.

124. *Констан, Бенжамен* (1767 — 1830) — вождь умеренного либерализма при Реставрации, сторонником которого был и во время Великой революции, и при Наполеоне; стоял лишь за легальные формы борьбы даже тогда, когда буржуазия была еще революционна; поддержал кандидатуру Луи-Филиппа на престол; автор известного романа «Адольф».

Грегуар Анри (1750—1831) — деятель Великой французской революции. Посланный в 1789 г. от духовенства в генеральные штаты, содействовал присоединению низшего духовенства к третьему сословию. Первым принес присягу конституции. Назначенный епископом в Блуа и избранный в конвент, высказался за республику, голосовал за предание суду Людовика XVI, но против смертной казни. При Империи — член совета пятисот, законодательного корпуса и сената. При Реставрации, в 1819 г., избран в палату депутатов, но выборы были аннулированы. В общем остался верен своим прежним убеждениям.

Там не было высоких сановников, не было пехоты и конницы. Так Гейне описывает похороны Грегуара. Маргарет А. Кларк показывает в своей книге цитатами из современных газет, что Гейне, описывая похороны Грегуара, дает в действительности отчет о похоронах Бенжамена Констана.

125. *Система 13 марта* — политика министерства Казимира Перье, составленного 13 марта 1831 г.

126. *Пинок, полученный... больным львом от ослицы господней в Риме.* Намек на вынужденный отказ от вмешательства в итальянские дела после взятия французским десантом Анконы. См. примеч. к стр. 55.

127. *...зависимость от иностранных интересов обнаружилась... во время последних событий в Англии.* Вся оппозиция — от легитимистов и бонапартистов до революционных демократов — возмущалась по поводу того, что французская политика была настолько лишена самостоятельности, что даже при назначении преемника Казимиру Перье не переставали оглядываться на то, что происходило в это время в Англии, где подавший в отставку Грей был заменен Веллингтоном, но потом снова поставлен во главе кабинета. В одной газете так характеризовалось положение: «Если Англия поступит так — заиграйте иллюминацию; если она поступит этак — облачайтесь в траур. Если Англия сделает это — дрожите. Если Англия сделает то — можете успокоиться... Вот как ведет себя национальное правительство». Это-то положение имеет в виду Гейне в своей характеристике.

Барро Одилон (1791—1873) — либеральный адвокат во время Реставрации, резко выступил против послуживших непосредственной причиной революции 1830 г. ордоннансов Карла X. Поддержал кандидатуру Луи-Филиппа, авансом расхваливая новую монархию, которая «окружит себя совсем республи-

канскими учреждениями». Реакционная политика этой монархии толкнула его в умеренную и аккуратную «династическую оппозицию». Выступал против всех министерств Луи-Филиппа, за исключением лишь министерства Тьера в 1840 г. Постоянный участник «банкетной кампании» в пользу избирательной реформы, но при первой же серьезной схватке отказался от борьбы.

...собирались... назначить первым министром маршала Сульта. Хотя Веллингтон и не очутился у власти в Англии. Сульт все же был назначен премьером, но никакого воинственного значения его премьерству никто уже не придавал. К тому же фактически не он руководил министерством, во главе которого он находился. Руководили министерством король Луи-Филипп, влияние которого на правительство заметно возросло после смерти Казимира Перье, не дававшего ему вмешиваться в дела министерства, Тьер и Гизо.

128. ...под именем... короля Альгарвы. Сульт сражался в Испании в период между 1808—1813 гг. *Альгарва* — бывший южный округ Португалии, ныне образующий округ Фаро.

...каледонский бард — сер Вальтер Скотт.

«*Morning Chronicle*» (Утренняя хроника) — газета, основанная в 1769 г. Своего расцвета она достигла в качестве органа вигов, когда они в 20-х и 30-х гг. готовили и проводили свои реформы (избирательная реформа, эмансипация католиков, отмена рабства в колониях).

«*Times*» (Время) одна из крупнейших в мире газет. Основана в 1784 г. Орган консервативной партии, преимущественно промышленников-консерваторов, и вместе с тем официоз министерства иностранных дел.

129. *Лей Гент* (1784—1859) — поэт, друг Байрона, член левого крыла партии вигов.

...сидя на курульных креслах. Курульные кресла из слоновой кости, на которые в древнем Риме имели право садиться только некоторые высшие сановники. И сами сановники, пользовавшиеся этой привилегией, назывались курульными сановниками. В данном случае Гейне называет курульными кресла лордов, наследственно заседавших в английской верхней палате — палате лордов.

...рассчитывавшие на ночную авантюру своей королевы, т. е. на то, что она ночью сумеет уговорить короля не соглашаться на требование лорда Грея назначить новых лордов, чтоб в верхней палате создалось большинство в пользу избирательной реформы.

130. *Дни Вилькса*. Вилькс Джон (1727—1797), будучи депутатом парламента, напечатал в издававшемся им журнале «*North Briton*» статью, в которой высмеивал тронную речь Георга III. Был вследствие этого арестован, но как депутат вскоре осво-

божден. Опасаясь вторичного ареста, бежал за границу. Палата общин постановила после этого исключить его из своего состава (1764 г.). В 1768 г. Вилькс возвратился в Англию, отсидел в тюрьме два года, к которым был приговорен за свою статью. Когда он после этого снова избран был в палату общин, последняя его исключила. Началась длительная борьба. Население последовательно перевыбирало Вилькса, а палата общин его исключала. В 1774 г. он был избран лорд-мером. Но и после этого палата общин продолжала его исключать. И только в 1790 г., когда Вилькс был избран в четвертый раз, палата общин не решилась больше исключать его, и он оставался депутатом до конца жизни.

131. ...*ордоннансы*. Речь идет об ордоннансах, опубликованных 25 июля 1830 г. Карлом X и его министрами Полиньяком, Перонне и др.

132. *Россини* Джакомо (1792—1868)—итальянский композитор.

133. *Юм* Джозеф (1777—1855) — директор Ост-Индской компании, член палаты общин, считавший главной своей задачей содействовать упрощению государственной отчетности.

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ

135. ...*не только тот, кто платит налог в десять фунтов стерлингов*. Это не соответствует действительности. Проведенный в 1832 г. избирательный закон дал в действительности избирательное право лишь состоятельному населению и преимущественно промышленному классу. Пролетариат и мелкая буржуазия, принимавшие такое деятельное участие в борьбе за избирательную реформу, были попрежнему лишены избирательных прав. Понадобились еще две избирательные реформы (1867 и 1884 гг.), чтобы они получили, наконец, право участвовать в выборах депутатов в палату общин.

136. ...*корсиканский сброд*. Намек на семью Наполеона, уроженца Корсики.

137. ...*восторгался... святым Юстином*, т. е. Сен-Жюстом. ...*так много друзей свободы является приверженцами теперешнего правительства*. В действительности к этому времени, т. е. в половине июня 1832 г., когда уже вполне утвердилась диктатура верхушки крупной, главным образом финансовой буржуазии, когда выяснилось бесправие не только пролетариата и мелкой буржуазии, но и средней буржуазии, после лионского восстания, после избений в Гренобле, после кровавой расправы у монастыря Сен-Мери, среди приверженцев тогдашнего правительства «друзей свободы», конечно, уже не было.

138. *Людovicу Капету* — Людовiku XVI.

139. *Вирт* Иоанн-Георг (1798 — 1848) — издатель (с 1831 по март 1832 г.) упоминаемой в тексте «Немецкой трибуны» (выходившей в 1831 г. с подзаголовком «Ежедневная конституционная газета, замененным в 1832 г. подзаголовком «К возрождению отечества»), либеральный деятель, один из организаторов «Гамбахского праздника» (см. примеч. к стр. 140). Арестованный после этого «празднества» был приговорен к двухлетнему тюремному заключению. Уехал во Францию. В 1848 г. вернулся в Германию и был избран в франкфуртское Национальное собрание.

140. ...разбуженная пушками великой недели Германия. Имеется в виду тот политический подъем, который наблюдался в Германии вслед за Июльской революцией во Франции.

Зибенпфейфер Филипп-Якоб (1789—1845) — либеральный публицист, издавал органы «Rheinbaiern» («Рейнская Бавария») и «Westbote» («Западный вестник»). Весною 1832 г. выступил с предложением устройства праздника в Гамбахском замке («Рейнская Бавария») и издания «германского манифеста». Манифестация состоялась 27 мая 1832 г. («Гамбахский праздник») и собрала несколько тысяч человек, среди которых были также поляки и французы. Зибенпфейфер и Вирт выступили там с речами о реформах, ставших необходимыми в Германии. Вскоре после этого они были арестованы по обвинению в оскорблении представителей государственной власти и возбуждении народа к ниспровержению существующего государственного строя. Газеты их были закрыты, и они лишены были права выпускать в течение пяти лет периодические издания.

Шарпф Христиан подвергся позднее преследованию за резкий протест против постановлений франкфуртского сейма от 28 июня 1832 г. и за оскорбление королевского баварского министра.

Фейн, Георг (1803—1869) — публицист, левый либерал, соиздатель «Немецкой трибуны». Позже подвергался преследованию за распространение революционных изданий. С 1834 г. работал в «Neue Züricher Zeitung» («Новая цюрихская газета»).

Гроссе Эрнст — политический поэт и журналист, редактор «Bayerische Blätter» («Баварские ведомости»). Так как ему грозил арест по обвинению в «прямом, хотя и не повлекшем за собою никаких последствий, возбуждении к ниспровержению германских правительств», весною 1832 г. скрылся. О преследованиях, которым подвергался, рассказал в книжке: «Прощайте. Отъезд больного поэта из Баварии», Аугбург, 1831.

Шюлер Фридрих — ученый юрист, либеральный депутат баварского ландтага 1831 г., вызывавший особенные опасения придворной партии. Так как после Гамбахского праздника боялся быть арестованным, бежал во Францию. В 1848 г. избран был в Национальное собрание, где заседал на левом

фланге. Вместе с охвостом парламента отправился в Штуттгарт. Несколько позже снова бежал за границу.

140. *Савуа* Жозеф — член апелляционного суда в Цвейбрюкене. Обвиненный в «заговорах, клонившихся к ниспровержению королевско-баварского правительства, равно как и всех правительств Германии», бежал весной 1832 г. в Париж, где натурализовался. В 1848 г. был послом Французской республики во Франкфурте.

141. ...*например вопрос о сонете*. Введение сонета в немецкую литературу вызвало продолжительные литературные споры, в которых особенно деятельное участие принимали романтики.

Эти два народа подобны гомеровым героям. Гейне имеет в виду героев Троянской войны Диомеда и Глаукоса, которые обменялись оружием по старинному обычаю гостеприимства («Илиада», песнь VI, стих 230 и след.).

142. ...*пел песни Э.-М. Арндта*. См. примеч. к стр. 12.

144. *Видок* Эжен-Франсуа (1775—1857)—авантюрист и сыщик, сперва на государственной службе, а потом в качестве владельца частной полицейской конторы. Оставил воспоминания о своей деятельности.

Дебюро Гаспар (1796—1846) и его сын Шарль (1829—1873) — пользовавшиеся большой известностью актеры-шуты.

Керубини Сальвадор (1760—1842) — известный композитор, итальянец по происхождению, натурализовавшийся во Франции, состоял много лет директором парижской консерватории.

Биффи Антонио (умер в 1733 г.) — венецианский композитор, автор нескольких опер и одной оратории.

146. ...*обнаружилось 5 и 6 июня*. 5 июня происходили похороны генерала Ламарка.

147. *Ламарк* Максимилиан (1770—1832) — генерал и политический деятель. Провел войны революции и Первой империи. Был очень ценен Наполеоном в качестве военного деятеля и назначен генералом. После Реставрации изгнан из пределов Франции, но в 1818 г. получил разрешение вернуться. В 1828 г. избран в палату депутатов и вскоре выдвинулся в качестве видного оратора либеральной оппозиции. Участник революции 1830 г. Возмущенный установившейся диктатурой крупной буржуазии, был решительным противником Июльской монархии.

149. *Альфурская школа*—национальный ветеринарный институт в Мезон-Альфоре, близ Парижа.

150. ...*о Клеомене, царе спартанском*. Клеомен III стал царствовать в 235 г. до н. э. Ему пришлось вести войну с Антигоном Македонским. В поисках помощи он отправился в Александрию

(Египет), где был взят в плен. Ему, однако, удалось спастись, и он поднял мятеж, но, не встретив поддержки, покончил с собой вместе со своими сподвижниками в 220 или 219 г. до н. э.

150. ...*вся оппозиция с ее comptes-rendus* (отчетами). Намек на вызвавший много толков опубликованный 28 мая 1832 г. отчет избирателям, принятый на специальном собрании 41 депутатом оппозиции, к которым потом присоединилось еще 94 депутата, так что под ним значилось 135 подписей. В этом отчете оппозиция протестовала против того характера, который, вопреки требованиям Июльской революции, придали новой монархии, против огромного гражданского листа, хотя новая монархия должна была отличаться скромностью и экономией, против реакционной внутренней политики и трусливой внешней политики. Среди подписавших «отчет» было много очень влиятельных депутатов, в том числе Франсуа Араго, Корменен, Лафайет, Лафитт, Ламарк, Моген, Одилон Барро, Гарнье-Пажес и др. Отчет был бы составлен в гораздо более резком тоне, но он явился компромиссом между династической оппозицией и более решительной оппозицией демократически настроенных представителей мелкой и средней буржуазии.

...*вся оппозиция... с ее депутациями, господа Одилон Барро, Лафитт и Араго*. Они были делегированы оппозицией к Луи-Филиппу, чтобы просить его не мстить побежденным в дни 5 и 6 июня и высказать ему свое убеждение в том, что только левое министерство в состоянии было бы предотвратить повторение подобных событий. Луи-Филипп, как всегда, щеголял либеральными фразами и уверял, что конституционные гарантии не будут отменены и что дела о восстании будут рассматриваться обычными судами. Однако в официальном «*Moniteur*» появился подписанный им ордоннанс, которым Париж объявлялся на осадном положении.

Араго Доминик-Франсуа (1786—1853)—астроном, физик и политический деятель. К тому времени, к которому относится статья Гейне, принадлежал к решительным противникам Июльской монархии и к сторонникам широких демократических реформ. Таким он оставался вплоть до Февральской революции. Но когда рабочий класс после февраля решительно выдвинул на первый план социальный вопрос, Араго стал в ряды отъявленных врагов рабочего класса и в Июньские дни принял активное участие в боях против него. Однако Гейне неправ, когда он в 1832 г. так резко противопоставляет Араго бойцам у монастыря Сен-Мери. Араго, повидимому, вовсе не стоял тогда в стороне от борьбы. По крайней мере, когда он в 1848 г. в Июньские дни командовал в качестве члена исполнительной комиссии наступлением на одну из баррикад неподалеку от Люксембургского дворца, один из баррикадных бойцов напомнил ему, как они в 1832 г. вместе воздвигали баррикады у монастыря Сен-Мери.

151. *Консьержери* — старая тюрьма, находящаяся во Дворце правосудия. Из нее выводили во время Великой революции приговоренных революционным трибуналом к смертной казни. Позднее — тюрьма для некоторых категорий подсудимых.

ВСТАВКА К СТАТЬЕ IX

154. ...*короля английского Вильгельма*. Речь идет о короле Вильгельме IV (царствовал с 1830 по 1837 г.).

156. ...*у сэра Джона*. Джон Фальстаф (ок. 1378—1459), английский офицер, товарищ по кутежам английского короля Генриха V. У Шекспира он фигурирует как тип наглого и циничного, распухшего от жира кутилы, распутника и вруна.

...*за столами царя-фараона*, т. е. за столами игорных домов.

158. *Страсти в то время кипели яростнее, чем когда-либо*. В ряде германских государств, вслед за Июльской революцией во Франции, вспыхнули волнения, имевшие целью ограничить самодержавие правителей и сломить господствующее положение дворянства.

ТЕКУЩИЕ СООБЩЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ VI

162. *Ансбахский* Казимир, маркграф (1481—1527), жестоко расправлялся с восставшими крестьянами во время крестьянских войн в Германии.

...*галликанская, так сказать, медиатизированная церковь*. Гейне хочет сказать: церковь, перешедшая из-под власти папы под власть французского короля.

163. ...*в версальском «Oeil de boeuf»* (овальное окно) — так при дворе Людовика XIV в Версале называли прихожую при спальне короля с овальным окном. В ней по утрам толпились придворные, ожидавшие приема, и плелись всевозможные интриги.

164. ...*а когда 14 июня лета 1789*. Здесь у Гейне описка: Бастильская крепость была взята штурмом и разрушена до основания 14 июля.

Вот уже семнадцать лет, т. е. со времени второй реставрации, имевшей место в 1815 г., после поражения Наполеона при Ватерлоо.

165. *Руссо Жан-Жак* (1712—1778). Учение Руссо о социальном неравенстве, порождаемом частной собственностью, вдохновляло наиболее последовательных, радикальных деятелей революции — Робеспьера и его ближайших сподвижников, стремившихся к продолжению и углублению революции, между тем

как учение деиста и монархиста Вольтера вдохновляло лишь умеренных, преимущественно жирондистов. Вот почему Гейне так резко противопоставляет друг другу Вольтера и Руссо и вот почему он подчеркивает, что и в 1832 г., когда писалась его статья, разногласия между этими двумя философами продолжали сказываться.

Альфieri Витторио, граф (1749—1803) — итальянский поэт и драматург, боровшийся в своих произведениях против тирании и за свободу. Восторженно приветствовал Великую французскую революцию, но после победы якобинцев резко переменял фронт и стал ее громить.

Гара Доминик-Жозеф (1749—1833) — деятель Великой революции, министр юстиции после Дантона, министр внутренних дел. При Империи — сенатор. Оставил «Воспоминания о революции» (*Mémoires sur la révolution*).

166. *Был в то время унылый министр*, т. е. Неккер.

Панталеоне революции. *Панталеоне* — персонаж старинной итальянской комедии, тип дряхлого и хилого скряги. Здесь подразумевается Неккер.

167. ...одно место у *Плутарха*, где он говорит о долгах *Цезаря*. Плутарх сообщает, что у Цезаря до поступления его на государственную службу было 1300 талантов долгу.

Бурьен Луи-Ангуан Фовле де - (1769—1834) — школьный товарищ, друг молодости, впоследствии секретарь Наполеона I, автор «Мемуаров о Наполеоне, Директории, Консульстве, Империи и Реставрации». Дальнейшей характеристикой Бурьенна Гейне хочет сказать, что он не считает достоверными сообщения его мемуаров. Таково было общее отношение к ним.

168. «*Ариелем-Калибаном*». *Ариель* и *Калибан* персонажи шекспировой «Бури». *Ариель* дух, помогающий герцогу Просперо восстановить право и справедливость, олицетворение поэтически-благородного. *Калибан* дикарь, нечто среднее между животным и человеком, олицетворение безобразного и пошлого.

Жанен Жюль (1804—1874) — чрезвычайно популярный в свое время журналист и писатель, один из представителей так называемой «неистойой французской словесности».

...бросило бледнеющему церемониймейстеру прошлого смелые слова. Имеется в виду ответ Мирабо церемониймейстеру Де-Бреве, явившемуся в Национальное Собрание с приказом от короля к депутатам разойтись.

169. ...принадлежат... графу *Вольне*. Вольне Константен (1758—1820) — французский философ, последователь Дидро.

...в мемуарах *Бриссо*. Мемуары Бриссо, на которые ссылается Гейне, выпущены были под названием «*Legs à mes enfants*» («Завещание моим детям») его сыном в 1830 г.

169. *Дюмон* Луи (1759—1829) — женеvский юрист и политический деятель. Во время революции был причастен к деятельности Мирабо. Его мемуары, на которые ссылается Гейне, появились в 1832 г. под названием «*Souvenirs sur Mirabeau et les deux premiers assemblées législatives*» (Воспоминания о Мирабо и первых двух законодательных собраниях).

ПРИМЕЧАНИЕ А

172. *Гобель* Жан-Батист-Жозеф (1727—1794) — парижский епископ во время Великой революции. В 1793 г. торжественно, на заседании Конвента, сложил с себя сан священника и признал республику. Гильотинирован вместе с Шометтом, его обвиняли главным образом в воинствующем атеизме.

...в предместьях *Сент-Антуан* и *Сен-Марсо*. Эти предместья были густо населены ремесленниками, мелкими лавочниками и рабочими и были центрами республиканского движения.

...и в образе *Гарнье-Паже*. *Гарнье-Паже* Этьен-Жозеф-Луи (1801—1841) — один из вождей буржуазного крыла республиканской партии в первое десятилетие Июльской монархии. Участник ряда выступлений против воцарившейся диктатуры крупной буржуазии и ряда политических процессов, на которых выступал с республиканскими речами.

6 июня

175. *Патрокл* (греч. миф). Когда во время Троянской войны Ахилл, рассердившись на Агамемнона, отказался сражаться и удалился в свою палатку, его друг Патрокл, облачившись в доспехи Ахилла, выступил против троянцев и был убит Гектором.

7 июня

177. ...число... *растаяло до пятидесяти*. Историки единогласно утверждают, что у монастыря Сен-Мери, главном месте боев, сражалось не больше шестидесяти республиканцев. Правительство же имело в своем распоряжении шестидесят тысяч бойцов. И цифра эта не преувеличена. Вот подсчет, который мы находим у Луи Блана в «*Histoire de dix ans*» (III, стр. 274, примеч.):

6 линейных полков и 3 полка легкой пнфантерии по 2000 чел.	18 000
8 полков кавалерии по 500 человек	4 000
Конная и пешая муниципальная гвардия	2 000
	<hr/>
	24 000

Сверх того, вокруг Парижа расположено было 30 000 солдат и национальных гвардейцев было около 6000 человек.

8 июня

180. ...*таинственное знамя, никому неизвестное, многие приняли за республиканское*. Дело было не совсем так. О красно-черно-золотом знамени в то время довольно много писалось во французской периодической печати, особенно в оппозиционной. На незадолго до этого имевшем место в Германии либеральном гамбахском празднике красно-черно-золотое знамя, знамя студенческих ассоциаций, стало политическим знаменем. На гамбахском замке развевалось это знамя с надписью «Возрождение Германии». На банкете, устроенном германскими эмигрантами в Париже по поводу гамбахского праздника, на котором председательствовал Лафайет, а Арман Каррель произнес тост за единение французских и германских оппозиционных элементов, также развевалось то же красно-черно-золотое знамя. Еще не зная о восстании в Париже, Меттерних 6 июня писал по поводу «гамбахского банкета» германскому послу: «Германский банкет, на котором председательствовал «герой старого и нового света», достоин внимания. Полагаю, что как преступная связь с германскими злоумышленниками, так и существование в Париже центра всех революций не нуждаются уже после этого в доказательстве». Появление красно-черно-золотого знамени на «оппозиционных похоронах» Ламарка имело поэтому определенное политическое значение, которое, очевидно, не ускользнуло от внимания Гейне. Иначе совсем непонятно было бы его восклицание, когда он увидел «наши старые студенческие цвета»: «Сегодня случится или несчастье, или глупость!»

10 июня

182. *Венсенн* — город в департаменте Сены. Укрепленный замок, долго служивший резиденцией французских королей, а затем местом заключения преимущественно для привлекавшихся по политическим делам.

12 июня

188. *Саррю*, Жермен — публицист, стоявший в 30-х годах близко к редакции «Трибуны», издатель известной серии «Biographies des hommes du jour» («Биографии современных деятелей»).

Каррель Арман (1800—1836) — известный публицист. В молодости был секретарем историка Огюстена Тьерри. Вместе с ним и Минье основал в начале 1830 г. газету «National», игравшую видную роль в Июльской революции. После революции Каррель перешел в ряды решительных республиканцев, придав соответствующий характер своей газете. Пользовался большим влиянием в печати и в почитических кругах. В 1836 г. убит на дуэли Эм. Жиранденом.

188. *Кост, Жак* (1798—1859)— журналист, который больше заботился о своих материальных интересах, чем о защите своих воззрений. В то время, к которому относится статья Гейне, он был главным редактором недолго просуществовавшего умеренно-республиканского «*Temps*».

189. *Партия, представителем которой является «National», ...не принимала участия в этих событиях, и главы партии «Трибуны»—монтаньяры—ничем не проявили себя.* Гейне так подробно останавливается на этом моменте, повидимому, потому, что правительственная печать не только настаивала ради оправдания введенного правительством осадного положения и жестоких репрессий на том, что восстание 5 и 6 июня было заранее подготовлено, но воспользовалась этими событиями, чтобы возобновить свои инсинуации, будто республиканцы действовали вместе с легитимистами. На этой выдумке правительственная печать особенно упорно настаивала, потому что рассчитывала этим отвлечь от республиканцев народные массы, так как они особенно ненавидели легитимистов.

17 июня

...не отмененный еще état de siège (осадное положение). Осадное положение, объявленное 6 июня, было отменено 30 июня при следующих обстоятельствах. Молодой художник, по имени Жофруа, приговоренный одним из учрежденных на основании осадного положения военных судов к смертной казни, подал кассационную жалобу. Поддерживал ее Одилон Барро, и кассационный суд, отвергнув заключение главного прокурора Вуазен де-Гартанпа, вынес постановление, что военный суд первого военного округа совершил превышение власти и проявлено было нарушение норм подсудности, чем нарушена была конституционная хартия. Это постановление, встреченное огромным большинством населения с шумным одобрением, принудило правительство подчиниться, хотя тем самым оно признало себя виновным в том же нарушении конституции, которое послужило ближайшей причиной низложения Карла X. Все дела, возбужденные в связи с восстанием 5 и 6 июня, переданы были суду присяжных.

...191... *в тюрьме Сент-Пелажи.* Знаменитая тюрьма, учрежденная в 1792 г. и снесенная в 1899 г. В ней содержались преимущественно осужденные по политическим делам, главным образом, писатели, осужденные по делам о печати.

Пелажи — древняя народность, занимавшая в доисторические времена Грецию, Архипелаг, побережье Малой Азии и Италию. *Сент-Пелажи построена пелагами* — острога, основанная на совзвучии имен.

...нарисовали огромную грушу, а над нею топор. В виде груши карикатуристы изображали голову Луи-Филиппа. Топор над огромной грушей — аллегорическое изображение гильотинирования Луи-Филиппа.

7 июля

193. *Гранвилль* Томас, ранее лорд Гоуэр (1773—1846) — английский дипломат. Министр в кабинетах Питта и Аддингтона. Посол в Петербурге и долгое время в Париже.

194. Он... считает себя совсем|уже сильным. Международное положение Луи-Филиппа после кровавой расправы с повстанцами 5 и 6 июня, по существу, далеко не окрепло. Именно с этого момента начинают особенно разрастаться по всей стране тайные общества, и последующие годы отмечены восстаниями (1834, 1839) и покушениями на жизнь короля (Алибо, Фиески). Даже династическая оппозиция становится настойчивее. И именно потому, что Луи-Филипп, противно тому, что сообщает Гейне, совсем не может рассчитывать на большинство нации, он в вопросах международных отношений до конца своего царствования ведет трусливую политику, покорно плетясь на помочах у Англии.

Его главная страсть — это, повидимому, страсть к постройкам. Историки объясняют эту «страсть» очень просто: проходившие под окнами дворца мелкие буржуа, ремесленники и рабочие слишком откровенно и бесцеремонно выражали свое отношение к королевской семье, и королева Мария-Амалия упросила своего мужа произвести необходимые перестройки. Глубокие рвы и отдельный сад должны были изолировать королевскую семью от «преданного ей народа».

15 июля

196. *Безумная отвага герцогини Беррийской... повредила им* [легитимистам]. Герцогиня Беррийская (1798—1870) поддерживала оживленные сношения с легитимистами во Франции, не переставая носить с мыслью о насильственном свержении Луи-Филиппа и о возведении на престол графа Шамборского под ее регентством. Весною 1832 г. она решила приступить к осуществлению своего плана, хотя против немедленных действий высказывались и живший в Голируде Карл X, и вожди легитимистов в Париже, и ее агенты, находившиеся в сношениях с гаагским и петербургским правительствами. Тайно пробралась на юг Франции, пыталась там поднять восстание, но, не встретив достаточно сочувствия, переехала в Вандею, где вошла в сношения с вождями шуанов. По соглашению с некоторыми из них назначила восстание на 24 мая 1832 г. Так как другие были за отсрочку, восстание перенесено было на ночь с 3 на 4-е июня. Выступление все же состоялось в некоторых местах 24 мая,

и после довольно жестоких схваток восстание было подавлено. Герцогиня скрылась в Нант, где была выдана предателем, арестована 8 ноября и заключена в Бле. Там она разрешилась от бремени: оказалось, что она в Италии тайно вышла замуж. Это и положило конец ее реставрационным мечтаниям.

Беррье Пьер-Антуан (1790—1868) — один из крупнейших французских ораторов, адвокат и политический деятель. В ранней молодости — поклонник Наполеона I. После Ста дней стал легитимистом, каковым оставался до конца жизни. Свою поездку к герцогине Беррийской, о которой говорится в тексте, он совершил по поручению парижских легитимистов с целью уговорить ее отказаться от немедленного выступления и уехать в Голируд к Карлу X. Герцогиня обещала, но на следующий день, получив письмо от одного из заговорщиков, послала Беррье вдогонку сообщение, что берет назад данное обещание.

197. *Немецкие дела, решения сейма — вот, что... взволновало все умы.* Только теперь, больше чем через две недели после принятия сеймом своих реакционных постановлений, когда французская печать, особенно оппозиционная, в течение ряда дней оживленно обсуждала политическую связь этих актов с парижскими событиями, Гейне решился вскользь упомянуть об этом.

ИЗ НОРМАНДИИ

1 августа

198. *...люди страны Ок.* В средние века слово *оуи* (да) произносилось в некоторых частях Франции, особенно на юге, как *ок*, а на севере как *ойль*. Впоследствии, по мере того как север постепенно стал объединять страну, всюду стали произносить *ойль*, а затем *уй*.

199. *Герцогиня Ангулемская* (1778—1851) — дочь Людовика XVI и жена старшего сына Карла X, пользовавшаяся большим влиянием на Людовика XVIII и Карла X.

200. *Шатель.* После Июльской революции аббат Шатель отошел от римской церкви и основал независимую «французскую католическую церковь» или, как ее еще иначе называли, «объединительную французскую церковь», пользовавшуюся большим успехом в Париже. В 1842 г. она была, по распоряжению правительства, закрыта.

20 августа

203. *...le fils de l'homme qui a fait mitrailler le peuple le 13 vendémiaire.* 10—13 вандемьера 1795 г. революционные секции Парижа подняли восстание против Конвента, в котором господ-

ствовали контрреволюционные термидорианцы. Восстание было подавлено генералом Бонапартом.

203. «*Quotidienne*» («Ежедневная») — газета, основанная в 1792 г. монархистами, упорно боролась с революцией, много раз меняла свое название, но вынуждена была замолчать. Возродилась в 1814 г. после первой Реставрации, была органом крайних правых — правой оппозиционной по отношению ко всем министерствам Людовика XVIII. После революции 1830 г. — орган самых упорных легитимистов.

205. ...*брачный союз между сыном революции и дочерью прошлого* — указание на брак Наполеона и Марии-Луизы.

Маренго — деревня в Италии, где французы под командованием Бонапарта одержали победу над австрийцами 14 июня 1800 г.

Плац Маренго — плац, который был на Наполеоне во время битвы при Маренго.

206. *Фаблио* — побасенки, старинные французские мелкие рассказы в стихах.

Свадьба в Компьене. После того как правительство Луи-Филиппа потерпело, плетясь в хвосте у Англии, крупное дипломатическое поражение на конференции в Лондоне по бельгийскому вопросу, Луи-Филипп пытался упрочить свое международное положение, выдав свою дочь в августе 1832 г. замуж за бельгийского короля Леопольда I.

17 сентября

207. *Роберт-Дьявол* — герцог нормандский, правивший с 1028 по 1035 г. Совершил экспедицию в Палестину. Опера Мейербера, о которой говорится в тексте (либретто Скриба), была представлена в первый раз в 1831 г.

...*сожжена была la Pucelle* (девственница), т. е. Жанна д'Арк.

208. *Победители при Гастингсе*. При городе Гастингсе (Суссекс), нормандский герцог Вильгельм Завоеватель победил и убил в 1066 г. английского короля Гарольда II и затем завладел Англией.

Сыновья Танкреда. Танкред — нормандский рыцарь XI в., десять сыновей которого и среди них Роберт Гискар (граф Апулийский и Калабрийский) пробрались в поисках приключений в Италию и положили основание нормандскому господству в Апулии и Сицилии.

209. *Сальванди* Ашиль, граф (1795—1856) — писатель и политический деятель. При Карле X вел упорную борьбу против реакционной политики Мартиньяка, хотя последний в глазах короля и его клики стал «опасным либералом» (см. примеч. к стр. 120). При Луи-Филиппе ринулся в объятия реакции и получил портфель министра народного просвещения. Гейне упоми-

нает, что *Гете хвалил его*, так как последний в 1824 г. поместил в «Kunst und Alterthum» разбор романа Сальванди «Don Alonzo, ou L'Espagne». Два года спустя этот разбор был перепечатан в немецком издании романа.

210. ...феодальные романы прославленного немецкого поэта. Гейне, повидимому, имеет в виду немецкого поэта-романтика, автора поэмы «Ундина» — де-ла-Мотт Фуке (1777—1843).

214. *Ройе-Коллар* Пьер (1763—1845) — французский политический деятель, глава доктринеров, — течение, выдвинувшееся к концу Реставрации, монархическое, но стремившееся смягчить абсолютизм Карла X и крайних реакционеров. Рядом с Полиньяками и Перроне люди этого течения, и в том числе Ройе-Коллар, могли порою выступать во имя «свободы». При Июльской монархии Ройе-Коллар активного участия в политической жизни не принимал.

...человек, ... который... видит, что может существовать, лишь следуя тенденциям 13 марта. 13 марта 1831 г. — день, когда Казимир Перье стал во главе министерства. Гейне хочет сказать, что Луи-Филипп считает возможным сохранить свой трон лишь при условии продолжения той политической системы, которая установлена была Казимиром Перье.

215. *Кребильон* Клод-Проспер-Жолио (1707—1777) — сын крупного писателя, сам писатель, автор многих романов, которые даже Помпадур считала слишком скабрёзными и в которых изображаются нравы господствующих кругов.

Лакло Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло-де- (1741—1803) — военный деятель, автор единственного прославившего его романа «Опасные связи», в котором описываются разврат, падение нравов и разложение высшего дворянства.

Луве Жан-Батист Кувре де- (1760—1797) — политический деятель и писатель; воинствующий жирондист. Объявлен вместе со своими товарищами вне закона, но удачно скрывался до 9 термидора, после чего вернулся в конвент. Прославился своим романом «Приключения Фоблаза», в котором дается яркая картина нравов господствующих слоев накануне революции.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА».

ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

С этого произведения собственно и начинается серия тех журнальных статей о Франции, которые Гейне стал писать для немецких читателей со времени своей эмиграции. Впервые «Французские художники» были напечатаны в «Morgenblatt für gebildete Stände» (Утренняя газета для образованных сословий), 1831 г., №№ 257—274 (разумеется, без «Дополнения», написанного только в 1833 г.).

Затем это произведение вошло в тот цикл, которому Гейне дал название «Салон», очевидно, подразумевая в этом заглавии несколько случайный («выставочный») подбор использованных тем. «Французские художники», которыми открывался первый том «Салона», оправдывали это название в буквальном смысле. Первый том «Салона», изданный у Гоффмана и Кампе в Гамбурге, 1834 г., включал: 1) Предисловие, 2) «Французских художников» с «Дополнением», 3) Стихотворения и 4) «Мемуары Шнабеловонского».

На французском языке в том же 1834 г. «Французские художники» вышли в книге Собрания сочинений Гейне под названием «О Франции» (*De la France, Paris, E. Renduel, 1834*).

220. ...монах, которого... судили в Вормсе — Мартин Лютер.

225. ...батюшка Ян — немецкий патриот эпохи войн с Наполеоном, Фридрих-Людвиг Ян (1778—1852).

226. *Шубарт* Христиан-Фридрих-Даниель (1739—1791) — немецкий поэт. Возбудив против себя ненависть вюртембергского правительства и духовенства резкими нападками на них, он был в 1777 г. посажен в тюрьму по приказу герцога Карла Вюртембергского и просидел в ней без суда десять лет.

230. *Шеффер* Ари (1795—1858) — французский живописец, в начале своей деятельности находившийся под влиянием традиций академического стиля Луи Давида, впоследствии примкнувший к романтическому направлению; автор многочисленных картин на исторические темы и выдающийся портретист.

Верне Эмиль-Жан-Орас (1789—1863) — французский художник, баталист и портретист. Его картины, отражавшие патристические настроения буржуазии, пользовались у французской публики огромной популярностью.

Делакруа Фердинанд-Виктор-Эжен (1798—1863) — французский художник, ученик Герена, в начале своей творческой деятельности находившийся под сильным влиянием Жерико, впоследствии ставший главою романтической школы в живописи.

Декан Александр-Габриель (1803—1860) — французский художник-ориенталист, блестящий колорист.

Лессор Эмиль-Обер (р. нач. XIX в. — ум. 1876) — французский художник, ученик Энгра, портретист, жанрист, ориенталист.

Шнец Жан-Виктор (1787—1870) — французский живописец, картины которого по стилю представляют собою переход от неоклассицизма к романтизму.

Деларош Поль (1797—1856) — французский живописец, автор ряда известных картин на исторические темы.

Робер Луи-Леопольд (1794—1835) — французский художник, автор ряда картин на темы из жизни римской Кампаньи.

233. *Гельти* Людвиг-Христофор (1748—1776) — немецкий поэт, один из наиболее деятельных участников геттингенского кружка поэтов, автор элегий, идиллий и баллад.

...о *каменном Роланде*. В немецких городах со времен средневековья стоят каменные статуи «роландов» (от имени Роланда, соратника Карла Великого), символизирующие городскую независимость, права самоуправления и т. п. в противовес феодальному господству.

Конректор — помощник директора школы.

234. *император, лишившийся престола* — дон Педро I, император бразильский.

236. *Бюргерова Леонора* — известная баллада немецкого поэта Готфрида-Августа Бюргера (1747—1794).

Вольтеров друг — прусский король Фридрих II.

238. ...*нынешнего папу*. Григорий XVI (Капеллари), папа с 1831 по 1846 г., одна из самых мрачных фигур европейской реакции в промежуток времени между революциями 1830 и 1848 гг.

240. *Бурдон де-Луаз* Франсуа-Луи (1758—1798) — член Конвента, сначала якобинец, затем термидорианец.

242. *Поттеровский шедевр*. Поттер Пауль (1625—1654) голландский художник — анималист и пейзажист.

247. *Менцель* Вольфганг (1798—1893) — немецкий реакционный публицист и историк.

248. ...*цветам селам*. Селам приветствие на символическом языке цветов, употребляемом в гаремах Востока.

250. *Гогарт* Уильям (1697—1764) — английский гравер и художник, автор ряда сюит, как то: «Жизнь куртизанки», «Модный брак» и др. В своих гравюрах и картинах давал сатирическое изображение английских нравов его времени.

253. *Мирус* — фамилия четырех голландских художников: Франса, прованного Старшим (1635—1681), двух его сыновей Виллема и Яна и внука Франса, прованного Младшим. Все они были жанристами и портретистами; первые двое писали также и на исторические темы.

Нетшер Каспар (1639—1684) — немецко-голландский художник-портретист и автор картин с историческими сюжетами.

Доу Герард, ван (1613—1675) — голландский художник-жанрист.

Верффт Адриан, ван-дер- (1659 — 1722) — голландский художник, писавший картины преимущественно на мифологические и библейские сюжеты.

261. *Девериа* Ашиль (1800—1857) — французский рисовальщик и гравер; Гейне имеет в виду, как кажется, его брата, исторического живописца Эжена *Девериа* (1805—1865).

Стейбен Шарль, барон (1788—1856) — французский художник, немец по происхождению, автор ряда исторических картин.

Жоанно Тони (1803—1852) — французский художник, иллюстратор произведений Мольера, Лесажа, Сервантеса и др.

...везет... *Сен-Марса и де-Ту*. Эпизод из истории XVII в. во Франции: Анри-Куаффье де-Рюзе, маркиз *Сен-Марс* (1620—1642), фаворит короля Людовика XIII, выдвинутый кардиналом Ришелье, составил против последнего заговор. Ришелье раскрыл замыслы Сен-Марса, и последний был обезглавлен в Лионе вместе со своим другом Франсуа-Огюстом де-Ту (1607—1642), сыном историка Жака-Огюста де-Ту.

263. *Ричард III* — английский король с 1483 по 1485 г., расчистивший себе путь к трону убийством двух принцев, детей его брата короля Эдуарда IV, опекуном которых он был.

264. *Прага* — предместье Варшавы, взятое штурмом Паскевичем во время польского восстания 1831 г.

266. ...страшная площадь — теперь площадь Согласия в Париже, на которой была совершена 21 января 1793 г. казнь Людовика XVI. В то время она называлась площадью Людовика XV.

Лафонтен Август-Генрих-Юлий (1758—1831) — немецкий романист, автор более двухсот сентиментальных семейных романов, на которые жестоко нападала романтическая критика.

...грустное событие — см. выше *страшная площадь*.

268. ...«Старый вето» — прозвище, данное парижским населением Людовику XVI в насмешку за злоупотребление им правом налагать запрещения на решения парламента (лат. *вето* — запрещаю).

Сансон — палач, гильотинировавший Людовика XVI.

269. *Эджворс* де Фирмон Анри-Эссекс, духовник Людовика XVI, сопровождавший его на эшафот; впоследствии капеллан Людовика XVIII.

Корвизар Маре де- (1755—1821) — придворный врач Наполеона I.

270. «Чудесный отрок» — см. примеч. к стр. 52.

...юный Генрих — граф Шамбор — см. примеч. к стр. 52.

274. *Лоу* Гудсон — английский генерал, комендант острова св. Елены во время пребывания там Наполеона. Его обвиняли в суровости режима, применявшего им для охраны пленника.

275. *Паста* Джудитта-Негри (1798—1865) — итальянская певица, пользовавшаяся благодаря прекрасному голосу и сценическому мастерству огромным успехом, особенно в операх Беллини.

Малибран Мария-Фелисия-Гарсиа (1808—1836) — французская певица, обладавшая огромным голосом с сопрановой и контральтовой тесситурой.

279. *Кребильон* — см. примеч. к стр. 215.

Фавар Шарль-Симон (1710—1792) — французский драматург, автор водевилей и комических опер, создатель жанра музыкальной комедии.

280. *Вьен* Жозеф-Мари (1716—1809) — французский живописец исторических картин, учитель художника Давида.

Лесюэр Эташ (1616—1655) — французский живописец, автор картин на религиозные темы.

Давид Жак-Луи (1748—1825) — французский художник, глава неоклассической школы, заведывавший делами искусства во время Великой революции, впоследствии придворный живописец Наполеона.

...вернувшись... ванлоистом. Ванлоист — последователь ван-Лоо, французских художников XVIII в. (их было четверо: Жан-Батист, сыновья Луи-Мишель и Шарль-Филипп-Амедей и брат Шарль-Андре-Карль). Гейне, вероятно, имеет в виду последнего, блестящего колориста.

Герен Пьер-Нарцисс, барон (1774—1833) — французский исторический живописец.

Гро Антуан-Жан, барон (1771—1835) — французский живописец-баталист, один из предшественников романтической школы в живописи.

Жерар Франсуа, барон (1770—1837) — французский исторический художник и портретист.

Жироде-Триозон Анн-Луи де-Русси (1767—1824) — французский художник, автор картин на мифологические темы.

Жерико Теодор (1791—1824) — французский живописец и скульптор, один из предшественников романтической школы в живописи.

282. *Этекс* Луи-Жюль (1810—1889) — французский живописец, писавший картины на самые разнообразные темы: исторические, пейзажи, жанр, портреты.

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Письма эти написаны в 1837 г. В том же году они были напечатаны в издании Августа Левальда — «Allgemeine Theater-Revue. Stuttgart und Tübingen». (Всеобщее театральное обозрение. Штуттгарт и Тюбинген.) По-французски они сначала печатались в «Revue du dix-neuvième siècle» («Обозрение XIX века»).

Были включены Гейне в четвертый том «Салона» (Гоффман и Кампе, Гамбург, 1840 г.). Во французском переводе сочинений Гейне они появились в томе «О Франции» (De la France), — 2-е изд., 1857 г.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

293. *Левальд* Август (1792—1871) — немецкий писатель, режиссер и директор театра, друг Гейне.

295. *Дюпре* Жильбер (1806—1896) — французский певец (тенор) и композитор, артист Большой оперы в Париже, славившийся исполнением ролей в операх Россини, Доницетти, Мейербера и др.

Нурри Адольф (1802—1839) — французский певец (тенор), певший в парижской Большой опере и с огромным успехом исполнявший мейерберовские оперы.

Штрекфус Карл (1778—1844) — немецкий поэт, переводчик Тассо, Ариосто и Данте.

297. *Бранденбургские ворота* — триумфальная арка в Берлине на Парижской площади, у входа в Тиргартен (старинный парк).

299. *Сан-Суси* — небольшой дворец Фридриха II в Потсдаме, близ Берлина. *Забывтым* Гейне называет его потому, что в 1837 г. в нем никто не жил; впоследствии его сделал своей резиденцией король Фридрих-Вильгельм IV, сильно испортивший его перестройкой.

...*Брокгаузовская «Энциклопедическая газета»* издавалась с 1820 г. известным основателем лейпцигской издательской фирмы Фридрихом-Арнольдом Брокгаузом. Гейне называет ее так по старой памяти: с 1826 г. название ее было изменено на другое, хотя характер остался прежним.

Рамлер Карл (1725—1798) — немецкий поэт, автор од, за которые был прозван «немецким Горацием», и переводчик античных поэтов.

Геллерт Христиан-Фюрхтеготт (1715—1769) — немецкий поэт-рационалист.

Карш Луиза (1722—1791) — немецкая поэтесса, крестьянка родом, известная импровизаторша. Изданные в 1764 г. Глеймом ее «Избранные стихотворения» были ею поднесены королю Фридриху II. Когда Фридрих послал ей в благодарность два (у Гейне — пять) талера, то она вернула их ему обратно.

300. ...*по новому наглеровскому регламенту*... Наглер Карл (1770—1846) — прусский генерал-почтмейстер, реформировавший в Пруссии почтовое дело.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

302. *Котта* — немецкая издательская фирма, существующая с 1659 г.

303. *Иорик* — герой, от имени которого написано «Сентиментальное путешествие» Стерна (1765 г.).

304. *бесплодие немецкой Талии* — бесплодие немецкого театра (*Талия* в древнегреческой мифологии — муза комедии).

...*свинцовые крыши и тайные приспособления*. Намек на знаменитые «пюмби», венецианскую тюрьму с свинцовыми сводами, в которой убивали заключенных и с помощью особых приспособлений выбрасывали трупы в канал.

Генгстенберг Эрнст-Вильгельм (1802—1869) — немецкий богослов, профессор Берлинского университета, ярый противник теологов рационалистического направления, в своей полемике с ними не останавливавшийся перед доносами.

307. ...*арену ...войн между полями ...которые немец может описать разве что как Полибий, но не как Цезарь*. Шутливая аналогия. Гейне намекает на то, что греческий историк Полибий описывал Пуническую войну по источникам, в то время как Цезарь сам вел ту галльскую войну, которую описал в своих «Записках».

Арналъ Этьен (1794—1872) — французский актер-комик.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

309. *Уайтхолл* — королевский дворец в Лондоне, построенный королем Генрихом VIII и сгоревший в 1698 г. Из него были взяты на казнь Карл I.

311. *Мессалина* — жена римского императора Клавдия (I век н. э.), славившаяся своим развратным поведением, за которое Клавдий приказал ее казнить.

315. *роскошное издание прав человека с посвящением королю баварскому*. Ирония: баварский король с 1825 г. Людвиг I, сменивший впоследствии революцией 1848 г., вел крайне реакционную политику.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

320. *Франкони* — содержатель парижского театра, в котором ставились феерии, батальные представления и тому подобные пьесы.

322. *Герцогиня Абрантская* (д'Абрантес) Лаура (1784—1838) — жена наполеоновского маршала Жюно, оставившая после себя обширные, но не заслуживающие большого доверия мемуары об эпохе Первой империи.

325. *Мельпомена* — античная муза трагедии.

326. *Гревская площадь* — см. примеч. к стр. 31.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

328. *Детмольд* Иоганн (1807—1856) — ганноверский адвокат и впоследствии политический деятель, член Франкфуртского национального собрания, вначале оппозиционер, затем крайний правый.

Мюнхенская глипготека — музей скульптуры в столице Баварии, построенный в 1816—1830 гг. (Буквально «глипготека» означает: собрание резных камней.)

329. *дни господства Агамемнона и Тальма* — дни господства ложноклассической трагедии. Агамемнон (один из героев «Илиады» Гомера) взят здесь как типичное действующее лицо ложноклассической драмы.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер, любимец Наполеона I.

Кок Поль де- (1794—1871) — французский романист, изображавший главным образом нравы мелкой буржуазии.

Скриб Эжен (1791—1861) — французский драматург, автор многочисленных сценических, но неглубоких пьес.

330. *иффландизм* — от Иффланд. Иффланд Август-Вильгельм (1759—1814) — немецкий актер, превосходный исполнитель шекспировского репертуара и первый исполнитель роли Франца Моора в шиллеровских «Разбойниках»; писал также пользовавшиеся большим успехом комедии и мелодрамы. Выступая в своих пьесах решительным противником ложноклассической драмы, он, беря сюжеты из мещанской жизни, епал в противоположную крайность, и филистерская пошлость морали его пьес вызвала резкие нападки Шиллера. Поэтому Гейне и говорит, что иффландизм «был побежден Веймаром», т. е. Шиллером.

331. *Помазание Карла X*. Вступив в 1824 г. на престол после смерти Людовика XVIII, своего брата, Карл X, крайний реакционер, восстановил торжественную церемонию коронования и был «помазан на царство» в 1825 г. с соблюдением мельчайших подробностей средневекового коронационного ритуала вплоть до возложения королем рук на больных в целях их исцеления.

...*незримая сенсимонистская церковь*. Так Гейне иронически называет последователей социалиста-утописта Сен-Симона, проводя шутовское сравнение между их организацией и христианской церковью до ее легализации указом императора Константина в 513 г. н. э.

333. *Сент-Бев* Шарль-Огюстен (1804—1869) — французский критик, историк литературы, поэт и романист. Его критические статьи и книги пользовались в свое время огромным влиянием.

...*истинный сын... европейской Гаскони*. Старинная провинция королевской Франции, Гасконь, издавна обладала своеобразной репутацией: гасконцам приписывались такие качества, как хвастливость, позирование, легкомыслие, великодушие, авантюризм. Гейне считает французов гасконцами по отношению к другим европейцам.

335. *Кин* Эдмунд (1787—1833) — знаменитый английский актер. А. Дюма изобразил его в пьесе «Кин, или Гений и беспустово».

Леметр Фредерик, собственно Антуан-Луи-Проспер (1800—1876) — французский драматический актер, славившийся исполнением пьес романтической школы.

336. *Горн* Франц-Христоф (1781—1837) — немецкий поэт и историк литературы, специалист по Шекспиру.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Бокаж Пьер, собственно Пьер Туве (1797—1863) — французский актер, выдающийся исполнитель ролей в романтической драме.

337. *помесь Ариеля с Калибаном*. См. примеч. к стр. 168.

339. *Основы, зашитые в трагические львиные шкуры*. Основа — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

342. *Мальфилъ* Жан-Пьер-Фелисьен (1813—1868) — французский драматург и романист. Одна из его комедий «Сердце и приданое» удержалась на французской сцене до начала нашего века.

Ружмон Мишель-Никола-Балиссон, граф (1781—1840) — французский драматург.

Бушарди Жозеф (1810—1870) — французский драматург, автор мрачных и запутанных мелодрам.

345. *Жорж* Маргарита-Жозефина Веймер (1787—1867) — актриса театра Французской комедии в Париже, исполнительница трагических ролей в классических и романтических пьесах.

Дебюро Гаспар (1796—1846) — французский мимический актер, создатель роли Пьеро в пьесах, ставившихся в основанном в 1816 г. в Париже народном театре Фюнамбюль.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

349. *Фетис* Франсуа-Жозеф (1784—1871) — бельгийский композитор, музыкальный теоретик и критик; его сын Эдуард Фетис (1812—1909) был также музыкальным теоретиком и критиком.

352. *...бедный лебедь из Пезаро* — видный итальянский композитор Джоакино Россини (1792—1868). Пезаро его родина.

354. *Маркс* Адольф-Бернгард, доктор (1799—1866) — немецкий музыкант-теоретик и композитор.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

363. *Верон* Луи-Дезире (1798—1867) — французский публицист и директор Большой оперы в Париже.

365. *Тальони* Мария-София (1804—1884) — знаменитая балерина, танцевавшая с огромным успехом в парижском балете в эпоху Луи-Филиппа.

«ГУГЕНОТЫ» МЕЙЕРБЕРА

375. *Мейербер* Джакомо (1791—1864) — немецкий композитор, живший большую часть своей жизни и творивший в Париже. Главный вид написанных им музыкальных произведений — опера («Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Африканка», «Пророк», «Северная звезда» и др.). В свое время они пользовались огромной популярностью и продолжают ставиться до сих пор на всех оперных сценах. Брат Мейербера Михаил Бер был известным немецким драматургом.

Ротшильд Давид (1792—1868) — богатейший французский банкир первой половины XIX в. (600 миллионов франков состояния), парижский представитель банковского дома Ротшильдов, основанного его отцом Мейером-Амшелем (1743—1812) и имевшего отделения во Франкфурте-на-Майне, Вене, Лондоне, Неаполе и Париже.

377. *Дюпоншель* — парижский архитектор и декоратор, впоследствии директор Оперы в Париже.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрантская, герцогиня — 322
 Агуадо — 102
 Альфиери — 165
 Ангиенский, герцог — 269
 Ангулемская, герцогиня — 199
 Анна, королева Англии — 59
 Анна Австрийская — 239
 Араго — 150, 415
 Арналь — 307
 Аридт — 12, 15, 142, 406
 Астхеве — 304

 Баварский король — 284
 Баденский великий герцог — 143
 Балланш — 369
 Барбаросса — *см.* Фридрих Барбаросса
 Барбье — 38
 Барро — 127, 150, 201, 391, 415
 Барт — 116
 Бассанио — 429
 Бах — 354, 355
 Бек — 388
 Бельмонте — 36
 Беранже — 38, 86
 Бердетт — 71
 Берк — 391
 Берк, Эдмонд — 59
 Берлиоз — 367, 368
 Беррийская, герцогиня — 196, 199, 206, 207, 211, 212, 418
 Беррье — 196
 Бертен — 282
 Бетховен — 358
 Биффи — 144, 417

 Бланки — 49
 Блекстон — 115
 Бокаж — 336, 337, 345
 Бокаччо — 95
 Бомарше — 192
 Бонапарт — *см.* Наполеон I
 Бордосский, герцог — *см.* Генрих V
 Бриквиль — 80
 Бриссо — 169
 Брокгауз — 385
 Брум — 70
 Брут Марк-Юний — 22, 37, 240, 286, 388, 400
 Буленвилье — 397
 Бурбоны — 35, 52, 101, 121, 207, 208, 215, 270, 325, 326, 393, 401
 Бурбоны-Конде — 389
 Бурдон-де-Луаз — 240
 Бурмон — 418
 Бурьенн — 167
 Бушарди — 342, 343
 Буше — 279
 Бюргер — 236

 Валуа — 325
 Вальш — 210
 Ватель — 37
 Ватто — 279
 Вашингтон — 269
 Веллингтон — 63, 119, 127 — 129, 131, 134, 393
 Вери — 37
 Верне — 82, 230, 237 — 239, 240, 273, 282
 Вернер — 312

Верон — 363, 364, 366
 Веронезе — 238
 Верпре — 307
 Верфт, ван-дер- — 253
 Вефур — 37
 Видок — 144, 409
 Виллель — 110
 Вильгельм IV — 46, 131—133, 154
 Вилькс — 130
 Вильсон — 71
 Вирт — 139, 140, 145, 403, 410
 Вольнэ — 169
 Вольтер — 165, 171, 172, 208, 236, 279
 Вьен — 280
 Вьенне — 418

Габсбургский дом — 12
 Гамильтон — 62
 Гара — 165
 Гарнье-Пажес — 172, 179, 201
 Гарун-аль-Рашид — 248
 Гегель — 15
 Гелисберг — 171
 Геллерт — 299
 Гельти — 233
 Генгстенберг — 304
 Генрих V — 52, 84, 88, 127, 196, 205, 212, 270
 Георг II — 94
 Георг IV — 62, 72
 Герен — 280
 Геррес — 142, 406
 Гескиссон — 133
 Гете — 36, 139, 209, 232, 276, 312, 326, 330, 332, 334, 371, 375, 403
 Гизо — 26, 110, 126, 144, 214, 409, 417
 Гисс — 269
 Глюк — 358
 Гобель — 172
 Гогарт — 250
 Гогенштауфены — 14
 Гогенцоллерны — 12, 274
 Годерих — 62

Гольбейн — 235
 Гольдони — 304
 Горн — 336
 Гофман — 367
 Гоцци — 304, 367
 Граббе — 312, 333
 Граммон — 62
 Гранвиль — 193
 Грегуар — 124
 Грей — 63, 119, 129, 131, 392, 393, 420
 Грильпарцер — 312
 Гро — 280
 Гроссе — 140
 Гуден — 422
 Гудсон Лоу — 274, 422
 Гуттен — 139, 403
 Гюго — 46, 86, 330—334, 342, 345, 392, 422

Давид — 280
 Данте — 73, 277
 Дантон — 56, 172, 409
 Дебюро — 144, 345, 417
 Девериа — 261
 Девриент — 428
 Дежазе — 307
 Дейк, ван- — 235, 271
 Деказ — 110
 Декамп — 244—246, 248, 249, 250, 282
 Декан — 230
 Декен, ван-дер — 372
 Делавинь — 82
 Делакруа — 230, 241, 242, 273
 Деларош — 230, 231, 255, 261, 263, 264, 269, 270—272, 274, 281
 Демулен — 51, 172, 239, 240
 Дергем — 420
 Детмольд — 328, 350
 Детуш — 422
 Джон, сер — см. Фальстаф Джон
 Дидро — 279
 Дон-Жуан — 360
 Дон-Карлос — 340
 Доу, ван- — 253

Дре-Брезе — 78
Дюбарри — 73, 278
Дюбо — 397
Дюма — 330, 333 — 335, 342, 345
Дюмон — 169
Дюпен — 110, 193, 214, 419
Дюпоншель — 363, 364, 366, 377
Дюпре — 295

Жаль — 246
Жанен — 168
Жанлис — 46
Женуд — 48, 396, 397
Жерар — 280
Жерико — 280
Жиро де-л'Эн — 118
Жироде-Триозон — 280
Жоанно — 261, 282, 422
Жорж — 342, 345

Зибенпфейфер — 140

Изабе — 422
Изабелла Кастильская — 385
Иммерман — 139, 297, 312, 403
Иффланд — 55

Кавеньяк — 48, 50, 201, 412
Казимир, маркграф Ансбахский — 162
Калло — 367
Кальдерон — 334
Кальдорф — 156, 157
Калькбреннер — 432
Каннинг — 62, 63, 68 — 72, 133
Карл X — 13, 29, 49, 73, 77, 82, 331, 392
Карл, герцог Брауншвейгский, 13
Карл Великий — 13, 162
Карл I, Стюарт — 264, 266, 268, 269, 271, 274, 309, 388
Каррель — 188, 201, 418
Каррем — 37
Карш — 299
Келен — 104, 144, 417

Кепеник — 130
Керубини — 144
Кеснер — 53 — 55, 419
Кин — 335—337, 428, 430
Клейст — 312
Клеомен — 150, 414
Коббет — 71
Кок Поль де — 144, 329, 392, 409, 417
Коломб — 171
Кольбер — 65
Конде — 239
Констан, Бенжамен — 124
Константин Великий — 331
Конти — 239
Корвизар — 269
Корнель — 329
Кост — 188, 419
Котта — 302
Кребильон — 215, 279
Крелингер — 14
Кромвель — 264, 265, 269—274, 327
Ксенофонт — 115
Куртуа — 408
Кювье — 120

Лакло — 215
Ламарк — 147, 148, 173, 179, 189, 412, 413
Ламартин — 52, 144, 417
Ламене — 369
Лафайет — 35, 36, 38, 39—44, 84, 124, 144, 147, 160, 174, 179, 189, 195, 382, 409
Лафитт — 150, 415
Лафонтен — 266
Левальд — 293, 302, 318, 320, 329, 340, 342, 348, 428.
Леметр — 335 — 337, 430
Лей Гент — 129
Ленотр — 31
Леон — 392
Лессор — 230, 250
Лесюэр — 280
Летбридж — 70
Лист — 367 — 370, 431
Лихтенберг — 66

- Лонгвилль — 239
 Луантье — 106
 Луве де-Кувре — 215
 Луи — 55, 116, 214
 Луи-Филипп — 27—29, 31—35, 45, 49, 57, 78, 80, 82—85, 117, 118, 123, 126, 127, 138, 144, 510, 160, 161, 175, 179—181, 184, 186, 187, 191—198, 200, 201, 205, 207, 208, 211—216, 282, 284, 286—291, 394, 401, 402, 415, 418, 426
 Лукреция — 388
 Людвиг Баварский — 154
 Людовик IX — 126, 266, 269
 Людовик XIII — 365
 Людовик XIV — 32, 163, 262, 278, 304
 Людовик XV — 426
 Людовик XVI — 14, 30, 79, 82, 117, 138, 266, 267—269, 402, 426
 Людовик XVIII — 79
 Лютер — 161, 162

 Мабли — 397
 Мазарини — 59, 261, 263
 Малибран — 275
 Мальфилль — 342
 Марат — 51, 280
 Мария-Антуанетта — 12, 30, 39, 60
 Мария-Луиза — 12
 Маркс, Адольф-Бернгард — 354, 355
 Мариньи — 116
 Мармонтель — 47
 Марраст — 38
 Мартен — 112, 200
 Мартиньяк — 120
 Мейер — 302
 Мейербер Джакомо — 74, 132, 207, 295, 350—363, 375, 376
 Мейнар — 278
 Мекинтош — 70
 Менотти — 34
 Менцель — 43, 247
 Мерлин — 57, 297

 Меттерних — 12, 159
 Микель-Анжело — 276, 282
 Мирабо — 167—171
 Мирис — 253, 282
 Моген — 44, 127, 201, 391
 Молаффи — 144
 Мольер — 304
 Мольтке — 156, 157,
 Монталиве — 118, 192, 193
 Моцарт — 354, 358, 371
 Мюнцер — 161, 162

 Наглер — 300
 Наполеон I — 19, 20, 30, 38—42, 75, 86, 87, 95, 121, 149, 167, 177, 186, 202—205, 207, 269, 274, 279, 284, 291, 303, 321—325, 352, 413.
 Наполеон III — *см.* Рейхштадт-ский герцог
 Ней — 418
 Неккер — 167, 169
 Немурский герцог — 90
 Нетшер — 253
 Николай I, российский император — 420
 Нормандские герцоги — 207
 Нуль, ван-дер — 157

 Одри — 409
 Октавий — 51
 Олоферн — 237, 238
 Оранский дом — 36
 Орлеанский дом — 33, 64, 206
 Орлеанский герцог, Фердинанд-Филипп — 88
 Орлеанский герцог, Луи-Филипп-Жозеф, прозванный Филипп-Эгалите — 26, 30, 74, 103
 Орлеанский герцог — *см.* Луи-Филипп
 Отенский епископ — *см.* Талейран

 Пажес — *см.* Гарнье-Пажес
 Пантьевр — 74
 Паста — 275

- Педро — 55
 Перуджино — 259
 Перье — 25, 31, 36, 42, 53,
 55, 64—70, 83, 98, 103, 108,
 110, 111, 117, 119—121,
 123—126, 173, 244, 392, 393
 Петион — 25, 26
 Петр Великий — 297
 Пигаль — 422
 Пий VII — 321
 Платон — 115
 Плутарх — 167
 Полибий — 307
 Поль, Жан — 333
 Помпадур — 73
 Поттер — 242

 Рабле — 46
 Рамлер — 299
 Ранке — 15
 Расин — 31, 329
 Раумер — 14, 15
 Раупах — 275, 276 297—299,
 302
 Рафаэль — 259, 371
 Рейнский, владетельный князь
 387
 Рейхштадтский, герцог — 87,
 88, 202, 204, 206
 Рембрандт — 271
 Рессель — 70
 Рикю — 321, 322
 Ричард III, король Англии—
 263
 Ричард-Львиное-сердце — 208
 Рিশелье — 261
 Робер — 230, 231, 253—260,
 272, 281
 Робеспьер — 37, 38, 44, 48,
 51, 75, 95, 137, 172, 221, 240,
 280, 352, 400, 408.
 Роганы — 389, 390
 Ройе-Коллар — 214
 Ролан — 92
 Россини — 132, 144, 350—356,
 361, 417
 Ротшильд, Джемс — 375, 377
 Ротшильды — 103

 Рошетт — 54
 Рубенс — 392
 Ружмон — 342, 343
 Руссо — 165, 171, 172

 Савуа — 140
 Сальванди — 209
 Сальмазиус — 111
 Сансон — 268
 Саррю — 188
 Себестиани — 67, 84, 101, 116,
 117, 120
 Севинье — 262, 355
 Сен-Жюст — 172, 400
 Сен-Марс — 261
 Сент-Бев — 332, 333
 Сийес — 268
 Скаррон — 9
 Скотт — 260
 Скриб — 329
 Смитсон — 368
 Спартак — 69, 283, 284
 Сталь — 55, 169
 Стауб — 417
 Стейбен — 261
 Стен — 253
 Стерн — 303
 Стюарты — 36, 264, 266, 270
 Сульт — 118, 127, 128, 183

 Талейран — 57, 122, 144, 172,
 394, 409, 419
 Тальберг — 431, 432
 Тальма — 329
 Тальони — 75, 365, 366
 Тассо — 360
 Тацит — 399
 Тик — 139, 403
 Тициан — 235
 Торрихос — 34
 Ту — 261
 Туре — 48
 Тьер — 44, 214, 418, 419

 Уланд — 312, 383

 Фавар — 279
 Фалькон — 359, 430

- Фальстаф, Джон. — 123, 156
Фейн — 140
Фенелон — 115
Фетис — 349, 350
Фидий — 276
Филипп II — 340
Филиппон — 28
Филипп-Эгалите — *см.* Орлеанский герцог
Фитц-Джемс — 48
Фокс — 72
Франкони — 320, 321, 345, 363, 364
Франц, император — 12
Франциск I — 377
Фридрих Барбаросса — 180
Фридрих Великий — 19, 299, 324
Фридрих-Вильгельм III — 18, 20
Хаджи-бей — 245, 249
Хобхоуз — 70
Челлини, Бенвенуто — 367
Шамполион — 120
Шамфор — 47, 165
Шарпф — 140
Шатель — 200
Шатобриан — 36, 38, 191, 266, 267, 269
Шварц — 340
Шварц, Бартольд — 135, 394
Шекспир — 251, 334, 360
Шеридан — 72
Шеффер — 230, 231, 233—237, 282, 421
Шиллер — 208, 232, 312, 330, 334
Шлегель — 37, 317
Шлейермахер — 15
Шнапс — 365
Шнец — 230, 251, 252
Шопен — 370, 371, 432
Штауб — 144, 417
Штегеман — 15
Штрекфус — 295, 423
Шубарт — 226
Шюлер — 140
Эгалите — *см.* Орлеанский герцог
Эджворс — 269
Эленшлегер — 312
Энгр — 282
Эсхил — 277
Этекс — 282, 283
Юдифь — 237
Юлий Цезарь — 51, 87, 167, 186, 204, 307
Юм — 133
Ян — 225
Ярке — 22, 111, 388

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис. Гравюра на дереве Л. С. Хижинского . .	6—7
Обложка первого издания «Французских дел» Гейне 1833 г.	16—17
Г. Гейне. С портрета маслом Тони Жоанно 1830-х гг.	96—97
Г. Гейне. С портрета маслом Морица Оппенгейма 1831 г.	224—225

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Французские дела

Предисловие	9
Статья первая	25
Статья вторая	33
Статья третья	45
Статья четвертая	57
Статья пятая	72
Статья шестая	90
Статья седьмая	107
Статья восьмая	119
Статья девятая	134
Вставка к статье девятой	152
Текущие сообщения	
Вместо предисловия	159
Дополнение к статье шестой	161
Примечание А	171
Из Нормандии	198

Предисловие к первой части «Салона». Французские художники

Предисловие к первой части «Салона»	219
Французские художники	
Выставка картин в 1831 году в Париже	229
Дополнение	278

О французской сцене

Письмо первое	295
Письмо второе	302
Письмо третье	309

Письмо четвертое	315
Письмо пятое	320
Письмо шестое	327
Письмо седьмое	336
Письмо восьмое	342
Письмо девятое	349
 П р и л о ж е н и е	
«Гугеноты» Мейербера *	375
 В а р и а н т ы и д о б а в л е н и я	
Французские дела	
Предисловие к предисловию	381
К предисловию	387
К основному тексту	389
Текущие сообщения	417
Предисловие к первой части «Салона». Французские художники	420
О французской сцене	422
 К о м м е н т а р и и **	437
Указатель имен	493
Перечень иллюстраций	499

* Коллективный перевод Студии художественного перевода при Секции переводчиков Лен. отделения ССП под руководством А. В. Федорова, в составе: М. Е. Абкиной, Э. Г. Бородиной, К. И. Варшавской, Л. И. Вольфсон, А. Л. Бунтовой, А. Е. Кроль, В. Я. Татарской.

** Комментарии к «Французским делам» составлены Е. Смирновым, ко всему остальному материалу тома—Г. Гордоном.

Редактор М. А. Лившиц.
Художественная редакция
М. П. Сокольников.
Литературно-техническое
наблюдение В. В. Чешикова.
Технический редактор
Л. А. Чалова.

★

Сдано в набор 5·IX—1935 г.
Подписано к печати 7·I—
1936 г. Тираж 15 500 экз.
Уполномоченный Главлита
№ Б—11999. Индекс А-1.
Изд. № 185. Бумага 82×110
в ¹/₃₂. У. а. л. 235. Бум.
листов 7,87 (152 000 знаков
в 1 б. л.). Заказ № 328.

★

Отпечатано во 2-й типо-
графии «Печатный двор»
треста «Полиграфкнига».
Ленинград, Гатчинская, 26.

Цена Р. 8. —
Переплет Р. 2. —

При обнаружении дефекта в книге, просьба вернуть ее для обмена, вместе с настоящей вкладкой. Вам будет немедленно выслана новая книга.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Подписка обеспечивает приобретение полного комплекта данного издания.

Однако, если подписчик будет неаккуратно выкупать книги или несвоевременно известит экспедицию об изменении адреса доставки, приобретение всего издания не гарантируется.

Очередные тома рассылаются только тем подписчикам, которые выкупили все предыдущие, а книги, возвращенные с почты, так же как и невостребованные в срок, поступают в общую продажу.

Книги высылаются из экспедиции подписных изданий при Обл. и Краев. отделениях КОГИЗа, адрес которой указан на бандероли.

При всяком обращении в экспедицию всегда указывайте: фамилию, инициалы, № заказа, наименование издания, № полученных томов и точный адрес, по которому была получена последняя книга.

К СВЕДЕНИЮ

Настоящий VI том Собрания сочинений Гейне является по порядку выхода томов — третьим. Ранее вышли из печати и разосланы подписчикам IV и XI томы. В текущем году ожидается выход VII, IX, XII томов.

Издательство «ACADEMIA»

*КОГИЗ — Главная Контора Подписных
и Периодических изданий.*

ГЕЙНЕ

ГЕЙНЕ

6

АСАОНТА

